И. И. ПАНАЕВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

И. И. ПАНАЕВ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ


ЛИТЕРАТУРНЫЕ · КНИГИ · ВОСПОМИНАНИЯ

И. И. ПАНАЕВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1988

Вступительная статья и комментарии
И. Г. Ямпольского

П $\frac{4702010100-1644}{080\ (02)-88}$ 1644—88

ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И. И. ПАНАЕВА

Имя И. И. Панаева известно теперь по преимуществу специалистам-историкам литературы и журналистики. Не принадлежа к числу крупных русских писателей, он является тем не менее интересной и своеобразной фигурой. И как журналист, и как писатель Панаев был неразрывно связан с передовыми течениями общественной мысли 1840—1860-х годов.

Панаев был человеком бесспорно одаренным, но не очень глубоким и не лишенным человеческих слабостей. В связи с этим возникло мнение о нем как о крайне легкомысленном человеке, в жизни которого литература играла второстепенную роль. Такая характеристика Панаева противоречит фактам. У него было живое, во многом правильное ощущение исторических задач, стоявших перед русским обществом и русской литературой, и именно это связало его с прогрессивным лагерем.

1

Иван Иванович Панаев родился 15 марта 1812 года в родовитой и культурной дворянской семье.

В семье Панаевых господствовали традиционные консервативные представления. Мысль о несправедливости социальных отношений и сословных привилегий дворянства, о бесчеловечности крепостного права, как свидетельствует сам Панаев, лет до восемнадцати никогда не приходила ему в голову.

В 1825—1830 годы Панаев учился в Благородном пансионе при С.-Петербургском университете. После его окончания он служил некоторое время в Департаменте государственного казначейства Министерства финансов, а затем (с 1834 года) в редакции «Журнала министерства народного просвещения».

С юных лет литература занимала в жизни Панаева существенное место и оказала несравненно большее воздействие на формирование его личности, чем педагоги Благородного пансиона. «Появление переводных романов Вальтер Скотта, глав «Евгения Онегина» и «Альманахов» конца двадцатых годов — эпохи, торжественные дни в моей жизни»,— писал он впоследствии [1].

---

[1] Заметки Нового Поэта о петербургской жизни.— «Современник», 1855, № 12, с. 235—236. Далее, в ссылках на «Современник», название журнала не указывается.

Ранние литературные вкусы и симпатии Панаева сложились под воздействием романтизма. О своем увлечении «Московским телеграфом» Н. А. Полевого, В. Гюго, затем А. Марлинским и Н. Кукольником сам он рассказывает в своих воспоминаниях. С романтизмом связаны и первые опыты Панаева в поэзии и прозе.

Начало его литературной деятельности относится к 1834 году. В разных журналах и альманахах появляются его оригинальные и переводные (из В. Гюго) стихотворения, а также рассказы и повести.

По своим стилистическим особенностям (приподнятая интонация, возвышенный слог, специфическое описание внешности героев и их душевных переживаний) эти рассказы и повести воспринимаются в потоке массовой романтической прозы 1830-х годов. Большая их часть примыкает к так называемой светской повести.

Романтический индивидуализм, свойственный Панаеву в 1830-е годы, с наибольшей остротой выразился в его рассказе «Как добры люди!». «Общество,— писал автор,— в вечной борьбе с поэтом; видно, иначе и быть не может: стараться примирить их — значит не понимать ни того, ни другого. Общество никогда не возвысится до поэта, поэт никогда не унизится до общества».

Вопрос о неизбежном конфликте между поэтом (или «даже просто человеком, наделенным поэтическою душою») и обществом ставится и решается Панаевым в форме абстрактного противопоставления, однако самое общество наделено все же некоторыми социально-историческими чертами. В большинстве рассказов это русское аристократическое общество того времени. В произведениях Панаева 1830-х годов, как и в повестях Марлинского, нет, конечно, понимания социальных противоречий той эпохи, но протест против несправедливости царящих в ней нравов, душащих все лучшие стремления человеческой личности, заключал в себе прогрессивное, гуманистическое начало.

В 1834 году, в разгар своих романтических увлечений, Панаев прочитал в журнале «Молва» «Литературные мечтания» Белинского. Они произвели на него большое впечатление своей смелостью, свежестью мысли, стремлением пересмотреть установившиеся мнения и оценки, заставили его задуматься и несколько поколебали в его глазах дотоле несомненные репутации. Тяготению к Белинскому способствовало еще то обстоятельство, что в ряде своих рецензий критик вполне сочувственно отозвался о первых произведениях Панаева.

В начале 1838 года Белинский передал Панаеву через Кольцова приглашение сотрудничать в «Московском наблюдателе», фактическим редактором которого был в это время. Между ними завязалась переписка, а весною 1839 года, когда Панаев был в Москве, произошло и личное знакомство.

В 1839 году А. А. Краевский начал издавать «Отечественные записки», и Панаев принял энергичные меры для привлечения Белинского в качестве руководящего критика. Как известно, вскоре «Отечественные записки» стали лучшим русским журналом, органом передовой общественной мысли. Здесь формировались революционные и социалистические взгляды Белинского и Герцена, здесь рождалась новая эстетическая мысль и реалистическое направление русской литературы 1840-х годов — натуральная школа. К «Отечественным запискам» примкнуло также много писателей и

ученых, придерживавшихся более умеренных, чем Белинский и Герцен, взглядов,— И. С. Тургенев, Т. Н. Грановский, В. П. Боткин и др. Отстаивая свои взгляды, «Отечественным запискам» пришлось ожесточенно бороться с печатью правительственного лагеря, с «Москвитянином» Погодина и Шевырева и «Северной пчелой» Булгарина, а также с «Библиотекой для чтения» Сенковского и славянофилами.

Еще до перехода «Отечественных записок» к Краевскому у Панаева, человека по своей натуре очень общительного, завязались обширные литературные связи и знакомства. Однако только общение с Белинским и кругом «Отечественных записок» имело решающее значение для всей его жизни и литературной деятельности. Со времени их знакомства до самой смерти Белинского Панаев был одним из наиболее близких ему людей. Белинский ценил его не только как доброго и отзывчивого человека, живого собеседника, но прежде всего как даровитого писателя и человека, понимавшего потребности русской жизни и литературы.

На рубеже 1830-х и 1840-х годов в творчестве Панаева, как и ряда других, более крупных русских писателей — Тургенева, Некрасова, Герцена, Гончарова,— произошел поворот к реализму.

2

С 1839 года Панаев, за немногими исключениями, помещал свои рассказы, очерки и повести в «Отечественных записках» и скоро стал одним из тех прозаиков, которые определяли литературное лицо журнала. По свидетельству многих современников (в том числе М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. Г. Чернышевского, А. И. Герцена), произведения Панаева пользовались большой популярностью.

Проза Панаева отвечает той эстетической программе, которую выставил и активно защищал Белинский,— решительный отказ от романтизма во всех его проявлениях, обращение к жизни, к реальной действительности, критическое отношение к ней. Раскрывая в своих статьях исключительную роль Гоголя для развития современной русской литературы, он придавал большое значение и тем «обыкновенным талантам», которые отличаются не только внешней наблюдательностью, но и «верным взглядом на предмет», «верной точкой зрения на общество», тем самым помогая критике «диких понятий» и «ревущих противоречий» современной русской жизни [1]. Одним из таких «обыкновенных талантов» был Панаев.

Основная установка беллетристики Панаева на изображение общественного быта, нравов и типов определила его влечение к очерку. Иногда он прямо дает своим произведениям подзаголовки «очерки петербургской жизни», «зоологический очерк». Многие другие произведения также по своей структуре принципиально не отличаются от очерков. Сюжет, связанный с судьбой отдельного человека, играет в них служебную роль. Такими являются, например, «Барыня», «Барышня».

Главной темой беллетристики Панаева является сатирическое

[1] Вступление к сб. «Физиология Петербурга». /Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 8. М., 1955. С. 375—384.

изображение представителей господствующего класса. Петербургские (да и не только петербургские) молодые люди, не знающие, чем заполнить время, бездельники, проматывающие на свои прихоти огромные деньги,— вот «герои» ряда произведений Панаева («Онагр» и др.). Эти люди блистают в кругу так называемого среднего петербургского общества с его ничтожными интересами, мелким тщеславием, с искаженными представлениями о добре и зле и презрением ко всем, кто находится хоть на одну ступень ниже на социальной лестнице.

В равной степени относится все это и к другой группе героев Панаева — представителям провинциального дворянства, погруженным, по выражению одного из них, в «желудочную часть» («Актеон»), ссоры и дрязги. В ряде произведений («Раздел имения», «Маменькин сынок», «Родственники», в написанном позже романе «Львы в провинции») Панаев рисует как экономическое, так и духовное вырождение помещичьего класса, продолжая, таким образом, одну из основных тем Гоголя.

Мы не найдем у Панаева развернутой картины жизни крепостных крестьян, он лишь в немногих местах и немногими словами говорит об их нищете и бесправии. Однако самый характер изображения помещиков в достаточной степени ясно свидетельствует об антикрепостнической и антидворянской направленности творчества Панаева.

Наряду со столичными прожигателями жизни и провинциальными разоряющимися помещиками-крепостниками Панаев не менее темными красками рисует преуспевающих дельцов, наживающих капиталы ростовщичеством, мошенничеством и аферами (Бобынин в «Онагре» и «Актеоне»).

Против беспринципной, продажной литературы и журналистики 1830—1840-х годов, которые являлись одной из опор политической реакции, направлены «Литературная тля» и «Петербургский фельетонист».

Интерес к внешности своих героев, их привычкам, бытовой обстановке, в которой они живут, определялся основными тенденциями натуральной школы, стремившейся, как и всякое реалистическое искусство, показать зависимость человека от среды, социальную обусловленность его характера и жизненного поведения. С этой целью, желая показать формирование паразитической психологии своих героев, Панаев почти всегда обращался и к их биографии, к их воспитанию.

Симпатии Панаева сказываются не только в тех красках, которыми он изображает действительность, в распределении света и тени, но и в прямых его оценках, рассуждениях, лирических отступлениях. Например, в конце «Литературной тли» Панаев говорит о «громком и могучем слове человека с убеждением», которое обращено в будущее. «К нему, к этому будущему, устремим все наши помыслы! <...> Золотой век, который слепое предание отыскивало в прошедшем,— впереди нас...» Совершенно очевидно, что слова о «золотом веке», который нужно искать не в далеком прошлом, а в будущем, являются выражением интереса Панаева к идеям утопического социализма. Эта мысль принадлежит французскому социалисту-утописту П. Леру. Ею были увлечены многие русские люди 1840-х годов — В. Г. Белинский, М. В. Петрашевский, М. Е. Салтыков-Щедрин.

Характерной чертой Панаева как писателя является острое ощущение тех проблем, которые выдвигала перед прогрессивной литературой эпоха. Яркое подтверждение этого — повесть «Родственники», напечатанная в начале 1847 года (задумана значительно раньше, до 1843 года). Она в известной степени предвосхищает роман Тургенева «Рудин» (1855). Близка к «Рудину» основная идейная коллизия и сюжетная ситуация: слабый мужчина, неспособный устроить даже свое личное счастье, и сильная девушка, пробужденная им, но скоро в нем разочаровавшаяся. Чтобы пояснить ту идейную почву, которая воспитала рефлексию, расхождение между словом и делом, неспособность к систематическому труду и прочее, Панаев, как позже и Тургенев, рассказывает о кружке молодых людей, где господствовало увлечение идеалистической философией. Разумеется, Тургенев с гораздо большей глубиной и художественной убедительностью показал внутреннюю трагедию дворянского интеллигента, не находящего себе жизненного дела в условиях николаевской монархии. Однако уже самая постановка вопроса о «лишнем человеке», его несостоятельности как исторического деятеля является несомненной заслугой Панаева.

Беллетристика Панаева, человека очень наблюдательного, одаренного чувством юмора и талантом рассказчика, представляет собой скромное явление в замечательном наследии русской литературы XIX века. Следует, однако, помнить, что основная масса его произведений относится к тем годам (1839—1846), когда Тургенев, Гончаров, Герцен, Салтыков, Достоевский, Григорович, Писемский еще только начинали свою литературную деятельность.

3

В середине 1840-х годов ближайшие сотрудники «Отечественных записок» стали все более тяготиться зависимостью от Краевского, для которого журнал был преимущественно коммерческим предприятием. Они начали мечтать о периодическом издании, в котором сами были бы хозяевами — и в идейном, и в материальном отношении. Они остановились на «Современнике» П. А. Плетнева, и вскоре журнал перешел в руки Некрасова и Панаева.

С начала 1847 года «Современник», который до этого превратился в скучный и бледный журнал, стоявший в стороне от жизни, совершенно преобразился. На его страницах появились имена лучших представителей русской литературы. Направление журнала определялось статьями Белинского. В нем печатались Герцен, Некрасов, Тургенев, Гончаров, Григорович, Панаев и многие другие. Центр передовой литературы переместился из «Отечественных записок» в «Современник».

В 1847 году эмигрировал за границу Герцен. В 1848 году умер Белинский. Для «Современника» это были невозместимые потери. К тому же с 1848 года наступили самые тяжелые годы николаевской реакции, так называемое «мрачное семилетие». Правительство стало с еще большим ожесточением преследовать каждое проявление свободной мысли.

Под влиянием политической реакции обозначился спад революционных и оппозиционных настроений в некоторых кругах ин-

теллигенции. Это отразилось и на «Современнике». В частности, либеральное крыло сотрудников (А. В. Дружинин, В. П. Боткин, П. В. Анненков), и прежде во многом расходившееся с Белинским и Герценом, начало открытую ревизию их взглядов. Дружинин стал пропагандировать теорию «искусства для искусства». Некрасов и Панаев не разделяли этих взглядов, но давали им до поры до времени место на страницах журнала.

В эти годы литературная деятельность Панаева протекает главным образом в двух направлениях: Панаев выступает в качестве пародиста и в качестве критика-обозревателя русской журналистики. И то и другое характеризует его как человека, который в основном остался верен литературным взглядам Белинского.

Еще в 1843 году в «Отечественных записках» были напечатаны первые пародии Панаева. Здесь же возник образ их мнимого автора — «Нового поэта», который приобрел более конкретные очертания уже в «Современнике». От имени Нового поэта Панаев с первого же номера «Современника» за 1847 год в течение многих лет печатал свои пародии, а затем обозрения русской журналистики и петербургской жизни.

Пародия представляет собой своеобразную форму критики, и в первую очередь важно поэтому установить, какие литературные явления подвергаются в ней осмеянию.

Объектами первых пародий Панаева были вульгарно-романтическая поэзия Бенедиктова, «хмельные» славянофильские стихи Языкова, пьесы Полевого и Кукольника, т. е. произведения тех же писателей, о которых не раз писал Белинский.

В одной из пародий на Бенедиктова — «К чудной деве» — Панаев, имитируя его, выспренно говорит о мятежной красоте, льющемся из очей пламени, вороненом каскаде волнистой косы и т. п. А завершается это описание «искусительницы» следующими словами:

Он стоял в ее уборной,
Страстно ей смотрел в лицо,
И, страдая, ус свой черный
Все закручивал в кольцо.

В пародии на Кукольника, озаглавленной «Два отрывка из большой драматической грезы "Доминикино Фети, или Непризнанный гений"», Панаев имел в виду его «итальянские» пьесы с их ходульными героями, необузданными страстями, противопоставлением художника толпе.

Романтическая идея «избранности» поэта и его исконной отчужденности от толпы высмеивается и в других пародиях Панаева, например, в пародии «Поэт» на поэму К. Павловой «Двойная жизнь» (гл. 3).

Среди имен своих любимцев Новый поэт назвал и Е. П. Ростопчину. И действительно, в своих пародиях он подчеркивал идейную ограниченность ее творчества, салонный, светский характер ее поэзии («Напрасно говорят, что я гонюсь за славой» — пародия на стихотворение «Она все думает!..», «Было» — на стихотворение «Сказка» и др.).

Некоторых русских поэтов, начавших свою литературную деятельность в 1840-е годы и воспитанных на эстетике романтиз-

ма, очень привлекала поэзия Гейне, причем прежде всего его ранние романтические стихотворения, а не политическая лирика и сатира. Им импонировали в лирике Гейне неопределенность и зыбкость переживаний, неясность сюжетной ситуации, стремление зафиксировать мимолетные чувства, не описывая их, а передавая только намеками. Добролюбов впоследствии писал, что «сущность поэзии Гейне, по понятиям тогдашних стихотворцев наших, состояла в том, чтобы сказать с рифмами какую-нибудь бессвязицу о тоске, любви и ветре»[1]. Именно таким образом оценил эту струю современной лирики Панаев в своих пародиях. К этой группе пародий принадлежит, например, пародия:

Он бледен был. Она была бледна.
Они сидели молча. Перед нею
Стоял стакан с водой. А он
Покачивал печально головою... и т. д.

Панаев очень тонко схватил особенности этого направления русской лирики. Что произошло, почему он и она бледны, чему он странно улыбается и что обозначает его взгляд — все это неизвестно. Но такие же вопросы можно задать (и их действительно задавали) по поводу некоторых стихотворений Фета. Панаев ополчался не на какие-нибудь промахи и неудачи, а на определенное направление, ему чуждое.

Одним из существенных признаков того кризиса, который переживала русская поэзия в 1840-е — первой половине 1850-х годов, было тяготение ко всему экзотическому, необычному, непохожему на повседневную действительность, к далеким странам и эпохам, овеянным романтическим ореолом. Этот уход в область вымысла и иллюзий (потому что далекие страны и давние времена изображались к тому же в подавляющем большинстве случаев весьма условно) Панаев воспринимал как реакцию на быстрое и успешное развитие русской реалистической литературы, на демократизацию ее тематики.

В творчестве многих представителей так называемой «чистой поэзии» — Майкова, Фета, Мея, Щербины и др.— возрождается в эти годы жанр антологического стихотворения. С особой неприязнью относился Панаев к Щербине. Самый метод воспроизведения античного мира был связан у Щербины с крайним эстетизмом, любованием внешними красотами. Поэтому Панаев не раз пародировал его стихи («Греческое стихотворение» и др.) и писал о них в своих журнальных обзорах. В одном из них он писал: «Пушкин в своем стихотворении «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду...» был гораздо более греком, чем многие поэты, претендующие исключительно на Грецию и наводняющие свои стихотворения греческими словами и именами» (1852. № 11. С. 128)[2]. Есть у Панаева пародии на Фета, Полонского и др.

---

[1] Добролюбов Н. А. Рецензия на «Перепевы. Стихотворения „Обличительного Поэта" (Д. Д. Минаева). /Собр. соч. Т. 6. М., 1963. С. 213.

[2] Здесь и далее цитаты из работ Панаева даны по журналу «Современник».

После первых же выступлений в «Современнике» имя Нового поэта становится все более и более популярным. Редакция «Современника», очевидно, придавала Новому поэту существенное значение, и он все время вторгался и в другие отделы журнала. Пародии Нового поэта включались в рецензии других авторов, иногда образ его, как некий стержень, проходил через всю рецензию.

Пародии Нового поэта являются непосредственными предшественниками более тонких и талантливых пародий Козьмы Пруткова и в большинстве своем направлены против тех же литературных явлений, тех же поэтов. Объединяющий их образ Нового поэта, хотя и не сложился в столь целостное и яркое создание, как Козьма Прутков, но является его бесспорным предшественником.

4

С мая 1851 года известный уже в то время читателям своими пародиями и отдельными фельетонами Новый поэт стал вести в «Современнике» ежемесячное обозрение русской журналистики под названием «Заметки (а потом «Заметки и размышления») Нового поэта о русской журналистике». Панаев вел этот отдел в течение четырех с лишним лет.

И в полемических статьях этих лет, и в позднейших историко-литературных работах неоднократно говорилось о фельетонном, поверхностном характере обозрений Панаева. Отмечая слабые стороны Панаева, не нужно, однако, их преувеличивать.

Печатая из месяца в месяц обзор журналистики, Панаев, естественно, принимал участие в той борьбе, которую вел «Современник» с враждебными ему органами, в первую очередь с «Отечественными записками» Краевского и «Москвитянином», с представителями его «молодой редакции» — Ап. Григорьевым и Б. Н. Алмазовым. Следует подчеркнуть, что, полемизируя с Новым поэтом, эти журналы рассматривали его как выразителя направления «Современника». «Журнал "Современник",— писал «Москвитянин» (1852. № 15. С. 125),— собственно заключается в Новом Поэте».

Панаев был весьма скромного мнения о своих обзорах и никогда не претендовал на роль руководящего критика. Интересно, однако, проследить общую направленность его литературных суждений, его понимание стоявших перед литературой задач.

Основное требование, которое мы можем извлечь из многочисленных конкретных оценок Панаева,— это обращение литературы к современной жизни, к реальной действительности. Причем Панаев понимал его не как рабское копирование случайных явлений, бросающихся писателю в глаза, а как умение проникнуть в их сущность. По поводу романа В. А. Вонлярлярского «Силуэт» Панаев, отмечая у него дар внешней занимательности, писал: «Роман — не сброд происшествий, бессвязно спутанных и кое-как распутанных: в романе происшествия должны <...> освещаться мыслию,— истина должна лежать в основе романа» (1851, № 10. С. 16). Полемизируя с «Москвитянином», Панаев с теплым чувством отозвался о литературе, «которая изображает жизнь без при-

крас, *сквозь видимый миру смех и невидимые слезы»* (1852. № 12. С. 268—269). Таким писателем был для него прежде всего Гоголь.

Эти требования — обращение литературы к действительности, стремление понять ее сущность, изображение ее без приукрашивания, в чем бы оно ни выражалось, но отнюдь не бесстрастно и равнодушно — проходят красной нитью через обзоры Панаева.

Панаев нередко обращался к произведениям писателей третьего ряда, показывая давно изжившие себя литературные тенденции (всякого рода идеализацию действительности, романтический стиль à la Марлинский и т. д.).

Приветствуя демократизацию литературы, расширение ее тематики и, в частности, проникновение в нее жизни деревни, деревенского быта (Панаев считал это несомненной заслугой Тургенева, Григоровича, Писемского), он, однако, не мог не видеть, что деревенские повести становились модой, что их писали подчас люди, понятия не имевшие о крестьянине: «Разрумянивать крестьян и крестьянок и наряжать их в театральные костюмы, вводить мелодраму в деревенский быт,— этого решительно невозможно выносить» (1855. № 4. С. 276).

Критически относился Панаев к поэтам «чистого искусства». Рекомендуя Щербине обратиться в своем творчестве к современной действительности, он рассказывает о посещении одного поэта. Стихи этого поэта одушевлены подлинным чувством, они глубоко содержательны, хотя касаются не «высоких» материй, а «житейской прозы». Не называя имени поэта, Панаев приводит его стихотворения (1851. № 11. С. 84—89). Этот поэт — Некрасов.

Подробно писать о Некрасове в «Современнике» Панаев не мог по соображениям журнального такта, однако и в следующем, 1852 году, он вступил в полемику с «Москвитянином» по поводу отрицательного отзыва последнего о программном стихотворении Некрасова «Блажен незлобивый поэт...».

Об А. Н. Островском Панаев писал, что он «блистательно начал свое литературное поприще», а его комедию «Свои люди — сочтемся» назвал «произведением мастера, отличающимся художественным выполнением» (1852. № 4. С. 282). Однако в следующих пьесах Панаев увидел снижение его таланта, а затем и некоторый отход от последовательного гоголевского направления. С этим связаны «Расстегаи» Панаева — пародия на «Неожиданный случай» Островского. Панаев настойчиво возражал против превознесения тех пьес Островского («Не в свои сани не садись» и др.), которые свидетельствовали об известном воздействии на него идей «Москвитянина», и солидаризировался с Чернышевским, с его рецензией на «Бедность не порок». Но в этой же статье Панаев признавал «замечательный и самобытный талант» Островского (1855. № 7. С. 112). Прошел еще год, и Панаев — уже в другом цикле своих журнальных обозрений, «Петербургская жизнь» — с удовлетворением констатировал в связи с пьесой «В чужом пиру похмелье», которую, правда, невысоко ставил в художественном отношении, идейный разрыв Островского с «Москвитянином».

Высоко оценил Панаев роман Григоровича «Рыбаки», считая, что подлинной сферой писателя является именно изображение крестьянского быта, а не тот юмор, впадающий в грубую карикатуру, который характеризует его роман «Проселочные дороги».

Он советовал Григоровичу «всегда оставаться на своей почве, на которой он стоит твердыми ногами» (1853. № 7. С. 86—87).

В творчестве Писемского Панаев отмечал актуальность вопросов, поставленных в ряде его произведений, яркие краски, мастерство в обрисовке людей и пр., отражая нападки на «одного из талантливейших современных беллетристов» (1853. № 8. С. 187). Таковы его оценки «Тюфяка», «Комика», «Сергея Петровича Хозарова». Однако не все в творчестве Писемского вызывало одобрение Панаева. Существенным недостатком Панаев считал чрезмерную «объективность», вследствие которой в иных его произведениях «решительно не было видно, кому из своих лиц он сочувствует», что внушало равнодушие к ним и читателю (1851. № 12. С. 153). Указание на «объективность» Писемского, «нередко уводившую его на путь простого бытописательства и натурализма», не было выражением только личного мнения Панаева. Так писал о Писемском и Некрасов. И оба они исходили при этом из положения Белинского о «субъективности», получившего дальнейшее развитие в эстетике Чернышевского («приговор о явлениях действительности»).

Творчество П. И. Мельникова-Печерского и С. Т. Аксакова также вызвало положительные оценки Панаева. Это тем более интересно, что оба были далеки от «Современника». В рассказе Мельникова-Печерского «Красильниковы» Панаев отметил сжатость и точность; в нем нет «ни одной слабой или неверной черты, ни одного неуместного, вычурного слова», а «действительность является без прикрас, без подмалевок, без ухищрений фантазии» (1852. № 5. С. 126). «Записки об уженьи рыбы» и «Записки ружейного охотника» Аксакова он считал явлением замечательным, произведениями большого художника. «Глубоко поэтическое чувство природы» и «простота в изложении», отсутствие всякой искусственности, «малейшей литературной подрисовки» — вот их высокие достоинства (1854. № 8. С. 130—131).

5

В 1854 году в «Современнике» начал печататься Н. Г. Чернышевский, скоро ставший одним из его основных сотрудников, а затем и руководителей. В 1856 году в «Современник» пришел Добролюбов, и стал, как Чернышевский, членом его редакции. С этого времени внутриредакционная борьба между революционно-демократическим крылом «Современника» во главе с Чернышевским и Добролюбовым и либеральным, к которому примыкали Григорович, Тургенев, Боткин и другие, усилилась. Она отражала напряженную классовую ситуацию в стране в годы подготовки крестьянской реформы. Некрасов пытался смягчить создавшуюся обстановку, но это оказалось невозможным, и тогда он выбрал не своих старых друзей, а тех, кто идейно был более близок ему,— Чернышевского и Добролюбова. Былые друзья, один за другим, постепенно покинули «Современник».

Панаев был, в общем, в стороне от этой борьбы. Но он чувствовал, что историческая правда на стороне Чернышевского и Добролюбова и всегда оставался вместе с Некрасовым издателем-редактором «Современника».

С конца 1855 года вместо обозрений русской журналистики Панаев в течение шести лет вел ежемесячное фельетонное обозрение «Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта». В эти годы он напечатал, кроме того, два очерка, из прежде начатого «Опыта о хлыщах», повесть «Внук русского миллионера», а также «Воспоминание о Белинском» и «Литературные воспоминания», которые не успел закончить. В 1860 году Панаев выпустил четырехтомное издание своих беллетристических произведений («Сочинения») и «Очерки из петербургской жизни Нового поэта» в двух томах.

Главное место в фельетонах Панаева занимают разнообразные бытовые зарисовки, бытовые типы, изображение уличной, публичной и домашней жизни разных слоев петербургского населения. Но по преимуществу именно типы, которые являются основой многих фельетонов, и это сближает их с беллетристикой Панаева. В этой своей центральной части фельетоны Панаева — не столько фельетоны, сколько очерки. Панаев нередко писал также о новых театральных постановках, концертах, художественных выставках, заседаниях научных обществ и пр.

Как и в беллетристических произведениях Панаева, в его фельетонах о столичной жизни изображена преимущественно жизнь господствующих классов. Крупные бюрократы, помещики, фланеры Невского проспекта, тайные и явные ростовщики, люди, живущие на какие-то подозрительные доходы, светские женщины, камелии — вот герои фельетонов Панаева.

Выше всего для них — внешние, условные приличия. Панаев не раз писал о лжи и лицемерии современного общества. Касаясь формулы «это не принято», входящей в нравственный кодекс «порядочных людей», он отмечает ее чрезвычайную гибкость: «Какое нам дело, откуда вы берете деньги, живите только так, как живут все, как принято, если вы хотите прослыть порядочными людьми». Но «если бы мы вгляделись попристальнее в жизнь и в людей, нас окружающих,— читаем дальше,— если бы мы разоблачили все эти таинственные существования так называемых порядочных людей,— нам, может быть, сгладились бы слова и фразы: *человек порядочный... это так принято* и проч.» (1857. № 7. С. 86—88).

Панаев рассказывает в своих фельетонах многочисленные истории карьер и обогащений, характеризующие нравы современного общества. В основе значительной их части, несомненно, лежат подлинные факты. Героем одного из фельетонов 1858 года является некий Максим Иванович Фаворский, достигший генеральского чина и скопивший значительный капиталец. Это ханжа, невежда и подхалим, однако по понятиям своей среды Максим Иванович с честью совершил свое земное поприще. И Панаев подчеркивает, как и в ряде других случаев, что Максим Иванович не исключение, не отступление от нормы, а порождение общественных условий того времени.

Петербургу тунеядцев и бездельников Панаев противопоставлял другой Петербург, в обрисовке которого также сказываются его демократические симпатии. Интерес к жизни бедного люда отчетливо проявился, например, в его фельетоне о Галерной гавани, в котором сначала даны внешнее описание Галерной гавани, картина крайней нищеты, а затем история бедной семьи чиновника, девушки, соблазненной богатым щеголем.

В годы перед крестьянской реформой в фельетонах Панаева появилась тема «певцов крепостного быта». Так, например, в одном из фельетонов 1858 года Панаев описал свою встречу со школьным товарищем, который обрушился на него за статьи по крестьянскому вопросу, печатающиеся в «Современнике» (т. е. в первую очередь статьи Чернышевского), и с негодованием говорил о посягательстве на чужую собственность.

И после реформы 1861 года Панаев также не раз высмеивал крепостников, считавших, что «эта мера рановременна», что она способствовала разрушению «патриархальных, отеческих связей, кои существовали между помещиками и крестьянами». Упоминая об этих помещичьих жалобах, он как бы вскользь сообщает читателю о том, что делается в деревне,— о крестьянских волнениях, отказе выполнять барщину и проч. (1861. № 6. С. 428; № 7. С. 82, 86).

На страницах фельетонов не раз появляются всякого рода ретрограды. Они хотели бы, чтобы жизнь остановилась, застыла в прежних формах. С ненавистью относятся они и к литературе, которая подтачивала любезный их сердцу порядок. Эта «литература дурного тона» началась с Гоголя. «Мертвые души», по их мнению, «гнусная клевета на Россию» (1856. № 11. С. 109), «сочинение, оскорбительное для дворянского сословия» (1857. № 4. С. 314). Не менее возмущаются они и «Губернскими очерками» Щедрина — «в них все представляется в искаженном виде, с одной только неблагоприятной стороны». И вообще не дело литературы заниматься такими вопросами: «Мало ли у нас предметов для описания — картины природы, любовь! Почему бы, например, не взять какой-нибудь исторический сюжет <...> тут поэтическое воображение очень может разыграться, а то чиновники, помещики — что это и кому это интересно?» (1857. № 4. С. 313, 315).

Начиная с 1855 года в фельетонах Панаева появляется тема, которая в значительной степени определяет его литературно-общественную позицию. Это — вопрос о «молодом поколении» и о необходимости идти в ногу со временем. Существенно подчеркнуть при этом, что «молодому поколению» Панаев противопоставлял не только рутинеров и реакционеров, которым каждое новое слово и свежая мысль кажутся потрясением всех основ, но и либеральных деятелей своего поколения. Панаев призывал не застывать на старых, уже отживших позициях, а «идя неутомимо и дружно наряду с временем, никогда не упуская из виду исторической точки зрения <...> радостно встречать и приветствовать все возникающее, молодое, живое, новое, свежее, полное надежд...» (1855. № 2. С. 220—221).

Эти мысли не раз повторялись Панаевым на протяжении 1856—1861 годов. Разумеется, «старое поколение», «молодое поколение» были для него социально-историческими и идеологическими понятиями. Старое поколение — это крепостники, люди его поколения — либеральное дворянство, молодое поколение — разночинцы-демократы.

В решении этой проблемы в фельетонах Панаева есть и некоторая эволюция, связанная с все большей социальной дифференциацией в предреформенные годы. Если сначала Панаев призывал людей своего поколения (то есть либералов) прислушаться к го-

лосу истории, то затем, уже не надеясь на это, по преимуществу развенчивал их.

В фельетонах Панаева о петербургской жизни значительно меньшее место, чем в «Заметках о русской журналистике», уделялось, естественно, литературе, о которой писали в других отделах журнала. Зато чаще обращался он к театру и живописи, а иногда затрагивал и общие эстетические проблемы.

Панаев не раз с глубоким осуждением отзывался о теории искусства для искусства, активно участвуя в острой борьбе с нею «Современника». «Неужели,— спрашивал он,— действительно поэтам так антипатичны всякая борьба, всякое современное движение, и они могут в минуты этой борьбы беспечно бряцать на лирах, издавая сладкие соловьиные звуки? Нам кажется, что эта борьба должна бы пробудить поэзию к новой жизни, вызвать новые, могущественные звуки» (1860. № 12. С. 404). Констатируя в обзоре художественной выставки 1861 года торжество реализма в русском искусстве, Панаев писал, что «литераторы и художники не стыдятся уже изучать народные нравы, изображать грязные деревенские лачуги, бедную русскую природу, мужичка в лаптях и чиновника в вицмундире с заплатами...» (1861. № 9. С. 82).

О чем бы ни писал Панаев — о литературе, театре, живописи,— основным критерием является для него правда жизни. «Конечно, есть, может быть, некоторая разница между *сценической правдой* и *правдой жизни,* <...> но можно сказать утвердительно, что чем более сценическая правда будет приближаться к правде жизни, тем более она будет выигрывать, и величайшим артистом или артисткой, кажется, могут назваться тот или та, кто откроет тайну полного слияния этих правд» (1856. № 1. С. 106). Погоня за эффектами, тяготение ко всему условно-поэтическому, ложная риторика во всех их проявлениях вызывают с его стороны активное сопротивление. Отдавая должное первоклассному таланту Каратыгина, Панаев считал, что он был «последним талантливым представителем старого искусства, старой школы на нашей сцене». Попытка французской трагической актрисы Рашель возродить трагедию XVII века была, по словам Панаева, «гениальным анахронизмом» (1861. № 2. С. 374—376).

Именно исходя из требований жизненной правды, высоко ценил Панаев замечательных русских актеров — Прова Садовского и А. Е. Мартынова. Характеризуя их творческую индивидуальность и исполнение отдельных ролей, Панаев вместе с тем подчеркивал и их общие черты, их место в истории русского театра. Мартынов инстинктивно понял, писал он, что «время старого риторического искусства прошло безвозвратно <...> Он первый явился на русской сцене настоящим человеком, каков он есть в действительной жизни, в свои комические и трагические минуты. Мартынов показал нам в первый раз русского человека — помещика, купца, крестьянина, чиновника — он глубоко и верно, со всеми тончайшими оттенками, уловил черты каждого из этих сословий» (1860. № 9. С. 118).

С теми же критериями подходил Панаев и к живописи. Так же, как и у Каратыгина, он признавал большой талант у К. П. Брюллова. Но картины, вызывавшие в былое время чувство восторга, показались ему через четверть века вялыми и бледными. Причина этой перемены, полагал Панаев, заключается в том, что

резко изменились наши эстетические вкусы и требования, что Брюллов никогда не отличался глубиной мысли, и «таинства внутреннего мира» всегда оставались для него недоступными (1861. № 4. С. 504; № 9. С. 136).

Брюллову он как бы мысленно противопоставляет «Гоголя нашей живописи» — П. А. Федотова, в каждой картине которого «заключается целая повесть, заставляющая зрителя невольно задумываться над нею» (1861. № 9. С. 74—75, 82).

Характерно, что в обзорах художественных выставок он с похвалой отозвался о картинах тогда еще молодых будущих передвижников В. Г. Перова «Приезд станового на следствие» и В Г. Якоби «Арестанты на привале».

В связи с театральными постановками Панаев нередко обращался к драматургии.

Сетуя на репертуар Александринского театра, он заметил: «Если бы не г. Островский <...> в русский театр почти незачем было бы заглядывать» (1857. № 6. С. 290, 293).

К пьесам Островского он обращался не раз. В частности, еще до статьи Добролюбова «Луч света в темном царстве» он высоко оценил «Грозу» как «замечательнейшее явление русской литературы — и по мысли <...>, и по выполнению», а Катерину назвал «самым поэтическим из его созданий». Чтобы отыскать поэзию в этом быту, утверждал он, мало одного таланта — нужно еще «глубокое знание народного быта, серьезное проникновение в этот быт и — что важнее всего — любовь к русскому человеку». Рисуя Катерину как жертву самодурства и дикости, Панаев восклицал: «Грустно думать, сколько, может быть, погибает таких жертв на Руси, как бедная Катя!..» (1859. № 12. С. 371—376). В этом восклицании отразилось признание глубокого художественного обобщения, заключающегося в творении Островского.

Несмотря на то, что в фельетонах Панаева было немало информационного, политически нейтрального, развлекательного материала, хотя некоторые его оценки и высказывания говорят о непоследовательности и колебаниях, однако общая демократическая направленность его литературной деятельности совершенно бесспорна.

6

Значительное место в литературном наследии Панаева занимают его воспоминания.

Свои оценки современных ему деятелей литературы Панаев зафиксировал в ряде своих произведений еще в начале 1840-х годов. В 1850-е годы в «Заметках Нового поэта» он неоднократно, по разным поводам, обращался к прошлому, описывая отдельные эпизоды, рисуя портреты некоторых писателей и литераторов.

Каждый мемуарист оценивает описываемые им события со своих позиций и окидывает взглядом прошлое с точки зрения сегодняшнего дня. Иногда эта позиция мемуариста затушевывается — сознательно или бессознательно. Совершенно несвойственно это Панаеву. Он открыто высказывал свои симпатии и антипатии, открыто становился на сторону одного из боровшихся между собой направлений литературы и общественной мысли 1830—1840-х годов, которым и посвящены его воспоминания.

Поступая таким образом, Панаев не только восстанавливал в памяти ту борьбу, участником которой он был в прошлом, но продолжал ее в настоящем, поскольку революционная демократия 1850—1860-х годов подхватила и развила те общественные и литературные идеалы, которые были выдвинуты Белинским. Именно этим и объясняется в значительной степени самое обращение Панаева к мемуарам.

Белинский является основной фигурой мемуаров Панаева. Ему посвящено специальное «Воспоминание», он является главным героем неоконченных «Литературных воспоминаний».

Вокруг личности и идейного наследия Белинского борьба велась в 1850—1860-е годы. Это был не чисто академический спор о литературном прошлом, а столкновение по весьма актуальным — и притом выходящим далеко за пределы литературы — вопросам.

После смерти Белинского имя его было запрещено упоминать в печати. Одно чтение знаменитого письма к Гоголю являлось в глазах властей предержащих тягчайшим преступлением. В период тяжелой политической реакции, наступившей после 1848 года, многие из былых союзников Белинского стали решительно переоценивать его общественные и литературные взгляды.

Но вот в 1855—1856 годах молодой еще Чернышевский, незадолго до этого пришедший в «Современник», пишет свои «Очерки гоголевского периода русской литературы», в которых центральное место занимает Белинский. Характеризуя формирование его мировоззрения, Чернышевский показывал закономерность появления Белинского в русской жизни, его роль в истории русской мысли и подчеркивал необходимость дальнейшего развития его идей. Таким развитием не только эстетических, но и социально-политических идей Белинского была вся деятельность Чернышевского, Добролюбова и их единомышленников.

Имя Белинского было знаменем для всей передовой молодежи. Даже идейный противник Белинского, славянофил Ив. Аксаков, должен был констатировать в 1856 году: «Много я ездил по России; имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому, жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни. Нет ни одного учителя гимназии в губернских городах, которые бы не знали наизусть письма Белинского к Гоголю <...>. И если вам нужно честного человека, способного сострадать болезням и несчастиям угнетенных, честного доктора, честного следователя, который полез бы на борьбу,— ищите таковых в провинции между последователями Белинского» [1].

Переписка второй половины 1850-х — начала 1860-х годов, журнальные статьи этих лет отчетливо показывают всю остроту борьбы по поводу идейного наследия Белинского. Точку зрения передового общества выразил после Чернышевского и Добролюбов, который в рецензии на первый том Собрания сочинений Белинского писал: «Что бы ни случилось с русской литературой, как бы пышно ни развилась она, Белинский всегда будет ее гордостью. ее славой, ее украшением. <...> До сих пор каждый из лучших наших литературных деятелей сознается, что значительной частью

[1] Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Т. 3. М., 1892. С. 290—291.

своего развития обязан, непосредственно или посредственно, Белинскому»[1].

Противники демократической мысли и литературы 1850—1860-х годов не без основания видели в Белинском ее непосредственного предшественника. Именно поэтому они стремились скомпрометировать и очернить Белинского. В 1857 году, призывая Шевырева подать голос против «апофеоза памяти Белинского», Вяземский назвал Белинского «литературным бунтовщиком, который, за неимением у нас места бунтовать на площади, бунтовал в журналах»[2].

Но если одни открыто враждебно высказывались о Белинском, то другие (показательна в этом отношении статья Я. К. Грота «Белинский и его мнимые последователи»[3]), не скупясь на похвалы, пытались вместе с тем доказать, что революционные демократы 1860-х годов не имеют с ним ничего общего. Наследниками соответствующим образом препарированного Белинского объявлялись умеренные либералы и даже консерваторы.

Аналогичная попытка «обезвредить» Белинского исходила и из правительственных кругов, по заказу которых была написана книга «Белинский как моралист» (1862). Цель ее была сформулирована министром народного просвещения А. В. Головниным следующим образом: «Показать, как далек был Белинский от возмутительной проповеди нашего времени»[4]. Тенденция противопоставить Белинского Чернышевскому и Добролюбову была чужда не только «Современнику», но и всему демократическому лагерю, в том числе и Герцену, который, несмотря на свои разногласия с Чернышевским, считал его «самым талантливым из преемников Белинского»[5].

Чтобы понять общественное звучание воспоминаний Панаева, необходимо рассматривать их в контексте всех этих фактов. Разумеется, Панаев разделял представления демократического лагеря об исторической роли и значении деятельности Белинского. Он с большим вниманием и сочувствием рассказал о мучительных исканиях Белинского, формировании его взглядов, о его принципиальности и непримиримости по отношению к враждебной идеологии, о Белинском — организаторе передового литературного движения. Допуская ошибки в трактовке отдельных вопросов, Панаев правильно осветил основную устремленность деятельности Белинского и направление передовой литературы 1840-х годов, причем обрисовал все это таким образом, что читателю становилось ясно, что дело Белинского отнюдь не устарело, но, напротив, должно быть продолжено и развито на новом историческом этапе.

Панаев понимал, что деятельность Белинского была органически связана с русской жизнью и наилучшим образом ответила на требования своего времени. «Не Гоголь и не Белинский,—

---

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч. Т. 4. М.—Л., 1962. С. 277.
[2] Русский архив. 1885. № 6. С. 317—318.
[3] С.-Петербургские ведомости, 1861. № 109.
[4] Письмо к председателю С.-Петербургского цензурного комитета В. А. Цеэ от 14 июля 1862 года; опубликовано в кн.: Зайцев В. А. Избр. соч. Т. 1. М., 1934. С. 482—483.
[5] Герцен А. И. Новая фаза русской литературы (1864). Собр. соч. Т. 18. М., 1959. С. 200.

писал он в фельетоне, напечатанном одновременно с воспоминаниями (1861. № 3. С. 160),— а *время* породило все эти новые взгляды, все эти новые потребности, все эти новые стремления и вызвало новых литературных деятелей. Гоголь и Белинский были только полными представителями потребностей своего времени» [1].

В воспоминаниях Панаева говорится о многих фактах русского литературно-общественного движения 1830—1840-х, а отчасти также 1820-х и 1850-х годов; в них упоминается много произведений и журналов этих лет, рассказываются многочисленные эпизоды, характеризующие литературную жизнь; Панаев хорошо знал очень многих литераторов, и перед читателем его воспоминаний проходит целая галерея писателей, журналистов, критиков, ученых разных направлений — как наиболее известных и крупных, так и мелких, давно забытых.

Каковы же те основные темы и персонажи, которые фигурируют в воспоминаниях Панаева? То, что он рассказал о 1820-х годах и своих ранних литературных увлечениях романтизмом, «Московским телеграфом» Н. Полевого, является лишь введением. Широко описано следующее десятилетие, которому посвящена первая часть воспоминаний. В русской литературе 1830-х годов, несмотря на деятельность Пушкина и Гоголя, влияние романтических идей было еще весьма значительно. Через увлечение романтизмом прошли почти все крупные представители реалистической литературы середины XIX века, а массовая литература этого десятилетия была заполнена вульгарным, эпигонским романтизмом. Характеризуя историческую почву и политическую направленность этой литературы, Герцен писал: «В этих исторических образах, порожденных Кукольниками, Бенедиктовыми, Тимофеевыми и др., не было ничего жизненного, реального. Подобные цветы могли расцвести лишь у подножия императорского трона да под сенью Петропавловской крепости» [2].

Много страниц воспоминаний Панаева посвящено Н. Кукольнику, увлечение которым Панаев сам пережил, Загоскину, Бенедиктову, Каратыгину, Брюллову и другим, менее значительным. Панаев с большой живостью показывает их и в быту, сталкивая его с выспренними и претенциозными, беспочвенными мечтаниями.

Через воспоминания Панаева проходят и главные журналисты этих лет — Булгарин, Греч, Сенковский, Воейков, а затем Полевой — предмет прежних страстных увлечений Панаева, ставший после закрытия «Московского телеграфа» покорным и верноподданным, и Надеждин, также значительно потускневший после прекращения «Телескопа» и ссылки.

Наряду с ними уже в первой части воспоминаний Панаева эпизодически появляются представители новых тенденций литературы, противостоящих эпигонскому романтизму,— Гоголь, Лермонтов, Белинский. Вторая часть, посвященная в основном периоду «Отечественных записок» и первым годам «Современника», при всем многообразии тем, эпизодов, людей, в ней описанных, объединена вполне ясным стержнем — борьбой Белинского, Гер-

---

[1] Ср. с рассуждениями о Белинском как служителе «исторической потребности» в «Очерках гоголевского периода» Чернышевского (Полн. собр. соч. Т. 3. М., 1947. С. 183).

[2] Герцен А. И. Собр. соч. Т. 7. М., 1956. С. 221.

цена и их единомышленников за передовое мировоззрение и реалистическую литературу.

В «Отечественных записках» и натуральной школе объединились писатели и критики разных политических убеждений — как последовательные демократы и революционеры, так и люди, враждебно настроенные по отношению к николаевской монархии, крепостному праву и рептильной журналистике, но придерживавшиеся либеральных взглядов. Панаев, как и многие его современники, не имел вполне отчетливого представления об этом. Так, он утверждал в своих воспоминаниях, что в пору «Отечественных записок» у Грановского не было политических разногласий с Герценом, который якобы не доходил еще тогда до «беспощадной крайности своих воззрений». Не увидев этих разногласий, Панаев невольно воспользовался и либеральной фразеологией, охарактеризовав революционные взгляды Герцена приведенными словами, в которых есть некоторая нотка осуждения, казалось бы, не соответствующая идейным симпатиям Панаева.

И все же Панаев ощущал эту грань между Белинским и Герценом, с одной стороны, и Грановским — с другой. При всей своей симпатии к этому незаурядному и обаятельному человеку Панаев в конце посвященной ему главы отдает предпочтение людям иного склада, людям, которых он характеризует словами самого Грановского — смело идущие вперед, не спотыкаясь о «развалины прошедшего». Такими людьми Панаев, конечно, считал Белинского и Герцена. В последней, неоконченной главе воспоминаний нарисован социально-психологический портрет Огарева. В отличие от «примирителя» Грановского Огарев «с каким-то тайным наслаждением» рвал те связи, которые прикрепляли его еще к «старому отживающему миру».

Близость к Белинскому и демократические взгляды Панаева помогли ему правильно оценить основные явления общественно-литературной жизни 1830—1840-х годов. Однако недостаточные глубина и последовательность этих взглядов привели его к отдельным, иногда весьма существенным ошибкам и заблуждениям.

Характеризуя в воспоминаниях взаимоотношения между литературой и светским обществом, констатируя вредное влияние последнего на литературу, Панаев преувеличивал аристократические предрассудки Пушкина и Лермонтова, их тягу к светским знакомствам, которые так трагически сказались на судьбе гениальных русских поэтов. Не меньшим заблуждением является утверждение, что в 1830-е годы Пушкин был сторонником теории «искусства для искусства» и наиболее ярко выразил ее в стихотворении «Поэт и чернь». Здесь Панаев оказался под гипнозом тех самых «бессердечных и празднословных литературных джентльменов» 1850-х годов, которые, борясь с «гоголевским направлением» и революционно-демократической критикой, выставили в качестве своего знамени Пушкина, стремясь представить его приверженцем «чистого искусства». Пушкин никогда не проявлял равнодушия к общественным интересам и не считал, что искусство составляет «отдельный, независимый, свой мир», но стремился освободиться от опеки самодержавия, отстоять свою независимость и под чернью разумел в первую очередь правящие круги и светское общество.

Основываясь на личных воспоминаниях, Панаев без достаточных оснований считал, что под влиянием реакции «обществен-

ные вопросы и политическое движение <...> почти совсем не занимали в 30-х годах даже передовых людей в литературе». Это противоречит тому, что сам же он рассказал о Герцене, Соколовском и др. Очень односторонне в связи с этим рассматривал Панаев и тот период идейного развития Белинского, который известен под названием «примирения с действительностью». Ярко и колоритно рассказывая о мучительных исканиях Белинского, близким свидетелем которых он был, Панаев вместе с тем не прав, утверждая, что Белинский в это время был совершенно чужд общественным вопросам и интересам, как впрочем, считали писавшие о Белинском еще долго после Панаева. Между тем, несмотря на заблуждения Белинского этого периода, именно тогда в его сознании возникли, хотя и не получили еще правильного разрешения, важные социально-исторические вопросы — и в первую очередь вопрос о закономерности исторического процесса,— без решения которых немыслимо было прийти к зрелому и последовательному мировоззрению, исторически обосновать революционные идеалы.

Одни из отмеченных только что утверждений Панаева были его личными ошибками, другие разделялись многими его современниками и являлись в этом смысле типичными. Но следует подчеркнуть, что они не меняют общего облика, общего смысла, общей идейной направленности воспоминаний.

Воспоминания Панаева касаются одной из интереснейших эпох русской литературы и общественной мысли и дают обильный материал для ее понимания. Не случайно исследователи, занимавшиеся этой эпохой в целом и отдельными ее представителями, постоянно обращались и обращаются к ним, используя заключенные в них фактические сведения, характеристики и оценки. И действительно, многое в воспоминаниях Панаева, в первую очередь то, что относится к личному облику, идейным исканиям и высказываниям Белинского и деятелей его круга, представляет первостепенный интерес. По-своему замечательны, например, страницы, посвященные свиданию Белинского с Лермонтовым в Ордонансгаузе, не раз привлекавшие к себе внимание изучавших как Лермонтова, так и Белинского. В книге много ярких эпизодов, характеризующих литературную борьбу и литературные нравы эпохи. Колоритно описана встреча Панаева и Белинского с Булгариным на Невском проспекте скоро после переезда Белинского в Петербург, когда Булгарин, отозвав Панаева в сторону и узнав, что с ним идет Белинский, не без страха произнес: «Так это бульдог-то, которого выписали из Москвы, чтобы травить нас?» Впоследствии Белинский не раз посмеивался над этим.

Тщательная и даже придирчивая проверка всех фактов, которые сообщает Панаев, дает основание утверждать, что его воспоминания гораздо точнее многих других, содержат в себе меньше фактических ошибок и являются поэтому надежным источником.

Воспоминания Панаева принадлежат к числу тех, которые написаны живо, интересно и увлекательно. Перед читателем проходит множество людей, и все они остаются в памяти. Панаев-мемуарист обладает дарованием портретиста, умеющего двумя-тремя штрихами (пусть иногда несколько карикатурными) воспроизвести человеческую фигуру, и даром меткой характеристики. Когда Панаев, говоря о семействе Аксаковых, замечает, что это

была «патриархальная, широкая помещичья жизнь, перенесенная в город», в нашем сознании возникает не только внешняя картина, но и социальный облик славянофильского гнезда. Хорошо обрисован В. Ф. Одоевским, гуманный и чудаковатый человек, у которого симпатии к Белинскому прихотливо сочетались с интересом к мистической философии, а филантропические занятия — с кулинарией. Надолго запоминаются Каролина Павлова с ее претензиями на гениальность и аристократизм; Кетчер с его раскатистым смехом и постоянными шуточками; светский дилетант Соллогуб, стеснявшийся своих занятий литературой, и многие другие. Живое ощущение эпохи, яркие портреты литературных деятелей делают воспоминания Панаева не только незаменимым источником для историка литературы, но и увлекательной книгой для каждого читателя, интересующегося прошлым русской литературы и общественной мысли.

* * *

До самой смерти (18 февраля 1862 года) Панаев остался верен «Современнику»; его кончина была воспринята редакцией журнала как ощутимая потеря.

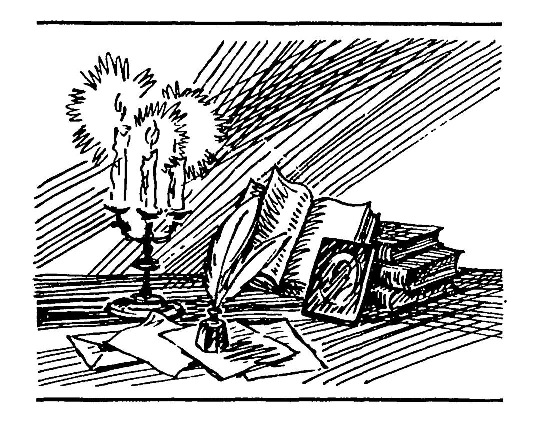
По агентурным сведениям III отделения, Чернышевский предполагал произнести у могилы Панаева речь, но воздержался от этого, потому что на кладбище было «много посторонних ушей»[1]. Неизвестно, что именно хотел сказать Чернышевский — по всей вероятности, примерно то, что появилось на страницах февральского номера «Современника» — некролог, напечатанный без подписи, но принадлежащий Чернышевскому.

Требовательный к себе и к другим, Чернышевский написал о Панаеве с большой теплотой — как о честном, бескорыстном человеке, хорошем товарище, писателе, имевшем свою долю влияния и заслуженного успеха, и полезном общественном деятеле. Особо подчеркнул он то обстоятельство, что Панаев серьезно смотрел на дело литератора, которому посвятил свою жизнь, и «постоянно работал над собою, стараясь о собственном совершенствовании,— это факт, известный всем, кто знал его долго и близко <...>. Убеждения его не застывали в неподвижную форму с приближением старости; симпатии его в 50 лет, как и в 25, были на стороне молодого поколения».

Так Чернышевский мог отзываться только об идейно близком ему человеке.

И. Г. Ямпольский

[1] Н. Г. Чернышевский в донесениях агентов III отделения (1861—1862 гг.). Красный архив, 1926. № 1 (14). С. 110.



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (1830—1839)

ГЛАВА I

(Вступительная)

Благородный пансион при Петербургском университете.— Профессора и преподаватели.— Речь на акте.— Граф Хвостов.— Письмо ко мне литератора Римского-Корсакова.— Литературный вечер у него.— М. И. Глинка и барон Дельвиг.— Литературные шуты.— Экзамены.— Пирамида и шапочка.— Выход наш из пансиона с помощию влюбленного инженера.— Несколько заключительных слов.



Приступая к моим литературным воспоминаниям, я должен говорить и о самом себе, настолько, насколько это необходимо для связи рассказа. Я буду откровенен. Обличать самого себя труднее, чем других; но я постараюсь быть твердым и не поколеблюсь при мысли, что моя откровенность может подать повод к более или менее остроумным выходкам против меня журнальных и газетных канцеляристов. Такие выходки давно уже не производят на меня никакого впечатления. Отрешившись мало-помалу от большей части диких взглядов и предрассудков той среды, в которой я взрос и воспитался, я могу говорить о своем прошедшем, не смущаясь.

Я учился в *Благородном пансионе при Петербургском университете* (теперь 1-я гимназия). Перед этим я был помещен в *Высшее училище* (теперь 2-я гимназия), в котором я пробыл только две недели... Я умолял, чтобы меня взяли оттуда, потому что не хо-

тел учиться вместе с детьми разночинцев и ремесленников. В двенадцать лет, несмотря на совершенное ребячество, я уже был глубоко проникнут чувством касты, сознанием своего дворянского достоинства. Мольбы мои взять меня из Высшего училища нашли не только совершенно основательными, но даже некоторые из близких мне людей рассказывали об этом своим знакомым с гордостию: «Дитя, а какие высокие чувства!» — и я выиграл этим в глазах родных и знакомых.

Меня определили в Благородный пансион[1].

Эти *благородные* пансионы существовали единственно только для детей привилегированного класса, родителям которых казалось тогда обременительным и бесполезным подвергать своих избалованных и изнеженных деток излишнему труду и тяжелому университетскому курсу, наравне с какими-нибудь разночинцами и семинаристами. Курс благородных пансионов едва ли был не ниже настоящего гимназического курса, а между тем эти пансионы пользовались равными с университетами привилегиями. Некоторые профессора университета и учителя не скрывали по этому поводу своего негодования и высказывали его очень резко, особенно на экзаменах. Они пожимали плечами, покачивали головами и справедливо замечали, что награждать университетскими привилегиями таких *неучей*, как *мы* — вопиющая несправедливость. Об этом нам особенно часто повторял учитель латинского языка, преподававший этот язык также и в Высшем училище. Он с каким-то особенным ожесточением нападал на нас. Неблаговоспитанность его доходила до крайних пределов. Если кто-нибудь из нас не знал урока и повторял подсказываемое ему сзади товарищем,— то учитель, насупив свои густые брови, восклицал обыкновенно:

— Коли будешь слушать чужие речи, то тебе взвалят осла на плечи.— Болван!

При таких грубых выходках оскорбленные ученики поднимались со своих скамеек и в один голос говорили:

— Покорно прошу обращаться с нами вежливее. Здесь не Высшее училище. Мы дворяне.

— Ах вы, пустоголовые дворяне! — возражал учи-

тель.— Ну какой в вас толк? Да у меня в Высшем училище последний ученик, сын какого-нибудь сапожника, без одной ошибки проспрягает глагол *amo*, покуда я его держу на воздухе за ухо...

Профессор математики, экзаменовавший нас[2], обыкновенно повторял с злобою:

— Нет, никуда вы не годитесь... разве только в гусары либо в уланы.

Впрочем, некоторые профессора и учителя, самые неумолимые, строгие и грубые, оказывались не только снисходительными, даже нежными к тем из нас, которые перед экзаменом адресовались к ним с просьбою о *приватных уроках*. К числу таких принадлежал и неблаговоспитанный учитель латинского языка.

Когда ученик являлся к нему перед экзаменом с просьбою о приватных уроках, учитель латинского языка обыкновенно приятно ухмылялся и говорил:

— Я предупреждаю вас, что беру за уроки дорого... 25 р. за урок. Шесть уроков для вас будет довольно. Это будет стоить вам 150 р.— и деньги покорнейше прошу вперед.

Ученик отдавал ему деньги. Учитель являлся на первый урок, объявлял ему то, что именно он спросит его на экзамене, и затем уже более не являлся на остальные пять уроков, отговариваясь неимением времени или болезнью[3].

К таким наставникам мы не могли питать уважения; к тому же их рутинное, пошлое, устарелое преподавание по самым жалким курсам не могло не только заохотить нас к ученью, но просто отвращало нас от этой мертвой науки — и мы принуждали себя учиться только для того, чтобы получить известный класс... Наши умственные способности нисколько не развивались; они, напротив, тупели, забитые рутиной. Бессмысленное заучиванье наизусть, слово в слово по книге, было основой учения, и потому самые тупые ученики, но одаренные хорошею памятью, всегда выходили *первыми*.

Пошлость, тупоумие и разные нелепые выходки наших наставников заставили нас смотреть на них как на шутов и забавляться их смешными и слабыми сторонами.

Профессор истории Т. О. Рогов, вяло преподававший историю по учебнику Кайданова — маленький, тучный человечек, страстный охотник до ватрушек, читал нам однажды об Лжедмитрии. Некоторые из учеников запаслись накануне за ужином сырниками и положили их утром разогреть в печь... Запах творога начал щекотать тонкое обоняние профессора, и он, не докончив фразы, сошел с кафедры и отправился прямо к печной заслонке, отворил ее и, запустив руку в печь, воскликнул:

— Уж тут у вас, наверно, ватрушки?

— Это, Трофим Осипович,— заметил один из учеников,— лжеватрушки, потому что это сырники.

Невинное замечание это показалось профессору оскорблением преподаваемой им науки и нарушением дисциплины. Он взглянул с любовию на сырник, положил его в печь и, обратившись к ученику, сделавшему замечание, с строгим видом произнес:

— А вот я сведу вас к инспектору за вашу неприличную и неуместную выходку! — и погрозил ученику, но потом, успокоившись, взошел на кафедру, растерев предварительно несколько плевков на полу, которых он не мог равнодушно видеть, что, конечно, заставляло учеников заплевывать весь пол перед его приходом.

Т. О. Рогов брал с нас подписку на свой курс истории. Он говорил, что этот курс у него совсем готов, стоит только приступить к печатанию, но прибавлял наивно, что он боится разбойника Полевого, для которого нет ничего священного и который, пожалуй, обругает его[4].

Преподаватель математики К. А. Шелейховский был еще забавнее профессора истории. Шелейховский был поэт. Рассеянный, бледный, вечно с взъерошенными волосами, он часто останавливался среди своих вычислений, бросал с негодованием мел, отходил от доски и восклицал тоненьким певучим голосом:

— Мне эта сушь надоела, господа!.. Что вам задал к переводу латинский учитель? — Дайте я вам переведу. Я ведь многие места из Салюстия знаю наизусть...

Ученики, разумеется, с радостию исполняли его желание, и он тут же принимался переводить, забывая о своей математике.

Он не знал ни одного ученика в лицо и запомнил фамилию только одного, который ходил с костылем; но если ученик с костылем не знал урока, то на вызов учителя выходил за него другой, вооруженный костылем. Учитель никогда не замечал этой проделки.

Преподаватель прав г. Анненский, маленький, худенький господин с черными масляными глазками и с хохолком напереди, очень смешно пришепетывавший, более всех подвергался оскорблениям воспитанников. Его никто никогда не слушал. Во время его классов разговаривали, кричали, играли под столом в орлянку и в карты, а иногда целые скамейки двигались на него, образовывали около него каре и теснили его к стене. Он сердился, плакал, выбегал из класса и второпях опускал ноги в галоши, не замечая, что они налиты квасом. Когда его перевели в Ришельевский лицей и он в последний раз явился к нам на лекцию, его прощание с нами было смешно, но вместе с тем оставило в нас тяжелое впечатление.

«Господа! — говорил он: — я просцаю вам те осколбления, котолие вы постоянно наносили мне. Ластанемся длузьями... Мозет быть, господа, кто знает?.. (и в эту минуту на глазах его показались слезы) звезда сцастия заголится для меня над Эвксинским понтом...»[5]

В этот раз над ним никто не смеялся, и когда один из воспитанников хотел при выходе его дать ему щелчок в затылок,— другие остановили его... Он крепко жал всем руки, и лицо его выражало грустное умиление от чувства признательности, что с ним в последний раз обошлись по-человечески.

Один только из всех учителей пользовался некоторою любовию и вниманием воспитанников за свой смелый и *свободный* образ мыслей. Это был учитель российской словесности В. И. Кречетов, издавший поэму Подолинского «Див и Пери» с кратким предисловием, в котором сказано было, что «это такой цветок в вертограде нашей словесности, мимо которого нельзя пройти не полюбовавшись»[6]. Кречетов был из семинаристов. Он имел с небольшим лет 30, был высокого роста, коренастого телосложения, с орлиным носом, с головою в форме груши, как у Людовика-Филиппа, покрытою белокурыми волосами с завит-

ками на висках. Волосы эти начинали редеть, что, по-видимому, его беспокоило, потому что он имел некоторое поползновение к светскости и щегольству, и он беспрестанно запускал свои пальцы в волосы, отряхал пальцы перед глазами, брал для чего-то выпавший волос, рассматривал его и раздирал не без некоторого ожесточения. Он имел также особую манеру сморкаться: вынимал из кармана чистый платок, встряхивал его, высмаркивался в самый кончик, завертывал его тщательно и потом оскаливал зубы и потрясал головою... Большим красноречием он не обладал, но вздувал и взмыливал свои фразы, добавляя недосказанное жестами рук и различными телодвижениями. Смелость и свободный образ мыслей его заключались в том, что он открыто и прямо называл Пушкина великим поэтом и даже приносил нам его новые стихотворения, прочитывал их и разбирал их красоты. Тогда это была действительная смелость, потому что даже имя Пушкина, как безнравственного и либерального писателя, нельзя было произносить в учебных заведениях. Кречетов притом подсмеивался над всеми пиитиками и реториками и говорил, что он только по необходимости преподает нам все эти пошлости. Он занимал нас рассказами о своих литературных связях и, упоминая о Баратынском и Дельвиге, обыкновенно прибавлял: *мой* Дельвиг, *мой* Баратынский, или мой *Евгений.* Из древних писателей, знакомством которых он любил щегольнуть, Кречетов более всех восхищался Горацием и называл его также — *мой* Гораций.

Он любил подтрунить при случае над другими нашими преподавателями и называл их с презрительной гримасой глупыми староверами; нередко намекал нам о том, что у него в голове роятся *тысячи мыслей,* но что недостаток времени не дает ему возможности олицетворить эти мысли в поэтические образы. Один из всех наших учителей — он отзывался с уважением о Полевом и о его «Московском телеграфе». Кречетов обращался с нами по-приятельски, не давая чувствовать силу своей учительской и начальнической власти, как другие, и обнаруживал особенное расположение к тем воспитанникам, у которых начинала проявляться страсть к русской словесности. В течение

своего годового курса он почти не упоминал нам о реторике и только к концу года, перед экзаменом, давал нам небольшую тетрадку, заключавшую в себе реторику и пиитику вместе, для заучивания наизусть... На лекциях же занимался разбором наших сочинений, подтрунивал и острил над ними, декламировал нам стихи Державина, Батюшкова, Жуковского, Козлова и, втайне от начальства, Пушкина, Баратынского, Языкова и Дельвига. Он представлял нам характеристики этих поэтов, рассыпая в страшном количестве прилагательные. Он красноречиво говорил, что *строй лиры Державина отличается необыкновенною возвышенностию,* что *Державин высоко парит, как орел, и гордо ширяет в поднебесьи* (и при этом размахивал руками); что *смелостию и яркостию фантазии, блеском и роскошью своих образов и картин он равняется с древними скандинавскими бардами;* что Батюшков *напитался классическим духом и заимствовал у классиков их пластицизм,* что Жуковский и Козлов *ввели нас в мир таинственный и новый и познакомили нас с романтизмом* (слово «романтизм» Кречетов обыкновенно произносил в нос) и пр.

Любимыми словами Кречетова при таких характеристиках были: *полнота, округлость, сочность, музыкальность, гармония,*— и он беспрестанно повторял их при разборе новейших поэтов, особенно Пушкина и Языкова. Произнося слова «сочный», «округлый», он как бы подтверждал окончательно эту полноту и округлость движениями рук.

Однажды Кречетов явился к нам в класс с таинственным и торжествующим видом. Он сел на свой стул, провел рукою по волосам и, разодрав выпавший волос, обозрел всех нас значительно, потом высморкался в кончик платка и произнес:

— *В последних числах сентября...*— В последних числах сентября! — повторил он еще выразительнее и приостановился на минуту.— Господа! — продолжал он,— ну что, кажется, может быть обыкновеннее, пошлее, вседневнее, прозаичнее этих слов? Эти слова мы произносим ежедневно, ежеминутно, в самых ничтожных разговорах... *В последних числах сентября...* Какая проза! А между тем, господа, это первый стих прелестной, игривой, бойкой, ловкой, остроумной

поэмы, которая вся искрится поэзией... Вы думаете, что я шучу — нисколько... Этими словами начинается новая поэма Пушкина: «Граф Нулин»[7].

И вслед за тем Кречетов прочел нам несколько отрывков из «Нулина», все, однако, посматривая на дверь со стеклами, выходившую в коридор, в которую нередко заглядывали инспектор или его помощник.

Окончив чтение, он воскликнул:

— Начать поэму такими пустыми, прозаическими словами: *в последних числах сентября* — это, господа, я вам скажу, величайшая поэтическая дерзость... Только Пушкин мог решиться на это. Вот что значит гений!.. Вы, однако, господа,— прибавил Кречетов,— не рассказывайте о том, что здесь говорится и читается, вашему начальству. Сору из избы выносить не надо...

— Как можно! сохрани бог! — закричали воспитанники в один голос.

После этого понятно, почему они Кречетова любили и почему ставили его выше других преподавателей, хотя он не отличался от них ни особенными знаниями, ни особым умом, ни даже блеском слова.

На меня Кречетов обращал большое внимание, потому что я по-русски писал правильнее других и представлял сочинения, которые ему очень нравились.

С пятнадцатилетнего возраста у меня развилась страсть к чтению и литературе. Я с жадностию и приятным трепетом перечитывал все тогдашние альманахи, особенно «Северные цветы»; романы Вальтер Скотта; главы «Онегина», выходившие отдельно, и некоторые статьи в «Московском телеграфе». У немногих из моих товарищей также начинала пробуждаться любовь к чтению, и около меня собирался небольшой кружок слушателей. Украдкою от начальства, под видом повторения уроков, мы таким образом каждый вечер сходились в классе читать романы Вальтер-Скотта или «Телеграф». В «Телеграфе» более всего занимали нас статьи о театре г. Ушакова, в которых кстати и некстати говорилось обо всем на свете[8], и статьи полемические и критические самого Полевого. Чтения эти все-таки хоть сколько-нибудь способствовали к нашему развитию; но чем более мы приобретали привычку к чтению, тем сильнее чувст-

вовали отвращение к учению, к той науке, которую преподавали нам.

Я знал множество стихов наизусть, пробовал сам писать стихами и наконец начал года за полтора до выпуска издавать журнал, подражая в форме «Московскому телеграфу». В этом журнале были повести, стихи, критика, смесь, все как следует. Я показал Кречетову первый нумер этого журнала и он, пробежав его, остался очень доволен[9].

В пансионе начинали смотреть на меня как на будущего литератора, и воспитанники, плохо знавшие грамоту и не имевшие никакой фантазии, стали прибегать ко мне с просьбами писать для них сочинения на задаваемые им темы. Я исполнял эти просьбы очень охотно, тем более что это не составляло для меня никакого труда. Я уже начал набивать руку.

Не помню, кто-то из наших преподавателей вдруг в один прекрасный день, ко всеобщему изумлению, вздумал бог знает почему вооружиться против заучивания уроков наизусть, слово в слово, и потребовал, чтобы ему уроки рассказывали *своими словами.* Как забрела ему в голову такая фантазия — неизвестно, но это привело многих учеников, даже из первых, в величайшее беспокойство. Один из таких подошел ко мне однажды.

— У меня до тебя большая просьба,— сказал он.

— Что такое?

— Да вот** выдумал глупость, чтобы своими словами говорить уроки. Я думаю вот что... Надо только начать своими словами, а потом можно валять по книге. Он не заметит. Только ты, пожалуйста, запиши мне, как начать своими словами — я и выучу это наизусть, а потом буду продолжать по книге. Ты у нас сочинитель, тебе это нипочем, ты сумеешь это сделать.

Воспитаннику этому уже было шестнадцать лет.

Я исполнил его желание. Он вызубрил мои слова, и потом всякий раз прибегал ко мне с тем же.

Не мешает заметить, что он кончил курс одним из первых и впоследствии, вступив на военное поприще, обратил своими талантами особенное внимание начальства и достиг видного положения.

Кречетов был еще более оценен нами, когда мы перешли в выпускной класс. В этом классе препода-

вал словесность известный профессор, автор «Военного красноречия» Я. В. Толмачев[10]. Яков Васильевич питал закоренелую ненависть ко всему живому и современному. Он упорно остановился на Державине и даже неохотно упоминал о Батюшкове и о Жуковском. Карамзина он уважал за его историю, и то более потому, что Карамзин читал первые ее главы августейшим лицам и был признан официально историографом.

— Я, друзья мои,— говорил он нам с чувством гордости,— тридцать уже лет ничего не читаю, потому что убежден, что теперь пишут все пустяки.

Когда мы заговаривали с ним о Пушкине или декламировали его стихи, он махал рукою и перебивал, затыкая уши:

— Перестаньте! перестаньте! это все пустяки и побрякушки: ничего возвышенного, ничего нравственного... и кто вам дает читать такие книги?..

О Полевом он не мог слышать равнодушно...

— Это мерзавец! — говорил он, дрожа всем телом,— безграмотное животное, двух строк со складом и правильно не может написать... Лавочник, целовальник[11], а осмеливается безнаказанно оскорблять людей пожилых, чиновных и ученых!

— Как же вы знаете, что Полевой безграмотный,— возражали мы,— ведь вы сами говорите, что вы тридцать лет ничего не читали?

— Да мне попалась недавно,— отвечал он с неизъяснимым добродушием,— у кого-то из знакомых случайно книжонка, в которой была напечатана между прочим и его чепуха. Я прочел несколько строк и ужаснулся... Да что я говорю, лавочник! Всякий лавочник, друзья мои, напишет правильнее его.

Яков Васильевич задал нам однажды сочинения. Я выписал начало повести Полевого (кажется, «Сохатый») и представил ему выписку за собственное сочинение[12].

Яков Васильевич читал долго и внимательно, останавливался на каждом периоде и был восхищен изящностию слога, мастерством оборотов и грамматическою правильностию этого сочинения...

— Молодец, друг мой, молодец! — говорил он.— Хорошо, очень хорошо...— И он качал головою от

удовольствия.— Я вам скажу, друзья мои, что такой слог сделал бы честь и опытному писателю... Не поправлял ли, впрочем, тебя кто-нибудь?—прибавил он через минуту задумчиво.

— Нет, никто, Яков Васильевич,— бойко отвечал я,— я это написал сразу-с, без всяких поправок.

— У тебя талант, друг мой, талант!

И с тех пор Толмачев относился ко мне с особенным вниманием и рекомендовал меня инспектору и помощнику инспектора.

В день публичного акта, при выпуске, я подошел к Толмачеву.

— Я виноват перед вами, Яков Васильевич,— сказал я,— я вас обманул. Я вам выдал чужое сочинение, которым вы были так восхищены, за свое... Ведь это вы так восхищались слогом Полевого. Я подал вам подстрочную выписку из Полевого. Видите ли, он, однако, не так безграмотен, как вы говорите.

Толмачев нахмурился, взглянул на меня сначала неблагосклонно, но потом улыбнулся и сказал:

— Что ты, мой друг, какой вздор говоришь!

— Спросите у моих товарищей, если не верите.

— И верить не хочу, и спрашивать не буду,— отвечал Толмачев решительно и отвернулся.

Я, впрочем, еще прежде этого имел счастие обратить на себя внимание Якова Васильевича.

Когда он вошел в первый раз к нам в класс и прочел список новых выпускных воспитанников, он остановился с видимым удовольствием на моей фамилии.

— А что, г. Панаев,— спросил он,— вы родственник тому Панаеву, который написал «Идиллии»?

Этот вопрос преследовал меня. Все начальники и учителя предлагали его мне при вступлении моем в пансион.

— Да, родственник,— отвечал я.

— И близкий?

— Племянник.

— А-а-а! — протянул Толмачев значительно.— «Идиллии» вашего дядюшки образцовые идиллии, единственные у нас в этом роде. Я хоть тридцать лет ничего не читаю, но для Панаева я сделал исключение и прочел его «Идиллии» с великим удовольствием.

Я сделался любимцем Якова Васильевича, хотя не заслужил этого ничем, кроме того, что был племянником моего дяди, не разделяя вовсе мнения достойного профессора об его идиллиях[13].

Для публичного акта Толмачев задал мне написать речь *О значении русской словесности,* что-то вроде этого. Задача эта привела меня в совершенный тупик. Я мог с успехом написать сочинение о захождении или восхождении солнца, поездку в Парголово или в Нарву, но как же рассуждать о значении словесности? Я знал несколько стихов Ломоносова и Державина, которые заставляли меня выучивать наизусть; незаметно и добровольно заучил почти всю первую главу «Онегина» и несколько стихотворений Жуковского, Батюшкова, Языкова, перечел все новейшие альманахи и критические статьи в «Телеграфе» — но этим и ограничивались все мои бессвязные знания. Что ж я напишу? Этот вопрос долго мучил меня. Наконец я принялся перечитывать «Телеграф» и написал какую-то нелепую статью, составленную из разных телеграфских критик. Я приделал к ней кое-как фразистое, нелепое заключение, но чувствовал, однако, что все это никуда не годится.

Толмачев взял мою несчастную компиляцию для просмотра домой и потом возвратил мне ее с улыбкой.

— Нет, друг мой,— сказал он,— ты напорол дичь. Уж ты не беспокойся. Я сам для тебя напишу речь такую, какую надобно.

Смысл этой речи я совершенно забыл, да, кажется, в ней и не было никакого смысла. В заключение, как водится, было обращение к государю и изъявление чувства благоговейной признательности августейшему покровителю просвещения за попечение и заботливость об нас.

Я показал эту речь Кречетову. Он перелистовал ее и бросил с презрением...

— Избитые места, пошлость, ни одной живой, свежей, сочной мысли, ничего эдакого... эдакого...

И руки Кречетова пришли в движение для объяснения этого, но ничего не объясняли. Он повторил еще раз *эдакого,* махнул рукой и прибавил:

— Э! да впрочем, чего ждать от старика, выжившего из ума?.. А можно бы написать славную речь,

пропитанную свежими мыслями, обделать ее эдак изящно, как игрушечку...

Начались репетиции в публичной зале. Я читал бойко, четко, с ударениями, с возвышениями и понижениями голоса, не обнаруживая ни малейшего смущения. Инспектор, его помощник, гувернеры — все были в восторге от моего чтения, и я был совершенно счастлив. На одну из репетиций явился и попечитель К. М. Бороздин — человек очень тихий и добрый. Он также отозвался об моем чтении с большой похвалой.

— Было бы недурно,— заметил он мне,— если бы вы при заключительных словах обратились к портрету государя императора, приподняли правую руку и постарались бы прослезиться.

Я обещал — и действительно прослезился... при мысли, что внизу меня ожидает щегольской сюртук и что через десять минут я буду совершенно свободен...

Это были слезы нервического восторга; я бы заплакал в эту минуту без всяких фраз и речей. Бойкость, с которою я произнес речь, и мои заключительные слезы произвели, как видно, сильное впечатление не только на почетных посетителей, присутствовавших на акте — на неизбежного графа Хвостова и других, но даже на самого министра народного просвещения князя Ливена, и когда меня вызвали для получения из рук его аттестата на чин двенадцатого класса, он сказал мне:

— Я ожидал, что вручу вам аттестат на десятый класс. Отчего же вы не получили десятый класс?

— Я не имею, ваше сиятельство, способностей к математике и потому...— начал я, заикаясь.

— Жаль,— перебил меня министр,— что я не знал этого прежде.

Я раскланялся, взял аттестат и хотел броситься вниз переодеваться, как несколько воспитанников закричали мне:

— Панаев, тебя спрашивает граф Хвостов.

Делать было нечего. Я вернулся.

Граф Хвостов, согбенный старец, в поношенном мундире с потускневшим шитьем и с анненскою порыжевшею лентою через плечо, когда я подошел к нему, обратился ко мне с следующими словами:

— Ваша речь прекрасна, и вы прочли ее с ораторским искусством. Вам делает большую честь, что вы любите отечественную словесность... А Владимир Иваныч Панаев вам родственник?

— Он мой дядя.

— Похвально,— заметил Хвостов, задумчиво и как будто про себя.

«Для кого же похвально? — подумал я, улыбаясь невольно.— Для меня, что я имею такого дядю, или для моего дяди, что он имеет такого племянника?»

— Владимир Иваныч — мой хороший приятель,— продолжал Хвостов,— я пришлю к нему перевод мой «Сатир» Буало для передачи вам, с моею надписью. Это дар вам от старого поэта, которому вы доставили истинное удовольствие своею речью.

Я раскланялся и убежал переодеваться. «Сатиры» были присланы Хвостовым к Панаеву на другой же день, но я забыл их взять — и они так и остались в библиотеке моего дяди [14].

Но я еще на минуту вернусь к последним дням моей пансионской жизни.

Кречетов поддерживал связи и знакомства почти со всеми кончившими курс в пансионе и имевшими поползновение к литературе или к каким-либо искусствам вообще. К числу таких его бывших воспитанников, сделавшихся потом его приятелями, принадлежал, между прочим, *Римский-Корсаков,* напечатавший в конце двадцатых годов несколько стишков и сделавшийся известным своей эпиграммой к плохому стихотворцу. Начало этой эпиграммы я не помню, но она оканчивалась так: — его стихи

Как пол лощеный гладки,
На мысли не споткнешься в них...

Эти два стишка произвели величайший эффект. Они поразили своим остроумием и потому, вероятно, приводились беспрестанно кстати и некстати всеми критиками тогдашнего времени [15].

Римский-Корсаков жил неподалеку от пансиона, на Загородном проспекте [16], и в это время (в 1829 г.) у него на квартире остановился больной М. И. Глинка, товарищ его по пансиону, известный тогда уже

удачным переложением на музыку нескольких стихотворений Пушкина и других[17]. Кречетов зарекомендовал меня им. Он отзывался с большою похвалою о моей страсти к литературе и о моих литературных способностях.

В один день, когда мы гуляли в саду после обеда, сторож подал мне небольшую рукопись и письмо.

Я распечатал это письмо и прочел не без удивления следующее:

«Простите, что я, не имея удовольствия лично знать вас, но много наслышавшись от В. И. Кречетова о вашей любви к литературе и о вашем таланте,— решаюсь беспокоить вас следующим вопросом: не желаете ли вы приобрести прилагаемую при сем мою небольшую поэму за 15 рублей (тогда считали на ассигнации), чем вы премного меня обяжете, выведя меня из затруднительного денежного положения, в котором я нахожусь в сию минуту. В ожидании вашего ответа, остаюсь и проч.

Ваш покорный слуга

Римский-Корсаков».

Письмо это подействовало сильно на мое самолюбие. Я пришел в восторг при мысли, что меня знают известные литераторы и адресуются ко мне с такими просьбами. Я тотчас же принялся за чтение поэмы Корсакова, которая мне очень понравилась. Если бы у меня были в эту минуту 15 рублей, я сейчас приобрел бы, разумеется, поэму и почитал бы себя счастливейшим человеком в мире, издав ее. Но кроме 15 руб., на издание ее требовалась порядочная сумма — рублей по крайней мере 100 ассигнациями, а у меня не было и гривенника. Занять было не у кого. Я сообщил о моем горе одному из моих товарищей, очень любившему меня. Товарищ обещал мне сначала занять для меня 15 рублей у своего брата, но потом объявил мне с прискорбием, что у него не хватило на это смелости. Я должен был отослать поэму автору с извинением, что при всем моем искреннем желании никак не могу исполнить его просьбы.

Римский-Корсаков, по-видимому, не обиделся моим отказом, потому что через два месяца после этого он

пригласил меня к себе через Кречетова на *литературный вечер...*

Это уже было для меня совершенным торжеством.

— Вы тут увидите всех известных литераторов,— заметил мне Кречетов,— и, между прочим, моего доброго Дельвига.

У меня сердце захлебывалось при мысли об этом вечере. Так как вечер назначен был в воскресенье на маслянице, а в 9 часов я должен был уже быть в пансионе, то Кречетов выпросил для меня дозволение явиться двумя часами позже.

Я перешагнул за порог Корсакова с благоговейным трепетом и робостию, но хозяин дома, человек высокий, тучный и апатичный, ободрил меня своею бесцеремонностию и добродушием и тотчас же познакомил с М. И. Глинкою, который обошелся со мною совершенно по-товарищески, расспрашивал меня о своих старых наставниках (он воспитывался также в благородном пансионе) и пародировал их чрезвычайно удачно. Глинка был в этот вечер жив и весел, несмотря на расстройство своего здоровья; он заливался, как колокольчик, и особенно удачно воспроизводил нашего учителя логики и письмоводителя пансионной канцелярии И. А. Колмакова, про которого С. А. Соболевский, сделавшийся известным впоследствии своими меткими эпиграммами, хотя они никогда не появлялись в печати, и дружбой с Пушкиным, написал, еще будучи в пансионе, следующее четверостишие:

Наш учитель Колмаков
Умножает дураков;
Он жилет свой поправляет
И глазами все моргает.

Глинка до такой степени воплотил в себе комическую личность Колмакова, что уже потом, лет через десять после его смерти, олицетворял старого учителя с искусством поразительным, представляя, что̀ бы Колмаков делал и говорил при таких или других обстоятельствах, в таком или другом положении. Если бы Колмаков воскрес, он действительно в таких обстоятельствах и при таких положениях не мог бы поступать и говорить иначе.

Квартира Римского-Корсакова состояла из трех

небольших комнат, обставленных кое-какою мебелью. Эти комнатки мало-помалу начинали набиваться гостями и наполняться табачным дымом... Я сидел в уголке и робко взглядывал на каждого нового незнакомца, предполагая в нем непременно литератора. Из первых явился идеал Глинки, Иван Акимович Колмаков. Он обнялся и расцеловался с Глинкой.

Колмаков говорил отрывисто.

— Рад,— говорил он, обращаясь к Корсакову и Глинке,— душевно рад видеть вас... Хорошие приятели, мудрая беседа, бутылка доброго вина — услада жизни.... Ты поэт, он музыкант — suum cuique! *

И при каждом слове он моргал и обдергивал свой жилет.

Вместе с Колмаковым явился господин огромного роста и с мрачным, педантическим выражением лица, бывший преподаватель чего-то в пансионе, некто г. Огинский, которого я лет через пять после этого встретил на литературном вечере у графа Хвостова, где он читал свой трактат «Об огне» [18].

Кречетова я застал уже у Корсакова. Он расхаживал как у себя дома, был в очень приятном расположении духа и заранее уже, кажется, предвкушал предстоящий ужин, потому что был большой охотник поесть, сам себя называл *гастрономом* и считал себя тонким знатоком вин.

Львом вечера был барон Дельвиг, нисколько, впрочем, не походивший на льва. Дельвиг был среднего роста, имел вялые манеры, очень мягкое и симпатическое лицо и как-то задумчиво и вместе добродушно посматривал сквозь свои золотые очки. Он приехал позже других, и при его появлении все всполошились, начиная с хозяина дома. Один Глинка, который был короток с Дельвигом, сохранил обычное спокойствие. У меня билось сердце, и я не спускал с него глаз. Мне было невыразимо лестно сидеть в одной комнате с таким знаменитым литератором и притом еще другом Пушкина...

Дельвиг уселся на диван, другие расположились почтительно около него; хозяин дома ухаживал за ним, как подчиненный за начальником. Кречетов беспре-

---

* Каждому свое.— *Ред.*

станно заговаривал с ним, стараясь показать свою фамильярность; но Дельвиг, отвечая ему, посматривал на него с полуулыбкою, которая показывала, что он не принимает его слишком серьезно...

Когда Дельвиг и все около него уселись, я навострил уши. «Ну,— подумал я,— вот теперь-то пойдет речь о литературе». Однако ожидания мои были обмануты. Дельвиг говорил мало, о литературе ни слова; только на вопрос о «Подснежнике» сказал, что он выйдет на днях, и показал виньетку к нему, нарисованную Лангером, которая начала переходить из рук в руки. Говорил более всех Глинка, который *завел* Колмакова и Огинского, чтобы показать их во всем блеске. Колмаков, обдергивая свой жилет и моргая глазами, произнес вроде речи, пересыпав ее цитатами из Цицерона и Горация.

Глинка аплодировал ему, и отовсюду раздавались восклицания «bravo!». Кречетов более всех глумился над Колмаковым.

— У вас прекрасный ораторский талант,— заметил, улыбаясь, Дельвиг.

— Благодарю, барон, за похвалу,— воскликнул Колмаков,— но красноречие приобретается, а поэзия врожденный дар... *Oratores fiunt, poetae nascuntur* *.

Колмаков имел своего рода находчивость, и когда ему кто-то из учеников проговорил однажды:

Наш учитель Колмаков
Умножает дураков...—

он моргнул, обдернул жилет и перебил:

— Неверно! следует сказать:

Наш учитель Колмаков
Обучает дураков...

Замечательно, что логика, которую преподавал нам Колмаков, начиналась следующими замечательными словами:

«Философию можно понимать как науку или как способность... Как науку...»

Далее уже я не помню; но хорошо и это начало.

Весь литературный вечер прошел в том, что хозяин дома, Глинка, Дельвиг и Кречетов подстрекали Кол-

* Ораторами делаются, поэтами рождаются.— *Ред.*

макова и Огинского на разные нелепые выходки и подтрунивали над ними. Колмаков и Огинский забавляли и развлекали общество и бессознательно играли роль шутов. Мне показалось, что и мой друг Кречетов был близок к этой роли. В то время как он острил над Колмаковым и Огинским, над ним также подтрунивали и довольно резко, что меня и огорчало и удивляло вместе; но Кречетов не замечал этого и, по-видимому, был очень доволен собою и своими шуточками.

Четыре часа пролетели для меня, как одна минута... Уже в одной из комнат расстилалась салфетка на столе, слышался гром ножей, вилок и тарелок, уже раздавалось шипение из кухни и распространялся в комнатах запах кухонного чада, смешиваясь с табачным дымом. Был двенадцатый час в начале. Мне должно было отправиться в пансион, и я отправился почти со слезами на глазах.

На другой день Кречетов объявил мне, что ужин был составлен из простых, но сытных блюд и вина были очень тонкие; что Колмакова и Огинского напоили и потешились над ними вдоволь; что вообще было очень весело; что он *своего* Дельвига провожал потом домой и что дорогою они высказали друг другу очень много новых и дельных мыслей о литературе, но не упомянул, впрочем, каких.[19].

Кречетов сообщил мне впоследствии, что этот литературный вечер дан был на занятые деньги, что Римский-Корсаков любит жить широко, только, к сожалению, отец его — очень богатый и скупой человек — совсем не высылает ему денег и потому он находится всегда в стесненном положении; но зато уж если к нему как-нибудь попадут деньги, он задает сейчас же угощение приятелям и истрачивает всё до копейки. «Он славный и добрый малый, с горячим сердцем»,— прибавил Кречетов в заключение.

После этого литературного вечера я только и грезил, как бы поскорей окончить курс наук и сделаться литератором. Мы высчитали, сколько месяцев, дней, часов и минут остается нам пробыть в пансионе, и вычеркивали каждый день...

Время тянулось мучительно. Весна, однако, приближалась... и наступила. На огороде против пансио-

на начинала подниматься спаржа — несомненный признак скорых экзаменов. При мысли об них холодный пот выступал у меня на спине. Начальство было ко мне очень расположено и предполагало, что я должен выйти одним из первых, потому что первый год после вступления в пансион я учился очень прилежно, то есть отвечал уроки без запинки, слово в слово по учебникам; впоследствии это опротивело мне, и я перестал заниматься, но уже слыл, по преданию, прилежным и способным учеником. Я отличался также примерным благонравием, а известно, что в то время (я не знаю, как теперь) благонравие ставилось гораздо выше прилежания. Но все-таки участь моя зависела от экзамена. «Ну что, если я опозорюсь и обману ожидания родителя и начальства?» Мне хотелось выйти 10-м классом, но я сознавал невозможность этого, потому что не имел никаких способностей к так называемым положительным наукам и особенно к математике. У нас проходили дифференциалы и интегралы, а я, как Митрофанушка, не знал даже простого деления!.. Самолюбие мое очень страдало, а спаржа в огороде поднималась все выше и выше. До экзаменов оставалось не более 7 дней.

Мы начинали вставать вместе с солнцем, чтобы приготовляться. Я уже заметил, что все учение наше основывалось на одной памяти, следовательно память была нам нужнее всего, а я, к сожалению, никогда не отличался хорошею памятью; к тому же она значительно притупилась у меня от бессмысленного долбления. Лениво поднимали меня с постели мои товарищи в 4 часа утра. Я брал груду книг и тетрадей и отправлялся в класс. Солнце ярко светило. В этот год (1830) весна в Петербурге была очень ранняя и жары начались с мая месяца. В классе было душно. Я хватался то за одну, то за другую учебную тетрадь или книгу с судорожным беспокойством, а между тем дремота долила меня и пот градом катился с лица. Я до сих пор не могу без отвращения вспоминать об этом времени.

Несколько экзаменов сошло с рук довольно удачно, но еще впереди был экзамен в математике, о котором большая часть из нас помышляла с ужасом. Из 15 выпускных воспитанников только пять отличались

кое-какими математическими способностями, остальные уподоблялись мне.

Преподавал у нас математику, как я сказал уже, поэт Шелейховский, а экзаминатором был профессор Д. С. Чижов, одно имя которого мы произносили с трепетом, до того он казался нам строг и неумолим. За два дня до экзамена я ходил как убитый. «Что со мною будет?» Эти роковые слова я шевелил в устах, как Каин имя Авеля в стихах профессора Шевырева[20].

Накануне экзамена я почувствовал себя нездоровым и помышлял было уже о больнице, но некоторые из товарищей, решившиеся всю ночь посвятить приготовлению, уговаривали меня присоединиться к ним.

— Да ведь я уж ничему не выучусь в одну ночь,— печально возразил я.

— Конечно, но все-таки лучше, мы тебе советуем.

И я последовал их бесполезному совету. Один из воспитанников повторял с мелом у доски, беспрестанно исписывал и стирал доску и очень бойко стучал мелом. Я ничего не понимал, глаза мои слипались, и я заснул...

Роковое утро наступило...

На небе не было ни облачка. Солнце светило досадно ярко, как будто для того, чтобы осветить сильнее мой позор.

Экзамен был назначен в 10 часов.

Я сидел у окна, выходившего на улицу, и каждый проезжий издали казался мне Чижовым. Сердце мое беспрестанно замирало, и я чувствовал необыкновенную слабость.

Пробило 11 часов, а Чижов не появлялся. Нас потребовали в публичную залу. Я соскочил с окна с радостным криком:

— Господа! господа! Чижова уж, верно, не будет!

Но Чижов вдруг, как будто выросший из-под пола, очутился передо мною.

У меня помутилось в глазах, и я чуть не упал...

По списку я стоял шестым. В отметке против меня значилось, что я имею *отличные* сведения в математике.

Вызывали по два воспитанника разом: один отвечал, другой приготовлял ответ на доске.

Дошла очередь до меня. Я подошел к экзаменаторскому столу, вынул билет, развернул его и прочел громко, ничего не поняв.

Инспектор наш[21], человек очень добрый, даже нежный, мягким и ласковым голосом сказал мне:

— Покуда будет отвечать г. X, вы нам, душенька, и изложите на доске то, что у вас в билете.

«Да, легко сказать — изложить!»,— подумал я и подошел к доске, взял мел, снова развернул зачем-то билет и прочел его, хотя знал, что это совершенно бесполезно. В отчаянии я начал чертить на доске какую-то геометрическую фигуру.

Товарищи мои знаками вызвали Шелейховского и сказали ему, чтоб он помог мне. Шелейховский подкрался к моей доске и начал подсказывать мне, робко озираясь...

— Ну, вы понимаете дальше? — шепнул он мне.

— Ничего я не понимаю и ничего не знаю,— сказал я, опуская мел.

— Как! Так вы *ничего* не знаете! — с ужасом громко воскликнул Шелейховский.

На это восклицание Чижов и инспектор обратились ко мне.

— Что такое? Извольте прочесть ваш билет,— сказал мне строго Чижов.

Я прочел.

— Ну-с, отвечайте.

Я изложил кое-как подсказанное мне Шелейховским, беспрестанно путаясь, и остановился...

— Что же далее?

Я молчал.

Чижов предлагал мне тысячу вопросов; он мучил меня бог знает для чего, около часа. Я стоял безмолвно, едва удерживая слезы и печально опустив руку, в которой держал мел...

Чижов наконец оставил меня, пожал плечами и обратился с досадою к Шелейховскому.

— Каким же образом вы показали, что он имеет отличные сведения, когда он понятия ни о чем не имеет? И это выпускные воспитанники, получающие университетские права! — продолжал Чижов, придравшись к своей любимой теме и обращаясь к инспекто-

ру.— Что же я поставлю такому господину? Он, верно, прочит себя в гусары, а либо в уланы...

Инспектор был очень огорчен за меня и начал что-то вполголоса говорить Чижову, но Чижов строго и упорно качал головою.

— Мне до этого нет дела,— отвечал громко Чижов,— в *моем предмете* я все-таки обязан поставить ему нуль.

В отчаянии, со стыдом и со слезами на глазах и весь в мелу, вышел я из публичной залы, вошел в класс, бросился на скамейку и зарыдал.

Ко мне подошел Павлов, один из товарищей, бывший на отличном счету у начальства, которому он очень ловко подслуживался. Павлов учился на 10-й класс; папенька обещал ему подарить рысака, если он выйдет десятым классом. «Способностями бог его не наградил» и даже не дал доброго сердца. При весьма ограниченном уме и способностях он был пропитан лицемерством и лестию.

При виде моего отчаяния Павлов скорчил добродушную и вместе плачевную гримасу и произнес со вздохом:

— Мне ужасно жаль тебя, братец! Ведь с *нулем* тебя не выпустят из пансиона. А мне так Чижов поставил *четыре,* теперь уж я непременно выйду десятым классом!

С таким же утешением он не совсем удачно подошел к другому воспитаннику, с характером гораздо решительнее моего и также получившему *нуль* в математике. Воспитаннику с решительным характером не понравилось участие товарища, и он нанес ему очень значительную неприятность, которую тот перенес с похвальным смирением и кротостию.

Эти добродетели, в соединении с лестью и лицемерием, были, говорят, полезны для него на служебном поприще, так же как и в школе. И здесь и там он достиг того, к чему стремился: при выпуске — награжден правом на чин 10 класса и рысаком, а на службе — чином действительного статского советника и званием камергера... Теперь у него не один рысак, а целый завод орловских рысаков, лента через плечо, золотой мундир с ключом сзади, которым он щеголяет в торжественные дни в своем губернском городе,

во время отпусков, стоя на губернских выходах об руку с губернатором и предводителем дворянства. Он величественно говорит: «У нас при дворе... Мы опора трона, наши права...» и тому подобные блестящие фразы[22].

Обратимся, однако, к экзамену. Горесть моя начинала мало-помалу смягчаться и утихать, по мере того как мои товарищи возвращались с экзамена в таком же положении, как я, то есть: с нулями в экзаминаторском списке и с отчаянием в сердцах. Таких возвратилось уже человек до четырех. «Ну, по крайней мере не один я». Эта мысль утешила меня.

После обеда, поободрившись, я отправился в публичную залу. Был уже шестой час. Оставалось человек недоэкзаменованных пять. Чижов был в самом свирепом расположении. Шесть нулей красовалось уже на листе. Поставив последний нуль при самом моем входе в залу, Чижов обратился к Шелейховскому с вопросительной иронией:

— Что же это такое, наконец?

Шелейховский схватил себя за голову, взъерошил волосы и вскрикнул каким-то отчаянным, раздирающим голосом:

— Боже мой! да чем же я виноват? Что мне с ними делать?..

Но это еще были цветочки,— ягодки впереди.

Передпоследним Чижов вызвал Татищева. Татищев был сын богатого помещика, провинциального аристократа, необыкновенно довольного собой, гордившегося тем, что у него в гербе княжеская корона, и оравшего во все горло. Он часто являлся в пансион к сыну и возбуждал своим криком и манерами общий смех... Сын очень походил на отца, кричал так же громко и хвастал перед товарищами своим богатством и своей княжеской короной. Товарищи обращались с ним как с шутом, но, несмотря на это, любили его, потому что он был до крайности наивен и добр. Он написал однажды сочинение для Кречетова, которое начиналось так:

«Солнце склонилось к западу. Был прекрасный и тихий вечер. *Филомела пела, а соловей свистал...*»

С этой «филомелой» потом не давали ему прохода.

Отец объявил ему, что если он получит 10-й класс,

то он будет выдавать ему в год по 5000 руб. асс., если 12-й — 2500 руб., а если 14-й, то 1200 руб. Татищев учился на 5000 руб., как ему это было ни тяжело. Он зубрил с утра до ночи, мучился и все-таки отставал от других, почти ничего не делавших... Но вдруг за полгода до выпуска отец его умирает скоропостижно. Матери у него давно не было. Татищев делается полным властелином своих богатств и перестает учиться...

— Из-за чего я стану теперь себя мучить? — говорил он нам.— Сами согласитесь, теперь мне все равно, каким классом ни выйти. Я завишу сам от себя и буду издерживать, сколько хочу.

И когда учителя спрашивали его уроки, он вставал обыкновенно с своего места, корчил плачевную гримасу и произносил, всхлипывая:

— Я не мог приготовить урока, потому что я недавно лишился родителя и благодетеля.

Учителя улыбались, воспитанники фыркали, и Татищева оставляли в покое...

Итак, очередь наконец дошла до Татищева.

Все воспитанники, печальные и веселые, с нулями и с хорошими баллами, сошлись на это зрелище.

Татищев подошел к экзаминаторскому столу очень бойко, расшаркался не без грации (грации обучала его, по его словам, г-жа Калам, гувернантка, бывшая при нем) и взял билет...

— Покажите ваш билет,— сказал ему Чижов.

Татищев подал ему билет и, неизвестно для чего, с приятностию улыбнулся. Чижов прочитал его.

— Очень хорошо,— сказал он,— подойдите к доске, начертите пирамиду...

— Что прикажете? Пирамиду-с? — закричал Татищев во все горло.

— Ну да! пирамиду,— сказал Чижов, хмуря брови.

Татищев взял мел с торжественностию и начертил круглую шапочку.

— Что же это такое? — спросил Чижов.— Я вам говорю: начертите пирамиду.

— Вот она-с! — произнес Татищев, тыкая на шапочку указательным пальцем, который состоял у него из двух суставов вместо трех. Вообще фигура Тати-

щева не отличалась большою стройностию, коленки у него были вогнуты, живот вперед и взгляд много утрачивал выражения от бельма, которое у него начинало образовываться на одном глазу.

— Так это по-вашему пирамида? — протянул Чижов.

— Да-с, — твердо и довольно отвечал Татищев, с недоумением, однако, и беспокойством взглянув на товарищей, которые едва удерживались от смеха.

Чижов обернулся к Шелейховскому...

— Г. Татищев! что же это? — произнес с воплем Шелейховский.

Татищев догадался, что дело плохо, и торжественное выражение лица его вдруг сменилось слезной гримасой.

Чижов сделал Татищеву еще два какие-то вопроса — один из алгебры, другой из арифметики, но Татищев отвечал на них одними слезами и, всхлипывая, сказал, что не мог заниматься, потому что лишился родителя и благодетеля.

— Ну, идите, — сказал Чижов, махнув рукою. — Товарищам вашим я поставил нули, а вам, сударь, я и пера не помочу в чернилы, чтобы поставить что-нибудь. Вы и нуля не стоите.

Татищев удалился, рыдая.

Но Татищеву все мы, получившие нули, были обязаны своим спасением. Вот как это случилось: за сестрой Татищева, имевшей значительный капитал, ухаживал в это время один инженерный офицер, большой приятель Чижова. Татищев объявил инженерному офицеру, что если Чижов поставит ему порядочный балл, то в таком случае он немедленно изъявит свое согласие на брак, а в противном случае и слышать не хочет ни о чем. Это был последний и решительный ультиматум брата невесты. Инженерный офицер сообщил свое положение Чижову; Чижов тронулся положением своего приятеля, явился в пансион, потребовал экзаминаторский лист и поставил Татищеву 2, а нам всем, вместо нулей, полтора балла.

Не влюбись так кстати для всех нас инженерный офицер в сестру Татищева, мы, кажется, не могли бы

разделаться с математикой, если бы остались в пансионе и еще на несколько лет[23].

И вот мы окончили курс наук. В руках у нас великолепные пергаментные листы с правами на чины и с удостоверениями, что мы во всех науках имеем *отличные, очень хорошие* или *достаточные* сведения и притом отличались примерным благонравием. Начальство пожимает с чувством наши руки и поздравляет нас, родители прижимают нас к груди в умилении, мы, разумеется, вне себя от восторга, что уже не школьники. Но ни начальству, ни родителям, ни нам не приходит в голову, *для чего мы приготовлены* и *приготовлены ли к чему-нибудь?*.. Внешняя жизнь ослепляет, соблазняет нас, и мы отдаемся ей с увлечением; мы не рассуждаем об явлениях этой жизни, потому что в нас не только не развили мыслительных способностей, но еще забили их пошлою моралью и рутиной.

Мы не приобрели никаких, даже элементарных научных сведений.

В тумане голов наших бродят бессвязно кое-какие исторические имена, названия городов и войн, какие-то годы и цифры, но не только года́, столетия мешаются и перепутываются в них. Мы выходим из пансиона такими же детьми, какими вошли в него,— только детьми, потерявшими пушистость щек и уже начинающими подбривать и подстригать усы и бороду. При нашем невежестве и отсутствии умственного развития мы принимаем все на веру и безусловно и входим в избитую колею, не только не понимая возможности какой-либо другой, лучшей жизни, различной от нашей, но даже не будучи в состоянии вообразить что-нибудь лучшее. Нечего и говорить о чувстве общественном, гражданском. О пробуждении его едва ли и думало тогдашнее воспитание. Чинопочитание, покорность до того были вкоренены в нас в родительских домах и потом развиты в пансионе, что мы, вступая в свет, совершенно теряемся и робеем при появлении каждой титулованной особы и при взгляде на всякую блестящую обстановку. При этом у нас только возникает одна мысль: «как бы поскорей добиться до всего этого?»

Вот каких полезных деятелей приготовлял для отечества благородный пансион!

ГЛАВА II

Первое время после выхода из пансиона.— Мои литературные упражнения и чтение.— Классицизм и романтизм.— «Notre Dame de Paris». — Моя неудавшаяся попытка печататься.— Первый нравственный толчок, полученный мною по поводу моего рассказа о подаренной девке.— Мои знакомства.— Фантазия о военной службе и о камер-юнкерском мундире.— Определение меня на службу.— Моя отставка.— Первая моя напечатанная повесть.— Встреча с Пушкиным у Смирдина.— Несколько слов о Пушкине. — Толки о «Торквато Тассо» Кукольника и мое знакомство с его автором.

Долго после выпуска нашего из пансиона я решительно не знал, что делать с собой и куда приютить голову. Знакомых у меня почти никого не было; я шатался бесцельно по петербургским улицам, вымышляя, как бы убивать длинные зимние вечера, и ничего не придумывая, потому что трудно что-нибудь придумать без денег (а денег у меня было очень мало). Я просиживал обыкновенно по нескольку часов в мелких кондитерских, на Гороховой и на Вознесенской улице, за чашкой скверного шоколада, с двумя или тремя моими товарищами и в том числе с М. А. Языковым, с которым мы дружно, не разлучаясь, шли в жизни. Но кондитерские представляли мало ресурсов к развлечению: маленькая, грязная комнатка, освещенная одной тусклой горящей свечкой, слоеные пирожки на горьком масле, засаленные чубуки с перышком или с сургучом вместо янтаря — все это наводило тоску. Интересов у нас никаких не было, разговор вертелся около вседневных предметов и скоро прекращался; мы, зевая, смотрели друг на друга, как бы спрашивая: «господи! да неужели же это жизнь, которая издали казалась нам так соблазнительной?» Останавливаясь у какого-нибудь ярко освещенного дома, у подъезда которого стояли экипажи, мы с любопытством и завистию смотрели на окна, в которых мелькали силуэты веселящихся мужских и женских фигур... До нас глухо доходили звуки музыки. «Как там весело! — думали мы,— счастливцы! счастливцы!.. Вот она, эта жизнь-то, о которой мы грезили, но как же достичь ее?»

И не зная, как разрешить этот вопрос, понурив головы, расходились печально по домам.

— Эх, господа! — сказал мне с Языковым однажды один из наших товарищей, пребойкий и преразбитной малый, окончивший впоследствии очень трагически свое существование,— вы дрянь, какие-то вялые, запуганные, робкие, вы не умеете жить... Погодите, вас надо расшевелить... Я вам устрою такой вечерок, за который вы поблагодарите меня.

— Когда? где?— спрашивали мы, оживляясь.

— Завтра вечером в кондитерской на Вознесенской.

— Да уж нам наскучила эта кондитерская,— возразили мы, хмуря брови.

— Ах вы, шуты! — перебил нас товарищ,— разумеется, сидеть за чашкой шоколада и за трубкой табаку вдвоем скучно... Да что тут толковать? Собирайтесь-ка туда завтра вечером, часов в 8,— эта кондитерская вам покажется раем. Я уж приготовлю вам чудесные сюрпризы.

На другой день еще до восьми часов мы явились в кондитерскую и сидели, с каким-то трепетом ожидая нашего товарища. Он не заставил нас долго ждать, поздоровался с нами и сказал нам, улыбаясь таинственно:

— Погодите, погодите... сейчас...

Потом закричал:

— Карл Иваныч! — и когда кондитер явился на этот крик, он велел принести свечей и что-то шепнул ему на ухо. Кондитер значительно кивнул ему головой и сказал:

— Я уже послал. Будут, будут!

Я взглянул на Языкова, Языков на меня. Нас начала бить дрожь от страха и ожидания.

Минут через десять взошли в комнату две девицы маленького роста, очень невзрачные и одетые не совсем чисто — что-то вроде горничных или модисток... Товарищ наш встретил их криками и объятиями, усадил на диван возле нас и велел подать им шоколаду. Девицы жеманились, мы с Языковым дрожали и не смели заговорить с ними. Товарищ наш смеялся над нами и толкнул одну из девиц на Языкова, который вскрикнул и отшатнулся от нее.

В эту минуту отворилась дверь и в дверях появился квартальный с суровым взглядом...

— Это что такое?— вскрикнул он.— Дебош! Сейчас все вон отсюда!

Девицы убежали; мы бросились в испуге и стыде к нашим шинелям и вышли из кондитерской, сопровождаемые угрожающим взором квартального.

Так печально окончился вечерок, который хотел задать нам наш товарищ. Он вышел из кондитерской так же смиренно, как мы, но, отойдя несколько шагов, объявил нам, что он непременно приколотит этого мерзавца квартального.

С тех пор эти кондитерские до того огадились нам, что мы даже избегали проходить мимо них.

Праздность и пустота до болезни начали томить меня, а домашние мои говорили мне:

— Вот когда ты поотдохнешь немного, надобно будет, друг мой, подумать и о службе.

От нечего делать я начал заниматься устройством своей комнаты и убрал ее с некоторым эффектом и комфортом. Я был очень счастлив при мысли, как должна будет понравиться эта комната Языкову и Кречетову. Осветив ее однажды вечером и полюбовавшись ею при освещении, я лег на диван и начал фантазировать о том, как бы сделаться литератором. При мысли, что мое имя будет в печати под какою-нибудь повестью или под каким-нибудь стихотворением, приятная дрожь пробежала по моему телу, и я ощутил потребность сейчас же написать что-нибудь... Я призадумался, и в голове моей начали слагаться стихи «К деве» на манер Языкова, который производил на меня тогда сильное впечатление [24]. Через час было готово стихотворение в четырех куплетах. Я продекламировал его вслух и остался очень доволен его звучностию. Мне смертельно захотелось сейчас же прочесть его Кречетову... Что скажет он? Только что я подумал об этом, как раздался звонок и Кречетов явился передо мною. Я чуть не бросился к нему на шею от радости.

Кречетов осмотрел мою комнату с большим вниманием и произнес:

— О, да вы, батюшка, устроились очень мило! с эдаким эстетическим вкусом... все эти безделушечки расположены так удачно...

Кречетов опустился на мягкое кресло и продолжал похвалы моим декораторским способностям.

Я прочел ему мое стихотворение.

— Славный стих, звучный, языковский!— проговорил Кречетов, взяв из моих рук тетрадку, в которую я четко вписал это стихотворение.

Он продекламировал его сам и сказал:

— У вас, батюшка, талант!.. Да, да! Продолжайте, продолжайте...

И я в самом деле продолжал сочинять почти каждый день по стихотворению, подражая всем тогдашним знаменитым поэтам, так что вскоре тетрадка была вся исписана стихами. Несмотря, однако, на похвалы Кречетова, я и не помышлял о том, чтобы послать даже лучшее, по моему мнению, из этих стихотворений в какой-нибудь журнал. Литераторы и журналисты вообще казались мне существами высшими, недоступными, с которыми вступать в сношения было бы с моей стороны неслыханною дерзостью; те же, которые печатали свои сочинения в «Северных цветах», в «Литературной газете» и в «Московском телеграфе», представлялись мне уже почти полубогами... Я писал стихи так, от праздности, и самолюбие мое было покуда удовлетворяемо похвальными отзывами моего снисходительного наставника.

Любимым чтением моим, кроме наших журналов и альманахов, были романы Вальтер-Скотта. Я перечел все их во французских и русских переводах.

В это время в Европе была в самом разгаре война классиков с романтиками. Имена французских сподвижников романтизма — Гюго, Дюма, Барбье, Сулье, Сю, де Виньи, Бальзака — начинали приобретать у нас громкую известность. Гюго своим предисловием к «Кромвелю» *нанес последний удар классицизму,* как выражался Кречетов, приходивший в неистовый энтузиазм от этого предисловия и всегда носившийся с «Кромвелем» [25]. От Вальтер-Скотта я перешел к французским романтикам и читал их с жадностию. Борьба классицизма с романтизмом несколько раздражила мои умственные способности, давно требовавшие какой-нибудь пищи. Я не задумываясь тотчас же стал под знамена романтизма, представителями которого у нас считал Полевого, Пушкина и его школу, и тор-

жествовал победу романтиков, имея, впрочем, очень слабое понятие о том, что за звери классики. Под словом классицизм я неопределенно разумел вообще все отжившее, старое, обветшалое, и наоборот, под словом романтизм — все живое и новое, к которому начинал чувствовать инстинктивное, непреодолимое влечение. Почему возникла эта борьба? Какой смысл заключался в этом явлении? Я не мог понимать этого. В торжестве романтизма я праздновал побиение Толмачевых, Роговых, Кайдановых, Зябловских, всех наших маленьких деспотов и притеснителей, упорно державшихся за свои узкие и гнилые понятьица и за свою пошлую, рабскую мораль. Все наши учителя, за исключением Кречетова, все инспектора, все гувернеры с презрением и ожесточением отзывались о новом литературном движении и считали его глубоко безнравственным. Мы считали их классиками. Этого одного уже было довольно, чтобы мы сделались самыми отчаянными романтиками.

Литературная революция, как известно, совпала во Франции с политическою революциею... И в литературе и в политике новые идеи торжествовали; но я не имел ни малейшего понятия о значении политических движений... Июльская революция не произвела на меня ни малейшего впечатления. Я слышал мельком, что Карл X прогнан и что вместо него вошел на престол Людовик-Филипп. За что прогнан один и сделан королем другой? Это меня нисколько не интересовало. Кроме литературы, ничто не трогало меня и я не имел ни о чем понятия [26].

После появления «Notre Dame de Paris» я почти готов был идти на плаху за романтизм.

Я узнал о «Notre Dame de Paris» из «Московского телеграфа» [27]. Вскоре после этого весь читающий по-французски Петербург начал кричать о новом гениальном произведении Гюго. Все экземпляры, полученные в Петербурге, были тотчас же расхватаны. Я едва достал для себя экземпляр и с нервическим раздражением приступил к чтению...

Я прочел «Notre Dame» почти не отрываясь. Никогда еще я не испытывал такого наслаждения от чтения. Клод Фролло, Эсмеральда, Квазимодо не выходили из моего воображения; сцену, когда Клод Фролло

приводит ночью Эсмеральду к виселице и говорит: «выбирай между мною и этой виселицей» — я выучил наизусть... Я больше двух месяцев бредил этим романом и перечитывал отрывки из него Кречетову и некоторым из моих товарищей, с которыми более симпатизировал.

Успокоясь немного от волнения, я принялся переводить последние две главы «Notre Dame», перевел их с любовию, тщательно обделал слог и прочел Кречетову. Он нашел мой перевод образцовым и посоветовал послать в «Московский телеграф». Я переписал его, еще поисправил местами и послал.

Более полугода после того я с трепетом развертывал каждую вновь получаемую книжку, но — увы! — мой перевод не появлялся. Он так и сгинул в редакции «Телеграфа». Эта первая неудавшаяся попытка *печататься* ненадолго, впрочем, обескуражила меня.

Охота к чтению не давала еще мне совершенно погрязнуть в ничтожестве праздной и бессмысленной среды, окружавшей меня. Романы Вальтер-Скотта и Гюго пробудили во мне желание узнать средневековую историю.

Литература представлялась мне, впрочем, как-то совершенно отдельно от жизни. Она приятно щекотала и раздражала мою фантазию, мало способствуя развитию мысли. Ничто окружавшее меня еще не возбуждало во мне никакого вопроса, не наводило ни на какое раздумье или сомнение. Все предрассудки, дикие понятия и взгляды, внушенные мне с детства и развитые в пансионе, оставались во мне неприкосновенными.

Однажды ко мне зашел один из моих товарищей. В разговоре с ним я упомянул, между прочим, к чему-то, что матушка моя *подарила девку* одной из своих родственниц. Товарищ мой, грубый по натуре и ничего почти не читавший, был, однако, поразвитее меня. Он скорчил при этих словах гримасу и сказал мне:

— Как тебе не стыдно говорить об этом, и еще так хладнокровно, как будто о самой простой вещи?

— Отчего же? Что ж тут необыкновенного? Разве она не имела права подарить свою крепостную девку? — возразил я с удивлением.

— Любезный друг, я знаю, что это делают, что мужиков, лакеев, баб и девок продают и дарят, да уж об

этом люди образованные вслух-то стыдятся говорить, Ведь человек не вещь, хоть он и крепостной; у него такая же душа, как у нас с тобою, и он так же, как и мы, создан по образу и подобию божию.

Эти простые слова поразили меня... Я в первый раз почувствовал дикость своих понятий — и покраснел до ушей. Долго по уходе товарища я сидел в грустном раздумьи.

«Что же это такое? — рассуждал я с самим собою.— Каким образом, в самом деле, человек может владеть человеком на правах вещи и располагать его участью по своей прихоти, по своему безумному произволу? От кого он мог получить такое жестокое, такое нелепое право?» И я удивлялся, отчего эти вопросы прежде не приходили мне в голову.

Это был первый нравственный толчок, данный моей мысли. Она пробудилась и начала несколько тревожить меня. Мне сделалось как будто совестно, что я владею крепостными людьми, и я стал обращаться с ними гораздо мягче и осторожнее. Этим очень были недовольны некоторые из близких ко мне... «Ты избалуешь всех людей в доме, друг мой,— говорили мне,— надобно, чтобы они чувствовали, что ты *барин,* и *боялись бы тебя».*

После выпуска я поддерживал отношения с теми из товарищей, с которыми более симпатизировал, и познакомился с их семействами, но самолюбие, мучившее меня, что я не имею никаких светских талантов, делало меня диким и застенчивым, особенно в дамском обществе, которого поэтому я старался избегать.

Некоторые из близких мне пламенно желали, чтобы я был военный, и непременно кавалерист, и заставили меня брать уроки в верховой езде. Эполеты, сабля и шпоры очень смущали мое воображение, но мысль, что я должен еще поступить в юнкерскую школу, засесть снова на школьную скамью и держать экзамены — охлаждала мои воинственные порывы... Я решился вступить в штатскую службу, вопреки желаниям моих близких, которые утешались мыслию, что я буду камер-юнкером. Мне самому очень хотелось надеть золотой мундир. Я даже несколько раз видел себя во сне в этом мундире и в каких-то орденах и, просыпаясь, всякий раз был огорчен, что это только сон.

Наконец я определился на службу, без жалованья, в департамент государственного казначейства, под протекцию директора этого департамента Д. М. Княжевича, который был товарищем моему отцу по Казанскому университету [28].

Меня заставили переписывать бумаги и сочинять какие-то отношения. Эти занятия мне ужасно не понравились. Я приезжал в департамент поздно и не высиживал до конца. Мой начальник отделения, брат Д. М. Княжевича, Владислав Максимович, смотрел на меня неблагосклонно,— и действительно, на него и на всякого порядочного и серьезного человека я должен был производить самое неприятное впечатление!

Однажды я приехал в департамент в вицмундире и в пестрых клетчатых панталонах, которые только что показались тогда в Петербурге. Я надел такие панталоны один из первых и хотел щегольнуть ими перед департаментом. Эффект, произведенный моими панталонами, был свыше моего ожидания. Когда я проходил через ряд комнат в свое отделение, чиновники штатные и нештатные бросали свои занятия, улыбаясь толкали друг друга и показывали на меня. Этого мало. Многие столоначальники и даже начальники отделения приходили в мое отделение посмотреть на меня; некоторые из них подходили ко мне и говорили:

— Позвольте полюбопытствовать, что это на вас за панталоны? — и дотрогивались до них.

А один из столоначальников — юморист — заметил:

— Да они, кажется, из той же самой материи, из которой кухарки делают себе передники.

Панталоны мои произвели такой шум и движение в департаменте, что В. М. Княжевич обернулся к моему столу, посмотрел на меня искоса и потом, проходя мимо меня, заметил мне, что я неприлично одеваюсь [29].

По случаю холеры, появившейся в Петербурге в 1831 году, я вовсе перестал ходить в департамент. Когда после трехмесячного отсутствия я появился на службу, В. М. Княжевич подозвал меня к себе.

— Отчего вы так долго не были в департаменте? — спросил он меня, изменяясь в лице.

— Я был нездоров,— отвечал я.

— Вы должны были об этом уведомить... и я вооб-

ще должен сказать вам, что так служить нельзя. Вы являетесь в 12 часов, когда все приходят в половине десятого...

— Да я не получаю жалованья,— перебил я.

— Это не отговорка. Если вы желаете продолжать здесь службу, то должны служить как все. В противном случае...

— Я должен оставить службу, вы хотите сказать?..— снова перебил я.— Что ж такое, я выйду в отставку.

— Как вам угодно... Я вас не удерживаю...— сердито заметил Владислав Максимович.

Я уехал из департамента с намерением на другой же день подать в отставку, но все откладывал день за день, а между тем в департамент не показывался.

Так прошло два месяца.

В одно прекрасное утро явился ко мне департаментский курьер и объявил, что меня просит к себе директор департамента.

Д. М. Княжевич был человек очень горячий и в минуты гнева высказывался очень резко. Такое приглашение не предвещало ничего доброго, и я отправился в департамент с неприятным ощущением.

Я вошел в директорскую комнату и остановился перед директорским столом.

Дмитрий Максимович был погружен в занятия.

Через минуту он поднял голову от бумаг и оборотился ко мне.

— Я просил вас к себе,— сказал он мне, к удивлению моему, довольно мягким голосом,— чтобы переговорить с вами насчет вашей службы. Вы совсем не бываете в департаменте...

— Я хочу выйти в отставку, ваше превосходительство,— сказал я.

— Напрасно,— возразил директор,— я знаю, что вы имели объяснение с моим братом. Брат мой человек больной и желчный. Он, может быть, сказал вам что-нибудь лишнее, а вы как молодой человек сейчас оскорбились. Забудьте это. Мне было бы очень приятно, чтобы вы продолжали службу под моим начальством. Мне дорога память вашего отца, и я хотел бы что-нибудь для вас сделать.

Я был тронут этими словами, поблагодарил его за участие, но, несмотря на то, отвечал, что уже твердо решился выйти в отставку, чувствуя совершенную неспособность к такому роду службы.

— Ну, как вам угодно,— отвечал Дмитрий Максимович,— принуждать я вас не могу.

Я в тот же день подал в отставку и более года не вступал в службу, чего и не подозревали мои близкие, всё мечтавшие о том, что я скоро получу звание камер-юнкера.

Всякое утро я уезжал из дому, как будто на службу, а между тем толкался по улицам; заходил в кондитерские и с жадностию прочитывал печатавшуюся тогда в «Сыне отечества» повесть Марлинского «Фрегат Надежда», думая: «Господи, если бы написать что-нибудь в этом роде!» [30].

Пользуясь легким нездоровьем и запрещением доктора выезжать из дому, я со страхом принялся за сочинение повести. Я не имел никакого понятия о жизни, никакого взгляда на жизнь, даже внешние ее явления схватывал рассеянно, вскользь, а кое-какая способность к наблюдательности, без всякого взгляда, не могла мне служить ни к чему. Что было делать? Я после долгих усилий составил, однако, очень эффектный, по моему мнению, сюжет, разумеется в высшей степени нелепый, стараясь рабски подражать манере изложения и слогу Марлинского.

По мере писания я прочитывал ее Кречетову. Кречетов похваливал, в особенности слог, но замечал, что я касаюсь только внешней стороны при изображении лиц, мало заглядывая в глубь человеческого сердца; что моим лицам недостает психического развития, и тому подобное. При этом он прибавлял, что необходимо быть строгим к самому себе, что, написав произведение, надо положить его года на три; через три года перечесть, исправить и положить еще на три года, потом снова перечесть и снова исправить и еще положить на год, а уже после этого, прибавив кое-какие штрихи — с богом печатать; что он сам поступает всегда по этим правилам и что у него груда весьма серьезных сочинений, которые, может быть, скоро появятся в печати [31].

Руководствоваться рецептом Кречетова у меня недостало терпения. Мне смертельно хотелось видеть поскорее свое произведение напечатанным, и я послал мою повесть в редакцию «Сына отечества».

Через три месяца первая половина ее появилась в печати. Я дрожащими руками взял номер журнала и в волнении, почти сквозь слезы умиления, перелистывал его. В эту минуту я был счастливейшим человеком в мире и несколько дней после этого прохаживался по улицам с особенною гордостию и торжественностию... Кречетов был также очень доволен моим дебютом и замечал, что когда он прочел мою повесть в печати, она показалась ему несравненно лучше.

Поощренный напечатанием моего произведения, я начал обдумывать другую повесть, а между тем все пописывал стишки и исписал ими три довольно толстые тетради, но не решался отослать ни одного стихотворения в печать. Несмотря на одобрения Кречетова, я чувствовал, что не имею поэтического дара, и полагал, что мое настоящее призвание — проза. Кречетов согласился, когда я ему это заметил.

Вторая повесть моя, имевшая несколько поболее смысла и простоты, напечатана была в «Телескопе». Она понравилась некоторым литераторам, и, что странно, людям, не имевшим между собою ничего общего — Белинскому и Воейкову. Воейков воспел ей, в своих «Литературных прибавлениях к Инвалиду», такую преувеличенную похвалу (такова уже была его манера), которая более походила на иронию, и вздумал почему-то приписать эту повесть Белинскому, который в это время уже обратил на себя всеобщее внимание своими «Литературными мечтаниями» и первыми критическими статьями в «Телескопе» [32].

После этой повести издатели журналов и альманахов обратили на меня внимание и начали обращаться ко мне с просьбами о повестях. Я уже не шутя стал считать себя литератором. Перелистывая однажды тетради с моими стихотворениями (их накопилось до шести), я выбрал из них только пять стихотворений для печати, а остальное сжег... [33]

Но я зашел слишком далеко и должен обратиться назад.

Гораздо спустя напечатания моей первой повести, однажды часа в три я зашел в книжный магазин Смирдина, который помещался тогда на Невском проспекте в бель-этаже дома лютеранской церкви. В одно почти время со мною вошли в магазин два человека: один большого роста, с весьма важными и смелыми приемами, полный, с рыжеватой эспаньолкой, одетый франтовски; другой среднего роста, одетый без всяких претензий, даже небрежно, с курчавыми белокурыми волосами, с несколько арабским профилем, толстыми выдавшимися губами и с необыкновенно живыми и умными глазами. Когда я взглянул на последнего, сердце мое так и замерло. Я узнал в нем Пушкина, по известному портрету Кипренского.

До этого я нигде никогда не встречал Пушкина. Я преодолел робость, которую ощутил при первом взгляде на этот великий литературный авторитет, подошел к прилавку, у которого он остановился, и начал внимательно и в подробности рассматривать поэта. Прежде всего меня поразили огромные ногти Пушкина, походившие более на когти. Выражение лица его показалось мне очень симпатическим, а улыбка чрезвычайно приятной и даже добродушной. Он спросил у Смирдина не помню какую-то книгу и, перелистывая ее, обратился к своему спутнику с каким-то замечанием. Спутник, заложив руку за жилет, отвечал громко, не смотря на Пушкина, и потом, с улыбкою обратясь к Смирдину, начал с некоторою торжественностию:

К Смирдину как ни придешь...

и остановился.

Смирдин заюлил и начал ухмыляться. Пушкин взглянул на своего спутника с полуулыбкою и покачал головой. Я думал, глядя на господина с рыжей эспаньолкой: «Счастливец! как он обращается с великим человеком. Кто бы это такой?»

С этим вопросом обратился я к Смирдину, когда Пушкин вышел из лавки.

— Это-с С. А. Соболевский,— отвечал Смирдин,— прекраснейший человек и друг Александра Сергеевича-с... Он пишет на всех удивительнейшие эпиграммы в стихах-с.

После я уже узнал, что стих, произнесенный Соболевским у Смирдина, был первый стих известного экспромта Пушкина:

К Смирдину как ни придешь,
Ничего не купишь,
Иль Сенковского найдешь,
Иль в Булгарина наступишь.

Я и не смел думать о знакомстве с Пушкиным, да и какое право имел я на знакомство с ним? Я только завидовал моему приятелю Дирину, который познакомился с ним по случаю своего отдаленного родства с Вильгельмом Кюхельбекером. Родные Дирина получали через III отделение письма от ссыльного Кюхельбекера, в которых всегда почти упоминалось о Пушкине, и Дирин носил обыкновенно эти письма показывать Пушкину. Дирин занимался тогда переводом книжки Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека» и сообщил об этом Пушкину, который одобрил его мысль и обещал ему даже написать предисловие к его переводу*.

Дирин был в восхищении от приемов Пушкина, от его приветливости и внимательности. Пушкин действительно, по словам всех литераторов, имевших с ним сношения, был очень прост, любезен и до утонченности вежлив в обхождении, никому не давая чувствовать своего авторитета. Якубович гордился тем, что Пушкин всегда выпрашивал у него стихов для своих изданий.

Энтузиазм Дирина к Пушкину доходил до благоговения. Когда какой-то мой перевод стихов Гюго был напечатан рядом со стихами Пушкина в «Библиотеке для чтения», Дирин, уведомляя меня об этом, писал: «Ты пойми, какая это высокая честь. Ты счастливец. Я не знаю, чего бы я ни дал, чтобы видеть имя свое, напечатанное рядом с именем Пушкина»[34].

Через несколько лет после смерти Дирина я как-то

---

* Перевод Дирина «Об обязанностях человека, наставление юноше», с эпиграфом «Правда бо бессмертна есть», напечатан в 1836 г. Пушкин, вместо обещанного предисловия, напечатал в 3 № своего «Современника» краткий взгляд на сочинения Сильвио Пеллико, и Дирин перепечатал этот отзыв в вступлении к своему переводу.

завел речь об нем и об его отношениях к Пушкину с П. А. Плетневым.

— А знаете ли, почему Пушкин был так внимателен и вежлив к нему?

— Почему же? Ведь он был со всеми таков.

— Нет,— отвечал Плетнев,— с ним он был особенно внимателен — и вот почему. Я как-то раз утром зашел к Пушкину и застаю его в передней провожающим Дирина. Излишняя внимательность его и любезность к Дирину несколько удивила меня, и когда Дирин вышел, я спросил Пушкина о причине ее.

«— С такими людьми, братец, излишняя любезность не вредит,— отвечал, улыбаясь, Пушкин.

«— С какими людьми? — спросил я с удивлением.

«— Да ведь он носит ко мне письма от Кюхельбекера... Понимаешь? Он служит в III отделении.

«Я расхохотался и объяснил Пушкину его заблуждение».

Дирин, разумеется, ничего не знал о подозрении Пушкина; он пришел бы от этого в отчаяние, но Пушкин после этого обнаружил к нему уже действительное участие, что доказывает и предисловие к его переводу Сильвио Пеллико...

Я следил за литературою усердно, читал от доски до доски все журналы и все отдельно выходившие замечательные литературные произведения. При появлении «Торквато Тассо» Кукольника я пришел вместе со многими в восторг от этого произведения. «Какие колоссальные надежды должен подавать поэт, выступающий с таким произведением!» — говорили тогда в литературных кружках и в обществе.

Петербургская молодежь, занимавшаяся литературой, в высшей степени заинтересована была личностию автора «Тасса». Носились слухи, что он привез с собою множество удивительных произведений, долженствовавших сделать переворот в русской литературе [35].

— Хочешь ли познакомиться с Кукольником? — сказал мне однажды один из моих приятелей, Ф. Т. Фан-дер-Флит.— Завтра вечером он читает у Гижилинского свою новую драму. Приезжай ко мне. Мы поедем вместе. Я тебя познакомлю с Гижилинским, а Гижилинский познакомит нас с Кукольником. Говорят, новая драма Кукольника — чудо!

Нечего говорить, с какою радостию я принял это предложение.

Вожделенный вечер наступил.

В 7 часов мы были у Гижилинского.

Через полчаса явился поэт.

В это время еще он имел некоторое сходство с тем идеализированным портретом, который впоследствии был сделан Брюлловым. На нас произвела сильное впечатление его сухощавая и длинная фигура, его бледное и продолговатое лицо, черные задумчивые глаза и какой-то особенный тон, который казался нам пророческим. При этом Кукольник говорил по-печатному на букву *о,* что придавало особенную вескость и торжественность его словам.

Слушателей собралось человек десять. Гижилинский всех нас представил поэту. Кукольник каждого из нас обнял и поцеловал.

— Господа! — произнес он,— от души рад с вами сблизиться. Вы любите и чтите искусство, а искусство — моя святыня, которой я обрек себя на служение. Все любящие искусство близки мне — следовательно, хотя я вижу вас в первый раз, но уже считаю вас как бы родными и близкими себе.

Кукольник вскоре приступил к чтению «Руки всевышнего», заметив, впрочем, что он не считает эту драму лучшим своим произведением; что у него задуман целый ряд драм из жизни итальянских художников, требовавших огромной *эрудиции,* из которых одна — «Джулио Мости» — приведена почти совсем к окончанию, и что это его любимое, *задушевное* произведение.

Кукольник прочел нам свою драму мастерски, с эффектом. Слушатели были плохие судьи: им не могло придти в голову ни о том, какая мысль движет произведением, ни о том, заключает-ли оно в себе хоть тень исторической правды. Мы восхищались только эффектными стихами и монологами. Этого одного довольно было, чтобы «Рука всевышнего» показалась нам замечательным произведением.

Когда Кукольник кончил, было уже около часа. После изъявления восторгов начались приготовления к ужину.

За ужином Кукольник говорил неумолкаемо, и каждое слово его казалось нам чуть не откровением. Он

поразил нас своими обширными и многосторонними сведениями, что было очень немудрено при отсутствии в нас всяких сведений.

После ужина он сел на диване. На столе перед диваном поставлена была бутылка с красным вином. Мы расселись кругом поэта. Речь его становилась все вдохновеннее и возвышеннее — по крайней мере нам так казалось. По поводу кем-то изъявленного восторга о его «Тассе» Кукольник заметил, что это произведение детское, слабое сравнительно с его «Мости» и с тем рядом произведений, которые замышлены им.

— Сказать ли вам, господа, что смущает меня,— произнес Кукольник в заключение,— я с вами буду говорить прямо: меня смущает мысль, что русская публика еще не доросла до понимания серьезных произведений. Много ли в ней таких, как вы? Мне кажется, я брошу писать по-русски, а буду писать или по-итальянски, или по-французски.

Слова эти произвели на всех нас потрясающее впечатление. «У-у! каков!» — подумали мы, перемигнувшись друг с другом, и с некоторым страхом взглянули на Кукольника, как на существо, выходящее из ряду вон, высшее... Потом мне показалось немного подозрительным, чтобы можно было так же хорошо владеть чужими языками, как своим отечественным, но я тотчас же устыдился моего сомнения.

— Мне это больно, горько,— продолжал поэт, и на глазах его, по крайней мере так показалось нам, были слезы,— я люблю Россию горячо, но делать нечего! все-таки, я думаю, придется бросить русский язык...

Мы начали умолять поэта, чтобы он не делал этого и не лишал бы русскую литературу и наше любезное отечество славы; что он и в России найдет себе много истинных приверженцев и почитателей... Что касается до нас, мы почти дали ему клятву в верности на всю жизнь...

Кукольник долго молчал. Бутылка была опорожнена. Он прислонился к спинке дивана и закрыл глаза.

Через несколько минут он поднял веки и медленным взглядом обвел всех нас.

Этот взгляд показался мне до того многозначительным, что я вздрогнул.

— Благодарю вас, искренно и от всего сердца благодарю,— произнес Кукольник глубоко растроганным голосом,— не за себя благодарю — за искусство, великое дело которого вы так горячо принимаете к сердцу... Да, я буду писать по-русски, я должен писать по-русски, уже по одному тому, что я нахожу таких русских, как вы!..

Кукольник встал, обнял нас и сказал, что он счастлив, приобретя себе таких друзей, как мы...

— Добрый хозяин дома даст нам еще бутылку вина,— прибавил Кукольник,— и мы скрепим наш союз брудершафтом.

Мы расстались с поэтом часа в четыре утра, убежденные в его гениальности.

Я долго не мог заснуть и все думал о счастии быть другом такого поэта и говорить ему *ты*...[36]

ГЛАВА III

Дальнейшее знакомство мое с Кукольником.— Его поклонники.— Первое представление «Руки всевышнего».— Триумвират Брюллова, Глинки и Кукольника.— Их дружба.— Чиновники особых поручений при авторитетах.— Середы Кукольника.— Булгарин.— Ужин у Кукольника.— М. И. Глинка.— Карикатурный альбом Степанова.— Продолжение моей службы.— Князь Ширинский-Шихматов.— Бал у него.— Умирающий Сваррик-Сваррацкий.— Г. Краевский в редакции «Журнала Министерства просвещения».— Мое знакомство с Краевским.— Перевод «Отелло».— Знакомство с Каратыгиным, Брянским и князем Шаховским.



Кукольником я не мог видаться часто. Он возил свою «Руку» из дома в дом и читал ее. Толпы новых поклонников его возрастали с каждым новым чтением и заслоняли его от прежних. Надобно сказать правду, что эти поклонники набирались всюду без разбора и, соперничая друг перед другом в энтузиазме, вообще не отличались большим развитием.

«Рука» репетировалась между тем в театре. Наконец, наступило давно желанное для энтузиастов Кукольника представление. Весь партер был набит ими. Я, разумеется, был в том же числе. В нашей преданности и энтузиазме к поэту мы не щадили ни рук, ни

голоса: кричали, топали, хлопали и вызывали автора несчетное количество раз после представления. Успех был огромный. Но когда драма Кукольника появилась в печати, она встречена была, к нашему огорчению, не совсем благосклонно.

Всем известен отзыв об ней Полевого и последствие этого отзыва — «Телеграф» был запрещен. По этому поводу кто-то написал довольно остроумное четверостишие:

Рука всевышнего — три чуда совершила:
Отечество спасла,
Поэту ход дала
И Полевого уходила[37].

Вскоре после этой чудотворной «Руки» начались чтения новых произведений: «Джулио Мости», «Джакобо Саназара», «Скопина-Шуйского», «Роксоланы» и так далее. Кукольник читал нам свои новые произведения одним из первых. Сенковский произвел его за «Торквато Тассо» в Гете[38].

Такое непомерное повышение показалось неловким даже некоторым из самых благоразумных его поклонников. Мой энтузиазм к поэту, впрочем, не остывал. Каждое новое его произведение казалось мне шагом вперед. Имя Кукольника гремело в журналах и в обществе. Он становился авторитетом, близко сошелся с Брюлловым и Глинкою и уже довольно равнодушно смотрел на фалангу своих поклонников, которые делались ему бесполезными.

Каждое чтение нового произведения оканчивалось ужином и шампанским. На этих ужинах поэт делал объяснения своим произведениям, из которых мы между прочим узнали, что *цаца* и *ляля* в «Джулио Мости» — любимые слова его детства и что он решился внести их в драму как приятное для него воспоминание. Известно, что Кукольник почти всех своих героев заставлял красноречиво пророчествовать и любил сам пророчествовать о себе на дружеских сходках.

Таким образом, однажды, разговорясь о литературе и о значении Пушкина, он сказал:

— Пушкин, бесспорно, поэт с огромным талантом, гармония и звучность его стиха удивительны, но он

легкомыслен и неглубок. Он не создал ничего значительного; а если мне бог продлит жизнь, то я создам что-нибудь прочное, серьезное и, может быть, дам другое направление литературе... (Передавая слышанное мною из уст поэта, я ручаюсь, конечно, только за верность мысли, а не за слова и обороты фраз [39].)

К сожалению, в действительной жизни пророчества не всегда сбываются так легко, как в литературных произведениях.

Сближение и короткость Кукольника с Брюлловым и Глинкою, пользовавшимся уже громкою известностью после «Жизни за царя» [40], еще более возвысило Кукольника в глазах его многочисленных поклонников. Они мечтали видеть в этой короткости разумный союз представителей живописи, музыки и поэзии и полагали, что такой союз может иметь влияние на эстетическое развитие нашего общества. Едва ли Кукольник не поддерживал и не распространял эту мысль. В сущности, союз этот не имел и тени чего-нибудь серьезного. Представители трех искусств сходились только для того, чтобы весело проводить время и, разумеется, толковать между прочим *о святыне искусства и вообще о высоком и прекрасном.* Союз этот поддерживался некоторое время тем, что представители приятно щекотали самолюбие друг друга. Около них, как всегда около авторитетов, образовался небольшой штат угодников, шутов, исполнителей особых поручений и блюдолизов из маленьких талантиков. В числе таковых выдвигались на первом плане бесталанный художник Яненко, грубый, наглый циник, который для того только, чтобы хорошо выпить и поесть, готов был пожертвовать всем в угоду кому-либо из своих патронов, даже женой и дочерью, и другой — также бесталанный художник М * [41], с льстивой и рабской натурой, всегда притворно-робко входивший в ателье Брюллова, взглядывавший на новое произведение его кисти с лицемерным благоговением, восклицавший: «недостоин, недостоин!» и выбегавший, закрывая глаза, как бы ослепленный им... К ним присоединилось несколько маленьких литературных талантиков, отчасти из тщеславной мысли прослыть друзьями гениальных, по их мнению, людей, отчасти из того, чтобы вместе с ними веселиться, пить и есть.

В это время Кукольник занимал вместе с своим братом Платоном, управлявшим делами Новосильцова, довольно большую квартиру в Фонарном переулке, в доме Плюшара. Он завел у себя *Середы*. Плюшар, мотавший тогда деньги, получаемые им с «Энциклопедического лексикона», находился в близких отношениях к Кукольнику, Сенковскому, Булгарину и Гречу. Кукольник также сошелся очень близко с последними.

На этих середах впоследствии (это уже было в начале сороковых годов) собиралось иногда человек до восьмидесяти. Тут не были исключительно любители искусства и поклонники литературы, художники и литераторы, а всякого рода весельчаки, военные и штатские, пожилые и молодые — даже игроки, аферисты и спекуляторы. Вся эта разнохарактерная ватага бестолково толпилась и шумела, бродя из комнаты в комнату. Хозяин дома кочевал среди этой толпы и останавливался на минуту перед своими гостями с каким-нибудь любезным словом. О *святыне искусства* не было и помину. На этих середах перебывали все пишущие люди за исключением немногих писателей-аристократов, принадлежавших к друзьям Пушкина. Середы эти начались уже после смерти Пушкина. (Надобно заметить, что Пушкин никогда ни слова не говорил о сочинениях Кукольника, хотя он, как известно, радовался появлению всякого таланта.) Одну из важных ролей на этих середах играл Булгарин, к которому хозяин дома был очень внимателен. Здесь я увидел в первый раз этого господина. Кукольник познакомил меня с ним, хотя я вовсе не просил его об этом. Короткие отношения Кукольника с Булгариным действовали неприятно на меня и на всех молодых поклонников поэта. Новое пишущее и читающее поколение этого времени все без исключения презирало Булгарина. Тот, кто печатал свои статьи в «Пчеле» или был в коротких сношениях с ее редактором, компрометировал себя в мнении молодежи. Между старым и старевшим поколением Булгарин пользовался еще большою популярностию. Можно сказать утвердительно, что Кукольник поступил нерасчетливо для своей литературной репутации, видимо склоняясь более на сторону отживавшего поколения и протягивая руку таким людям, как Булгарин. Но в это время уже, кажется,

святыня искусства, о которой он так горячо проповедывал за приятельскими обедами и за ужинами в кафе-ресторанах, отходила для него на второй план. Другие, более существенные и практические замыслы начинали уже, кажется, занимать его во вред поэзии.

Когда Кукольник подвел меня к Булгарину, Булгарин схватил мою руку и, спотыкаясь почти на каждом слове, скороговоркою произнес, брызгая слюнею:

— Очень рад, очень рад, почтеннейший! Я вас, еще не зная, душевно полюбил за вашу повесть... вы пишете чистым русским языком, прекрасный слог, прекрасный. Полюбите меня, не слушайте моих врагов... Я режу всем правду-матку в глаза, оттого и нажил много врагов... Дядюшку вашего я уважаю. Мы с ним старые знакомые... достойный человек, достойный.

В ту минуту, как он мне говорил это, я курил сигару и пустил ему дым прямо в рот.

Булгарин поперхнулся.

С тех пор, при упоминании о моих повестях в «Пчеле», он всякий раз заговаривал о сигаре совершенно некстати, уверяя, будто все изображаемые мною лица непременно курят сигары, что эти сигары весьма неуместны и что можно быть, конечно, охотником до них, но не надоедать с ними в литературе. Кроме меня и Булгарина никто, конечно, не понимал, что это значит [42].

При напечатании одной из моих повестей (это было также в начале сороковых годов, здесь я уж кстати введу этот эпизод) «Северная пчела» отозвалась, что хотя она *не имеет удовольствия знать меня лично и не слыхала, к какому обществу я принадлежу, но судя по тому, что я недурно изображаю мирок мелких чиновников, я, вероятно, должен принадлежать к этому мирку.* В заключение «Пчела» замечала, что я до такого совершенства изучил *известного рода старушек, у которых собираются молодые девицы для приятного препровождения времени с молодыми людьми, и так верно изображаю подобные дома, что можно заключить, будто я родился и воспитывался в одном из таких домов*[43].

Эта милая выходка подала повод к большим толкам между многими из тех литераторов, которых Булгарин считал своими врагами, и когда я дня через два после этого приехал к князю Одоевскому, Одоевский,

граф Соллогуб и Башуцкий встретили меня тем, что я непременно должен жаловаться на Булгарина; что такая наглость и гнусность не может остаться безнаказанной; что сегодня он оскорбил меня, завтра может оскорбить кого-нибудь из них, и проч.

Я, однако, жаловаться не решился; но граф Соллогуб при встрече с председателем цензурного комитета князем Дундуковым-Корсаковым рассказал ему о выходке «Пчелы» против меня.

Князь Дундуков спросил в комитете, кто из цензоров пропускал тот номер «Пчелы», где она была напечатана. Оказалось, что это был родной брат его, П. А. Корсаков. Корсаков отговаривался перед братом тем, что не понял намека. Князь Дундуков сделал ему выговор и приказал строже следить за «Пчелою».

Булгарин узнал об этом и написал к князю Дундукову письмо, в котором объяснял ему, что статью обо мне писал не он; что он и не подозревал об моем существовании; что мало ли что говорится иногда о людях и позначительнее меня; что неужели обо мне нельзя ничего сказать, потому что я ношу одну фамилию с каким-нибудь директором канцелярии[44]? что он, Булгарин, человек благонамеренный, известный с самой хорошей стороны правительству; что он в детстве был, так сказать, *повит голубыми лентами,* что его вельможи ласкали, а Свистунов — всегда целовал; что он режет всем правду-матку в глаза; что поэтому его ненавидят разные литераторы, считающие себя неизвестно почему аристократами; что Соллогуб величается графом, хотя в Польше графов никогда не было; что князь Вяземский работал по найму у купца третьей гильдии Полевого[45]; что князь Одоевский готов за деньги написать статью против кого угодно... и проч., и проч. В заключение он просил, как притесняемый, защиты у князя Дундукова и называл его брата Корсакова благородным цензором и *дворянином.*

Письмо это хранилось в копии у г. Краевского, пылавшего тогда благородным негодованием против всяких *нелитературных* выходок.

Несколько месяцев спустя после этого я заехал к В. И. Панаеву.

— Что у тебя такое было с Булгариным? — спросил он меня.

Я давно забыл о выходке «Пчелы».

— Ничего,— отвечал я,— я с Булгариным не имею никаких связей и сношений; а что?

— Да я дней пять тому назад встретил его в Милютиных лавках. Он пристал ко мне. «Ваше превосходительство, говорит, вы на меня сердитесь... Я не виноват...» — «За что мне на вас сердиться?» — «В «Пчеле», говорит, оскорбили вашего племянника; но я, клянусь вам богом, не знал об этом. Я вашего племянника люблю, ваше превосходительство, несмотря на то, что он якшается с моими врагами. Я поручил написать об нем одному сотруднику, думая, что он находится с ним в хороших отношениях, а он с ним в *контре* — он и ввел меня в эту неприятность. Простите меня, бога ради, не виноват, не виноват, ваше превосходительство!» И все тыкался мне в плечо и целовал, объясняясь в любви ко мне и к тебе. Я ничего хорошенько не понял.

Я рассказал Панаеву, в чем дело, и передал ему содержание письма Булгарина к Дундукову.

Панаев покачал головою.

— Ах, неужели,— возразил он с свойственною ему мягкостию,—Булгарин такой нехороший человек! Я этого не думал... Мне как-то хочется думать об людях все лучше [46].

Эпилог к этой забавной истории разыгрался лет пять спустя.

Я жил па даче в Парголове, где жил тогда и Межевич, перешедший от г. Краевского к Булгарину и потом редижировавший «Полицейскими ведомостями».

С Межевичем я познакомился, когда он приехал из Москвы и сделался сотрудником «Отечественных записок» (об этом я буду говорить подробно). Межевич очень конфузился, перебежав в «Пчелу», и долго скрывал это от нас. В это время я написал статейку «Петербургский фельетонист», в которой мой фельетонист также тайно перебегает из одного журнала в другой. Межевич принял эту статейку па свой счет.

Я встретился с Межевичем по дороге в сад, и мы пошли вместе. Вечер был теплый и тихий; я разговорился с ним о чем-то. Тишина природы и моя любезность подействовали на Межевича.

Он вдруг, расстроганный, остановился и произнес:

— Знаете ли, что я перед вами очень виноват?

— Каким образом? — спросил я.

— Ведь это я написал в «Пчеле» известный вам гадкий намек на вас. Я был тогда глубоко оскорблен вашим «Петербургским фельетонистом», простите меня.

— И, полноте, любезный Василий Степанович,— я уж давно и забыл об этом,— отвечал я.

Межевич с чувством и даже со слезящимися глазами пожал мою руку...

Но обратимся к середам Кукольника.

Вся ватага гостей его расходилась обыкновенно около часа,— иногда Яненко или кто-нибудь из мелких литераторов, состоявших по особым поручениям при поэте, разными хитростями выживали гостей ранее. По очищении комнат накрывался ужин человек на двадцать самых интимных и продолжался до утра. За этим ужином происходили дружеские и всяческие излияния, выступала на сцену *святыня искусства* и раздавались вдохновенные и пророческие речи хозяина дома.

На одной из серед Кукольник часов в одиннадцать подошел ко мне, значительно мигнул и шепнул с улыбкою.

— Не уезжай. Когда разбредется вся эта шушера, останутся избранные. Вечера мои собственно начинаются тогда, когда они кончаются для них...

Кукольник указал головою на толпу гостей.

— До сих пор,— прибавил он,— была только *увертюра*,— самая *опера* начнется потом.

Надо заметить, что это происходило после «Роксоланы» и «Скопина-Шуйского», которые имели огромный успех на сцене. Усердие наше к крикам и хлопанью не уставало. К нам присоединилось еще множество офицеров различных полков — новых друзей поэта, с еще более громким голосом, чем у нас.

Хотя я продолжал быть убежден в огромном таланте Кукольника, но меня уже смущали его связи с Булгариным, Плюшаром и им подобными личностями, которым я не мог сочувствовать; его искание популярности без всякого разбора, ухаживанье за людьми чиновными и значительными и еще притом прославле-

ние их между приятелями, пиры без конца, повторение тех же громких фраз и проч.— все это много способствовало моему разочарованию. Сомнение начало закрадываться в меня относительно призвания поэта; я уже иногда посматривал на него как на простого смертного и даже осмелился замечать иногда его комические стороны.

В таком положении я был к нему, когда он сделал мне честь, которой удостоивались немногие — удержал меня на ужин.

Мне, однако, это было еще очень приятно.

За ужином Кукольника в этот раз было человек пятнадцать: несколько офицеров Преображенского полка, М. И. Глинка, Яненко, Струговщиков, переводивший Гете и издававший тогда «Художественную газету», и Каменский, интересный молодой человек, явившийся с Кавказа с повестями à la Марлинский и с солдатским Георгием в петлице. Кавказский герой одержал две победы в Петербурге: одну над г. Краевским, издававшим «Литературные прибавления», который, пораженный его талантом, заплатил ему 500 рублей (ассигнациями) за его первую повесть; другую над дочерью Ф. П. Толстого. Остальных присутствовавших за этим ужином я не помню. Ужин отличался не столько съестною, сколько питейною частию. В столовой на одной стене висел портрет Кукольника-поэта, на другой его брата Платона — оба работы Брюллова, в великолепных рамах. Вино лилось. За шампанским Кукольник встал и, обращаясь в особенности к офицерам, подняв бокал и протягивая с ним руку к портрету брата, произнес торжественно:

— Преображенцы! за здоровье отсутствующего Платона!

Здоровье управляющего новосильцевским именьем было выпито с восторженными криками.

Я сидел возле М. И. Глинки.

Глинка перед ужином был в дурном расположении духа. Он говорил мало и нехотя, гордо поднимал свою голову и, заложив руку за жилет, важно прохаживался в толпе, *будируя* всех своих знакомых. Такие минуты находили на него часто. За ужином он, однако, мало-помалу расходился: говорил мне о своих музыкальных планах, о своем «Руслане», над ко-

торым он тогда трудился, о будущности России (это был один из любимых его разговоров) и о русском народе. Глинка полагал, что он хорошо знает народ и умеет говорить с ним. При такого рода разговорах он обыкновенно очень одушевлялся: глаза его сверкали, он щипал руку того, с кем говорил — и беспрестанно повторял «неправда ли?..» В этот раз он исщипал мою руку до синяков.

Глинка был человек страстный, увлекающийся, настоящий поэт,— и в такие минуты он возбуждал к себе большую симпатию и увлекал многих своими фантазиями и парадоксами, потому что в его увлечениях не было ничего поддельного... надобно было только сидеть от него подальше. Но когда кто-нибудь затрогивал чуть-чуть его самолюбие или ему только казалось это, он становился нестерпимо горд, дулся, поднимался на ходули и принимал важные и пресмешные позы, вовсе не шедшие к его маленькой фигурке.

Степанов — нынешний редактор «Искры» — мастерски схватил комические стороны Глинки, Брюллова и Кукольника. Он представил всю жизнь их в очень злых, метких и остроумных карикатурах. Альбом этот принадлежит теперь графу Г. А. Кушелеву-Безбородко [47].

О *святыне искусства* за ужином Кукольника в этот раз не было речи. Он сообщил только нам, что он трудится над эпохою Петра Великого, приготовляет ряд повестей из этой эпохи, и кстати рассказал нам из нее несколько анекдотов.

После ужина все смолкли, потому что Глинка, почувствовав вдохновение, сел к фортепьяно и начал импровизировать. Кукольник стоял у фортепьяно, восклицая по временам: «дивно!», и, обращаясь к офицерам, шептал, прикладывая указательный перст к губам: «слушайте, слушайте, преображенцы!»

В заключение Глинка пропел свой романс:

В крови горит огонь желанья —

страстным, задыхающимся голосом, дико поводя глазами на слушателей.

Потом он повел рукою по лбу и волосам (это он часто делал в минуты волнения), встал со стула, из-за плеча бросил гордый взгляд на всех (кто из знавших

Глинку не помнит этого взгляда?), прошелся по комнате, допил свой стакан, подошел ко мне улыбаясь, ущипнул меня и сказал:

— Если б наш Иван Акимыч воскрес и был здесь, что бы он сказал? — Михайло Иваныч заморгал и начал обдергиваться: — «Глинка... новый Орфей, продолжай услаждать слух гармонией... Жизнь коротка... мудрый, пользуйся жизнию... Добрый хозяин всегда имеет в запасе: бутылку на столе — две под столом... Разумей об этом тот, кому ведать надлежит...» — Глинка засмеялся.— Правда, ведь так? — заметил он.

Мы разошлись часов в 5 утра [48]. . . . .

. . . .

Надобно сказать, что при начале вечеров Кукольника я был уже знаком со многими литераторами, с которыми сошелся на середах у Кукольника, на воскресеньях у графа Ф. П. Толстого и у г. Краевского, приступавшего тогда к изданию «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду» и скромно жившего неподалеку от Кукольника, на углу Глухого и Фонарного переулков, в 4-м этаже.

О знакомстве моем с г. Краевским я расскажу впоследствии. . . . .

После службы моей в Департаменте государственного казначейства я отдыхал с год, и наконец князь П. А. Ширинский-Шихматов, бывший тогда директором Департамента народного просвещения, с которым были знакомы мои родные, определил меня к себе в департамент младшим помощником столоначальника [49].

Когда я в первый раз явился к князю Шихматову, он сидел в своем кабинете у письменного стола в вицмундире и со звездой.

— Милости прошу,— сказал он мне, немного приподнявшись с своих кресел и указывая на стул.

Князь Шихматов говорил тихо, медленно, с расстановками. В кабинете его стоял письменный стол, несколько стульев и кресел, а на одной из стен висел портрет какого-то монаха. На полном лице князя, желтом, как церковная свеча, выражалась совершенно монашеская кротость и смирение.

— Вы желаете служить в департаменте?.. Просьба ваша об определении у меня. С будущей недели вы

можете уже начать службу. Вы поступите младшим столоначальником во II отделение, в стол г. Сваррику-Сваррацкому...

Я поклонился.

— Вы, я слышал, занимаетесь литературой? — спросил меня князь после минуты молчания.

— Немного,— отвечал я сконфузясь.

— Это похвальное занятие,—возразил князь,— я также в молодых летах питал любовь к литературе и писал стихи. Вы, может быть, знаете?..

— Как же, ваше сиятельство,— отвечал я, хотя, признаться, мне не случалось читать стихотворений князя.

Затем последовало молчание.

Князь Ширинский приподнялся с кресла, я встал со стула.

— Так на будущей неделе вы пожалуйте в департамент. До свидания-с.

Служба решительно не давалась мне, или, лучше сказать, я никак не мог подчиниться ей. У меня не оказывалось ни малейшего честолюбия. Камер-юнкерство уже перестало занимать меня; но мои близкие всякий раз, когда производили в камер-юнкеры сына или родственника их знакомых, с упреком говорили мне:

— NN сделан камер-юнкером. В каком восторге от этого его родители, и какой он прекрасный молодой человек, как он утешает их, как отзывается об нем начальство!.. Это примерный сын!

И за такими речами следовал обыкновенно глубокий вздох...

Я ездил в департамент довольно аккуратно, просиживал определенное время, но из этого ничего не выходило. Столоначальник мой г. Сваррик-Сваррацкий, добрейший человек, смотрел на меня снисходительно, потому что я был определен в департамент князем Шихматовым. К тому же у г. Сваррика был отличный старший помощник г. Кисловский, нынешний директор канцелярии министра просвещения.

Я изредка посещал по праздничным дням князя и княгиню Ширинских. Однажды при таком посещении княгиня пригласила меня к себе на танцовальный вечер, в присутствии князя, который молчал, но заметно

нахмурился при словах «танцовальный вечер». Княгиня была так же богомольна и благочестива, как князь, но она находила, что для ее взрослых дочерей необходимо иногда развлечение.

Кавалеры на этом вечере большею частию состояли из чиновников департамента, под распоряжением экзекутора, который не приказал никого из них выпускать до 2 часов. В зале, где танцовали, зажжено было несколько ламп, издававших красноватый свет. Стены залы были также увешаны портретами монахов, которые, казалось, сурово и с удивлением смотрели на возмутившее их светское увеселение. Сам князь прохаживался, видимо смущенный бренчаньем на фортепьяно и прыганьем под эти звуки. Чиновники чувствовали себя неловко: для угождения княгине надобно было танцовать, а князь неблагосклонно посматривал на своих подчиненных — танцоров. Вечер не клеился, и уже не повторялся более. Столоначальник мой, г. Сваррик-Сваррацкий, на другой день, впрочем, заметил мне, что вечер у князя был очень приятный.

Бедный Сваррацкий! упоминая об нем, я не могу удержаться, чтобы не рассказать о последних минутах его жизни. Он получил Анну на шею и вслед затем взял отпуск, чтобы блеснуть этим знаком отличия на родине, но простудился и слег в постелю. Доктор департамента Спасский, лечивший его, заехал к нему от раненого и умиравшего Пушкина. Сваррацкому было плохо. Он приподнялся на постели, схватил руку доктора и произнес, бросая грустный взгляд на Анну, лежавшую на столике у его постели:

— Скажите мне, есть ли какая-нибудь надежда, доктор? Могу ли я выздороветь?

— Никакой,— отвечал Спасский,— да что ж такое? все мы умрем, батюшка. Вон и Пушкин умирает... Слышите ли, Пушкин?!. Так уж нам с вами можно умереть.

Сваррацкий со стоном опустил голову на подушку и умер в один день и почти в один час с Пушкиным.

Спасский по этому случаю заметил:

— Вишь, счастливец! Умереть в один час с таким человеком, как Пушкин. Это не всякому удастся[50].

Сваррацкий нередко просил меня навести справки о чем-нибудь в редакции «Журнала просвещения»,

комнатка которой была на той же лестнице, где и департамент. Там я встречал чиновника небольшого роста, с очень серьезной и значительной физиономией, с густыми черными волосами, тщательно причесанными, как тогда носили, á la moujik, и с большими темно-серыми глазами, имевшими строгое и резкое выражение.

— Кто это такой? — спросил я однажды у одного из чиновников.

— Это помощник редактора,— отвечал мне чиновник,— кандидат Московского университета Краевский — преученый человек.

Г. Краевский имел уже тогда в виду взять у Воейкова «Литературные прибавления»; ему нужны были сотрудники; он знал, что я пишу повести, и потому мы сошлись с ним легко и довольно близко, чему еще более способствовало то, что в это время мы коротко познакомились в одном доме, который стали посещать почти ежедневно [51].

Толки об учености Краевского в департаменте основывались, кажется, на компиляции его о философии аббата Ботеня, заказанной ему графом Уваровым и помещавшейся тогда в «Журнале Министерства просвещения» [52].

В Петербург г. Краевский явился со статьею «Борис Годунов». Он прежде всего познакомился с Гречем, потому, вероятно, и статья эта была напечатана в «Сыне отечества» [53]. Греч первое время отзывался о г. Краевском с увлечением. Вскоре, я уже не знаю по каким причинам, г. Краевский отвернулся от Греча и познакомился, кажется через П. А. Плетнева, с князем В. Ф. Одоевским, который принял его с распростертыми объятиями и с свойственным ему добродушием...

Через г. Краевского я познакомился потом с князем Одоевским в качестве переводчика «Отелло» Шекспира.

Кстати об этом переводе.

Как все молодые люди, я был страстный охотник до театра. Мир закулисный казался мне каким-то фантастическим, в высшей степени привлекательным и недоступным миром. По тогдашней моей робости я и не смел думать о знакомстве с Каратыгиным или Брян-

ским, которые доставляли мне своею игрою на сцене неописанное наслаждение. Я не пропускал ни одного представления «Разбойников», «Дон-Карлоса», «Коварства и любви» и различных немецких драм Грильпарцера и других, дававшихся в то время. Каратыгин и Брянский, особенно первый, поражали меня своим талантом.

В это время я принялся за чтение Шекспира. «Гамлета» я прочел в переводе Вронченко, еще будучи в пансионе, но он мне не понравился. Года два спустя после выпуска я снова принялся за него и, уже принудив себя прочесть его несколько раз, был поражен глубиною и величием этого произведения. Увлеченный им, я перешел от него к другим произведениям Шекспира. По-английски я не знал и познакомился с Шекспиром во французском переводе.

«Отелло» произвел на меня такое же впечатление, как некогда «Notre Dame de Paris» Гюго. Я несколько недель сряду только и бредил Отелло. Моему воображению представлялось, каковы должны быть Каратыгин в Отелло и Брянский в Яго. Желание увидеть эту драму на русской сцене преследовало меня и мучило.

Наконец я решился переводить ее, пригласив к себе в помощники моего родственника и приятеля М. А. Гамазова, знавшего довольно хорошо английский язык.

Утром и вечером я сидел за моим переводом и скоро окончил его. М. А. Гамазов много помогал мне и потом еще сверил перевод с английским [54].

Я отлично переписал его, велел переплести и решился предложить Брянскому для его бенефиса, наслышавшись, что Брянский серьезно понимает Шекспира и любит его. Перед этим он уже, кажется, давал в свой бенефис «Ричарда III», которого перевел для него его приятель Дидло [55].

С биением сердца я отправился к Брянскому. Брянский прочел мой перевод и остался им доволен. Я не скрыл от него, что я перевел с французского.

— Да мы на афише выставим — *с английского;* это необходимо, а то еще подумают, что это переделка Дюсиса...

Я смутился.

— Как же,— возразил я,— это неловко, ведь это обман?

— Да я вас прошу; это для меня, мне это важно. Вы не беспокойтесь,— прибавил Брянский, запахивая свой халат, надетый без ничего сверх рубашки (это был обыкновенный его домашний костюм),— этого никто и не заметит. Вы уж как хотите, а я выставлю перевод — с английского.

Я не противоречил более.

Через несколько дней потом он сказал мне, что читал мой перевод князю Шаховскому...

— Он мой старый друг и наставник,— заметил Брянский,— и знаток в нашем деле. Он похвалил ваш перевод и желает с вами познакомиться. Я обещал привести вас к нему.

Мы отправились с Брянским к Шаховскому в назначенный им день.

Шаховской жил тогда на набережной Фонтанки, неподалеку от Калинкина моста.

Я нашел в нем еще очень живого старичка. Он, пришепетывая, болтал без умолку, и показался мне очень добродушным. Репертуар Шаховского начинал в это время забываться; пиесы его появлялись на сцене изредка, что приводило автора, по-видимому, в раздражение. Он никак не думал, что время его прошло, а приписывал это интригам против него Театральной дирекции. Он очень горячился, упрекал Дирекцию в невежестве и с восхищением рассказывал о том времени, когда он управлял театрами, беспрестанно ссылаясь на Брянского и повторяя: «Плявда, братец, ведь плявда?»

Шаховской похвалил мой перевод, но заметил, что у меня еще язык не совсем разговорный и встречаются длинные периоды, которые на сцене нестерпимы, но что, впрочем, все это легко исправить. Затем разговор перешел к Каратыгину. Шаховской, признавая в нем талант, говорил, что он попал в дурные руки и что его учители испортили его и внушили ему фальшивый взгляд на драматическое искусство. Надо отдать справедливость Брянскому в том, что он всегда молчал, когда заходила речь не в пользу Каратыгина; зато

супруга Брянского, считавшая долгом рассматривать Каратыгина как соперника своего мужа и поэтому как непримиримого врага своего, ораторствовала против него повсюду с неслыханным ожесточением и устраивала беспрестанные ссоры между двумя артистами.

Мы просидели у Шаховского часов до двенадцати. Посторонних в этот вечер у него не было никого. Чай разливали его дочери от Ежовой (которая, кажется, умерла за год пред этим), девицы уже не первой молодости, но очень кокетливые, около которых увивался какой-то юнкер.

Это было мое первое и последнее свидание с Шаховским.

Обстановка «Отелло» занимала меня в высшей степени. Я был совершенно счастлив, попав за кулисы.

Для Брянского этот бенефис был очень важен, потому что в роли Дездемоны должна была дебютировать его дочь. По репетициям я никак не мог судить, хорошо ли пойдет пиеса: дебютантка была до крайности застенчива; первые сюжеты, особенно Каратыгин, небрежно, как-то сквозь зубы, произносили свои речи. Репетиции были беспрестанно прерываемы посторонними разговорами, появлением лиц, не принадлежавших к пиесе, и разными, может быть остроумными, но довольно грубыми шуточками между артистами и артистками. Первую репетицию я просидел молча и робко, как человек, попавший в незнакомый ему мир, который издали казался ему гораздо привлекательнейшим. Я помню, меня смутило только, когда Каратыгин в 3-м действии — вместо: «Крови, Яго, крови!» произнес: «Крови, Яго, крови *жажду я!*» Это «жажду я» показалось мне неловким и лишним... Я, впрочем, успокоил себя мыслию, что он ошибся, но на генеральной репетиции это «жажду я» он произнес еще с бо́льшею торжественностию и эффектом.

После репетиции я решился заметить ему, что в подлиннике и в переводе моем Отелло говорит просто: «Крови, Яго, крови!» и что, по моему мнению, это сильнее и проще. Каратыгин взглянул на меня с высоты своей, улыбнувшись.

— Нет,— сказал он,— уж вы предоставьте мне говорить так, как я нахожу лучше. Эта фраза: «Крови,

Яго, крови!» — коротка; для того чтобы придать ей силу, необходимо прибавлять «жажду я».

И он отвернулся от меня.

Делать было нечего — надо было покориться артисту; но (теперь мне смешно вспоминать об этом) это *жажду я* меня ужасно беспокоило.

Надо заметить, что Каратыгин меня знал с детства. Я встречал его в доме К*, с которыми были близки мои родные, и, переведя «Отелло», еще до знакомства моего с Брянским, я пригласил к себе на вечер Каратыгина, В. И. Панаева и Кречетова и прочел им мой перевод.

Каратыгин заметил, что хотя Шекспир большой талант, но играть его пиесы без значительных переделок невозможно, и что «Отелло» требует больших исправлений и выкидок. Дядя мой совершенно согласился с этим. Это возмутило меня, и тогда уже я решился обратиться к Брянскому.

Кречетов был в восторге от «Отелло». Он, кажется, познакомился с настоящим шекспировским Отелло в первый раз через мой перевод. До этого он знал «Отелло» по Дюсису, хотя и уверял, что глубоко изучил всего Шекспира, и называл его не иначе, как *великим сердцеведцем;* он удостоивал его также местоимения мой и иногда просто называл Уильямом.

Когда Панаев и Каратыгин уехали, Кречетов покачал головою и обратился ко мне:

— Эти господа, я вам скажу, ровно ничего не понимают, ничего-таки формально! Стоило вам приглашать их! Ну, да, положим, ваш дядюшка... где ж ему обнять эту глубину, эту-эту силу, мощь, эту-эту беспредельность, эту полноту...

И Кречетов размахивал руками.

— Он взращен на этом приторном, сахарном Геснере... А Каратыгин-то! Еще считается великим артистом! Хорош, нечего сказать!

Когда речь касалась чего-нибудь театрального, Кречетов непременно всякий раз с энтузиазмом вспоминал о Катерине Семеновой, рассказывал о своем знакомстве с нею, рисовал ее в самых соблазнительных красках, намекал, что она была к нему неравнодушна и соблазняла его своей ножкой. В заключение он глубоко

вздыхал и, разрывая свой волос с ожесточением, бросал его и произносил:

— Все это, батюшка —

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой! [56]

Кречетов любил рассказывать о своей холостой жизни и о своих победах над прекрасным полом. Он посещал меня непременно раз в неделю и всякий раз передавал мне какой-нибудь эпизод из своих юношеских любовных приключений, заканчивая его вздохом и повторяя:

Теперь уж я не тот! [57]

Надобно заметить, что за год до моего выпуска он женился на девице Гороховой, которую всегда описывал самыми поэтическими красками, говорил, что она совершенно удовлетворяет его *идеалу* и в пластическом и в моральном отношении, и только смущался тем, что она уж слишком плодовита и рожает каждый год. Он называл ее обыкновенно своею *милою нелепостью* и иногда в рассказах о своей семейной жизни разнеживался до сантиментализма.

— Где вы провели канун нового года? — спросил он меня однажды.

— По обыкновению, у Одоевского,— отвечал я.

— А я так мирно и тихо провел дома: купил бутылку доброй малаги, взял корзиночку *безе*... и мы вдвоем с моею милою нелепостью полакомились и распили бутылку.

Кречетов получал тысяч семь ассигнациями от уроков и жил безбедно. Он иногда приглашал меня обедать на какие-то *протасовские щи* и на бутылку старой мадеры, до которой он был большой охотник, и однажды познакомил меня с своею супругою, которая, по усиленному настоянию его, пропела для меня после обеда «Соловья» [58].

Кречетов был в восхищении от ее пения и часто повторял:

— Мне, батюшка, не нужно ходить в вашу Итальянскую оперу... У меня своя домашняя опера.

К числу самых резких заблуждений Кречетова о самом себе принадлежало убеждение, что он человек светский. Самым любимым его рассказом (Кречетов

сильно повторялся) был рассказ о том, как Е. М. Хитрово, родственнику которой он давал уроки, представила его однажды графине Фикельмонт (жене австрийского посланника) и как он наговорил ей тысячи *светских блестящих безделушек и нелепостей...*

Кречетов сделался для меня привычкою, необходимостию. Я постоянно прочитывал ему все мои новые сочинения, он держал их корректуры (надо отдать справедливость: он был превосходным корректором) и вообще принимал живое участие в моих литературных делах. Возвращая мне корректуры, он обыкновенно говорил:

— Скоро, кажется, мне и за свои корректуры придется приняться и вытащить что-нибудь хорошенькое из-под спуда!

Но проходили годы, а из-под спуда Кречетова ничего не выходило на свет. Я только раз видел на его письменном столе лист бумаги, на котором было написано начало какого-то монолога:

«Она женщина! Она жена моя! Она спит!»

Да еще раз Кречетов прочел мне начало, как он выражался, *юмористической безделушки,* в которой роль играл какой-то паук в печурке, сплетавший паутину — намек, не помню, на какого-то сочинителя...[59]

Перед представлением «Отелло» Кречетов был почти в таком же волнении, как я...

В день бенефиса Брянского[60] я ходил как в чаду и приехал в театр, замирая от страха.

Театр был, к моему огорчению, не полон, несмотря на то, что много было роздано даровых билетов.

Я с нетерпением ждал поднятия занавеса.

Он поднялся... Растрепанные и грязные декорации, истасканные костюмы, какой-то особенный акцент, обличавший невежество многих актеров, особенно дожа, неловкость и робость дебютантки — все это привело бы меня в отчаяние, но эффектный вход Каратыгина, его красота, его блестящий наряд, большие белые серьги, которые чрезвычайно шли к его черному лицу, и страшные рукоплескания публики при его появлении оживили меня.

Пьеса сошла кое-как; «жажду я», произнесенное с сверкающими глазами и с угрожающим жестом, произвело взрыв рукоплесканий. По окончании пьесы я,

разумеется, был вызван друзьями бенефицианта, моими приятелями и в том числе Кречетовым, который кричал и хлопал изо всей силы [61].

«Отелло» давали несколько раз. В третье представление я отправился на репетицию. У входа в театр я встретил Григорьева-меньшого, очень удачно игравшего роль мещан и купцов низшего разряда. Григорьев-младший всегда был вполпьяна, что, впрочем, очень шло к его амплуа.

Он остановился, увидев меня, и произнес в замешательстве:

— Пожалуйста, вы уж меня извините. Я тут не виноват, мне приказано,— что же делать!

— В чем? — возразил я с удивлением, — каким образом вы можете быть виноваты передо мною?

— Да меня заставили играть сегодня роль дожа в «Отелло». Против начальства не пойдешь, вы сами знаете.

— И, полноте, что за церемонии! — отвечал я, пожав ему руку.

«Отелло» я напечатал отдельною книжкою, и так как на афише было объявлено «перевод с английского», то и на заглавном листе книжки повторено было то же самое. Я даже имел слабость, раз запутавшись во лжи, подтвердить еще эту ложь примечаниями и комментариями, сделанными для меня Гамазовым, которые я поместил в начале моего перевода. Я был наказан за это: ложь моя вскоре была обнаружена г. Вронченкою, глубоко любившим и понимавшим Шекспира. Русская литература обязана ему превосходными переводами «Гамлета» и «Макбета» [62].

В то время, когда мой перевод «Отелло» появился на сцене, г. Краевский был уже редактором «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду», которые открылись его статьею: «Мысли об России». В этой статье высказалось profession de foi * молодого редактора, состоявшее в том, что Россия не имеет ничего общего с западною Европою, что она развивалась и шла иным путем, чем Запад, что она поэтому не подлежит общему человеческому развитию и составляет как бы *шестую* часть света...

* Система взглядов.— *Ред.*

В статье не было, впрочем, ничего оригинального, кроме шестой части света. Эти «Мысли об России» обнаруживали только, что Краевский явился в Петербург под влиянием тогдашних московских славянофилов. Статья эта произвела, сколько мне помнится, большое впечатление на многих литераторов, с которыми г. Краевский вступил уже в приятельские связи; литературный ветеран А. Ф. Воейков и многие из известных в то время литераторов: барон Розен, Карлгоф, Якубович, состоявший при штабе жандармов Владиславлев и другие отзывались о статье с большою похвалою. Для патриотического чувства их было лестно открытие г. Краевского. Они приветствовали его как мыслителя весьма замечательного. Даже Кукольник, не любивший г. Краевского, отозвался о «Мыслях об России» с благосклонною снисходительностию: «статейка эта недурна, в ней много дельного», говорил он [63]. П. А. Плетнев и князь В. Ф. Одоевский одобряли первые шаги г. Краевского на журнальном поприще. Князь Одоевский имел на него в это время, как должно предполагать, сильное влияние, потому что г. Краевский завел у себя точно такие же оригинальные столы со шкапиками, какие были у князя Одоевского, и снял с него покрой для своего кабинетного костюма во время ученых занятий.

ГЛАВА IV

Литературные сборища по утрам у г. Краевского.— Барон Розен, Якубович, Владиславлев с «Утреннею зарею», Гребенка, Бернет, Степанов, Струйский и другие.— Появление Бенедиктова.— Чтение «Хевери».— Соколовский.— Воейков.— Литературный вечер у меня.— Знаменитый обед, данный Воейковым при открытии новой типографии.— Русская пляска.



Все почти известные тогдашние литераторы, за исключением Кукольника и литературных аристократов, принадлежавших к пушкинской партии, собирались у нового редактора «Литературных прибавлений» раз в неделю, по утрам. Из них выдавался более других барон Розен, с которым г. Краевский сблизился у Брянского. Розен принимал деятельное участие в «Литературных

прибавлениях» при их начале и напечатал, между прочим, в этой газете статью о представлении «Отелло», в которой отозвался восторженно о таланте дебютантки, выполнявшей роль Десдемоны. Барон Розен, соперник и враг Кукольника по драматическому искусству, был безусловным почитателем Брянского и не любил Каратыгина, вероятно потому, что Каратыгин не совсем лестно отзывался об его драмах и считал Кукольника великим драматургом. Кукольник же, в свою очередь, отзывался о Каратыгине как о великом, гениальном актере [64].

Барон Розен был уверен в том, что он глубокий и единственный в России знаток драматического искусства и величайший драматический поэт. Он очень наивно говаривал нараспев и с резким немецким акцентом:

— Из всего немецкого репертуара, без сомнения, самая замечательная вещь — это «Ифигения» Гете. Ее мог бы перевести один Жуковский и то только под моим руководством.

Впоследствии он гордился тем, что, когда Гоголь на вечере у Жуковского в первый раз прочел своего «Ревизора», он один из всех присутствовавших не показал автору ни малейшего одобрения и даже ни разу не улыбнулся, и сожалел о Пушкине, который увлекся этим оскорбительным для искусства фарсом и во все время чтения катался от смеха [65].

В мнении о «Ревизоре» два драматических врага— Кукольник и Розен, ни в чем не сходившиеся, сошлись совершенно.

Раздражаемый неуспехом на сцене своих драм и успехом Кукольника, барон Розен горячился, выходил из себя, доказывал, что он настоящий драматический поэт, что Кукольник не имеет ни малейшего понятия о драматическом искусстве; что его, Розена, оценит потомство, и так далее.

Такова была любимая тема всех его разговоров. Все в глаза соглашались с ним и поддакивали ему, а за глаза подсмеивались, как это обыкновенно водится.

Якубович, писавший посредственные стишки, довольно звучные, но без всякого содержания, пользовался, однако, между журналистами и издателями альманахов значительною известностию. Без его стиш-

ков не обходился почему-то ни один журнал, ни один альманах. Надеждин рассказывал мне впоследствии, что, когда он был издателем «Телескопа», фактор типографии, в которой печатался этот журнал, явился к нему однажды с просьбою дать ему оригинала па полстранички для замещения пробела.

— Как быть? у меня нет ничего такого,— отвечал Надеждин.

— Да нет ли хоть Якубовича *на затычку?* — возразил фактор.

Надеждин отыскал стишки Якубовича, и они с тех пор всегда шли на затычку.

Якубович не имел ни малейшего образования и отличался редкою наивностию.

Кто-то из журналистов отозвался не слишком благосклонно об его стихотворениях. Якубович с негодованием жаловался мне на это...

— Я всегда был с ним в самых хороших, приятельских отношениях, — говорил он, — я ничего ему дурного не сделал, всегда давал ему свои стихи, а он вдруг так, ни с того ни с сего, обругал меня... Ведь согласитесь, что это подло?

— Почему же? — отвечал я, — ведь он не вас обругал, а нашел кое-какие недостатки в ваших стихах. Может быть, он и ошибается, но он высказал об них свое мнение... Нельзя же сердиться за это.

— Нет, — возразил Якубович, — по-моему, если уж приятель, так действуй по-приятельски. Я о приятеле никогда дурно не отзовусь... Что вы ни говорите, это подло [66].

В другой раз Якубович жаловался мне на Карлгофа, у которого были литературные вечера с ужинами.

— Нога моя не будет у него в доме,—говорил он,— представьте себе, что он выдумал. Он за Кукольником ухаживает, за ужинами сажает его возле себя и ставит перед ним дорогой лафит, а меня на конец стола, где стоит медок от Фохтса по 1 р. 20 к. Что же это такое? Ведь это гадко, согласитесь.

Однако, несмотря на это, он продолжал посещать ужины Карлгофа и не пренебрегал медоком Фохтса, потому что любил выпить, и пил без разбора все даровое, попадавшееся ему под руки.

Якубович от литературы не получал ничего, потому что тогда не только за стихи, да и за прозу платили только немногим избранным, и кое-как поддерживал свое существование уроками русского языка.

Говорят, будто бы, когда он умирал на чердаке в каморке в Семеновском полку, к нему пришло известие о смерти его дяди, который оставил ему в наследство более трехсот душ. Как оскорбительно насмеялась судьба над бедным поэтом!

Владиславлев, написавший несколько сантиментальных и военных рассказов, почти никем не замеченных, приобрел себе в литературе некоторую известность своей «Утренней зарею» и через эту «Зарю» завел знакомство с разными литераторами. Воспользовавшись ловко местом своего служения, он распространял свое издание в довольно значительном количестве. Большинство приобретало этот альманах по предписанию жандармского начальства, которое, в противоречие своим принципам, возбуждало таким образом интерес к литературе в русской публике.

Все литераторы очень хорошо знали, какими средствами расходится «Утренняя заря», но такая спекуляция никого не смущала и казалась всем очень обыкновенною и понятною [67].

Владиславлев ничего не платил за статьи и поэтому приобретал от своего альманаха довольно значительные барыши. Он стал жить открыто и завел даже разные прихоти для удовлетворения своего тщеславия. Он собрал между прочим акварельный альбом из рисунков Брюллова и других знаменитых художников, который стоил ему больших денег. У кого теперь этот альбом?

Владиславлев имел характер грубый, и беззастенчивость его в обращении доходила иногда до наглости. Вместе с расширением своего тела и своих средств он принимал все более важную осанку и обнаруживал крайнее самодовольствие. Он даже начал посматривать на литераторов, способствовавших так бескорыстно к увеличению его средств, покровительственно. Это отчасти происходило, вероятно, оттого, что он очень гордился своею должностью.

С г. Краевским он сошелся очень близко и, говорят, при начале «Отечественных записок» способствовал

их распространению через III отделение. Это очень забавно, если справедливо, потому что впоследствии то же III отделение скупало «Отечественные записки» и предавало их ауто-да-фе [68].

Гребенка, отличавшийся большим добродушием и очень любивший угощать изредка своих приятелей киевским вареньем и малороссийским салом, был любим всеми литераторами. Для журналистов он был необходим, потому что повести его и рассказы очень нравились большинству читающей публики...

К числу посетителей литературных утренников г. Краевского, кроме лиц, упомянутых мною, Каменского, Струговщикова, Струйского (писавшего под псевдонимом Трилунного) — господина с грязным и циническим направлением — и некоторых других, о которых я забыл, принадлежал молодой человек, появившийся в первый раз в «Литературных прибавлениях» под псевдонимом Бернета с стихотворением, которое, если я не ошибаюсь, называлось «Вечерни» и было всеми замечено, даже Белинским, который отозвался об этом стихотворении в «Молве» или в «Телескопе» с большою похвалою.

На Бернета стали смотреть как на человека, возбуждающего надежду. Это была одна из той сотни литературных надежд, которым — увы! — не суждено было сбыться [69].

Н. А. Степанов, всегда любивший литературу и постоянно поддерживавший связи с литераторами, посещал также г. Краевского... Степанов наблюдал все комические явления из литературной жизни и набрасывал по временам очень ловкие карикатуры из этой жизни, независимо от своего альбома из жизни Брюллова, Кукольника и Глинки.

Я со всеми упомянутыми здесь лицами был уже в коротких отношениях. С г. Краевским я виделся почти каждый день.

Однажды утром, когда я заехал к г. Краевскому, он сказал мне, что вечером меня зовет к себе Бернет, что у него будет автор «Мироздания» Соколовский, написавший превосходные поэмы, и что он хочет прочесть одну из них.

— Приходите ко мне. Мы отправимся вместе, — прибавил г. Краевский.

Часов в 7 вечера мы были уже у Бернета (в доме Фридрихса у Владимирской церкви).

Бернет познакомил меня с Соколовским.

Соколовский был человек средних лет, небольшого роста, с темными коротко подстриженными волосами; в его лице выражалось что-то болезненное и страдальческое. На нем был истертый сюртук, застегнутый на все пуговицы.

Он начал с печального рассказа о перенесенных им страданиях в сыром каземате, с потолка которого капала сырость и стены которого были усыпаны клопами.

Соколовский после окончания курса в Московском университете недолго пользовался свободой. На студенческой пирушке Соколовский и его товарищи вели себя в пьяном виде неосторожно и неприлично, говорили какие-то речи и были захвачены полицией. Кроме того, Соколовский был обвинен в сочинении какой-то песни, которая пелась на этой пирушке.

Заточение Соколовского продолжалось, кажется, лет шесть. Хотя он был очень крепкого телосложения, но такое долгое пребывание в сыром клоповнике совершенно разрушило его здоровье. Он искупил страшными болезнями и страданиями минутные заблуждения и увлечения своей молодости. Во все время 6-летнего своего заключения у него была одна только книга — Библия. Она произвела на него глубокое впечатление, которое отразилось во всех его сочинениях, написанных после «Мироздания».

Соколовский не имел истинного поэтического призвания, к тому же долгое заключение разрушило не только его тело, но убило и дух. Он впал в мистицизм и запил с горя.

Он прочел нам отрывки из своей странной драматической поэмы под названием «Хеверь». Поэма эта издана была впоследствии в 1837 году. В ней 244 страницы, разделяется она на три части, которые называются: первая — «Болезни и Здоровье», вторая — «Страсти и Чувство», третья — «Ветхое и Новое». Для того чтобы дать об ней некоторое понятие читателю, я приведу здесь из нее два отрывка: из начала и из конца.

В начале поэмы Дедан, верховный сатрап Ахшве-

руса, царя персов и мидян, так описывает красоту героини поэмы — молодой еврейки, дочери Аминадаба, невесты царя и потом его супруги:

...Я не встречал, чтобы в одно созданье
Так много бы сливалося красот!..
Уста — как пыл, слова ее — как сот,
Огнистый взгляд — заманчив, как желанье,
И вся сама: как лилия — стройна,
Свежа — как сад, как облако — пышна,
И так дыша, как дивно дышит Саба,
Она собой, чудесная она,
Как лето — жжет, и нежит — как весна.
Вот какова та дщерь Аминадаба!..

В заключение поэмы Хеверь, взяв за руки царя Ахшеруса и своего воспитателя Асадая, произносит:

Пойдемте же, пойдемте, как друзья,
Как добрые и близкие родные,
На сладкий пир красот и чистоты,
Где вкруг столов живящей благоты
Кипят ключом отрады неземные
И разлиты восторги — как моря!..
Да!.. Поспешим на светлый пир царя.
. . . .
Чтоб, весело оконча здешний путь,
Нам у него в чертогах отдохнуть
И радостно при свете наслажденья
Субботствовать в объятиях любви...

Становясь на колена.

А ты, творец,— ты нас благослови!..

(Ахшверус и Асадай в невольном благоговении поспешно кладут к ее ногам свои короны, так что они с короною Хевери составляют треугольник...)

Г. Краевский слушал поэта с глубокомысленным вниманием, уставив на него свои выразительные глаза. Он прерывал изредка чтение отрывистыми похвалами.

— Превосходно, славно,— повторял он,— каждый стих пропитан библейским духом. Удивительно!

Когда мы возвращались домой, г. Краевский сказал мне:

— У! это, батюшка, замечательный талант, замечательный! Какой оригинальный стих-то,— чудо! Соколовский *весь* пропитан библейским духом.

Я согласился.

«Хеверь», однако, к удивлению нашему, произвела на всех тяжелое и неприятное впечатление, несмотря на то, что многие заранее прокричали о ней как о чуде. Едва ли этой «Хевери» разошлось до десяти экземпляров.

Один мой знакомый, которому я наговорил бог знает что о таланте Соколовского, взял у меня его поэму, пробежал ее и, возвращая мне, сказал:

— Знаете, теперь уже никто не будет говорить: какую ты порешь дичь или галиматью, а какую *хеверь* ты порешь.

Соколовский вдруг упал с пьедестала, на который неосторожно вознесли его. Неуспех его «Хевери» совершенно убил его дух; он совсем опустился и все чаще и чаще начал появляться в нетрезвом виде.

Одно лето я жил с г. Краевским на даче в Лесном институте. Раз вечером собрались у нас кое-кто из литераторов. Явились, между прочим, Соколовский с Якубовичем. Подали чай и к чаю маленький графинчик с ромом. Через час после этого чая Якубович и Соколовский оказались вдруг, к удивлению нашему, совсем нетрезвыми... Чем и когда они могли напиться? Графинчик с ромом оставался почти нетронутым. Лакей наш объяснил нам потом, в чем дело. Якубович и Соколовский достали сами из буфета бутылку коньяку и распили ее вдвоем [70].

. . . .

Я сделался наконец записным литератором: писал для журнала г. Краевского повести и разбирал, по его просьбе, разные литературные книжки, сам удивляясь своей критической смелости. Я работал охотно и бескорыстно, даже и не помышляя о том, что труд мой стоит чего-нибудь. Я вполне удовлетворялся уже одним тем, что видел его в печати [71].

Лето, проведенное мною с г. Краевским, если не сблизило, то по крайней мере коротко познакомило меня с ним. До этого я, признаюсь, был гораздо выгоднейшего мнения о его мыслительных способностях, ученых и исторических сведениях. История считалась тогда его специальностию. Многие разборы исторических книг в «Литературных прибавлениях», обратив-

шие на себя внимание и приписывавшиеся перу г. Краевского, к удивлению многих, оказались принадлежавшими господину Савельеву-Ростиславичу, который часто забегал к г. Краевскому.

В течение всего лета мы вели жизнь чрезвычайно однообразную: вставали около 10 часов, пили кофе на балконе и потом принимались за работу. Я писал повести для «Литературных прибавлений», г. Краевский переводил, неизвестно для чего, какую-то драму Казимира Делавиня. В три часа мы отправлялись обыкновенно гулять, а в четыре часа садились обедать; после обеда я отправлялся на острова, или на Черную речку, или вместе с г. Краевским к Плетневу, жившему неподалеку от нашей дачи.

Г. Краевский, как я уже заметил, находился в очень коротких сношениях с Плетневым, виделся с ним в течение лета почти ежедневно и нередко сопровождал его в отдаленных прогулках. Петр Александрович был тогда неутомимым ходоком. Он выхаживал по крайней мере верст до 25 утром и вечером. Г. Краевский, отличавшийся аккуратностию во всем и крайнею заботливостию о своем здоровьи, начал не только подражать Плетневу, но даже соперничать с ним относительно ходьбы. Вообще, по моему наблюдению, г. Краевский в юные свои годы легко подчинялся на время тем, с которыми сходился и которых почему бы то ни было принимал за авторитеты. Он усвоивал себе нередко их образ мыслей и подражал им даже во внешних мелочах, стараясь, впрочем, сохранить перед своими знакомыми вид строгий и самостоятельный. Инициативы у него не было никакой... Нельзя, впрочем, не заметить, что он пытался сделать некоторые грамматические перевороты и между прочим дать бо́льшую самостоятельность букве *ж*. Все это, однако, не принялось и вскоре забыто было самим изобретателем.

Соболевский звал в это время Краевского — *Краежским, петербуржским журналистом*...[72]

Довольный моими литературными знакомствами и связями, я давно уже мечтал о том, чтобы устроить у себя литературный вечер в большом размере и пригласить к себе всех литераторов.

При первой возможности я осуществил мою мысль: созвал почти всех, за исключением Булгарина и Гре-

ча, накупил вин, осветил комнаты, даже уставил их цветами, и заказал ужин. Я жил тогда в Грязной улице, в доме Диммерта, где впоследствии останавливался у меня Белинский [73].

Часу в девятом вечера комнаты мои были набиты битком. В кабинете (я это очень живо помню) расположились Полевой, барон Розен, Краевский и Бенедиктов... Надобно заметить, что перед этим только что появились разборы стихотворений Бенедиктова: в «Телескопе» — Белинского, в «Литературных прибавлениях» — Краевского (в то время еще все статьи в «Литературных прибавлениях» приписывали самому редактору) и Полевого в «Сыне отечества», редакцию которого он принял, переселившись в Петербург. Г. Краевский безусловно восторгался поэтом, а Полевой почти повторил о нем то, что высказал Белинский в «Телескопе».

Появление стихотворений Бенедиктова произвело страшный гвалт и шум не только в литературном, но и в чиновничьем мире. И литераторы и чиновники петербургские были в экстазе от Бенедиктова. О статьях Полевого и Белинского они отзывались с негодованием и были очень довольны статьею профессора Шевырева, провозгласившего Бенедиктова поэтом *мысли*. Жуковский, говорят, до того был поражен и восхищен книжечкою Бенедиктова, что несколько дней сряду не расставался с нею и, гуляя по Царскосельскому саду, оглашал воздух бенедиктовскими звуками. Один Пушкин остался хладнокровным, прочитав Бенедиктова, и на вопросы: какого он мнения о новом поэте?— отвечал, *что у него есть превосходное сравнение неба с опрокинутой чашей;* к этому он ничего не прибавлял более...[74]. Но обратимся к моему литературному вечеру.

Полевой и барон Розен, заклятые враги, к моему удивлению, очень мило разговаривали у моего письменного стола и объяснились в уважении и любви друг к другу. Г. Краевский и Бенедиктов сидели неподалеку от стола на диване в ту минуту, как появился А. Ф. Воейков. Я пользовался особенным расположением его за повесть мою, напечатанную в «Телескопе».

Воейков был среднего роста и сутуловат; голова его, несмотря на преклонные лета, покрыта была густыми вьющимися черными волосами с небольшою

проседью, черты лица его были недурны и правильны, но черные масляные глаза его, резко и злобно сверкавшие исподлобья, придавали лицу его что-то неприятное, особенно когда он старался смягчить их выражение. Он прихрамывал и потому всегда ходил с палкой. Обыкновенный костюм его был темносерый сюртук с голубой ленточкой в петличке от медали 12 года. Говорил он немного в нос.

Воейков остановился посреди кабинета, обозрел его кругом исподлобья и произнес, обращаясь ко мне:

— Глазам своим не верю... Какая роскошь! С каким вкусом все убрано!.. Неужели это ваша квартира? А я думал, судя по отзывам об вас Булгарина (Воейков намекал на разные выходки против меня в «Пчеле»), что вы живете в какой-нибудь лачужке...[75] Прекрасно! прекрасно! — повторял он, озираясь и крепко сжимая мне обе руки...

Потом, когда я отошел от него, он бросил взгляд исподлобья на присутствовавших и стуча своей палкой направился прямо к дивану, на котором сидели г. Краевский с Бенедиктовым.

— Андрей Александрыч! Владимир Григорьич! — воскликнул он, переходя взглядом от одного на другого.— Боже мой! как я рад вас видеть!.. С каким удовольствием, Андрей Александрыч, я прочел ваш прекрасный, доказательный, умный разбор превосходных стихотворений Владимира Григорьича... Дельно, дельно! умно, умно!.. Это уж не то, Владимир Григорьич (он пожал руку Бенедиктова и искоса взглянул на Полевого), что другие дураки об вас пишут... Вы не смотрите на них, это завистники (и он махал рукой в сторону Полевого). Вы великой поэт, великой!..

Я так и обмер. Полевой все видел и слышал. Я заметил, что даже лицо его, при словах Воейкова, передернулось. Я боялся, что дело дойдет до объяснений и неприятностей, однако через десять минут Воейков обнимал Полевого, называл его *почтеннейшим Николаем Алексеичем* и чуть не объяснялся ему в любви, а Николай Алексеич ежился, ухмылялся и корчил приятные гримасы.

Тогда, по неопытности моей, я удивлялся этому. Такое лицемерие казалось мне в людях избранных необъяснимым. Теперь я уже ничему не удивляюсь.

Кукольник явился позже всех, и в дурном расположении. Он составил тотчас же свой небольшой кружок, подцепил Якубовича, Гребенку и еще двух или трех человек и начал им, по своему обыкновению, проповедывать что-то.

Гребенка слушал Кукольника с внимательностию, моргая глазами и покачивая головой...

Когда речь выходила сколько-нибудь из обыкновенной житейской колеи и принимала чуть-чуть отвлеченный характер, хотя бы дело шло об искусстве, Гребенка совсем терялся и только моргал глазами и покачивал головою. Но к людям, трактовавшим об отвлеченных предметах, он питал глубочайшее уважение, особенно к критикам,— боялся их, ухаживал за ними и угощал их на своих вечерах наливочками и малороссийским салом с необыкновенным добродушием. Таковы были впоследствии отношения его к Белинскому, которого он уважал от страха.

Якубович был не таков.

Отвлеченные разговоры не пугали его. Когда кто-нибудь при нем пускался в такого рода разговоры, он улыбался и шептал кому-нибудь из своих приятелей: «Ну, понес ерунду!»

— Терпеть не могу,— несколько раз говаривал он мне,— когда человек занесется в какие-то превыспренние сферы и начнет молоть. Все это пустяки; пусть там кричат, что он умен, образован... а дайте ему написать какое-нибудь стихотворение, попробуйте — и плохонького не сумеет написать, ей богу!—а мы хоть и не пускаемся в эти превыспренности, а стихи пишем, кажется, недурно. Сам Пушкин их хвалит и просит у меня [76].

Однако перед Кукольником он пасовал:

— Ну, этот может врать, что угодно,— говорил он,— по крайней мере поэт.

К отвлеченным разговорам Гребенка и Якубович причисляли разговоры о политике.

Литераторов 30-х годов вообще не интересовали никакие политические европейские события. Никто из них никогда и не заглядывал в иностранные газеты. Они рассуждали так, что каждый должен заниматься своим делом, не вмешиваясь в чужое.

— Ну, что мне за дело,— говаривал Якубович,— что французы передрались между собой, прогнали одного короля, взяли другого,— мне от этого ни тепло, ни холодно. Нашему брату, литератору, выход какого-нибудь «Северного цветка» интереснее во сто раз всех этих политических известий. Да провались Франция хоть сквозь землю. Что мне до этого за дело?..

Якубович долго слушал Кукольника, потом подошел ко мне...

— Ну, я вам скажу, Кукольник такую околесную несет, что боже упаси. Я слушал, слушал, отошел да плюнул — ничего не поймешь, а все оттого, что избаловали, захвалили, пятнадцатирублевый лафит выставляют перед ним — вот он и заносится. Велите-ка мне дать рюмку водки: что-то под ложкой щемит...

Из нелитераторов на моем литературном вечере были актер Дюр, мой друг и товарищ М. А. Языков, неизбежный Кречетов и наш домашний доктор Яновский — молодой человек из семинаристов. Яновский благоговел перед всеми чиновными отличиями и титлами и замирал при виде генерала. Всякое новое для него явление поражало его и приводило в остолбенение. Тупых и рабских натур я встречал у нас много, но такой тупости и рабства, как у Яновского, найти было трудно.

Яновский в первый раз в жизни видел вблизи актера и литераторов и с любопытством рассматривал каждого из них, как какого-нибудь зверя... Он беспрестанно подходил ко мне с нелепейшими вопросами.

— Это Дюр?— спрашивал он, исподтишка, указывая на Дюра.

— Да.

— Тот самый Дюр, который играет на сцене?

— Тот самый.

— Скажите пожалуйста! — восклицал Яновский, пожирая Дюра глазами.— Странно! — ничего в нем нет необыкновенного: и ходит и говорит, как все...

— А вот это кто?— спрашив он через несколько времени, — такой приятной наружности... вот направо разговаривает с другим...

— Это Плетнев,— отвечал я.

Яновский вытянул длинное — а!

— Действительный статский советник?

— Да.

— Скажите пожалуйста!..— И он качал головою и, смотря на Плетнева с некоторою робостию, невольно застегивал пуговицу своего виц-мундира.

Когда у меня умерла дочь, Яновский говорил в утешение моей жене:

— Не огорчайтесь... Что же делать! Вот на днях умерла дочь у NN — и еще на руках у него... а действительный статский советник! Что ж делать! Смерть не щадит и генеральских детей...

Кречетов, познакомившийся через меня с г. Краевским и еще кой с кем из молодых литераторов, которые посматривали на него свысока, отзывался о них очень неблагосклонно...

— Все эти господа — это-это-это...— и он не прибирал слова и махал рукой,— они просто не стоят ногтя с мизинца моего умного, милого, доброго Дельвига.

Полевой, которого он очень уважал, как я уже заметил, произвел на него неприятное впечатление.

— Даже не хочется верить, что это Полевой! — повторял он,— это какой-то сиделец с гостинодворскими ужимками...

Кречетов шатался, как тень, из комнаты в комнату, иногда садился к какому-нибудь кружку и прислушивался, и потом, взяв под руку Языкова, шептал ему:

— Как все это, мой добрый Михайло Александрыч, далеко от нашего прежнего литературного кружка, когда мы, бывало, сходились — Дельвиг, Подолинский, я... Сколько, бывало, высказывалось на наших сходках серьезного, дельного, этаких питательных вещей для ума, а от этих господ — ни шерсти, ни молока... В целый вечер ни одного умного слова не услыхал...

Кречетов оживился только за ужином, и после ужина, расхваливая его мне, прибавил, что эти господа не стоят такого ужина, что они не умеют оценить его, что для этого надобно иметь тонкий гастрономический вкус, и прочее.

Я очень боялся какой-нибудь неприятной истории, сведя людей, враждовавших между собою и редко встречавшихся, однако все прошло благополучно.

Воейков до такой степени сошелся с Полевым, что сел рядом с ним за ужином.

Он говорил ему:

— За что нам ссориться, Николай Алексеич? Прошлое забудем; я ведь высоко ценю ваши дарования, ваши глубокие познания. К тому же теперь вы *наш*, петербургский.

И Полевой с различными ужимочками отвечал:

— И я также, Александр Федорыч, душевно предан-с вам. Конечно, это всё были недоразумения между нами-с.

И Воейков протягивал к Полевому свои объятия и лобызал иудиным лобзанием того, про которого он писал в своем «Сумасшедшем доме»:

. . . .

Самохвал, завистник жалкой,
Надувало ремеслом,
Битый рюриковой палкой
И санскритским батожьем,
Подл как раб; надут как барин,
Но, чтоб разом кончить речь:
Благороден, как Булгарин,
Бескорыстен так, как Греч! [77]

Краевский дичился Кукольника и искоса посматривал на него, несмотря на то, что Кукольник приятно заигрывал с ним. С Плетневым и князем Одоевским Кукольник обращался с сухою вежливостию. Вообще от друзей Пушкина он отдалялся, да и они, кажется, не желали сближаться с ним...

Полевой, с которым я познакомился незадолго перед моим литературным вечером, которого еще с пансиона привык уважать, подействовал на меня неприятно. По «Телеграфским» статьям я составил в голове идеал его. Я воображал Полевого человеком смелым и гордым, горячо и открыто высказывающим свои убеждения — и увидел в нем какого-то робкого, вялого, забитого господина, с уклончивыми ужимками, всем низко кланявшегося, со всеми соглашавшегося, как будто не имевшего ни малейшего чувства достоинства, даже как-то оскорбительно, для почитавших его, унижавшегося передо всеми...

Он наговорил мне в этот вечер столько любезностей и неуместных вежливостей, так подобострастно смотрел на меня, так лицемерно жал мне руки, что даже возбудил к себе неприятное чувство.

Раз вечером, когда я сидел у него в кабинете (он жил тогда на Песках, в доме, принадлежавшем некогда Д. М. Княжевичу), дети его пришли с ним прощаться. Он перекрестил их и благословил, потом встал со стула, поклонился мне и сказал:

— Извините, Иван Иваныч,— уж у меня такая привычка-с...

Какое странное извинение!

Тяжело было смотреть на такое страшное падение человека, так смело и твердо державшего свое знамя в «Телеграфе», человека, который был столько лет грозою пошляков и рутинеров, бичом всех предрассудков и всего рабского и подлого. Глядя на него, невольно приходили в голову его слова, вставленные им в уста шекспировского Гамлета:

За человека страшно! [78]

Я вступил в литературный круг, как в какое-нибудь святилище, с благоговейным чувством. Я думал, что если не все, то по крайней мере избранные из литераторов — люди возвышенные, необыкновенные, непричастные никаким мелким страстишкам и слабостям обыкновенных смертных,— и должен был горько разочаровываться с каждым днем.

Вера моя в мои литературные кумиры поколебалась особенно с обеда, который Воейков заставил дать купца Жукова при открытии его типографии, управление которой Воейков взял на себя.

Воейков, истощавший, по обыкновению, все свое лицемерие и лесть перед людьми, из которых он думал извлечь для себя какую-нибудь пользу, уверявший их в своей высокой честности и бескорыстии, начал ухаживать с некоторого времени за купцом Жуковым (В. Г.), дела которого были тогда в самом цветущем состоянии. От «Русского инвалида» Воейков получал весьма немного. У него были побочные дети от женщины, которая исправляла у него должность ключницы или кухарки, на которой он женился незадолго перед своей смертию, и хотя он содержал семейство свое плохо, но ему все-таки недоставало денег, и он часто жаловался на свое стесненное положение.

Репутация Воейкова между литераторами и людьми близкими к литературе была не блистательная. На

него смотрели почти так же, как на Булгарина. Из литераторов один только Владиславлев находился с ним в дружеских сношениях, но и тот отзывался о нем невыгодно и не давал ему денег взаймы. Владиславлев, тщетно уговаривавший Воейкова не жениться, принужден, однако, был присутствовать, по его просьбе, на свадьбе как свидетель и рассказывал о ней много комического. Жуковский, князь Вяземский и другие старые приятели Воейкова, прежде помогавшие ему, совсем почти отказались от него. Многие поддерживали с ним связи только из боязни попасть в его «Сумасшедший дом».

Потерявший всякое доверие и участие к себе между прежними своими приятелями, Воейков обратился к людям богатым и далеким от литературы...

Жуков попался на его удочку.

Воейков и в глаза и за глаза прославлял Жукова, называл его честнейшим, умнейшим, просвещеннейшим русским человеком; твердил ему, что он частичку из своих богатств должен употребить, как меценат, на пользу литературы, и уговорил его дать капитал на заведение типографии, прибавив, что он охотно возьмется, несмотря на свои преклонные лета и многочисленные литературные занятия, управлять этой типографией и *блюсти выгоды почтеннейшего Василья Григорьича*.

Самолюбие Жукова не устояло против грубой лести Воейкова. Жуков дал ему деньги на первое обзаведение и открытие типографии. Воейков уверил его при этом, что для придания бо́льшей известности новой типографии необходимо дать угощение в ней всем литераторам, начиная с И. А. Крылова и Жуковского. И на обед были выданы деньги Воейкову.

Я получил приглашение вместе с другими [79].

Квартиру для типографии Воейков нанял в переулке близ Сенной площади, в грязном доме, пользовавшемся самою печальною известностию: во время холеры 1831 года в этом доме была устроена холерная больница, и из окон ее взбунтовавшийся народ выбрасывал на улицу докторов.

В самой большой из зал типографии был накрыт стол *поксем* человек на семьдесят.

К четырем часам литераторы начали съезжаться и сходиться. Воейков принимал всех как хозяин, очень довольный тем, что Крылов, Жуковский и Вяземский не отказались от приглашения. За исключением Булгарина, Сенковского и Греча — заклятых врагов Воейкова — на этом обеде присутствовали все до последнего фельетониста, накануне напечатавшего свою статейку в первый раз.

Крылов, Жуковский и Вяземский были посажены, конечно, во главе стола. Около них Плетнев, князь Одоевский и г. Краевский, который при первом появлении в залу озаботился, чтобы занять место как можно поближе к ним. Кукольник сел на другой конец стола со своими литературными друзьями и посадил возле себя Полевого. Остальные расселись как случилось [80].

Воейков не садился за стол. Он любезничал с своими гостями и угощал их. Воейков всех предварительно познакомил с Жуковым и за обедом оставил ему место около литературных знаменитостей.

За обедом между прочими присутствовали два какие-то монаха. Когда все уселись за стол, в зале появились квартальный надзиратель и два жандармских офицера. Явились ли они для поддержания, в случае нужды, порядка или принадлежали к знакомым Жукова и Воейкова и были ими приглашены? — это осталось неизвестным. Надобно думать, что они явились просто для порядка, потому что за стол не садились, а только по временам заглядывали в залу и потом исчезали в другой комнате, где в свою очередь угощаемы были будущие фактор и наборщики.

Кушаньям не было числа, но обед был из рук вон безвкусен и плох. Вино также не отличалось доброкачественностию, но уж зато лилось через край. Между бесчисленною, грязною и полупьяною прислугою бегали какие-то ребятишки и также прислуживали гостям. Оказалось, что это были побочные дети Воейкова.

Воейков привел ко мне одного из этих мальчиков и, указывая на него, сказал:

— Я знаю, что вы охотник до портера, так вот обратитесь к моему Федюше. Он вам принесет все, что угодно. Слышишь, Федюша?.. Ты и не отходи от этого господина (он указал на меня), стой за его стулом и

исполняй его приказания, а теперь сбегай да принеси-ко бутылочку портеру самого лучшего.

Вино действовало; в конце обеда начались дружеские излияния, различные объяснения, объятия, примирения, уверения в любви и уважении. Все, даже самые ожесточенные враги, смотрели в умилении друг на друга посоловевшими глазами. Полевой уверял Кукольника в том, что он один из самых пламенных приверженцев и почитателей его таланта. Кукольник кричал, что имя Полевого никогда не забудется в истории русской литературы; они при этом целовали друг друга и пили брудершафт... Все это было довольно гадко.

Шум и крики увеличивались, сливаясь в безобразный и нестройный гул. Жуковский, Крылов, Вяземский, Одоевский и многие другие с последним блюдом встали из-за стола и уехали.

— Ну, и хорошо сделали! — произнес Кукольник, махнув рукой на удалявшихся.— Мы обойдемся и без этих аристократов. A bas* их! Правда, Полевой?

— A bas!..— отвечал ухмыляясь Полевой, сладко глядя в глаза Кукольнику, и вскрикнул: — Ура, Кукольник!

— Ура, Кукольник! Ура, Полевой! — закричали кругом их.

Барон Розен, еле державшийся на ногах, расхаживал по зале, кричал, что он создаст настоящую русскую драму, что «Ифигению» Гете может перевести один Жуковский под его руководством, натыкался на всех, обнимался со всеми и даже плакал.

Между тем совсем смерклось, и залу осветили двумя или тремя плохо горевшими лампами.

Пропитанная спиртным запахом и табачным чадом, она представляла неприятное зрелище. Столы были уже сдвинуты. Пьяные тени шатались и бродили в этом чаду, освещенные тусклым и красноватым светом ламп, крича, болтая всякий вздор и натыкаясь друг на друга. Полевого и Кукольника начали качать, каким-то образом даже Розен очутился потом в объятиях Кукольника. Кукольник кричал:

— Ты немец, но талантливый немец... в твоей

* Долой.— *Ред.*

«Осаде Пскова» есть дивные места... Ну, братцы, выпьемте за здоровье Розена!.. Воейков! вели подать вина!..

Квартальный и жандармские офицеры издалека посматривали на все это с подозрительным удивлением.

Хромой Воейков, стуча своею палкою, явился в сопровождении лакея, который нес шампанское. Воейков начал обнимать Кукольника и Розена и говорил, что он счастлив, что на его празднике совершилось примирение двух наших первых драматических писателей. Кукольник провозгласил в десятый раз тост за процветание новой типографии.

Литературная оргия окончилась пляской.

Полевой, Кукольник и Яненко пустились вприсядку. Около них составился кружок, рукоплескавший им и кричавший: bravo, bis!..

Что происходило затем — я не знаю; я не дождался конца пляски. Мне было больно и оскорбительно за Полевого.

Через несколько дней после этого Степанов принес к г. Краевскому отличный карикатурный рисунок, на первом плане которого были Полевой и Кукольник, отхватывающие вприсядку...

. . . .

ГЛАВА V

Альманах в память открытия типографии.— Э. И. Губер.— Вечер у Воейкова в великом посту.— Чтение «Сумасшедшего дома».— Нумер «Русского инвалида», присланный мне Воейковым.— Юбилей Крылова.— С. Н. Глинка.— Литературно-великосветские субботы у князя В. Ф. Одоевского.— Сахаров, издатель «Сказаний русского народа».— Отец Иакинф.— Отношения Одоевского к молодым литераторам.— С. А. Соболевский.— Смерть Пушкина и разбор его бумаг.— Имя Краевского на обертке «Современника» вместе с именами князя Вяземского, Жуковского и Плетнева.

Присутствовавшие на обеде Воейкова при открытии типографии, по предложению, если я не ошибаюсь, Владиславлева, обязались подарить по статье *на зубок* новой типографии. Если бы все они сдержали свое слово, из этих приношений составилась бы книжища листов во

сто. Мысль эта улыбалась Воейкову, но, к прискорбию его, она не осуществилась: только человек десять или пятнадцать из самых молодых литераторов, движимых рьяною страстью *печататься* (и в том числе, конечно, я), поднесли ему свои стишки и рассказцы, из которых составилась тощая и плохая книжечка [81]. Перед выходом ее Воейков пустил об ней прекурьезное объявление с китайским бордюром, как объявления о чае. Он наименовал все статьи своего альманаха и при этом делал небольшую, но презабавную характеристику каждого автора. Я только помню две из этих характеристик — мою и Губера. Напечатав заглавие моего рассказа, он заметил: «Сочинение И. И. Панаева, автора повести: «Она будет счастлива»*, *в которой в первый раз изображена настоящая русская женщина»;* объявляя о стихотворениях Губера, он прибавил: *«того самого Э. И. Губера, который вступил в борьбу с исполином Германии — Гете и победил его»*. Остальные характеристики были в этом же роде [82].

Здесь кстати надо заметить, что Губер незадолго перед этим появился с большим эффектом на литературном поприще как переводчик «Фауста». Об этом переводе, еще до появления отрывков из него, толковали очень много: говорили, что перевод его — образец переводов, что более поэтически и более верно невозможно передать «Фауста». Кажется, Губер явился с отрывками из своего перевода прежде всего к Пушкину, и Пушкин переделал некоторые из этих отрывков [83]. Об этом уже узнали впоследствии. Губер сначала довольно часто появлялся на литературных утренниках г. Краевского, потом он сблизился с Брюлловым, Глинкою и Кукольником... но о Губере я буду еще говорить впоследствии...

Объявление Воейкова рассмешило всех. Искренно ли было написано оно, или это была злая шуточка, до которых Воейков был такой охотник, Бог знает. Воейков как критик был вообще до крайности пошл и легко мог не шутя делать такого рода характеристики.

В своих выходках в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» против Надеждина, Белинского

* Повесть эта была напечатана в «Телескопе», как я упомянул выше.

и других он являлся тупым, плоским, отсталым старцем, огрызавшимся с бессильною злобою.

В Воейкове-журналисте не было, казалось, ничего общего с автором «Сумасшедшего дома», умно и метко злым, каким он являлся иногда и в обществе.

Однажды на вечере у Владиславлева, когда зашла речь о «Сумасшедшем доме», Владиславлев спросил у него:

— Скажите, Александр Федорыч, откуда вы берете эти слова, которыми вы так беспощадно бичуете в вашем «Сумасшедшем доме»?

Воейков улыбнулся, и масляные глазки его засверкали.

— Они мне не легко достаются,— отвечал он протяжно и в нос,— я ведь, почтеннейший, несколько лет коплю в себе желчь, и когда она накопится через меру, так уж сама собой как-то разливается.

У Владиславлева висел на стене в его кабинете портрет масляными красками Греча.

Краевский спросил у Владиславлева, почему он повесил у себя этот портрет Греча: разве он так уважает оригинал?

— Ах, Андрей Александрыч,— прогнусил Воейков,— оставьте его: пусть до виселицы-то хоть на гвоздике повисит!

Однажды Воейков пригласил меня к себе на вечер. Это было в великом посту. Он жил где-то около Шестилавочной [84] в небольшом отдельном деревянном домике. На этом вечере были: Жуковский, князь Вяземский, г. Краевский, Владиславлев, Гребенка и некоторые другие литераторы.

Воейков был очень любезен с своими гостями и льстил самолюбию каждого.

Вяземский потребовал, чтобы он непременно прочел весь свой «Сумасшедший дом», не скрывая ничего.

— Ты ведь, верно, и меня поместил в него,— сказал Вяземский,— прочти обо всех. Я не рассержусь на тебя, я тебе даю слово; другие, верно, также не рассердятся.

— Что это ты, князь! — вскрикнул Воейков,— с чего ты это взял? Клянусь тебе, что о тебе нет ни одной строки. Я тебя так люблю, так уважаю!.. Сохрани боже, как это можно!

— Да и Жуковского ты, верно, любишь и уважаешь,— возразил Вяземский,— однако Жуковский попал же в «Сумасшедший дом».

Жуковский улыбался.

Воейков смутился.

— Это прошедшее... это было так давно,— начал Воейков,— я теперь в этом раскаиваюсь... Это гадко, низко с моей стороны было трогать такого человека, как он (и Воейков указывал на Жуковского); я торжественно каюсь в этом поступке...

— Ну, полно, полно,— отвечал Жуковский,— принеси-ка свой «Сумасшедший дом» и прочти его нам, ничего не утаивая...

Все пристали к Воейкову. Он вышел и скоро возвратился с тетрадкою.

— Право, это не стоит читать,— говорил он,— вам всем это известно, нового тут ничего нет.

— Нет, читайте, читайте! — закричали все в один голос...

— Если вы непременно требуете, я повинуюсь — делать нечего.

И Воейков неохотно раскрыл тетрадку...

— Господа! — сказал Вяземский,— он непременно пропустит что-нибудь. Пусть прочтет кто-нибудь другой... Дай кому-нибудь из нас тетрадку.

Воейков начал клясться, что пропускать нечего, что нового нет ничего,— однако тетрадка его была передана Гребенке, который взялся читать.

Во время чтения Воейков стоял сзади стула Гребенки и прерывал чтение, повторяя:

— Видите ли, ведь я не солгал, тут нет ничего нового... Право, не стоит читать...

— Молчи! молчи! — замечал ему Жуковский, грозя пальцем.

Нового действительно ничего не оказалось, за исключением не известных для Вяземского и Жуковского четырех страшно оскорбительных стихов на Карлгофа, с которым Воейков был в очень приятельских отношениях.

— Видишь ли, князь,—воскликнул Воейков по окончании чтения, обращаясь к Вяземскому,— что я не солгал, что о тебе нет ни слова. Я бы отсек себе ру-

ку, которая бы написала о тебе хоть одну ядовитую строчку... Клянусь тебе, клянусь!

Вечер этот окончился постным ужином. Воейков во все время ужина извинялся, что он угощает постным.

— Жаль,— говорил он,— что мне пришлось принимать моих дорогих гостей в посту... ну, а вы уж меня извините, господа,— я свято исполняю христианский долг. Я всегда весь великий пост ем постное.

Провожая нас, Воейков говорил каждому:

— Благодарю вас за честь, которую вы сделали старику и не погнушались его приглашением, я это очень чувствую. Вы доставили мне истинное удовольствие. Я этого вечера никогда не забуду,— и так далее...

Из литераторов Воейков более всех ненавидел Сенковского, Греча и Булгарина и всякий раз выискивал с наслаждением случаи, чтобы нанести им какую-нибудь неприятность торжественно, перед лицом публики.

Один из таких случаев представился ему при юбилее Крылова.

Мысль о юбилее Крылова возникла, если я не ошибаюсь, на вечерах у князя Одоевского. Об этой мысли сообщено было графу Уварову, который как министр просвещения взялся испросить на этот литературный праздник высочайшее разрешение. Сенковский, Греч и Булгарин, ненавидевшие Одоевского и Вяземского, потому только, что инициатива этого юбилея принадлежала им, отказались от участия в нем; но когда юбилей, высочайше одобренный, принял официальный характер, они начали хлопотать о билетах для себя; билеты уже были все розданы, и они на юбилей не попали.

Воейков воспользовался этим случаем и напечатал в «Инвалиде», что на празднике в честь нашего знаменитого баснописца не пожелали принять участие только Сенковский, Греч и Булгарин.

За эту невинную выходку Воейков просидел три дня на гауптвахте. Она показалась дерзкою высшему начальству.

Воейков очень тщеславился своею смелою выходкою (да! в то время и это считалось смелостью!) и ра-

зослал всем своим приятелям, в том числе и мне, тот нумер «Инвалида», в котором она была напечатана. У меня он хранится до сих пор.

Наверху карандашом рукою Воейкова написано:

«Любезнейшему Ив. Ив. Панаеву на память от Ал. Воейкова».

Когда Воейкова выпустили на свободу, он, подробно рассказывая мне об этом происшествии, прибавил в заключение:

— Если бы меня предупредили заранее, что я просижу за это не три дня, а *три года,* я все-таки бы напечатал это и просидел бы с удовольствием три года в заключении для того только, чтобы опубликовать и опозорить этих господ перед всеми...

Юбилей Крылова праздновался в большой зале дома Энгельгардта, где теперь *Русский магазин.* Он принял, как я уже заметил, совершенно официальный характер. Перед началом обеда граф Уваров пришпилил к груди баснописца звезду ордена св. Станислава и в кратких, но выразительных словах поздравил его с этою высочайшею милостию.

За обедом говорили речи: Жуковский, князь Одоевский от лица молодого поколения литераторов, князь Вяземский прочел свое известное стихотворение к «Дедушке Крылову». На хорах в зале присутствовало много любопытных великосветских дам. Крылов казался очень растроганным.

К концу обеда, после всех речей, встал с своего места Сергей Николаевич Глинка. На нем был синий фрак с бронзовыми пуговицами и с огромным Владимиром в петлице, манишка, повязанная сверх жилета, и сапоги сверх панталон. Глаза его имели несколько дикое выражение. Он направлялся с какою-то торжественностию к середине стола, где сидел Крылов, имевший своим соседом с правой стороны министра народного просвещения, а с левой Жуковского. Князь Одоевский и Плетнев сидели напротив Крылова, и около них приютился Краевский, начинавший для придания себе веса прицеплять себя к друзьям Пушкина и таким образом выдвигавшийся на видный план.

Сергей Николаевич остановился против Крылова, размахнул рукой и произнес горячо краткую, но не совсем связную речь, при всеобщих иронических взгля-

дах, и затем потянулся к Крылову, который обнял его и поцеловал.

Когда пили за здоровье Крылова, энтузиазм в зале был страшный, и дамы на хорах кричали, махали платками и, кажется, бросили с хор несколько букетов... [85]

Крылов бывал иногда на субботах князя Одоевского, и я в первый раз увидел там нашего знаменитого баснописца. Он имел много привлекательности и, несмотря на тучность тела, казался еще очень живым стариком. Он вообще мастерски рассказывал, когда был в хорошем расположении, и передавал с добродушным юмором различные забавные факты о своей беспечности и рассеянности: о том, как он однажды при представлении императрице Марии Федоровне в Павловске наклонился, чтобы поцеловать ее руку, и вдруг чихнул ей на руку; о том, как какой-то сочинитель принес ему свое сочинение и просил его советов, как Крылов взялся очень охотно прочесть это сочинение и продержал его больше года; как сочинитель, выведенный наконец из терпенья, вошел к нему раз утром в спальню и увидел его спящего, а свое сочинение плавающим в каком-то сосуде, стоявшем у постели; как Крылов потерял жилет с самого себя, и прочее. Анекдоты эти известны почти всем.

Всякий раз, когда Крылов бывал у Одоевского, за ужином являлся для него поросенок под сметаной, до которого он был величайший охотник, и перед ним ставилась бутылка кваса.

На вечерах Одоевского бывали также довольно часто Пушкин, на которого молодые литераторы с благоговением выглядывали издалека, потому что он всегда сидел в кругу светских людей и дам, и князь Вяземский, появлявшийся обыкновенно очень поздно.

Известно, что желание Одоевского сблизить посредством своих вечеров великосветское общество с русской литературой не осуществилось. Я уже намекнул об этом, говоря о Белинском [86].

Большинство наших так называемых светских людей того времени отличалось крайней пустотою и отсутствием всякого образования, потому что болтанье на французском языке, более или менее удачное усвоение внешних форм пошлого европейского дендизма

и чтение романов Поль-де-Кока нельзя же назвать образованием. Исключений было немного, и к ним принадлежал граф Михаил Юрьевич Виельгорский — человек с тонкою артистическою натурою и притом с большою начитанностию для светского человека. Остальные не принимали и не могли принимать ни малейшего участия ни в развитии отечественной литературы, ни в каких человеческих интересах, а знали о существовании русской литературы только по Пушкину и по другим, которые принадлежали к их обществу. Они полагали, что вся русская литература заключается в Жуковском, Крылове (басни которого их заставляли учить в детстве), Пушкине, князе Одоевском, князе Вяземском и графе Соллогубе, который своим светским приятелям читал тогда своего «Сережу», еще не появившегося в печати [87]. Чтобы получить литературную известность в великосветском кругу, необходимо было попасть в салон г-жи Карамзиной — вдовы историографа. Там выдавались дипломы на литературные таланты. Это был уже настоящий великосветский литературный салон с строгим выбором, и Рекамье этого салона была С. Н. Карамзина, к которой все известные наши поэты считали долгом писать послания.

Дух касты, аристократический дух внесен был таким образом и в «республику слова». Аристократические литераторы держали себя с недоступною гордостью и вдалеке от остальных своих собратий, изредка относясь к ним только с вельможескою покровительственностию. Пушкин, правда, был очень ласков и вежлив со всеми, как я уже говорил, но эта утонченная вежливость была, быть может, признаком самого закоренелого аристократизма. Его, говорят, приводило в бешенство, когда какие-нибудь высшие лица принимали его как литератора, а не как потомка Аннибала, пред кем

...громада кораблей вспылала
И пал впервые Наварин! [88]

Князь Одоевский, напротив, принимал каждого литератора и ученого с искренним радушием и протягивал дружески руку всем выступавшим на литературное попроще без различия сословий и званий. Одоевский

желал все обобщать, всех сближать и радушно открыл двери свои для всех литераторов. Он хотел показать своим светским приятелям, что, кроме избранников, посещающих салон Карамзиной, в России существует еще целый класс людей, занимающихся литературой. Один из всех литераторов-аристократов, он не стыдился звания литератора, не боялся открыто смешиваться с литературною толпою и за свою дон-кихотскую страсть к литературе терпеливо сносил насмешки своих светских приятелей, которым не было никакого дела до литературы и которые вовсе не хотели сближаться с людьми не своего общества... Светские люди на вечерах Одоевского окружали обыкновенно хозяйку дома, а литераторы были битком набиты в тесном кабинете хозяина, заставленном столами различных форм и заваленном книгами, боясь заглянуть в салон... Целая бездна разделяла этот салон от кабинета.

Но для того чтобы достичь вожделенного кабинета, литераторам надобно было проходить через роковой салон — и это было для них истинною пыткою. Неловко кланяясь хозяйке дома, они, как-то скорчившись, съежившись и притаив дыхание, торопились достичь кабинета, преследуемые лорнетами и разными не совсем приятными для их самолюбия взглядами и улыбочками.

Особенное внимание великосветских госпож и господ обращал на себя издатель «Сказаний русского народа» И. П. Сахаров, появлявшийся всегда на вечерах Одоевского в длиннополом гороховом сюртуке. Сахаров, впрочем, русский человек себе на уме, хитро посматривал на все из-под навеса своих густых белокурых бровей и не смущался бросаемыми на него взглядами и возбуждаемыми им улыбочками. Он даже, кажется, нарочно облекался в свой гороховый сюртук, отправляясь на вечера Одоевского.

— Пусть их таращат на меня глаза,— говорил он,— мне наплевать, меня не испугают.

Книга Сахарова («Сказания русского народа»), только что появившаяся в то время, обратила на себя всеобщее внимание в литературе, и через эту книгу Сахаров скоро сблизился со всеми литераторами и стал особенно ухаживать за журналистами. Он довольно часто появлялся у г. Краевского.

Кроме Сахарова, привлекал к себе любопытство великосветских гостей князя Одоевского отец Иакинф, изредка появлявшийся на субботах. Он обыкновенно снимал в кабинете Одоевского свою верхнюю одежду, оставался в подряснике, имевшем вид длинного семинарского сюртука, и начинал ораторствовать о Китае, превознося до небес все китайское.

Он до того окитаился вследствие своего долгого пребывания в этой стране, что даже наружностию стал походить на китайца: глаза его как-то сузились и поднялись кверху.

Когда Иакинф заговаривал о своем Китае, многие светские господа из салона княгини приходили слушать его.

Отец Иакинф говорил грубо, резко напирал на букву *о* и не стеснялся в своих выражениях.

Какой-то светский франт перебил его однажды вопросом:

— А что, хороши женщины в Китае?

Иакинф осмотрел его с любопытством с ног до головы и потом, отворотясь, отвечал хладнокровно:

— Нет, мальчики лучше.

Однажды Иакинф проповедовал о том, что медицина в Китае доведена до высочайшего совершенства и что многие весьма серьезные болезни, от которых становятся в тупик европейские врачи, вылечиваются там очень легко и быстро.

— Какие же, например? — спросила княгиня Одоевская.

— Да вот хоть бы кровавый понос,— отвечал он...

Когда я в первый раз был у Одоевского, он произвел на меня сильное впечатление. Его привлекательная, симпатическая наружность, таинственный тон, с которым говорил он обо всем, беспокойство в движениях человека, озабоченного чем-то серьезным, выражение лица постоянно задумчивое, размышляющее,— все это не могло не подействовать на меня. Прибавьте к этому оригинальную обстановку его кабинета, уставленного необыкновенными столами с этажерками и с таинственными ящичками и углублениями; книги на стенах, на столах, на диванах, на полу, на окнах — и притом в старинных пергаментных переплетах с писанными ярлычками на задках; портрет Бет-

говена с длинными седыми волосами и в красном галстуке; различные черепы, какие-то необыкновенной формы склянки и химические реторты. Меня поразил даже самый костюм Одоевского: черный шелковый вострый колпак на голове и такой же длинный до пят сюртук делали его похожим на какого-нибудь средневекового астролога или алхимика.

Я почувствовал внутреннюю лихорадку, когда он заговорил со мною. Так точно действовал Одоевский и на моего приятеля Дирина, о котором я говорил выше.

Дирин благоговейно любил Одоевского, но одна мысль об его учености приводила его в трепет.

— Меня так и тянет к этому человеку,— говаривал мне Дирин,—в нем столько симпатического!...Но когда он о чем-нибудь заговорит со мною, я вдруг робею, чувствую внутреннюю дрожь, и язык прилипает у меня к гортани... Меня это мучит, он должен считать меня ужаснейшим дураком!

Дирин и в могилу унес отроческий, раболепный страх к Одоевскому.

У меня этот страх прошел скоро.

Я имел случай не раз убедиться, что под этим таинственным астрологическим костюмом билось самое простое, самое откровенное и чистое сердце и что все эти ученые аксессуары, так пугавшие новичков, не были нисколько страшны.

Этот человек, приводивший нас с Дириным в трепет своею ученостию, нередко принимал за людей серьезных и дельных самых пустых людей и самых пошлых шарлатанов за ученых, доверялся им, распинался за них, выдвигал их вперед, и потом, когда их неблагодарность и невежество обнаруживались, он печально покачивал головой и говорил: «Ну, что ж делать! Ошибся...» — и через день впадал в такую же ошибку.

Я мало встречал людей, которые бы могли сравниться с Одоевским в добродушии и доверчивости. Никто более его не ошибался в людях, и никто, конечно, более его не был обманут — я уверен в этом. Писатель фантастических повестей, он до сих пор смотрит на все с фантастической точки зрения, и прогресс человечества воображает в том, что через 1000 лет

люди будут строить, вместо мраморных и кирпичных, стеклянные дворцы (см. его повесть) [89].

Никто более Одоевского не принимает серьезно самые пустые вещи, и никто более его не задумывается над тем, что не заслуживает не только думы, даже внимания. К этому еще примешивается у него слабость казаться во всем оригинальным. Ни у кого в мире нет таких фантастических обедов, как у Одоевского: у него пулярка начиняется бузиной или ромашкой; соусы перегоняются в химической реторте и составляются из неслыханных смешений; у него все варится, жарится, солится и маринуется ученым образом.

В старые годы канун новых годов мы постоянно встречали, и очень весело, у Одоевского: раз, не помню, на какой именно год, к нему собралось более, чем обыкновенно, и в числе других был С. А. Соболевский, один из самых старых и коротких знакомых Одоевского.

Соболевский, тот самый, которого я увидел в первый раз у Смирдина с Пушкиным и с которым я познакомился впоследствии, запугавший великосветских людей своими меткими эпиграммами и донельзя беззастенчивыми манерами, приобрел себе между многими из них репутацию необыкновенно умного и образованного человека. Житейского ума, хитрости и ловкости в Соболевском действительно много; что же касается до образования... то образование его, кажется, не блистательно; но он умеет при случае пустить пыль в глаза, бросить слово свысока, а при случае отмолчаться и отделаться иронической улыбкой. Соболевский принадлежит к тем людям, у которых в помине нет того, что называется обыкновенно сердцем, и если у него есть нервы, то они должны быть так крепки, как вязига. Это самые счастливые из людей. Им обыкновенно все удается в жизни.

Для людей мягкосердых и нервических такого рода господа нестерпимы.

Перед ужином Одоевский предупредил всех, что у него будут какие-то удивительные сосиски, приготовленные, разумеется, совершенно особым способом. Он просил гостей своих обратить внимание на это блюдо.

Любопытство насчет сосисок возбуждено было сильно. Ужин открылся именно этими сосисками. Все разрезывали их и рассматривали со вниманием и, поднося ко рту, предвкушали заранее особую приятность, но разжевав, все вдруг замерли, полуоткрыли рот и не знали, что делать. Сосиски — увы!—не удались и так отзывались салом, что всем захотелось их выплюнуть.

Соболевский выплюнул свою сосиску без церемонии и, торжественно протягивая руку с тарелкой, на которой лежала сосиска, обратился к хозяину дома и закричал во все горло, иронически улыбаясь и посматривая на всех:

— Одоевский! пожертвуй это блюдо в детские приюты, находящиеся под начальством княгини.

У Одоевского, как вообще у всех людей нервических, не было esprit de repartie: * он совершенно смутился и пробормотал что-то.

Одоевский в двадцать лет вместе с В. Кюхельбекером был редактором журнала. Он обещал сделаться серьезным литературным деятелем, но после прекращения «Мнемозины» и переезда его в Петербург его литературная энергия ослабевает. Он упадает духом. Многие из родных и друзей его сосланы... Удар 14 декабря отозвался на всю Россию: все сжались и присмирели. В Петербурге Одоевский продолжает заниматься литературой, но не более, как дилетант. Главною целию делается служба. Убеждения и надежды его юности поколеблены. Но служба не может наполнять его — и он беспокойно хватается за все для удовлетворения своей врожденной любознательности: он занимается немножко положительными науками и в то же время увлекается средневековыми мистическими бреднями, возится с ретортами в своем химическом кабинете и пишет фантастические повести, изобретает и заказывает какие-то неслыханные музыкальные инструменты и, под именем доктора Пуфа, сочиняет непостижимые уму блюды и невероятные соусы [90]; изучает Лафатера и Галля, сочиняет детские сказки под именем «Дедушки Иринея» и вдается в бюрократизм. Литератор, химик, музыкант, чиновник, черепослов, повар, чернокнижник,— он совсем путается и теряется

* Способность к быстрому и меткому ответу.— *Ред.*

в хаосе этих разнообразных занятий. Поддерживая связи с учеными и литераторами, он с каким-нибудь профессором физики или с математиком заводит речь о поэзии и советует ему прочесть какую-нибудь поэму; с Белинским, не терпевшим и преследовавшим все мистическое, он серьезно толкует о неразгаданном, таинственном мире духов, о видениях и насильно навязывает ему какую-то книгу о магнетизме, уверяя его, что он непременно должен прочесть ее.

Преследуя пошлый бюрократический формализм, он вводит его как председатель в Общество посещения бедных и в то же время уверяет, что хочет писать роман, в котором будет осмеивать этот формализм.

Не имея никаких придворных способностей, он делается придворным, и это стоит ему страшных усилий.

Один раз я заехал к нему часу в восьмом вечера. В ту минуту, когда я вошел в его кабинет, он стоял у стола в виц-мундире, в белом галстуке и в орденах и держал в руке кусочек сахара, на который княгиня капала что-то. Сахар почернел.

— Что это вы делаете, княгиня? — спросил я улыбаясь,— вы отравляете князя.

— Я всегда принимаю несколько капель опиума,— отвечал за нее князь,— от этого я становлюсь бодрее. Я должен ехать на вечер к великой княгине.

Во время коронации, в качестве камергера, Одоевский должен был подносить блюды императору и императрице и потом пятиться назад с лицом, обращенным к августейшим особам. Проделка эта нелегка, Одоевский очень серьезно занят был этим несколько дней и все учился пятиться.

Попав в чиновническую и придворную колею, Одоевский незаметно всасывал в себя честолюбие и чинолюбие и начал гоняться за различными знаками отличия; но он говорит искренно и чуть не со слезами на глазах, что, имея много недостатков, он только совершенно чужд одного — мелкого честолюбия — и благодарит за это бога!

Он утешает себя надеждою, что еще не совсем бросил литературу, что он напишет еще что-нибудь, что у него много разных планов и что для осуществления

их ему надо только на время удалиться от своих служебных занятий.

Он потерял всякое сознание о самом себе и потому ставил себя беспрестанно в комические положения.

В последнее время он уверил себя, что он обладает удивительным даром изобретения.

Года три тому назад я встретился с ним в Гостином дворе и пошел вместе с ним.

— Ах, я совсем забыл...— вдруг начал он,— вам ничего не стоит вернуться несколько шагов назад. Я вам покажу мое новое изобретение.

Мы вернулись.

Он привел меня в лавочку, где продают фуражки и разные дорожные вещи. У входа ее висел клеенчатый лакейский плащ.

— Вот — смотрите! Не правда ли, это превосходная вещь!..

— Что такое?

— Клеенчатый плащ... ведь это мое изобретение. Я первый выдумал это...

Эти плащи в употреблении давным-давно, но у меня недостало духу оспоривать Одоевского и разочаровывать его.

С год назад тому он очень серьезно и таинственно отвел меня в сторону.

— В настоящее время возник у нас в литературе очень серьезный вопрос,—сказал он мне...—о *кухарках*. Я по этому случаю написал статейку и пришлю ее вам. Это очень серьезная вещь, очень! Я развиваю этот вопрос и говорю о кухарках в Сардинии. Я на месте убедился, как эта часть там превосходно устроена...

Да! я теперь уже не боюсь учености и глубины князя Одоевского; вероятно, и Дирин перестал бы бояться его, если бы был жив; но до сих пор я питаю самое симпатическое чувство к этому человеку, который из всех литераторов-аристократов принимал действительное и искреннее участие во всех своих бедных собратах по литературе и обращался с ними истинно *по-человечески* и без всяких задних мыслей. В нашем обществе это большая заслуга [91].

В конце тридцатых годов Одоевский чуть было еще

раз не сделался журналистом. Его настроивал на это г. Краевский, хотевший издавать журнал вместе с ним. Программа этого журнала, вместе с ручательством за благонамеренность редакторов, представлены были на высочайшее воззрение графом Уваровым. В это время государь, сломивший себе ключицу, находился в Чембарах в весьма дурном расположении духа. Он написал на представлении Уварова о новом журнале: «И без того много».

С этой минуты уже никакие просьбы о новых журналах не принимались, и существовавшие журналы стали перепродаваться за значительные суммы. Некоторые из немногих имевших привилегии на издание журналов и кое-как издававшие их ловко воспользовались этим и перепродавали их, делая таким образом очень хорошие спекуляции.

Краевский в это время еще крепко держался за Одоевского. Он вообще так и льнул к пушкинской партии и хотел втереться к самому Пушкину [92]. Не знаю, удалось ли бы ему это: внезапная смерть Пушкина расстроила его планы, но он по крайней мере был утешен тем, что протерся-таки хоть к гробу Пушкина и вместе с друзьями поэта и жандармами тайком, ночью, выносил этот гроб из квартиры.

Трагическая смерть Пушкина пробудила Петербург от апатии. Весь Петербург всполошился. В городе сделалось необыкновенное движение. На Мойке у Певческого моста (Пушкин жил тогда в первом этаже старинного дома княгини Волконской) не было ни прохода, ни проезда. Толпы народа и экипажи с утра до ночи осаждали дом; извозчиков нанимали, просто говоря: «к Пушкину», и извозчики везли прямо туда. Все классы петербургского народонаселения, даже люди безграмотные, считали как бы своим долгом поклониться телу поэта. Это было уже похоже на народную манифестацию, на очнувшееся вдруг общественное мнение. Университетская и литературная молодежь решила нести гроб на руках до церкви; стихи Лермонтова на смерть поэта переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались наизусть всеми [93].

Дарин был страшно поражен смертию Пушкина. Он первый уведомил меня о ней, потому что во все

время страданий Пушкина забегал справляться об его состоянии раз десять в день. Мы решили рано утром в день выноса тела явиться на квартиру поэта и присоединиться к тем, которые будут нести гроб.

Накануне вечером я сообщил об этом г. Краевскому.

— Ну что ж? доброе дело,— отвечал он отрывисто и сухо по своему обыкновению.

Знал ли он о том, что нашим желаниям не придется осуществиться, или распоряжение о выносе сделано было еще позже?

В 8 часов утра мы подъезжали к дому, где жил Пушкин. К удивлению нашему, около дома не было ни одного человека. Мы сошли с дрожек и вошли на двор. Подъезд был заперт. Дворник объявил нам, что уж тело в церкви. Мы отправились к церкви [94].

Вся Конюшенная площадь была усыпана народом. В церковь пускали только по билетам, а у нас билетов не было... Квартальные так и сновали в толпе. Жандармы верхом окружали площадь... Мы с Дириным потолкались в толпе и печально отправились домой.

Недели через две после того, как тело по высочайшему повелению отвезено было А. И. Тургеневым в Святогорский Успенский монастырь (в 4 верстах от с. Михайловского), — г. Краевский объявил, что ему поручено разобрать книги и бумаги в кабинете Пушкина, что он пригласил к себе в помощники Сахарова и еще кого-то, не помню.

— Не хотите ли вы помочь нам? — прибавил он.

Я, конечно, не отказался от такого предложения. Нечего рассказывать, с каким ощущением я входил в кабинет Пушкина...

Мы провозились целый вечер. Я, между прочим, нашел под столом на полу записку Мегниса, бывшего в то время секретарем английского посольства в Петербурге. Пушкин просил его быть своим секундантом, и Мегнис в своей записке отказывал Пушкину в этой просьбе, замечая, что, по его положению, он не может вмешиваться в такого рода дела. Записку эту я передал г. Краевскому, который хотел отдать ее Жуков-

скому. Мегнис был прав. Но с какой точки зрения Пушкин адресовался к нему? С такого рода просьбами относятся, кажется, обыкновенно только к самым близким людям [95].

Во время наших занятий на пороге дверей кабинета появился высокий седой лакей.

Он, вздыхая и покачивая головой, завел с нами речь:

— Не думал я, чтобы мне, старику, пришлось отвозить тело Александра Сергеича! (Он сопровождал А. И. Тургенева.) — Я помню, как он родился, я на руках его нашивал...

И потом старик рассказал нам некоторые подробности о том, как они везли тело, в каком месте Святогорского кладбища погребено оно, и прочее [96].

Г. Краевский, кажется, посвятил разбору библиотеки Пушкина несколько вечеров, но я помогал ему только один вечер...

Когда испрошено было высочайшее разрешение на продолжение издания «Современника» в пользу детей Пушкина, к удивлению многих, на обертке, между именами издателей, друзей Пушкина: Жуковского, князя Вяземского, Плетнева [97], появилось имя *А. А. Краевского.* Положим, что Жуковский и Вяземский или по недосугу, или по лени и непривычке к делу не стали бы заниматься изданием, что они давали только свои имена для блеска; но разве Плетнев не мог сладить один с этим изданием?

Но г. Краевский в это время так расстилался перед Плетневым и ухаживал за ним, обнаруживал такое усердие и преданность перед друзьями покойного поэта, так совался им на глаза со своими услугами, что они наконец из благодарности удостоили его чести принять в соиздатели.

Г. Краевский сиял в это время.

Он, казалось, даже вырос... по крайней мере на вершок. И немудрено. Напечатать свое темное имя рядом с именами Жуковского и Вяземского почти все равно, что попасть из капралов прямо в генералы.

Андрей Александрович действительно с этих пор начал походить на литературного генерала.

ГЛАВА VI

Вечера у графа Ф. П. Толстого.— Кукольниковская партия.— Вечер у Гребенки.— Шевченко.— Сотрудник Сенковского и М. А. Языков.— Серапионовы литературные вечера во 2-м кадетском корпусе.— А. А. Комаров, П. В. Анненков и капитан Клюге фон Клугенау.— Знакомство мое с Н. А. Майковым.— 14-летний Аполлон Майков.— И. А. Гончаров и г. Дудышкин.— Кукольник в кругу офицеров.— Приезды А. В. Кольцова в Петербург.— Мое сближение с ним.— Разговоры о Белинском.— Впечатления, произведенные на меня «Литературными мечтаниями» Белинского.



Петербургские литераторы в тридцатых годах сходились обыкновенно по средам и по воскресеньям у П. А. Плетнева, по воскресеньям же у графа Ф. П. Толстого и по субботам у князя Одоевского. У Плетнева сбирались только самые короткие приятели его (г. Краевский был в числе их) и изредка появлялись Пушкин, Вяземский и Соболевский; о вечерах князя Одоевского я уже говорил; общество графа Ф. П. Толстого имело свой особенный колорит. Оно состояло из молодых художников, подававших, по мнению гг. академиков, большие надежды, из литераторов партии Кукольника и из каких-то молодых и пожилых любителей литературы и искусств, захлебывавшихся при появлении Брюллова и Кукольника и для удовольствия хозяина дома готовых на все, — даже протанцовать, за неимением лучших кавалеров (у Толстого часто устроивали танцы). Брюллов бывал на этих воскресеньях редко, Кукольник не пропускал почти ни одного воскресенья.

Каменский, кавказский герой, о котором я уже упоминал, женился на дочери графа Ф. П. Толстого и жил в это время вместе с ним. Каменский устроил себе очень эффектный кабинет с ярко-пунцовыми занавесами и портьерами и с ярко-пунцовою мебелью. Он писал в красных широких шальварах и в красных туфлях на розовой бумаге свои «Иакова Моле», «Концы мира», «Фультонов», «Танцы смерти» и замышлял «Игнатия Лойолу». Приятель Брюллова и Кукольника — творцов «Последнего дня Помпеи», «Руки всевышнего», «Роксоланы» и прочее — не мог же он брать для своих сочинений какие-нибудь ничтожные предметы из вседневной жизни... Кукольник преследовал

мелкое, по его мнению, направление литературы, данное Пушкиным, все проповедовал о колоссальных созданиях; он полагал, что ему по плечу были только героические личности. Брюллов писал колоссальные картины. Каменский все так же бредил колоссами и с ироническою улыбкою поглядывал на тех, которые брали предметом для своих рассказов современную и обыденную жизнь.

Дом графа Толстого имел в это время так много привлекательного для молодых людей с артистическими наклонностями, все преувеличивающих и все раскрашивающих пылким воображением. Направо — изящный кабинет зятя, молодого литератора, беспрестанно переходившего от чудного мира своей фантазии, от своих колоссальных героев к очаровательной действительности — к своей молодой и прелестной жене, которая, наклонившись к его плечу, улыбалась ему с бесконечною любовию; налево — кабинет тестя, старца, исполненного благодушия, уже знаменитого артиста, талант которого приветствовал сам олимпиец Гете*, друга Брюллова и Кукольника, отрывавшегося от своего резца и своего карандаша только для того, чтобы любоваться счастием своей дочери, не уступавшей в красоте лучшим античным произведениям... Кругом их молодежь, исполненная артистических и литературных талантов, кипящая надеждами, с утра до вечера толкующая о святыне искусства. Никаких претензий, никакого стеснения, совершенное равенство, полная свобода для всех, которые переступали за этот счастливый порог, почти патриархальная простота, искренность и радушие хозяев дома... Какая заманчивая картина! Кто бы из посещавших тогда дом графа Ф. П. Толстого мог подумать, что этот прелестный артистический колорит дома и это семейное счастие — только один мираж?

К числу замечательных ораторов литературно-артистических вечеров графа Толстого, за исключением царившего на них Кукольника, принадлежали: зять хозяина дома — жаркий поклонник Кукольника, по-

---

* Граф Толстой, после выпуска коллекции своих медалей к войне 12 года, получил письмо от Гете, в котором великий германский поэт в очень лестных фразах отзывается о таланте русского художника.

вторявший с размахиванием рук и с сверкавшими глазами его фразы о святыне искусства, и тогда еще ученик академии — Рамазанов, ныне известный скульптор, рабски преданный Брюллову и также трактовавший об искусстве очень фразисто и с тем внешним энтузиазмом, который так неприятно действует на слуховые органы. Господа эти ораторствовали, конечно, в отсутствии своих патронов; при них они только изредка вмешивались в разговор. Граф Толстой говорил мало; с скромностию и благодушием он только слушал других, соглашался со всеми и всем приветливо улыбался. Кукольник обращался с ним почтительно и осыпал его преувеличенными похвалами, отзывавшимися лестию.

У графа Толстого есть довольно большой альбом рисунков для сочиненного им балета и очерки к «Душеньке» Богдановича.

Кукольник говорил, что это гениальные вещи, что трудно создать что-нибудь поэтичнее и выше, что очерки к Данту препрославленного в Европе Ретша — дрянь сравнительно с очерками Толстого к «Душеньке», и тому подобное.

Гости Толстого почти все были такого же мнения о трудах почтенного хозяина.

Каменский благоговел перед талантом своего тестя.

— У нас ничего не понимают в деле искусства,— кричал он с негодованием.— Какое-то отвратительное, постыдное равнодушие во всех: кто, например, ценит этого гениального старика? (Он указывал головою на Толстого.) Будь он англичанин или француз, его осыпали бы золотом с ног до головы, а здесь все его труды пропадают, не принося ему ни гроша... Это просто срам! Будь у нас умный, сколько-нибудь понимающий в искусстве директор театров, да он ухватился бы, как за клад, за рисунки графа для балета. Дай ему поставить этот балет на сцену — он принесет дирекции сотни тысяч [98]!

Граф Толстой, в свою очередь, упрекал публику в равнодушии к отечественной литературе, потому что сочинения Каменского начали плохо сбываться и не производили уже никакого впечатления, к удивлению Владиславлева, который смотрел на Каменского как

на одну из надежд русской литературы и на поддержку своей «Утренней зари».

Я часто бывал на вечерах Толстого. Простота и бесцеремонность, царствовавшие на этих вечерах, вначале очень нравились мне... Любители бильярда целый вечер не выходили из кабинета графа, в котором стоял большой бильярд. Тут постоянно можно было найти что-то такое сделавшего с байроновым «Дон-Жуаном» г. Любича-Романовича с Анной на шее и с постоянно приятною для всех улыбкою[99]. При появлении всякого входившего в кабинет г. Любич отскакивал от бильярда, обязательно протягивал ему свою руку и крепко жал ее. В зале собирались любители танцев и составлялись кадрили. Сам хозяин дома и брат его граф К. П. Толстой — превеселый старичок — подавали в этом пример молодежи. Граф Ф. П. Толстой тщательно выделывал фигуры кадрили в своем обыкновенном домашнем костюме: в бархатной куртке, в вышитых туфлях и в шерстяных чулках. В кабинете у Каменского шли горячие толки о литературе и вообще об изящных искусствах. Он передавал планы замышляемых им творений или рассказывал о том, что созидает Кукольник, что замышляет Брюллов, какую они выпивку задали накануне и прочее. Всякий мог свободно удовлетворить своим наклонностям: играть в бильярд, танцовать, ораторствовать о святыне искусства или выслушивать планы повестей Каменского. Марья Федоровна Каменская была одушевительницею и царицею этих вечеров, которые оканчивались скромными, обыкновенными домашними ужинами с простым столовым медоком.

Граф Ф. П. Толстой вел жизнь чрезвычайно скромную, ни в нем самом, ни в его доме не было и тени каких-нибудь аристократических привычек и замашек. Он редко выходил из дому и всегда почти сидел с карандашом или с резцом в своем кабинете.

Он принадлежал к артистам старого поколения. Новое поколение артистов, развившееся под влиянием Брюллова — человека с дикими и неудержимыми страстями,— пустилось в эффекты, во фразы: кричало о величии артиста, о святыне искусства, отпускало бородки и бороды, волосы до плеч и облекалось в какие-то эксцентрические костюмы для отличия себя от

простых смертных и в довершение всего, по примеру своего учителя, разнуздывало свои страсти и пило мертвую.

По мнению тогдашних молодых артистов, к ним нельзя было прилагать ту узкую и пошлую мерку, которая прилагается обыкновенно ко всем обыкновенным людям. Артист, как существо исключительное, высшее, мог безнаказанно вырывать серьги из ушей жены своей вместе с телом, предаваться самому грязному разврату и пьянству[100]. Обвинять его в безнравственности могли только пошлые, рассудочные люди с мелкими потребностями, не понимающие широких титанических натур артистов и их волканических страстей.

Это безумное возвеличение самого себя в качестве живописца, скульптора, музыканта, литератора, ученого; это отделение себя от остальных людей, которые получают презрительное название *толпы* или *черни;* это обожествление своего ума, своих знаний или своего таланта; это самопоставление себя на пьедестал — самое смешное и вместе печальное явление. В Европе оно ведет к доктринерству, у нас — просто к пьянству; оттого все наши широкие, артистические натуры кончают обыкновенно тем, что спиваются.

Кроме положенных еженедельных артистически-литературных, великосветски-литературных и просто литературных вечеров, литераторы изредка сходились друг у друга и делали вечера. Самым гостеприимным из литераторов того времени был Е. П. Гребенка, постоянно сзывавший к себе своих литературных приятелей при получении из Малороссии сала, варенья или наливок. Гребенка в это время еще не был женат. Он жил на Петербургской стороне в казенной квартире 2-го кадетского корпуса, где был учителем.

Однажды он пригласил меня к себе вместе с М. А. Языковым, который пользовался уже тогда большою известностью между всеми литераторами, с которыми был я близок, как приятный и веселый собеседник, остряк и каламбурист. Многие принимали Языкова за литератора и сотрудника г. Краевского.

— Вы чем именно занимаетесь? — спрашивали его,— какая ваша специальность?

— Да так,— отвечал обыкновенно, улыбаясь, Языков,— больше *по смесям* прохаживаюсь.

В этот раз у Гребенки сошлось многочисленное общество и, между прочим, Шевченко, который начинал уже пользоваться большою популярностью между своими соотечественниками; товарищи Гребенки по службе — А. А. Комаров и Прокопович (товарищ Гоголя по Нежинскому лицею и приятель его). Прокопович и Комаров оба очень любили литературу и пописывали стишки. С Комаровым я был знаком с детства и впоследствии, по приезде в Петербург Белинского, сблизился с ним еще более. О Комарове и о влиянии на него Белинского я еще буду иметь случай говорить впоследствии. На вечере у Гребенки некому было проповедывать ни о *святыне искусства,* ни о каких-нибудь возвышенных предметах; там просто болтали о вседневных и литературных новостях и приключениях.

В начале вечера Гребенка познакомил меня с каким-то господином, бывшим в это время (это было чуть ли не в 1837 году) одним из главных сотрудников «Библиотеки для чтения». Фамилию этого господина я не припомню. Он имел очень почтенный и глубокомысленный вид и, вместо белья, шерстяную красную фуфайку, которая виднелась из-под галстука и высовывалась из-за рукавов.

Языков обращал на себя всеобщее внимание своими забавными рассказами и многих смешил до упада.

За ужином ему пришлось сидеть рядом с сотрудником «Библиотеки для чтения» в шерстяной фуфайке. Сотрудник изъявлял не только величайшее уважение к Языкову, но обнаруживал перед ним какую-то робость, как перед авторитетом.

— Позвольте спросить,— отнесся он к Языкову,— я имею честь говорить с нашим знаменитым поэтом Николаем Михайловичем Языковым?

— Так точно,— отвечал Языков, скромно потупя глаза и нимало не задумавшись.

— Очень лестно и приятно познакомиться,— сказал сотрудник, протягивая ему свою руку.

Языков, нисколько не смущаясь, пожал ее.

— Не подарите ли вы нас каким-либо новым произведением? — продолжал сотрудник.

— Да у меня есть много набросанного,— отвечал Языков с чувством достоинства,— но все это надо привести в порядок... Я все собираюсь и все откладываю.

Этот разговор был подслушан многими, и к Языкову стали обращаться с разными вопросами как к поэту, его однофамильцу. Языков выдерживал свою роль довольно удачно. Некоторые смешливые выскочили из-за стола...

Сотрудник «Библиотеки для чтения», после нескольких минут молчания, крякнул и снова отнесся к Языкову:

— Смею ли обратиться к вам, Николай Михайлович,— начал он,— с покорнейшею просьбою. Я сотрудник «Библиотеки для чтения», и если бы вы удостоили украсить наш журнал каким-либо хотя небольшим произведением, вы сделали бы истинное удовольствие Осипу Ивановичу Сенковскому, глубоко уважающему ваш талант.

Языков наклонил голову в знак благодарности за лестное мнение о нем Сенковского и отвечал, что в настоящую минуту он ничего обещать не может, но что со временем, может быть, когда что-нибудь обработает, и так далее...

— И самая надежда на получение от вас чего-нибудь будет льстить нам,— отвечал сотрудник.

В эту минуту многие не выдержали и покатились со смеху; но ужин кончился, и гром отодвигаемых стульев заглушил этот смех.

Где теперь этот сотрудник? Вспоминает ли он о своей встрече с знаменитым поэтом Языковым? И кто знает, может быть, в каком-нибудь повременном издании появится его статейка под названием: «Воспоминание о поэте Языкове». Вот будет клад-то для наших почтенных библиографов и для г. Геннади, так неудачно редактировавшего последнее издание Пушкина и заставившего воскликнуть Соболевского:

О, жертва бедная двух адовых исчадий,
Тебя убил Дантес и издает Геннадий!

После ужина все оживились еще более. Гребенка начал напевать малороссийские песни, а Шевченко подплясывал под свои родные звуки.

В описываемое мною время кроме литературных

собраний, о которых я упомянул, были еще известные немногим литературные небольшие сходки любителей, еще, так сказать, домашним образом занимавшихся литературой. К таким собраниям принадлежали вечера в квартирах у А. А. Комарова и кадетского капитана Клюге фон Клугенау. Они назывались *серапионовскими вечерами* (Гофман у нас был тогда в большом ходу) [101]. На этих вечерах *наши серапионы* читали по очереди свои сочинения. К числу их принадлежал и П. В. Анненков, впоследствии получивший в литературе известность изданием Пушкина и критическими статьями.

В доме у Николая Аполлоновича Майкова, бросившего меч для кисти и палитры, сходились также еще тогда темные любители искусств и литературы, из которых иных ожидала светлая литературная известность. Тринадцати- или четырнадцатилетний сын Майкова Аполлон обнаруживал уже тогда значительный литературный талант. Из его стихотворений, из опытов брата его Валериана и из трудов друзей дома Майкова и любителей литературы, между прочим И. А. Гончарова,— составлялись целые книжки, которые отлично переписывались, переплетались и показывались гостям Майкова.

И. А. Гончаров, без сомнения, много способствовал развитию эстетического вкуса в Аполлоне Майкове. Если я не ошибаюсь, к числу сотрудников майковского рукописного альманаха принадлежал и г. Дудышкин, ныне соиздатель г. Краевского по «Отечественным записках» [102].

Я усердно посещал все литературные вечера и сборища, которые уже начинали прискучивать мне, и убедился только в том, что за литературными кулисами так же нехорошо, как и за театральными... Я уже смотрел на литераторов как на обыкновенных смертных и совсем перестал трепетать перед литературными авторитетами. На Кукольника я даже начал посматривать несколько с юмористической точки зрения. Он в это время стал беспрестанно появляться в различных *кафе* и ресторанах, окружаемый толпами любознательных офицеров различных полков.

Раз вечером я застал его у Доминика председательствовавшим за круглым столом, за которым сиде-

ли разные офицеры. Перед поэтом стояла бутылка пива и бутылка портера. Он мешал пиво с портером и ораторствовал.

В это время он был проникнут любовью — конечно, идеальною — к одной значительной даме (об этом он намекал) и писал свою поэму «Марию Стюарт». Вероятно, в Марии Стюарт он изображал ее, а в Риццио самого себя, хотя уже он вовсе не походил на Риццио: он значительно постарел, обрюзг, и лицо его приняло неприятный отек.

Он рассказывал офицерам о своем идеале.

— Она ходит по Летнему саду,— говорил он восторженным тоном,— вдоль и поперек, и я хожу вдоль и поперек. Что ни взгляд — то стихотворение. Двенадцать стихотворений в одно утро вынес.

И поэт вслед за тем выпил стакан пива и остановился.

Один из офицеров толкнул другого и произнес в благоговейном изумлении:

— Слышишь ли — двенадцать в одно утро[103]!

— А-а-а! — воскликнул Кукольник, увидев меня, щурясь и прикладывая руку к бровям,—это ты!.. Я сначала и не узнал тебя,—мы с тобой теперь видимся редко... Ты — Краевский...

Кукольник произнес последние слова таким тоном, как бы хотел сказать: «Ты пропащий человек!» — и махнул рукой.

Я говорил уже, что с г. Краевским он никак не мог сойтись. Г. Краевский не признавал в нем таланта, во-первых, потому, что Сенковский, Греч и Булгарин кричали о его гении, а во-вторых, потому, что вся пушкинская партия была очень равнодушна к поэзии творца «Рук», «Роксолан» и прочего.

В «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» появлялись о Кукольнике неблагосклонные отзывы. Он знал, что я принимаю участие в газете ему враждебной — и вот что означало восклицание: «ты — Краевский...»

— Ну, садись с нами! — продолжал Кукольник,— я еще по старой памяти люблю тебя. Здесь ты видишь все людей, горячо преданных искусству (он указал на офицеров) и тех, которые ему служат верою и правдою. Оттого они и Кукольника любят,— и потом он

прибавил, улыбнувшись:— а твой Краевский ничего не понимает.

Кукольник говорил без умолку, но не совсем связно. Офицеры слушали его с тем простодушным благоговением, с которым я некогда слушал его. Они переглядывались друг с другом и, кажется, впивали в себя каждое его слово.

Я помню только, что к концу ужина он завел речь о Шекспире, заметив, что у него на Шекспира свое оригинальное воззрение, как и на все; что Шекспир — гений и Шекспир — дрянь, и что он умеет соединить эти, по-видимому, две несоединимые вещи...

Фразы о *святыне искусства* хотя еще не совсем огадились мне, но с каждым днем уже теряли для меня значение и делались приторными. Я начал притом смутно понимать, что в литературе господствуют устарелые взгляды и рабское поклонение перед старинными литературными кумирами, какое-то пошлое лицемерие перед ними. Мне хотелось услышать *новое слово,* голос *правды,*— но какой правды? я не отдавал себе отчета. Но это неопределенное желание начало пробуждаться во мне после двух- или трехлетнего пребывания моего в литературном кругу, еще до издания г. Краевским «Литературных прибавлений». От кого же было услышать это новое слово, эту желанную правду? Полевой, на которого еще с ожиданием и надеждою смотрело новое поколение, видимо ослабевал: он не понял Гоголя и этот могучий талант встретил даже с недоброжелательством, да и Полевой принужден был скоро замолкнуть...

Однажды, прохаживаясь по Невскому проспекту, я зашел в кондитерскую Вульфа, в которой получались все русские газеты и журналы. Я подошел к столу, на котором они были разложены, и мне прежде всего попался на глаза последний нумер «Молвы». В этом нумере было продолжение статьи под заглавием: «Литературные мечтания.—Элегия в прозе». Это оригинальное название заинтересовало меня: я взял несколько предшествовавших нумеров и принялся читать.

Начало этой статьи привело меня в такой восторг, что я охотно бы тотчас поскакал в Москву познако-

миться с автором ее и прочесть поскорее ее продолжение, если бы это было можно.

Новый, смелый, свежий дух ее так и охватил меня.

«Не оно ли,— подумал я,— это новое слово, которого я жаждал, не это ли тот самый голос правды, который я так давно хотел услышать?»

Я выбежал из кондитерской, сел на первого попавшегося мне извозчика и отправился к Языкову.

Я вбежал к нему с криком:

— Ну, брат, у нас появился такой критик, перед которым Полевой — ничто. Я сейчас только пробежал начало его статьи — это чудо, чудо!..

— Неужто? — возразил Языков,— да кто такой? Где напечатана эта статья?..

Я перевел дух, бросился на диван и, немного успокоясь, рассказал ему, в чем дело.

Мы с Языковым, как люди, всем детски увлекавшиеся, тотчас же отправились в книжную лавку, достали нумера «Молвы», и я прочел ему начало статьи Белинского.

Языков пришел в такой же восторг, как я, и впоследствии, когда мы прочли всю статью, имя Белинского уже стало дорого нам.

Как ничтожны и жалки казались мне, после этой горячей и смелой статьи, пошлые, рутинные критические статейки о литературе, появлявшиеся в московских и петербургских журналах!

В статье Белинского, я это очень хорошо помню, я останавливался с особенным удовольствием на следующих строках:

«У нас еще и по сию пору царствует в литературе какое-то жалкое, *детское* благоговение к авторитетам: мы и в литературе высоко чтим табель о рангах и *боимся говорить вслух правду о высоких персонах.* Говоря о знаменитом писателе, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами: *сказать о нем резкую правду у нас святотатство!*» (Соч. Белинского, том I, стр. 38).

«Знаете ли, что наиболее вредило, вредит и, как кажется, еще *долго будет вредить* (какие пророческие слова!) распространению на Руси основательных понятий о литературе?.. Литературное идолопоклонство!

Дети, мы еще все молимся и поклоняемся многочисленным богам нашего многолюдного Олимпа и нимало не заботимся о том, чтобы справляться почаще с метриками, дабы узнать, точно ли небесного происхождения предметы нашего обожания. Что делать! Слепой фанатизм всегда бывает уделом младенчествующих обществ» (стр. 57) [104].

Эти строки были мне по сердцу, потому что после моего детского увлечения Кукольником, после смешного и рабского преклонения пред ним я чувствовал озлобление против всех авторитетов, даже против моего кумира Марлинского. Я с каким-то наслаждением любовался, как Белинский беспощадно разбивал его [105].

И как понятна ненависть, которую питали к Белинскому тогдашние литературные знаменитости и посредственности, лицемерившие перед старыми авторитетами из боязни за самих себя, за собственную литературную участь.

«Чего остается ожидать для себя,— говорил Белинский,— например, г. Иванчину-Писареву, г. Воейкову или кн. Шаликову, когда они слышат, что Карамзин не художник, не гений и другие подобные безбожные мнения?» (стр. 58).

Это же самое явление повторяется, к сожалению, и в наши дни. Осмельтесь сказать, что Пушкин не мировой гений, что его время уже проходит, что он не может удовлетворять потребностям нового поколения,— литературные знаменитости нашего времени восстанут на вас с таким же ожесточением, с каким некогда восставали против Белинского литературные знаменитости его времени; и теперь раздадутся те же крики, и вас станут обвинять в невежестве, в безвкусии, в безбожии, в святотатстве, как некогда обвиняли Белинского...

Но об этом лучше молчать.

Гоголь встречен был молодым поколением с еще большим энтузиазмом, чем Белинский.

Новый мир открылся для меня, когда я прочел «Ивана Иваныча и Ивана Никифорыча» и «Миргород». Его «Вечера на хуторе», приветствованные Пушкиным в «Литературных прибавлениях» Воейкова, признаюсь, не произвели на меня большого впечатления...

Но о Гоголе и о перевороте, который он произвел в литературе, мне еще придется говорить много раз [106].

После «Литературных мечтаний» и статьи о Бенедиктове [107], которая наделала большого шума, я уже не пропускал ни одной статейки Белинского.

О личности Белинского начали носиться между петербургскими литераторами какие-то сбивчивые, противоречивые и неблагоприятные слухи. Его смелость и резкость действовали неприятно на литераторов. Они видели, что на них идет нешуточная гроза. Мне ужасно хотелось узнать, что за человек Белинский, и я очень обрадовался, узнав о приезде в Петербург А. В. Кольцова. Я знал, что Кольцов близок с Белинским. Кольцов приехал в Петербург уже после напечатания в «Телескопе» моей повести «Она будет счастлива». Краткий отзыв Белинского об этой повести польстил в высшей степени моему самолюбию. Быть замеченным в литературе в первый раз — и кем же еще, этим неумолимым и беспощадным Белинским! Такой чести я уж никак не ждал. Говоря, что с некоторого времени его великодушные неприятели приписывают ему все значительные статьи в «Телескопе», Белинский прибавлял, что ему, между прочим, приписана повесть «Она будет счастлива», «обнаруживающая в неизвестном авторе неподдельный талант, живое чувство и уменье владеть языком»... (Соч. Белинского, т. I, стр. 271) [108].

Я хотел отправиться отыскивать Кольцова, но в одно утро, очень скоро после своего приезда, он явился ко мне сам [109].

Портрет Кольцова, приложенный к его сочинениям, очень верно передает его черты; художник не умел только схватить тонкого и умного выражения глаз его. Кольцов был небольшого роста и казался довольно крепкого сложения. Одет он был даже с некоторою претензиею на щегольство: на манишке его сверкали пуговицы с камешками, сверх жилета красовалась цепь от часов, он был напомажен и даже раздушон. Впоследствии за эти духи ему жестоко доставалось от Белинского. «Охота вам прыскаться и душиться какою-то гадостию,— говорил он,— от вас каким-то бергамотом или гвоздичкой пахнет. Это нехорошо. Если мне не верите, спросите у него (и Белинский указывал

на меня): он франт, он уж, батюшка, авторитет в этом деле».

Разговор мой с Кольцовым начался прямо с Белинского. Он привез мне поклон от него. Кольцов, человек проницательный и осторожный, умевший, как я узнал впоследствии, сдерживать себя и таивший перед петербургскими литераторами свои убеждения, заметив мой энтузиазм к Белинскому, заговорил со мною довольно откровенно.

— Да-с, Иван Иваныч, Белинский единственный человек у нас в настоящее время, владеющий эстетическим вкусом и понимающий искусство. Его немногие ценят, особенно из ваших петербургских литераторов,— это очень жаль-с... И какой светлый ум у этого человека! Какое горячее, благородное сердце! Я обязан всем ему; он меня поставил на настоящую мою дорогу; без его советов я не решаюсь теперь печатать моих мараний; он мне говорит всегда, что нужно выкинуть, что исправить, что вовсе бросить. Уж он так добр ко мне, такое участие принимает во мне!

Кольцов рассказал мне некоторые подробности о жизни Белинского. Он был в восторге от московского кружка Белинского и говорил:

— Приезжайте в Москву-с. Вы увидите, там люди больше по вас, и Белинский будет очень рад вам. Он заочно полюбил вас.

До знакомства моего с Белинским Кольцов приезжал раза два или три в Петербург и в один из приездов привез мне первое письмо от Белинского [110].

Кольцов считал долгом делать визиты ко всем литераторам, из которых многие посматривали на него с высоты своего величия, с покровительством, как на талантливого мужичка.

Но этот мужичок, усвоивший уже себе кое-какие из убеждений и взглядов московского кружка Белинского и прочитавший все пьесы Шекспира в русском переводе (Шекспир произвел на него глубокое впечатление; он говорил о нем с энтузиазмом, особенно о «Гамлете», которого, по его словам, объяснил ему еще более Мочалов на сцене), этот необразованный мужичок понимал гораздо более и смотрел на литературу гораздо глубже многих из так называемых обра-

зованных литераторов — своих покровителей. С каждым приездом своим он становился со мною откровеннее. Он передавал мне впечатления, которые производили на него разные петербургские литераторы и литературные знаменитости, и характеризовал каждого из них. Эти характеристики были исполнены ума, тонкости и наблюдательности; я был поражен, выслушивая их.

— Эти господа,— прибавил Кольцов в заключение с лукавою улыбкою,— несмотря на их внимательность ко мне и ласки, за которые я им очень благодарен, смотрят на меня как на совершенного невежду, ничего не смыслящего, и презабавно хвастают передо мной своими знаньями, хотят мне пускать пыль в глаза. Я слушаю их разиня рот, и они остаются мною очень довольны, а между тем я ведь их вижу насквозь-с.

— Ну, Алексей Васильич,— сказал я ему,— ведь и я, грешный человек, посматривал на вас тоже немножко свысока. Простите меня.

Кольцов улыбнулся.

— Да ведь на меня, Иван Иваныч,—возразил он,— человека необразованного, иначе и не могут смотреть образованные люди,— я это очень хорошо понимаю; но вы ведь меня не принимаете за дурачка, а они на меня совсем как на дурачка смотрят, вот хоть бы Евгений Павлыч Гребенка... а ведь я не глупее же его. Впрочем, я это так только заметил: все здешние литераторы и Евгений Павлыч — люди очень добрые и почтенные... Вот хоть бы князь Одоевский, он такой приветливый, уж он так меня обласкал, а впрочем московский кружок — то есть я разумею именно кружок Белинского — все-таки нельзя сравнить с здешними: вот вы поедете в Москву, сами убедитесь в этом... Я, откровенно вам скажу, только и отдыхаю там от разных своих забот и неприятностей... К тому же у этих людей есть чему поучиться.

Почти всякий свой приезд в Петербург Кольцов созывал к себе литераторов на угощение и между прочим потчевал их какой-то соленой рыбой, которую он привозил из Воронежа.

Но я узнал еще ближе Кольцова впоследствии, когда переехал в Петербург Белинский.

ГЛАВА VII

Запрещение «Телескопа».— «Библиотека для чтения», Сенковский и гении, им созданные.— Возвращение больного Надеждина из Усть-Сысольска.— Мое сближение с ним.— Надеждин как собеседник.— Ответ Надеждина на вопрос: почему теперь нет хороших стихов? — Отношения Надеждина к разным издателям.— Два слова о Н. И. Грече.— Гоголь у Прокоповича.— Башуцкий и его вечера.— Приготовления к изданию «Отечественных записок».— Разговор мой с г. Краевским по этому поводу.— Объявление об издании «Отечественных записок».



Причина внезапного конца «Телескопа», который начинал приобретать еще более значения с появления в нем Белинского, известна всем [111]. Прекращение этого журнала наделало большого шуму, возбудило различные толки и заставило прочесть статью Чаадаева — виновницу прекращения — даже тех, которые отроду не читали таких серьезных статей. Того нумера «Телескопа», в котором она появилась, скоро достать уже было невозможно: его расхватали, и статья Чаадаева стала расходиться во множестве рукописных экземпляров. Кажется, все строгие запретительные меры относительно литературы никогда не действовали во вред ей. Запрещение журнала всегда возбуждало в публике сочувствие и участие к журналисту, подвергшемуся опале; а статья, вследствие которой запрещался журнал, приобретала популярность не только между всеми грамотными и читающими людьми, но даже и между полуграмотными, которые придавали ей бог знает какие невежественные толкования. «Телескоп» недолго пережил «Телеграф». Издатель «Телескопа» возбуждал большой энтузиазм между московскою университетскою молодежью своими лекциями. Об его удивительном даре слова и многообразных сведениях доходили слухи и до Петербурга; но его критические статьи в «Телескопе» под псевдонимом *Надоумки,* несмотря на много дельного, высказавшегося в них, не нравились в Петербурге по своему тону, отзывавшемуся несколько бурсою.

Как бы то ни было, «Телеграф» и «Телескоп» были любимыми журналами петербургской читающей молодежи. Несмотря на свой огромный успех и блестя-

щие имена на обертке, «Библиотека для чтения» не пользовалась никаким кредитом между молодежью и теми литераторами, которые смотрели на литературу серьезно. Белинский справедливо замечал о ней: «Библиотека» есть журнал провинцияльный: вот причина ее силы» (см. Соч. Белинского, том 2, стр. 21). Направление, заключавшееся в том только, чтобы во что бы то ни стало забавлять, при отсутствии своих убеждений, производство Кукольника в Гете, неудачная попытка своих домашних журнальных прислужников, вроде г. Тимофеева, возводить в ранг замечательных талантов [112], вообще все мистификации и шуточки Сенковского оскорбляли эту горячую молодежь.

С Сенковским я познакомился незадолго до его смерти. В это время он был уже расслаблен нравственно и физически и пописывал фельетоны в «Весельчак» и «Сын отечества» г. Старчевского. Дела Сенковского были в это время расстроены; от прежней роскоши, с которою он, говорят, жил, не оставалось почти и следа... Сенковский умер вовремя. Если бы он прожил еще несколько лет, ему пришлось бы играть печальную роль при г. Старчевском. Из самовластного начальника он превратился бы в подчиненного и даже, может быть, принужден был бы пользоваться благодеянием того, которому он некогда сам благодетельствовал. Еще лучше было бы умереть Сенковскому несколькими годами ранее: тогда бы он не пережил своей громкой известности [113].

С Тимофеевым я встречался несколько раз. О нем ходили странные слухи: живя на даче в Парголове одно лето, он вырыл, говорят, какую-то пещеру и в ней читал и писал, возбуждая к себе любопытство дачниц, которые прозвали его Парголовским пустынником. Тимофеев был высок ростом, красив и немного туповат на вид. Он говорил неестественно тихо и както вдохновенно закатывал глаза под лоб. Он не в шутку вообразил, что он поэт, добродушно поверив мистификации Сенковского. Более я ничего не могу сказать о Тимофееве.

О Сенковском, его редакторстве и об его странных отношениях к сотрудникам, вероятно, много любопытного может передать Е. Ф. Корш, который года полтора вместе с Грановским (до отъезда Грановского за

границу) трудился для «Библиотеки для чтения». Я слышал от Грановского множество пресмешных рассказов о Сенковском; в них вполне охарактеризовалась не совсем достойная уважения личность человека, игравшего несколько лет такую шумную роль в русской литературе.

Но я заговорил не о нем, а о «Телескопе» и о Надеждине. Перейдем же к нему. В 1837 году Надеждин возвратился из места своего изгнания — Усть-Сысольска в Петербург, расслабленный и без ног. Он остановился в гостинице Демута. Здесь перебывали у него все петербургские литераторы, за исключением некоторых аристократов. Кроме литераторов, я часто встречал у Надеждина его друзей Княжевичей, конногвардейского полковника Галахова (бывшего потом оберполицийместером) и других лиц — известных или начинавших делаться известными в чиновном мире. Кто познакомил меня с Надеждиным — я не помню, но Надеждин увлек меня с первого раза. Меня так и тянуло к нему. Он также обнаружил ко мне некоторое влечение. Я ездил к нему почти всякий день.

Я был в то время довольно веселым рассказчиком, начинал подмечать комическую сторону жизни и пародировал довольно удачно нескольких лиц, известных в литературе и в обществе. Надеждин от моих рассказов катался обыкновенно со смеху и этим ободрительным смехом еще более подстрекал меня.

Его обширные сведения, изумительная память, дар слова — все это поразило меня. Это был первый литератор, удовлетворивший моему идеалу. Я полагал во время оно, что всякий литератор непременно должен обладать ученостию или, по крайней мере, обширным образованием. Если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что можно быть весьма недурным поэтом или довольно даровитым рассказчиком, не имея не только образования, но даже ума, я ни за что не поверил бы этому. А сколько таких нехитрых господ из литераторов случалось мне встречать потом в течение тридцатилетнего моего литературного поприща! Некоторые из них пользовались значительным успехом в публике, и творения их подвергались даже тонким анализам, глубокомысленным критикам, очень лестным для авторов по тонкости и глубине, но совершенно непонятным для них.

Надеждин по своим обширным сведениям и по уму стоял во главе тогдашних литераторов. Наружность Надеждина была мало привлекательна. Черты болезненного, осунувшегося и побагровевшего лица его были резки; у него был длинный красный нос, рот почти до ушей, раскрывавшийся совсем не только при смехе, даже при улыбке, и обнаруживавший не только зубы, даже десны. Манеры его были неуклюжи и аляповаты, голос криклив. В минуты одушевления он издавал какие-то звуки, похожие на рычание, и дикие восклицания вроде: «а-га-га-га!» Но несмотря на все это, он имел в себе много симпатического. Такова сила ума, смягчающая даже самое безобразие и придающая одушевление и приятность самым грубым чертам. Если бы ум и знания соединялись в Надеждине с твердостию воли, он, вероятно, оставил бы по себе прочную память в летописях Московского университета или в истории русской литературы. К сожалению, при своем замечательном уме и при своих блестящих способностях, он вертелся, как флюгер, по прихоти случайностей: без сожаления покидал свое ученое поприще для литературных занятий, литературные занятия для служебной деятельности — и нигде не оставлял по себе глубокого следа. В науке, в литературе, на служебной арене — он везде обнаружил большие способности, но не сделался серьезным ученым и не имел влияния ни в литературном, ни в чиновничьем мире. Надеждин был человек вполне просвещенный и свободномыслящий, но не имевший никаких твердых убеждений, которые заставляют человека идти неколебимо по избранному им пути, преодолевая все препятствия и не отклоняясь ни на шаг в сторону.

Как бы то ни было, он, как я уже заметил, всегда вносил в беседу мысль и одушевление. В нем был своего рода юмор, не совсем тонкий, но иногда довольно злой; как в человеке (я не говорю — в писателе) в нем не было ни малейшей сухости и педантизма. Он не пугал своими знаниями, как это делают многие ученые, не хвастал своей эрудицией, хоть при случае любил блеснуть ею, и был почти постоянно одушевляем веселостию — несмотря на расстройство своего здоровья. В этой веселости было что-то добродушное, искреннее, возбуждавшее веселость в других, хотя иск-

ренность и добродушие не были его отличительными качествами...

Все его недостатки, истекавшие из слабости его характера, очень видимы были для всех его приятелей: они обсуживались за глаза строго, возбуждали даже негодование; но когда приятели сходились с ним лицом к лицу — они искренно забывали всё и всё прощали ему.

Он имел дар привлекать к себе всевозможного рода людей — не одних литераторов... Люди светские, купцы, значительные чиновники, сойдясь с ним случайно, привязывались к нему.

У Надеждина был наемный человек *Иван.* Он начал служить при нем с начала издания «Телескопа».

Когда Надеждин отправлялся в ссылку, он призвал Ивана для того, чтобы рассчитаться и проститься с ним. Он никак не предполагал, чтобы тот решился ехать с ним, бог знает куда и на неопределенное время; но Иван решительно объявил, что хоть бы он ехал на край света, он не оставит его.

Надо заметить, что Надеждин обращался с Иваном не совсем гуманно; как все больные, он был иногда несносно капризен и придирчив,— и несмотря на это, Иван остался при нем до последней минуты. Последние годы, когда Надеждина разбил паралич, Иван не оставлял его ни на шаг и ухаживал за ним, как добрая нянька за ребенком.

Недаром же возбуждал Надеждин такую сильную привязанность к себе!

В две недели я сблизился с ним так, как будто был век знаком. При моем появлении он обыкновенно улыбался, разевал рот, обнаруживая десны, протягивал ко мне свои длинные руки и восклицал:

— А-га-га-га!.. Вот и он! Вот и он!.. Ну, что нового в литературе?..

Надеждина интересовали всякие литературные сплетни.

Я передавал ему все, что знал: о жалобах Якубовича на Карлгофа, о воейковском обеде в холерной больнице, и прочее, и прочее. Надеждин хохотал от всей души. Он собирал тогда статейки для «Одесского альманаха» и просил меня дать что-нибудь. Я написал для него рассказ под заглавием: «Как добры люди!»

Этот рассказ был до такой степени пошл и плох, что мне стыдно вспоминать об нем [114]. Я и тогда, впрочем, чувствовал, что он плоховат, и заметил это Надеждину, который вскрикнул:

— Э, ничего! Сойдет с рук!.. А давно ли вы видели нашего Лукьяна? — прибавил он (Якубовича звали Лукьяном).— Мне он нужен... Ведь и у него надо взять стишков *на затычку...*

И Надеждин, говоря это, осклаблялся и издавал звуки, похожие на смех.

— Лукьян славный малый, добрый,— продолжал он,— без его стихов нам нельзя обойтись... И ему ведь ничего не стоит налупить по заказу три-четыре стихотворения, только слово скажи.

Кстати, о стихах.

Надеждин (это было уже гораздо позже) рассказывал мне, что на обеде у А. М. Княжевича, с которым он был очень близок, он встретился с одним штатским генералом, занимавшимся некогда литературою, враждебно смотревшим на новейшую литературу и притом, кажется, не благоволившим к Надеждину как к бывшему издателю «Телескопа» за его либеральный образ мыслей.

— Ну, почтеннейший,— воскликнул Надеждин,— чудо из чудес! Как бы вы думали! — я удостоился благоволения его превосходительства, он даже прижал меня к своей звездоносной груди и напечатлел поцелуй на моих губах,— теперь вы должны иметь ко мне больше уважения.

— Чем же вы его так разнежили?—спросил я.

— А вот как. За обедом речь зашла о литературе. Генералы всё толковали о том, отчего теперь нет торжественных хороших стихов, какие писывались в их время, и никак не могли добиться отчего?.. Его превосходительство, который, как вам известно, прежде неблагосклонно посматривал на меня, вдруг обратился ко мне с улыбкою: «Не объясните ли вы нам этого,— вы, который были журналистом?»

— Почему же? Охотно, ваше превосходительство,— отвечал я,— по моему мнению, оттого, что нынче большею частью пишут *не-дворяне.* Этим только и можно объяснить упадок нашего стихотворства!..— Генерал при этом пришел в совершенный экстаз — и вот

почему я удостоился его превосходительных объятий и поцелуя. Он потом все покачивал печально головой и говорил: «Вы совершенно справедливы; именно так, другой причины нет, а это очень жаль!» — Так вот видите, почтеннейший, каков я? Умею ведь себя вести с генералами?..[115]

Дней через пять я встретил этого генерала. Он знал меня с детства и поэтому говорил мне *ты*.

— Ты знаешь Надеждина? — спросил он меня.

— Очень хорошо.

— Он, кажется, прекрасный и очень благонамеренный человек,— заметил генерал чувствительным и мягким тоном...

Слова Надеждина генерал принял серьезно.

Вот наивность-то!..

Я не могу себе объяснить нерасположения Надеждина к Белинскому. Надеждин не любил говорить об нем и на вопросы о Белинском отвечал обыкновенно нехотя и представлял его каким-то циником, о чем я уже упоминал в статье моей о Белинском. В то же время Надеждин уж слишком яркими красками и даже не без энтузиазма описывал мне некоторых из друзей его. По его описанию я воображал найти в одном из них что-то похожее на Рафаэля или на Иоанна Богослова [116].

Впоследствии я убедился, что в этих характеристиках Надеждина гораздо более было его собственной фантазии, чем правды.

По возвращении Надеждина не только петербургские журналисты, но даже и издатели альманахов бросились к нему с просьбами о статьях... Он прежде всех удовлетворил Владиславлева [117]. Владиславлев боялся ума и учености Надеждина; Надеждин, в свою очередь, не то чтобы боялся Владиславлева, но оказывал ему особое внимание и ласку по месту его служения. Вследствие этого они были в очень коротких отношениях. Г. Краевский обращался с Надеждиным довольно фамильярно, как и следует ученому с ученым, но, кажется, не любил его и, вероятно, побаивался, сознавая, что Надеждин все-таки ученее его.

Надеждин, напротив, обнаруживал к нему расположение и даже очень любил говорить об нем, называя его просто *Андреем*... Если кто-нибудь при нем не сов-

сем хорошо отзывался о г. Краевском, Надеждин обыкновенно восклицал:

— Полноте нападать на моего Андрея, он славный малый,— вы не шутите с ним: он изобрел у нас шестую часть света!

По натуре своей Надеждин был очень ленив; но свои журнальные статьи он писал с необыкновенною быстротою и легкостию, почти без помарок. Рукописи его отличались большою оригинальностию: он писал обыкновенно на бумаге очень длинного формата и довольно узко обрезанной. Почерк у него был довольно четкий, но русские буквы принимали под его пером какую-то старинную форму, несколько похожую на готическую.

Усть-Сысольск значительно охладил его литературную деятельность. Он после своего приезда оттуда начал смотреть на литературу как на дело, отошедшее для него на второй план. Он решился всего себя посвятить служебной деятельности, и мечты о служебной карьере занимали его уже гораздо более[118].

Знакомство с Надеждиным, который резко отличался от всех петербургских литераторов, возбудило во мне еще бо́льшее желание познакомиться с московскими литераторами. Москва начала очень занимать меня. На московскую литературу я смотрел всегда с бо́льшим уважением. Направление ее выражалось «Телеграфом», «Телескопом», «Молвою» и, наконец, «Московским наблюдателем», редакцию которого принял на себя впоследствии Белинский; тогда выступали в Москве на литературное поприще молодые люди, только что вышедшие из Московского университета,— с горячею любовию к делу, с благородными убеждениями, с талантами... Это было самое блестящее время московской литературной деятельности. К Петербургу с его «Библиотекою» и «Северною пчелою» я получил уже совершенное отвращение; петербургские литераторы также не возбуждали во мне никакого интереса. Я был знаком со всеми ими, не исключая даже Николая Иваныча Греча, который всегда обращался со мною с большою благосклонностию, хотя и изъявлял сожаление моему дяде, что я связываюсь в литературе с людьми неблагонамеренными, которые заразят меня своими вредными идеями. Да, это справедливо:

чтобы сохранить чистоту нравов и благонамеренность, я должен был поддерживать только связи с Н. И. Гречем и Ф. В. Булгариным. Теперь я вижу это ясно, но поздно...

Из находившихся в ту минуту в Петербурге литераторов я не был знаком только с Гоголем, который с первого своего шага стал почти впереди всех и потому обратил на себя всеобщее внимание. Мне очень захотелось взглянуть на автора «Старосветских помещиков» и «Тараса Бульбы», с которыми я носился и перечитывал всем моим знакомым, начиная с Кречетова.

Кречетова поразил или, вернее сказать, ошеломил «Бульба». Он во время моего чтения беспрестанно вскакивал с своего места и восклицал:

— Да это chef-d'oeuvre... это сила... это мощь... это... это... это...

— Ах, да не перебивайте, Василий Иваныч,— кричали ему другие слушатели...

Но Кречетов не выдерживал и перебивал чтение беспрестанно, засовывал свои пальцы в волосы, раздирал свои волоски с каким-то ожесточением.

Когда чтение кончилось, он схватил себя за голову и произнес:

— Это, батюшка, такое явление, это, это, это... сам старик Вальтер-Скотт подписал бы охотно под этим Бульбою свое имя... У-у-у! это уж талант из ряду вон... Какая полновесность, сочность в каждом слове... Этот Гоголь... да это черт знает что такое — так и брызжет умом и талантом...

Кречетов долго после этого чтения не мог успокоиться.

Случай скоро представился мне увидеть Гоголя. Через А. А. Комарова я познакомился с Прокоповичем, учителем словесности в кадетских корпусах, стихотворцем, большим чудаком и, главное, добрейшим человеком. Прокопович в один год с Гоголем кончил курс в Нежинском лицее. Приятель с ним еще со школьной скамьи, Прокопович, горячо любивший литературу, после первых произведений Гоголя присоединил к своей школьной дружбе еще благоговейную привязанность к нему как к писателю. Гоголь, по-видимому, был очень близок с ним: во время своего пре-

бывания в Малороссии или за границей он всегда делал Прокоповичу различные поручения и, возвращаясь в Петербург, останавливался у него.

Прокопович, узнав через А. А. Комарова мое желание посмотреть на Гоголя, пригласил меня в тот день, когда Гоголь обещал у него обедать.

Наружность Гоголя не произвела на меня приятного впечатления. С первого взгляда на него меня всего более поразил его нос, сухощавый, длинный и острый, как клюв хищной птицы. Он был одет с претензиею на щегольство, волосы завиты и кок напереди поднят довольно высоко, в форме букли, как носили тогда. Вглядываясь в него, я все разочаровывался более и более, потому что заранее составил себе идеал автора «Миргорода», и Гоголь нисколько не подходил к этому идеалу. Мне даже не понравились глаза его — небольшие, проницательные и умные, но как-то хитро и неприветливо смотревшие. Он занят был перед обедом приготовлением макарон по-итальянски (это было уже после второй поездки его за границу) и беспрестанно выходил на кухню смотреть за их приготовлением. За обедом он говорил мало и ел много. Разговор его не был интересен, он касался самых обыкновенных и вседневных вещей; о литературе почти не было речи, только, не помню к чему, он заметил, что, по его мнению, первый поэт после Пушкина — Языков и что он не только не уступает самому Пушкину, но даже превосходит его иногда по силе, громкости и звучности стиха [119]. Меня еще неприятно поразило то, что в обращении двух друзей и товарищей не было простоты: сквозь любовь Прокоповича к Гоголю невольно проглядывало то подобострастие, которое обнаруживают друзья низшие к друзьям высшего ранга; Гоголь, в свою очередь, посматривал на Прокоповича тоже как будто немножко свысока. Тотчас после обеда мы все разошлись, и когда я уходил, Прокопович заметил мне, что Гоголь сегодня был не в духе [120].

Я слышал, что Гоголь в духе рассказывал различные анекдоты с необыкновенным мастерством и юмором; но после издания «Миргорода» и громадного успеха этой книги он принимал уже тон более серьезный и строгий и редко бывал в хорошем расположении... Иногда только он обнаруживал свой юмор перед людь-

ми высшего общества, с которыми начал сближаться. До этого и обращение его с Прокоповичем было гораздо проще и искреннее, так, по крайней мере, уверяют те, которые были знакомы с ним с самого приезда его в Петербург...

Говоря о литераторах и литературных вечерах, я забыл сказать об А. П. Башуцком. Деятельность Башуцкого была изумительна: он занимался службой, литературой, составлял различные промышленные проекты — и в то же время выезжал в свет и был один из самых плодовитых и красноречивых собеседников. Он затевал все в роскошных широких размерах, рассчитывал на десятки и сотни тысяч, но его литературные и другие затеи никогда почти не удавались и не приносили ему ничего, кроме убытка. Он издал «Панораму Петербурга», заказал гравюры для этого издания в Лондоне, но корабль с его гравюрами погиб в море; он начал издавать газету «Общеполезных сведений», но от этих сведений подписчики не только не получили никакой пользы, но потерпели убыток, потому что она прекратилась на первых нумерах [121].

Аккуратность Башуцкого и внешний порядок в его кабинете были изумительные: картоны и ящики с различными надписями, письменный стол с бесчисленными кипами бумаг под красивыми пресс-папье... и все это так изящно и так мастерски разложено и расставлено. В комнатах его каждая самая незначительная вещица постановлена была так, что производила эффект. Сам хозяин всегда был одет с удивительною тщательностию; ни на галстуке, ни на манишке ни малейшей складочки, точно как будто на нем было все подклеено; парик прекрасно расчесан и распомажен; говорил Башуцкий с большим искусством; плавный разговор его так и лился и журчал; в разговоре его можно было слышать — где запятая, где тире, где точка с запятой и т. д. У него было пять-шесть рассказов и в числе их знаменитый рассказ о смерти Милорадовича, при котором он был адъютантом 14 декабря. Этот рассказ он при мне повторял раз десять, не изменяя в нем ни иоты, и всегда производил им величайший эффект на тех, которые имели удовольствие первый раз слушать его. Когда Башуцкий развивал свои проекты разных коммерческих предприятий (а они рож-

дались у него чуть не ежедневно), его слушатели, пораженные его красноречием, готовы были отдать на эти предприятия последний грош. Так убедителен и заманчив казался оратор. Для начатия самых исполинских предприятий, по мнению Башуцкого, требовались самые ничтожные суммы. Положив, например, тысяч пять на предприятие Башуцкого, вы могли, по его словам, в несколько лет сделаться миллионером. Все это было так ясно, так просто, как дважды два четыре. Глядя на самого Башуцкого и на его обстановку и слушая его речи, можно было принять его за человека самого положительного, самого практического, а между тем трудно было найти человека, более увлекавшегося. Это фантазер, облекавший свои фантазии в щегольские фразы, которыми он сначала только любуется, не веря им, но которыми потом сам увлекается до такой степени, что принимает их серьезно. Это не утопист, а просто балансер, балансировавший не над пучиною морскою, а над грязной и мелкой лужей, в которой никак нельзя утопиться, но, упавши, можно очень больно ушибиться и загрязниться...

К Башуцкому сходились по пятницам. Общество на этих пятницах было немногочисленное и притом случайное... На них появлялись, впрочем, изредка и знаменитости — Кукольник и Каратыгин. Одним из постоянных посетителей пятниц Башуцкого был Владимир Строев, который известен в литературе тем, что Воейков удостоил его почему-то поместить в свой «Сумасшедший дом» вместе с литературными знаменитостями, назвав его *левым глазом Греча с бельмом.* На этих пятницах можно было без удивления встретить вместе кого угодно: Краевского и Греча, Булгарина и Воейкова, Сенковского и Белинского... Башуцкий был эклектик. У него появлялся даже и Кречетов, очень любивший его и в особенности его ужины с *доброю бутылкою мадеры.*

О литературной деятельности Башуцкого, которая развернулась в начале сороковых годов, о его изданиях, романах, о знакомстве с Белинским — обо всем этом я буду говорить в свое время...[122]

Теперь я приступаю к очень любопытному времени в нашей литературе — к покупке г. Краевским знаменитых «Отечественных записок» Свиньина.

Успех «Библиотеки для чтения» не мог не подействовать на редактора «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду». Пять тысяч подписчиков *— какая приятная цифра! О роскоши, с которою жил редактор «Библиотеки», носились тогда преувеличенные, чуть не баснословные слухи... Литераторы с завистливым удивлением рассказывали о великолепном кабинете Сенковского, о его лестнице, установленной цветами и тропическими растениями... и всем этим остроумный профессор восточных языков, пожаловавший сам себя в бароны [123], был обязан — *журналу*. Следовательно, большой журнал — хорошее коммерческое предприятие. Чему была обязана своим успехом «Библиотека для чтения»? — громкому объявлению с бесчисленными именами. Ну, что ж, разве нельзя пустить такое же объявление и набрать имен еще более? Толщина книжек «Библиотеки» также немало способствовала ее успеху. И это дело немудреное... можно пустить книжки еще потолще. Многие приписывали успех «Библиотеки» талантливому балагурству, остроумию и беззастенчивости ее редактора, являвшегося под различными псевдонимами. Прекрасно. Допустим и это, но к шуточкам и балагурству Сенковского начинали уже охладевать: ученые и литераторы становились в враждебное положение к редактору «Библиотеки» за его восточное самоуправство с их сочинениями, следовательно новый журнальный орган должен быть принят ими благосклонно. Но для начатия журнала необходимы деньги — затруднение было только в этом, потому что Свиньин, будучи в это время в стесненном положении, очень охотно уступал свой журнал, который терял подписчиков с каждым годом [124].

Г. Краевский, получивший уже некоторую известность как редактор «Литературных прибавлений к Инвалиду», вступил с Свиньиным в переговоры в половине 1838 года и между тем составил нечто вроде небольшого акционерного общества из нескольких своих приятелей и приятелей этих приятелей. К числу вкладчиков, сколько я помню, принадлежали следующие лица: князь В. Ф. Одоевский, А. В. Всеволожский,

* Известно, что «Библиотека для чтения» в первый год существования своего имела *пять* тысяч подписчиков — цифра, до которой не достигал ни один из русских журналов того времени.

Н. П. Мундт и Владиславлев. Все они обязались внести, кажется, по 3000 рублей ассигнациями — и я также... Я, впрочем, не внес денег,— г. Краевский и не требовал их с меня, потому, вероятно, что нашел достаточною для начала сумму, внесенную другими. Таким образом, «Отечественные записки» начались с весьма незначительным капиталом.

— Кто же у вас будет заниматься критическим отделом?—спросил я однажды у г. Краевского,— ведь критический отдел в журнале — самая важная вещь.

— Я еще не знаю,— отвечал г. Краевский и прибавил глухо, но с свойственным ему глубокомыслием,— у меня есть один человек на примете...

Разговор этот происходил в доме Брянского.

— Да вот вам человек для этого — Белинский,— продолжал я,— чего же лучше? Если б он решился только переселиться в Петербург, это было бы отлично.

— Покорно вас благодарю,— сказал г. Краевский резко и сухо,— я не имею никакого желания связываться с этим крикуном-мальчишкой...

Он видимо не желал продолжения этого разговора и завел речь с кем-то другим, отвернувшись от меня...[125]

Г. Краевский заключил условие с Свиньиным, обязавшись за право пользования его «Отечественными записками» платить ему ежегодно 5000 р. ассигн., а после смерти Свиньина — вдове его. Через год, кажется, Свиньин умер. Г. Краевский вошел с просьбою к министру народного просвещения о передаче ему права издания и утверждении его редактором. На всеподданнейшее представление об этом министра последовало высочайшее соизволение, на основании которого г. Краевский прекратил выдачу вдове Свиньиной. В условии между Свиньиным и г. Краевским сказано было, что в случае каких-либо недоразумений или неисполнения условия со стороны Краевского он, Свиньин, и его наследники прибегают к посредству третейского суда. Третейский суд, с общего согласия договаривающихся, состоял из Л. В. Дубельта, В. И. Панаева и П. А. Плетнева. Вдова Свиньина при-

бегла к ним; судьи обратились к г. Краевскому. Г. Краевский отвечал, что так как право на издание «Отечественных записок» высочайше утверждено за ним, то вследствие этого условие его с покойным Свиньиным уничтожилось само собою и вдова его не должна уже иметь никаких претензий на него, Краевского. Тогда третейский суд прибегнул к великодушию г. Краевского и хотел смягчить его сердце бедственным положением вдовы Свиньиной. Успел ли он в этом — я не знаю...[126]

Объявление об издании «Отечественных записок» под новою редакциею было не без эффекта. Для этого объявления набрано было чуть ли не до ста имен различных петербургских и московских ученых и литераторов...

Какое же знамя поднял г. Краевский? Представителем какого направления выступал возобновленный журнал?

Редактор сам ясно не сознавал этого; неопровержимые доказательства этого обнаружатся впоследствии, когда я буду говорить о г. Краевском как о редакторе «Отечественных записок».

Г. Краевский начал свое коммерческое предприятие на *авось*, как большая часть русских людей начинают свои предприятия.

Впоследствии он утверждал (в объявлениях об «Отечественных записках»), что цель журнала его — истина в науке, истина в искусстве, истина в жизни... Это прекрасно, но очень неопределенно.

Как бы то ни было... г. Краевский не спал ночи и проводил их за корректурой в типографии перед выходом первой книжки. Об ней уже ходили заранее различные — доброжелательные и враждебные — слухи. Я ожидал ее с нетерпением, потому что для этой книжки и я скропал статейку о французской литературе...[127]

1 января 1839 г. книжка явилась. Это была, впрочем, не книжка, а книжища, вдвое — если не более — толще «Библиотеки для чтения».

Все любители литературы с любопытством бросились смотреть на нее — и вот:

Громада двинулась и рассекает волны...[128]

ГЛАВА VIII

Начало «Отечественных записок».— Граф Соллогуб и «История двух калош».— Лермонтов и его отношения к г. Краевскому.— Стихотворение Лермонтова: «Есть речи...».— Впечатление, произведенное на Лермонтова появлением его «Казначейши» в «Современнике» Плетнева.— Лермонтов после дуэли с Барантом.— Белинский в Ордонанс-гаузе у Лермонтова.— Ошибка г. Дудышкина.— Несколько слов о характере Лермонтова.— Приезд в Петербург Межевича и прием, сделанный ему г. Краевским.— Очерк Межевича.— Состояние литературы в конце тридцатых годов.— Отъезд мой в Москву.— Заключительное слово.

Первая книжка «Отечественных записок» произвела сильный эффект. «Отечественные записки» разделялись на 8 отделов: 1) Современная хроника России. 2) Науки (статьи сборные). 3) Изящная словесность. 4) Художества (этим отделом заведовал зять графа Ф. П. Толстого Каменский). 5) Домоводство, сельское хозяйство и промышленность вообще. 6) Критика. 7) Современная библиографическая хроника и 8) Смесь.

Статья критическая о «Фаусте» по поводу перевода Губера в № 1 «Отечественных записок» принадлежит И. К. Гебгардту. Следовавшие книжки нового журнала обратили также общее внимание.

«Отечественные записки» подняли шум в литературных кружках. И немудрено. В этих книжках явились: Лермонтов с своею «Бэлою» и несколькими стихотворениями, Кольцов с своими «Песнями», граф Соллогуб с своими «Калошами» [129], князь Одоевский с «Княжною Зизи» и так далее.

«Отечественные записки» возобновились кстати. «Библиотека для чтения» начинала уже прискучивать публике повторением своих острот и шуточек: она оскорбляла многих своим глумлением над литературою; ее критический авторитет поколебался после возвеличения Кукольника, Тимофеева и некоторых других, после неблагосклонных отзывов о Гоголе и приятельского заигрыванья с Булгариным, после неприличных и неуместных выходок против передовых людей европейской науки... Бо́льшая часть известных русских литераторов начинала отзываться с неудовольствием о

деспотическом обращении редактора «Библиотеки» с их произведениями, которые появлялись в журнале Сенковского в совершенно изуродованном виде, с сокращениями, переделками или прибавлениями самого редактора, навязывавшего авторам такие воззрения и мысли, которые они не могли разделять... Шутка в «Библиотеке» переходила все границы. Это была уже *шутка для шутки,* желание смешить публику во что бы то ни стало и на чей бы счет ни было. Она посягала на все и на всех без разбора и изобличала в редакторе журнала полное отсутствие всяких серьезных убеждений, возбуждая уже не смех, а негодование...

Потребность нового журнала с направлением более дельным, который обнаруживал бы большее уважение к литераторам и публике, чувствовалась всеми — и в такую-то благоприятную минуту появился г. Краевский с своими «Отечественными записками».

Немудрено, что они встречены были симпатично и литераторами и публикою... Все замечательные литературные деятели охотно присоединились к ним. В возобновленных «Отечественных записках» допевали свои лебединые песни лучшие из наших беллетристов и блистательно начали свои дебюты молодые люди, только что выступавшие на литературное поприще.

Г. Краевский после смерти Пушкина добился-таки до того, что имя его появилось на обертке «Современника» рядом с именами друзей поэта — с Жуковским, Вяземским, Одоевским и Плетневым. Аристократическая литературная партия, прекратившая все сношения с Булгариным и Сенковским, протежировала г. Краевского и хотела сделать «Отечественные записки» своим органом [130]. Г. Краевский заискивал в то же время в московских ученых и литераторах, пользовавшихся авторитетом, просил их советов, сотрудничества и рассыпался перед ними в комплиментах. Он невольно возбуждал к себе участие в ученых и литераторах своею скромностию, аккуратностию и благонамеренностию. С благородным ожесточением он говорил о Булгарине, скорбел о падении Полевого, оскорблялся до глубины души шутовскими выходками Сенковского и твердил только о том, что необходим новый орган в журналистике, в котором бы сгруппиро-

вались все талантливые, серьезные, честные и благонамеренные ученые и литературные деятели. Он достиг этого. «Отечественные записки» были встречены приветливо всеми тогдашними литературными знаменитостями, московскими и петербургскими; вся талантливая молодежь с жаром принялась сотрудничать в них. Только Сенковский, Булгарин, Кукольник и их партия смотрели враждебно на новый журнал. Сенковский прикидывался, что он не знает даже о его существовании; Булгарин открыл свои походы против него, г. Краевского, придравшись к *доуендаге* (так было неудачно переведено в 1 № «Отечественных записок» слово doyen d'âge) [131]. Походы эти упорно продолжались около пятнадцати лет и возобновлялись с особенным ожесточением осенью, *при подписке,* нисколько, разумеется, не вредя «Отечественным запискам», потому что число подписчиков их возрастало с каждым годом.

Г. Краевский, довольный своим успехом, упрочивший свои связи со всеми литературными знаменитостями, гордый враждою к нему Булгарина и Сенковского, ставший во главе журнала, принявшего литературно-аристократический оттенок, был очень доволен собою. Это самодовольство выражалось в нем тою серьезностью и самостоятельностью, тем строгим ученым видом, который он принял на себя и которого уже не оставлял потом.

В это время Белинский и его молодые друзья, участвовавшие в «Телескопе» и «Молве», начали издавать «Московский наблюдатель»... Г. Краевский никак не предвидел, что этим молодым горячим людям суждено будет играть замечательную роль в истории русской литературы, что имя Белинского сделается историческим именем и что ему суждено будет поддержать и придать нравственную силу и значение «Отечественным запискам». Литературные авторитеты и знаменитости или не удостаивали замечать в то время Белинского, или отзывались о нем презрительно, как о вздорном и наглом крикуне, не имевшем ни foi, ни loi * и осмеливавшемся нападать на бессмертные имена, на неприкосновенные доселе авторитеты. Сближаться с

* Ни убеждений, ни совести.— *Ред.*

Белинским — значило компрометировать себя во мнении авторитетов, перед которыми усердно преклонялся г. Краевский... Но не из боязни компрометировать себя перед ними, а совершенно искренне и добродушно он презирал Белинского и его молодых друзей и клеймил их именем *мальчишек-крикунов,* считая неприличным для собственного достоинства связываться с ними.

Он сознавал, что для журнала необходим критик, что без дельной критики журнал не может существовать, что время литературных сборников прошло... Но откуда же взять критика? Эта мысль озабочивала его сильно. Он отверг мое предложение о Белинском; выбор его уже был сделан, он только хранил его в тайне.

Критический дебют «Отечественных записок» был неудачен; впрочем, статья под заглавием: «Русская литература в 1838 году» — плохая компиляция, без всякого взгляда, наполненная общими местами — скрылась за прекрасными стихотворениями и повестями, в особенности за «Историей двух калош» графа Соллогуба, которая и литературой и публикой принята была с восторгом. Имя Соллогуба, дебютировавшего в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» рассказом «Сережа», после «Истории двух калош» стало пользоваться громкою известностию и не в одних аристократических салонах, где читал ее автор... Повесть эта возбудила большую симпатию к автору во всех классах читающей публики и во всех литературных кружках. Белинский был от нее в восторге.— «Соллогуб своими «Калошами» растрогал меня до слез»,— говорил он мне впоследствии.

Ободренный блистательным успехом, Соллогуб с жаром принялся писать новую повесть и стал изредка появляться между литераторами, но он чувствовал себя не совсем ловко в этом новом для него обществе. Он разыгрывал между ними великосветского человека и как бы несколько жениговался званием литератора.

Я замечаю это не в упрек графу Соллогубу. Это был недостаток общий всем тогдашним литераторам-аристократам, за исключением, как я уже говорил, Одоевского. Граф Соллогуб имел сначала непреодолимую наклонность к литературе, но серьезному разви-

тию этой наклонности мешали его великосветские взгляды и привычки, и он потом уже занимался ею слегка, как дилетант...

Появление всякого нового замечательного таланта в русской литературе было праздником для Соллогуба. В Соллогубе не было ни малейшей тени той литературной зависти или того неприятного ощущения при чужом успехе, которые, к сожалению, нередко встречаются в очень талантливых артистах и литераторах... Он был увлечен «Бедными людьми» Достоевского и приставал ко всем нам: — «Да кто такой этот Достоевский? Бога ради покажите его, познакомьте меня с ним!» Он ходил, как помешанный, на другой день после прочтения комедии Островского «Свои люди — сочтемся», прокричал об этой комедии во всех салонах и устроил у себя вечер для чтения ее; но об этом вечере и вообще о литературных вечерах Соллогуба я буду говорить подробно во 2-й части моих «Воспоминаний»[132].

Наклонность к так называемой великосветскости, которой были подвержены некоторые литературные деятели 20-х, 30-х и 40-х годов, действовала на них и на их произведения весьма неблаготворно. Этой наклонности были подвержены даже такие могучие таланты, как Пушкин и Лермонтов.

Лермонтов хотел слыть во что бы то ни стало и прежде всего за светского человека и оскорблялся точно так же, как Пушкин, если кто-нибудь рассматривал его как литератора. Несмотря на сознание, что причиною гибели Пушкина была, между прочим, наклонность его к великосветскости (сознание это ясно выражено Лермонтовым в его заключительных стихах «На смерть Пушкина»), несмотря на то, что Лермонтову хотелось иногда бросать в светских людей *железный стих,*

Облитый горечью и злостью...— [133]

он никак не мог отрешиться от светских предрассудков, и высший свет действовал на него обаятельно.

Лермонтов сделался известен публике своим стихотворением «На смерть Пушкина»; но еще и до этого, когда он был в юнкерской школе, носились слухи об

его замечательном поэтическом таланте — и его поэма «Демон» ходила уже по рукам в рукописи.

Литературная критика обратила на него внимание после появления его повести о купце Калашникове в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду», издававшихся под редакциею г. Краевского[134].

Я в первый раз увидел Лермонтова на вечерах князя Одоевского.

Наружность Лермонтова была очень замечательна.

Он был небольшого роста, плотного сложения, имел большую голову, крупные черты лица, широкий и большой лоб, глубокие, умные и пронзительные черные глаза, невольно приводившие в смущение того, на кого он смотрел долго. Лермонтов знал силу своих глаз и любил смущать и мучить людей робких и нервических своим долгим и пронзительным взглядом. Однажды он встретил у г. Краевского моего приятеля М. А. Языкова... Языков сидел против Лермонтова. Они не были знакомы друг с другом. Лермонтов несколько минут не спускал с него глаз, Языков почувствовал сильное нервное раздражение и вышел в другую комнату, не будучи в состоянии вынести этого взгляда. Он и до сих пор не забыл его.

Я много слышал о Лермонтове от его школьных и полковых товарищей. По их словам, он был любим очень немногими, только теми, с которыми был близок, но и с близкими людьми он не был сообщителен. У него была страсть отыскивать в каждом своем знакомом какую-нибудь комическую сторону, какую-нибудь слабость, и, отыскав ее, он упорно и постоянно преследовал такого человека, подтрунивал над ним и выводил его наконец из терпения. Когда он достигал этого, он был очень доволен.

— Странно, — говорил мне один из его товарищей,— в сущности он был, если хотите, добрый малый: покутить, повеселиться — во всем этом он не отставал от товарищей; но у него не было ни малейшего добродушия, и ему непременно нужна была жертва,— без этого он не мог быть покоен,—и, выбрав ее, он уж беспощадно преследовал ее. Он непременно должен был кончить так трагически: не Мартынов, так кто-нибудь другой убил бы его.

Лермонтов по своим связям и знакомствам принадлежал к высшему обществу и был знаком только с литераторами, принадлежавшими к этому свету, с литературными авторитетами и знаменитостями. Я в первый раз увидел его у Одоевского и потом довольно часто встречался с ним у г. Краевского. Где и как он сошелся с г. Краевским, этого я не знаю; но он был с ним довольно короток и даже говорил ему *ты* [135].

Лермонтов обыкновенно заезжал к г. Краевскому по утрам (это было в первые годы «Отечественных записок», в 40 и 41 годах) и привозил ему свои новые стихотворения. Входя с шумом в его кабинет, заставленный фантастическими столами, полками и полочками, на которых были аккуратно расставлены и разложены книги, журналы и газеты, Лермонтов подходил к столу, за которым сидел редактор, глубокомысленно погруженный в корректуры, в том алхимическом костюме, о котором я упоминал и покрой которого был снят им у Одоевского, — разбрасывал эти корректуры и бумаги по полу и производил страшную кутерьму на столе и в комнате. Однажды он даже опрокинул ученого редактора со стула и заставил его барахтаться на полу в корректурах. Г. Краевскому, при его всегдашней солидности, при его наклонности к порядку и аккуратности, такие шуточки и школьничьи выходки не должны были нравиться; но он поневоле переносил это от великого таланта, с которым был на *ты,* и, полуморщась, полуулыбаясь, говорил:

— Ну, полно, полно... перестань, братец, перестань, Экой школьник...

Г. Краевский походил в такие минуты на гетевского Вагнера, а Лермонтов на маленького бесенка, которого Мефистофель мог подсылать к Вагнеру нарочно для того, чтобы смущать его глубокомыслие.

Когда ученый приходил в себя, поправлял свои волосы и отряхал свои одежды, поэт пускался в рассказы о своих светских похождениях, прочитывал свои новые стихи и уезжал. Посещения его всегда были очень непродолжительны.

Заговорив о Лермонтове, я выскажу здесь кстати все, что помню об нем, и читатель, верно, простит меня за нарушение в рассказе моем хронологического порядка.

Раз утром Лермонтов приехал к г. Краевскому в то время, когда я был у него. Лермонтов привез ему свое стихотворение:

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно...

прочел его и спросил:

— Ну что, годится?..

— Еще бы! дивная вещь! — отвечал г. Краевский,— превосходно; но тут есть в одном стихе маленький грамматический промах, неправильность...

— Что такое? — спросил с беспокойством Лермонтов.

— Из *пламя* и света
Рожденное слово...

Это неправильно, не так, — возразил г. Краевский,— по-настоящему, по грамматике надо сказать из *пламени* и света...

— Да если этот пламень не укладывается в стих? Это вздор, ничего, — ведь поэты позволяют себе разные поэтические вольности — и у Пушкина их много... Однако... (Лермонтов на минуту задумался)... дай-ка я попробую переделать этот стих.

Он взял листок со стихами, подошел к высокому фантастическому столу с выемкой, обмакнул перо и задумался...

Так прошло минут пять. Мы молчали.

Наконец Лермонтов бросил с досадой перо и сказал:

— Нет, ничего нейдет в голову. Печатай так, как есть. Сойдет с рук...

В другой раз я застал Лермонтова у г. Краевского в сильном волнении. Он был взбешен за напечатание без его спроса «Казначейши» в «Современнике», издававшемся Плетневым. Он держал тоненькую розовую книжечку «Современника» в руке и покушался было разодрать ее, но г. Краевский не допустил его до этого.

— Это черт знает что такое! позволительно ли делать такие вещи! — говорил Лермонтов, размахивая книжечкою...— Это ни на что не похоже!

Он подсел к столу, взял толстый красный карандаш и на обертке «Современника», где была напечатана его «Казначейша», набросал какую-то карикатуру.

Вероятно, этот нумер «Современника» сохраняется у г. Краевского в воспоминание о поэте [136].

Я также встретился у г. Краевского с Лермонтовым в день его дуэли с сыном г. Баранта, находившимся тогда при французском посольстве в Петербурге... [137]. Лермонтов приехал после дуэли прямо к г. Краевскому и показывал нам свою царапину на руке. Они дрались на шпагах. Лермонтов в это утро был необыкновенно весел и разговорчив. Если я не ошибаюсь, тут был и Белинский.

Белинский часто встречался у г. Краевского с Лермонтовым [138]. Белинский пробовал было не раз заводить с ним серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило. Лермонтов всякий раз отделывался шуткой или просто прерывал его, а Белинский приходил в смущение.

— Сомневаться в том, что Лермонтов умен, — говорил Белинский,—было бы довольно странно; но я ни разу не слыхал от него ни одного дельного и умного слова. Он, кажется, нарочно щеголяет светскою пустотою.

И действительно, Лермонтов как будто щеголял ею, желая еще примешивать к ней иногда что-то сатанинское и байроническое: пронзительные взгляды, ядовитые шуточки и улыбочки, страсть показать презрение к жизни, а иногда даже и задор бретера. Нет никакого сомнения, что если он не изобразил в Печорине самого себя, то по крайней мере — идеал, сильно тревоживший его в то время и на который он очень желал походить.

Когда он сидел в Ордонанс-гаузе после дуэли с Барантом, Белинский навестил его; он провел с ним часа четыре глаз на глаз и от него прямо пришел ко мне.

Я взглянул на Белинского и тотчас увидел, что он в необыкновенно приятном настроении духа. Белинский, как я замечал уже, не мог скрывать своих ощущений и впечатлений и никогда не драпировался. В этом отношении он был совершенный контраст Лермонтову.

— Знаете ли, откуда я? — спросил Белинский.

— Откуда?

— Я был в Ордонанс-гаузе у Лермонтова и попал очень удачно. У него никого не было. Ну, батюшка, в первый раз я видел этого человека настоящим человеком!!. Вы знаете мою светскость и ловкость: я взошел к нему и сконфузился, по обыкновению. Думаю себе: ну, зачем меня принесла к нему нелегкая? Мы едва знакомы, общих интересов у нас никаких, я буду его женировать, он меня... Что еще связывает нас немного — так это любовь к искусству, но он не поддается на серьезные разговоры... Я, признаюсь, досадовал на себя и решился пробыть у него не больше четверти часа. Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе и Вальтер-Скотте... «Я не люблю Вальтер-Скотта, — сказал мне Лермонтов, — в нем мало поэзии. Он сух», — и начал развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. Я смотрел на него — и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собою... В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть. Он перешел от Вальтер-Скотта к Куперу и говорил о Купере с жаром, доказывал, что в нем несравненно более поэзии, чем в Вальтер-Скотте, и доказывал это с тонкостию, с умом — и что удивило меня — даже с увлечением. Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Недаром же меня так тянуло к нему. Мне наконец удалось-таки его видеть в настоящем свете. А ведь чудак! Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хотя на минуту быть самим собою, — я уверен в этом... [139].

В материалах для биографии, во 2-й части сочинений Лермонтова, г. Дудышкин говорит:

«В 1840 году, когда Лермонтов сидел уже под арестом за дуэль, он познакомился с Белинским. Белинский навестил его, и с тех пор *дружеские отношения их не прерывались*».

Это несправедливо. Белинский после возвращения Лермонтова с Кавказа, зимою 1841 года, несколько раз виделся с ним у г. Краевского и у Одоевского, но между ними не только не было никаких дружеских

отношений, а и серьезный разговор уже не возобновлялся более...

Странные и забавные отзывы слышатся до сих пор о Лермонтове. «Что касается его таланта, — рассуждают так, — об этом и говорить нечего, но он был пустой человек, и притом недоброго сердца».

И вслед за тем приводятся обыкновенно доказательства этого — различные анекдоты о нем во время пребывания его в юнкерской школе и гусарском полку.

Как же соединить эти два понятия о Лермонтове-человеке и о Лермонтове-писателе?

Как писатель он поражает прежде всего умом смелым, тонким и пытливым: его миросозерцание уже гораздо шире и глубже Пушкина — в этом почти все согласны. Он дал нам такие произведения, которые обнаруживали в нем громадные задатки для будущего. Он не мог обмануть надежд, возбужденных им, и если бы не смерть, так рано прекратившая его деятельность, он, может быть, занял бы первое место в истории русской литературы... Отчего же большинству своих знакомых он казался пустым и чуть не дюжинным человеком, да еще с злым сердцем? С первого раза это кажется странным.

Но это большинство его знакомых состояло или из людей светских, смотрящих на все с легкомысленной, узкой и поверхностной точки зрения, или из тех мелкоплавающих мудрецов-моралистов, которые схватывают только одни внешние явления и по этим внешним явлениям и поступкам произносят о человеке решительные и окончательные приговоры.

Лермонтов был неизмеримо выше среды, окружавшей его, и не мог серьезно относиться к такого рода людям. Ему, кажется, были особенно досадны последние — эти тупые мудрецы, важничающие своею дельностию и рассудочностию и не видящие далее своего носа. Есть какое-то наслаждение (это очень понятно) казаться самым пустым человеком, даже мальчишкой и школьником перед такими господами. И для Лермонтова это было, кажется, действительным наслаждением. Он не отыскивал людей равных себе по уму и по мысли вне своего круга. Натура его была слишком горда для этого, он был весь глубоко сосредоточен в самом себе и не нуждался в посторонней опоре.

Конечно, отчасти предрассудки среды, в которой Лермонтов взрос и воспитывался, отчасти увлечения молодости и истекавшее отсюда его желание эффектно драпироваться в байроновский плащ неприятно действовали на многих действительно серьезных людей и придавали Лермонтову неприятный, неестественный колорит. Но можно ли строго судить за это Лермонтова?.. Он умер еще так молод. Смерть прекратила его деятельность в то время, когда в нем совершалась сильная внутренняя борьба с самим собою, из которой он, вероятно, вышел бы победителем и вынес бы простоту в обращении с людьми, твердые и прочные убеждения...

Появление Лермонтова в первых книжках «Отечественных записок», без сомнения, много способствовало успеху журнала; но без критики, как бы ни был блистателен его беллетристический отдел, журнал не мог идти. Г. Краевский тайно принимал меры, как я сказал, обеспечить себя относительно этого предмета.

В начале 1839 года я, по некоторым обстоятельствам, прожил у г. Краевского несколько дней... Раз утром, это было, если не ошибаюсь, в конце февраля месяца, в квартире г. Краевского послышался сильный звонок... Г. Краевский вышел в залу, чтобы посмотреть, кто звонит. Он заглянул в переднюю, вдруг бросился туда и в одно мгновение очутился в объятиях человека, только что освободившегося от шубы, с радостным криком:

— Василий Степаныч! Любезнейший Василий Степаныч — наконец-то!

Это был Межевич, давно ожидаемый критик, выписанный г. Краевским из Москвы... Межевич был старый московский знакомый г. Краевского. Он был, кажется, учителем в том пансионе, который содержала мать г. Краевского. Межевич печатал в «Телескопе» какие-то статейки по части теории словесности, очень нравившиеся многим. Г. Краевский, вероятно, заключил по этим статейкам, что Межевич должен иметь критическое дарование.

Они вошли в залу рука об руку.

Г. Краевский представил нас друг другу.

Межевич был небольшого роста, белокур, с незначительными чертами, с мутными подслеповатыми гла-

зами и в очках, которые он поправлял беспрестанно. В манерах его было что-то нерешительное и даже робкое, говорил он не совсем складно о самых обыкновенных предметах. В его движениях, словах, взглядах была такая неуверенность в самом себе, которая даже возбуждала сострадание. Межевич имел сердце мягкое, расплывавшееся, характер совершенно слабый и мелкий. Он чувствовал боязнь к уму, к убеждениям, ко всякой моральной силе и впоследствии почти тайком ускользнул из редакции «Отечественных записок», сошелся с Булгариным, начал писать статейки в «Пчелу», вдался в мелкую литературу и стал во главе ее в «Репертуаре» и, наконец, добился редакторства «Полицейских ведомостей»... В этом последнем приюте он нравственно упадал с каждым днем, сдружился с каким-то г. Смирновским, сочинявшим безграмотные статьи лакейским слогом, и дошел до гимнов кондитеру Излеру, который открыл увеселительное заведение на «Минеральных водах»...[140].

Вот каков был выбор г. Краевского, вот кому вверял он критический отдел своего журнала, вот кого предпочел он Белинскому!

Я был свидетелем приготовления Межевича к критическим дебютам в «Отечественных записках».

Мы писали с ним в одной комнате на квартире г. Краевского: он — разбор какой-то книжки, я — конец повести «Дочь чиновного человека» для 4 № «Отечественных записок».

Межевичу, кажется, нелегко доставались его критические статейки: он морщился, грыз перо, поправлял очки, прохаживался в размышлении по комнате, тер себе лоб, выжимал после этого из себя несколько строчек и снова начинал мучиться.

На процедуру его писания было смотреть тяжело.

Надежды, возложенные г. Краевским на Межевича, должны были рухнуть очень скоро. Но я не буду забегать вперед...

Петербургская литература и журналистика, как я замечал уже, по мере моего сближения с нею, теряла для меня ту прелесть, в которой представлялась мне некогда издалека. Я видел, толкаясь за литературными кулисами, какие мелкие человеческие страстишки — самолюбие, корыстолюбие, зависть — двигали

теми, которых я некогда считал за полубогов... Статьи Белинского в «Телескопе», в «Молве», повести Гоголя в его «Миргороде», стихотворения Лермонтова начинали несколько расширять мой горизонт, они повеяли на меня новою жизнию, заставляли биться сердце предчувствием чего-то лучшего. Статьи Белинского начинали окончательно колебать мою тупую веру в литературные авторитеты и мой раболепный страх перед ними. Я уже иногда задумывался над такими явлениями, которые прежде не возбуждали во мне ни малейшей думы; начинал пристальнее вглядываться в лица и в окружавшую меня действительность; сомнение несколько начинало тревожить меня, и мне уже как-то не хотелось принимать на веру и безусловно разные жизненные факты, которым я привык подчиняться с детства, вследствие домашней и школьной рутины. Но все эти признаки пробуждающегося сознания еще проявлялись во мне очень бледно и слабо...

Мысль, что искусство должно служить самому себе, что оно составляет отдельный, независимый свой мир, что чем художник безучастнее в своих произведениях или чем он объективнее, как выражались тогда, тем выше — эта мысль была самою рельефною и господствующею в литературе тридцатых годов. Пушкин развивал ее в своих звучных, гармонических стихах и довел ее до вопиющего эгоизма в своем стихотворении «Поэт и чернь», которое все мы декламировали с восторгом и считали чуть ли не лучшим из его лирических стихотворений. Все замечательные литературные деятели тогдашнего времени вслед за Пушкиным и кипевшая около них молодежь были ревностными, горячими защитниками искусства для искусства.

В последние годы жизни Пушкина, и еще резче после его смерти, Кукольник, принадлежавший также к поклонникам этой теории, проповедовал, как мы видели, еще о том, что истинное искусство не должно обращать внимания на обыденную, современную, пошлую жизнь, что оно должно парить высоко и изображать только героические, исторические и артистические личности. Отсюда эти длинные и скучнейшие драмы с художниками, холодные внутри, как лед, но с клокочущими на поверхности страстями, огромных размеров картины с эффектными освещениями,—

и чем длиннее и скучнее была драма, чем больше холст, на котором была написана картина, тем более удивлялись поэту или художнику. Любимыми темами не только для драм, но и для повестей сделались артисты. Кукольник в своих пятиактных драмах, Полевой в своих многотомных романах представляли различных артистов и художников в апофеозе. Кукольник, кроме того, еще пустил в ход патриотические драмы с трескучими фразами, в которых немцев выбрасывали из окон при диких криках и рукоплесканиях райка [141], и развивал этими произведениями нелепую самоуверенность, которая впоследствии стоила нам так дорого, что русские могут весь мир закидать одними шапками. Полевой соперничал с ним в таком патриотизме и еще придавал ему пошлый, сантиментальный колорит. Оба они наперерыв друг у друга пожинали сценические лавры... Все это было, однако, до такой степени лицемерно и фальшиво, что не могло долго держаться...

Петербургская журналистика представляла также не совсем привлекательное зрелище. Полевой являлся уже совершенно бесцветным и выдохшимся в «Сыне отечества», с появлением каждого нумера теряя свой нравственный кредит. О Сенковском я говорил. О Булгарине и других журналистах говорить нечего. Второстепенные петербургские литераторы писали только так, по рутине и для своего удовольствия, подражая первостепенным и не заботясь ни о каких вопросах и теориях, даже о теории искусства для искусства.

Тоска и апатия невольно овладевала в такой среде... Ни живого слова, ни живого звука при литературных сходках: или одни и те же фразы об искусстве, которые всем прискучили и повторялись уже вяло, или литературные сплетни, выводившие литераторов из апатии и оживлявшие их на минуту.

Даже имя Пушкина уже не так электризовало меня, как прежде. Его *русские сказки* и *Анджело* неприятно подействовали на всех его многочисленных и восторженных поклонников; его «Современник» был довольно холодно принят и в литературе и в публике *.

---

* Одна только статья Гоголя в 1 № «Современника»: «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» наделала большого шуму в литературе и произвела очень благоприятное впечатление на публику [142].

Большинство говорило, что поэту не следовало пускаться в журналистику, что это не его дело. Начинали поговаривать, но еще робко, что Пушкин стареет, останавливается, что его принципы и воззрения обнаруживают недоброжелательство к новому движению, к новым идеям, которые проникали к нам из Европы, медленно, но все-таки проникали, возбуждая горячее сочувствие в молодом поколении... И несмотря на то, что в художественном отношении Пушкин достигал совершенства с каждым новым своим произведением, молодое поколение начинало заметно охлаждаться к поэту, и только неожиданная и трагическая смерть его возвратила ему общее горячее сочувствие...

. . . .

В обществе неопределенно и смутно уже чувствовалась потребность нового слова, и обнаруживалось желание, чтобы литература снизошла с своих художественных изолированных высот к действительной жизни и приняла бы хоть какое-нибудь участие в общественных интересах. Художники и герои с реторическими фразами всем страшно прискучили. Нам хотелось видеть человека, а в особенности *русского человека.* И в эту минуту вдруг является Гоголь, огромный талант которого первый угадывает Пушкин своим художественным чутьем и которого уже совсем не понимает Полевой, на которого еще все смотрели в то время как на передового человека.

«Ревизор» Гоголя имел успех колоссальный, но в первые минуты этого успеха никто даже из самых жарких поклонников Гоголя не понимал вполне значения этого произведения и не предчувствовал, какой огромный переворот должен совершить автор этой комедии. Кукольник после представления «Ревизора» только иронически ухмылялся и, не отрицая таланта в Гоголе, замечал: «а все-таки это фарс, недостойный искусства».

Вслед за Гоголем появляется Лермонтов. Белинский своими резкими и смелыми критическими статьями приводит в негодование литературных аристократов и всех отсталых и отживающих литераторов и возбуждает горячую симпатию в новом поколении.

Новый, свежий дух уже веет в литературе...

Кольцов, как я говорил, возбудил во мне непреодолимое желание познакомиться с Белинским, с которым я уже был в переписке, и с его друзьями.

Случай к этому скоро представился... По некоторым домашним обстоятельствам я должен был уехать на время из Петербурга...

Я написал письмо к Белинскому, что скоро надеюсь его видеть... и с трепетным наслаждением приготовлялся к минуте этого свидания...

Я выехал из Петербурга 9 апреля 1839 года...

В Москве, кроме Белинского, ожидало меня знакомство с Грановским, Аксаковым, Хомяковым, Кудрявцевым, Коршем (Е. Ф.), Катковым, Бакуниным, Боткиным (В. П.), Клюшниковым (печатавшим свои стихотворения под буквою θ в «Наблюдателе» Белинского и потом в «Отечественных записках»)... Я вступал в новую среду, не имевшую ничего общего с описанною мною... Этой среде я обязан всем. В ней начинала пробуждаться и развиваться моя мысль, в ней я получил сознание человеческого достоинства и приобрел те убеждения, которые осмыслили мою жизнь... Белинскому и его друзьям, кроме моего развития, я обязан самыми лучшими, самыми счастливыми минутами в моей жизни...

Но об них я буду говорить во второй части моих «Литературных воспоминаний»...

Я подхожу к времени уже слишком близкому к нам и потому продолжать мои «Воспоминания» в последовательном порядке не нахожу возможным. Из второй части я представлю, впрочем, несколько отрывков о Грановском, Белинском, Гоголе, Аксаковых и Загоскине...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ (1839—1847)

ГЛАВА I*

Москва.— Знакомство с кружком Белинского.— Семейство С. Т. Аксакова.— Белинский и Константин Аксаков.— Обеды и вечера у Аксаковых.— И. Е. Великопольский.— Бал, данный им на Пресненских прудах, и иллюминация.— М. Н. Загоскин.— Обед у него.— Моя поездка с ним на Воробьевы горы.— Мочалов в «Гамлете» и «Отелло».— Предложение Погодина.— Вечера у Мельгунова.— Павлов и Хомяков, рассуждающие о Милькееве.— Чтение «Тоски по родине» у Аксаковых.— Моя статейка о Москве в «Литературных прибавлениях к Инвалиду».— Разговор мой с К. С. Аксаковым на берегу Москвы-реки у Драгомиловского моста.

. . . .

Всякий раз, когда я выезжал из Петербурга, мне становилось легче. Я родился и провел бо́льшую часть моей жизни в Петербурге, но никогда не чувствовал к нему особенной привязанности... В Москве я бывал несколько раз ненадолго, проездом. Ее оригинальность, живописность, ее разметанность по холмам, картина Замоскворечья из Кремля, ее исторические памятники, хотя подштукатуренные и выбеленные, вся ее внешняя обстановка возбуждала во мне всякий раз неопределенное поэтическое ощущение, и я начинал питать к ней невольную привязанность... Ко всему этому рас-

* Эта вторая часть, как, вероятно, заметят читатели, еще более первой имеет отрывочный характер. Я печатаю только то, что нахожу возможным. Если бы тем из критиков, которые обратили внимание на мои «Литературные воспоминания», угодно было принять в соображение то, что это только выборки из воспоминаний,— они, вероятно, судили бы меня снисходительнее.

сказы Кольцова о кружке Белинского так и притягивали меня к Москве... Москва представлялась мне после этих рассказов в упоительном свете; и теперь, когда она вытягивалась передо мной сквозь пыль с своими бесчисленными куполами и колокольнями, вся залитая лучами солнца, сердце мое сильно забилось и даже слезы выступили на глазах. Мне казалось, что в ней я найду все то, к чему неопределенно стремился, чего смутно и беспорядочно искал, что неясно предчувствовал...

В это время я отчасти уже понимал дикость барства, среди которого я взрос и воспитался. Барская жизнь, барские воззрения, замашки и привычки, барская нравственность нередко смущали меня; но я не останавливался еще ни разу серьезно на самом себе и тупо отдавался всем мелочам праздной, внешней жизни, всей ее пустоте и суетности. Самое легкомысленное тщеславие еще двигало моими поступками. Мне, например, доставляло большое удовольствие знакомство с каким-нибудь титулованным светским господином, хоть самым пустейшим из пустейших; я хлопотал о том, чтобы попасть в великосветский салон, и, попадая в него, ощущал себя почти счастливым, несмотря на то, что в салоне мне было и неловко и душно. Если бы не отсутствие во мне необходимого для света внешнего блеска, если бы не врожденная робость и не страсть к литературе, которая в то же время все сильнее развивалась во мне, я отдался бы вполне и безусловно светской жизни...

Общественные вопросы и политическое движение были совершенно чужды мне, да они почти совсем не занимали в 30-х годах даже передовых людей в литературе, хотя память о наших политических мучениках должна бы, казалось, невольно наводить молодое поколение на эти вопросы. Стоны из сибирских рудников не могли не доходить до него. Реакция после 14 декабря была страшная, все присмирело и оцепенело, запуганное большинство предалось личным интересам — взяточничеству, грабежу и удовлетворению своего чиновнического самолюбия, замаскированного верноподданническими чувствами; незначительное меньшинство мыслящих людей нашло себе примирение и успокоение в немецкой философии и отыскивало в ней

данные для возвеличения самодержавного произвола; даже Белинский — по преимуществу, революционная натура — приводил в каком-то дурмане экстаза слова из «Ричарда II» шекспирова, что

> ...Елей с помазанного короля
> Не могут смыть все волны океана... [143]

Литература способствовала общественной дремоте, занявшись исключительно искусством и ратуя с дон-кихотскою яростию за нелепый принцип «искусства ради искусства»,— принцип, который снова, но уже без всякого успеха возобновлен был в наше время бессердечными и празднословными литературными джентльменами [144].

В такую неблагоприятную для моего развития минуту сошелся я с Белинским и его друзьями. Тогда, впрочем, я не сознавал этого и тотчас же безусловно подчинился их авторитету. Каждое их слово сделалось для меня законом.

Когда я подъезжал к Москве, сердце мое билось сильно и радостно при мысли, что я через несколько часов увижу Белинского...

Я сошелся с Белинским и его друзьями в тот момент, когда они, на пути своего развития, запутавшись в гегелевских определениях и формулах, отыскивали *примирения* во всем — и в литературе и в жизни, *примирения* во что бы то ни стало, и с такими вещами, с которыми нет возможности примиряться; когда знаменитый принцип «искусства для искусства» возведен был ими в вечный закон, а отрицающие или не признававшие его предавались строгой опале, как люди тупоумные, лишенные эстетического чувства...

. . . .

Я уже говорил о моем первом свидании с Белинским... [145] Через несколько времени после этого я познакомился с некоторыми из его друзей у Боткина, с которым Белинский был в то время в размолвке...

. . . .

...Дом Боткиных расположен на одном из самых живописных мест Москвы. Из флигеля, выходившего в сад, в котором жил тогда Боткин, из-за кустов зелени открывалась часть Замоскворечья. Сад был распо-

ложен на горе, в середине его беседка, вся окруженная фруктовыми деревьями...

В этой-то беседке, в половине мая, в теплый, солнечный день, я встретил в первый раз Каткова, только что окончившего курс в университете, но еще студентом сблизившегося с Белинским и его друзьями, которые видели в нем замечательное литературное дарование и большое расположение к философским занятиям... Клюшникова, печатавшего свои стихотворения под буквой θ, и Бакунина... Бакунин был в своем кружке пропагандистом немецкой философии вообще и Гегеля в особенности. Ум в высшей степени спекулативный, способный проникать во все философские тонкости и отвлечения, Бакунин владел при этом удивительною памятью и диалектическим даром. Перед силой его диалектики все склонялись невольно. Вооруженный ею, он самовластно действовал на свой кружок и безусловно царил над ним. Его атлетическая фигура, большая львиная голова с густыми и вьющимися волосами, взгляд смелый, пытливый и в то же время беспокойный — все это поражало в нем с первого раза.

Бакунин с каким-то ожесточением бросался на каждое новое лицо и сейчас же посвящал его в философские тайны. В этом было много комического, потому что он не разбирал, приготовлено или нет это лицо к восприятию проповедуемых им отвлеченностей.

Вскоре после моего знакомства с ним он пришел ко мне и целое утро толковал мне *о примирении* и *о прекраснодушии* на совершенно непонятном для меня философском языке. Утро было жаркое, пот лился с меня градом, я усиливался понять хоть что-нибудь, но, к моему отчаянию, не понимал ничего, стыдясь, впрочем, признаться в этом. Белинский, уже освоившийся с философской терминологией, схватывал на лету намеки на мысли Гегеля, бросаемые Бакуниным, и развивал их впоследствии плодотворною силою своего ума в своих критических статьях.

Все принадлежавшие к кружку Белинского были в то время свежи, молоды, полны энергии, любознательности, все с жаждою наслаждения погружались или пробовали погружаться в философские отвлеченно-

сти: один разбирал не без труда Гегелеву логику, другой читал не без усилия его эстетику, третий изучал его феноменологию духа,— все сходились почти ежедневно и сообщали друг другу свои открытия, толковали, спорили до усталости и расходились далеко за полночь. Над этим кружком невидимо парила тень Станкевича [146]. Каждый благоговейно вспоминал об нем. У Белинского слезы дрожали на глазах, когда он рассказывал мне об нем и знакомил меня с его нежною, тонкою, симпатическою личностию... «Станкевич был душою, жизнию нашего кружка,— прибавил он в заключение,— теперь уже не то... Самое цветущее наше время прошло! Он своею личностию одушевлял и поддерживал нас. Бакунин, как ни умен, но он не может заменить Станкевича...»

Влияние Станкевича на Белинского было глубоко. Белинский всегда сознавался в этом. Первые критические статьи его, где выражался его взгляд на искусство и на жизнь вообще, писаны, без всякого сомнения, под влиянием Станкевича. «В письмах Станкевича,— справедливо замечает г. Анненков,— можно найти намеки на все вопросы, занимавшие потом Белинского и более или менее приближенные им к разрешению»... [147] Станкевич своей кроткой примиряющей натурой несколько смягчал и сдерживал кипучую натуру Белинского и хотел принудить его учиться языкам, особенно немецкому. Он предугадывал в Белинском сильного литературного бойца и хотел расширить его миросозерцание, но очень, по-видимому, боялся его, как он полагал, *излишней* энергии... «Будь чем хочешь — хоть журналистом, хоть альманашником (писал он к нему в 1836 году) — все будет хорошо, *только будь посмирнее»*.

Развитию Белинского способствовало, кроме Станкевича и Бакунина, семейство последнего, в котором Станкевич и Белинский были приняты дружески. Это замечательное семейство, состоявшее из нескольких сестер и братьев, принадлежало к исключительным, небывалым явлениям русской жизни. Оно имело полуфилософский, полумистический немецкий колорит, судя по рассказам Белинского и его друзей. Одна из сестер Бакунина, под влиянием мистического экстаза, доходила, говорят, иногда даже до видений. Бакунин

имел, конечно, неограниченное влияние на своих сестер и братьев.

На Белинского, никогда не бывавшего ни в каком женском обществе, такое семейство должно было произвести с самого начала сильное впечатление. В сестрах Бакунина его поразил прежде всего их пытливый взгляд на жизнь, их стремление доискиваться разрешения самых отвлеченных вопросов и то нервическое раздражение, происходившее от мистического настроения, которое он принимал за поэзию.

Белинский, впрочем, кажется, недолго находился под этим обаянием. Он увлекался беспрестанно, но тотчас же отрывался, хотя не без боли, от своих увлечений. В то время, когда я с ним сошелся, он говорил о семействе Бакуниных с большим уважением и с большою симпатиею, но уже ясно видел то болезненное направление, которому отдались сестры Бакунина.

«Слава богу, я теперь отрезвился,— говорил он мне (это было после его последнего приезда из деревни Бакуниных),— отделался от прекраснодушия и мистических бредней и начинаю дышать легче и свободнее и вижу все яснее».

Белинский и не подозревал в эту минуту, каким болезненным направлением был одержим он сам и какой туман застилал глаза его.

К кружку Белинского принадлежал в это время и Константин Сергеич Аксаков.

Я не был знаком с семейством Аксаковых, но между нами существовала некоторая связь. Сергей Тимофеич Аксаков воспитывался в Казанском университете вместе с моим отцом и дядею, с которыми он был очень близок, особенно с последним... (Он часто вспоминает об них, рассказывая о своей гимназической и университетской жизни.)[148] Я знал это и через два дня после приезда моего счел долгом отрекомендоваться Сергею Тимофеичу. Я отправился к нему так же четверней на вынос, как и к Белинскому.

С. Т. Аксаков и сын его Константин приняли меня с необыкновенным радушием. Сергей Тимофеич был большой хлебосол и гордился этою московскою добродетелью.

Аксаковы жили тогда в большом отдельном деревянном доме на Смоленском рынке. Для многочис-

ленного семейства требовалась многочисленная прислуга. Дом был битком набит дворнею. Это была уже не городская жизнь в том смысле, как мы ее понимаем теперь, а патриархальная, широкая помещичья жизнь, перенесенная в город. Такую жизнь можно еще, я думаю, и до сих пор видеть в Москве... Дом Аксаковых и снаружи и внутри по устройству и расположению совершенно походил на деревенские барские дома; при нем были: обширный двор, людские, сад и даже баня в саду. Константин Аксаков помещался наверху, в мезонине.

С. Т. Аксакову было в это время с небольшим 50 лет[149]. Он был высок ростом, крепкого сложения и не обнаруживал еще ни малейших признаков старости. Выражение лица его было симпатично, он говорил всегда звучно и сильно, но голос его превращался в голос стентора, когда он декламировал стихи, а декламировать он был величайший охотник. Любимым занятием его было уженье, и он очень часто с ночи отправлялся удить в окрестности Москвы. По вечерам он обыкновенно играл в карты. Между прочими партнерами его были тогда И. Е. Великопольский и Н. Ф. Павлов. Тогда еще Сергей Тимофеич не пользовался тою блестящею литературною известностию, которую он приобрел впоследствии...

Я полюбил С. Т. Аксакова и скоро сошелся с Константином Аксаковым. Я был у Аксаковых почти всякий день и, кроме того, часто встречался с Константином Аксаковым у Белинского.

Белинский был некогда довольно короток в доме Аксаковых, но перед моим приездом в Москву между им и этим семейством произошло какое-то недоразумение, размолвка. Белинский говорил мне, что его не совсем жалует г-жа Аксакова и не очень приятно смотрит на его дружбу с Константином. Константин Аксаков отстаивал, однако, Белинского долго от нападков своей матушки. Белинский в это время заходил только к Константину Аксакову в мезонин и очень редко спускался вниз...

Константин Аксаков был такого же атлетического сложения, как его отец, только пониже ростом. Его открытое, широкое, некрасивое, несколько татарское лицо имело между тем что-то привлекательное; в его

несколько неуклюжих движениях, в его манере говорить (он говорил о любимых своих предметах нараспев), во всей его фигуре выражалась честность, прямота, твердость и благородство; в его маленьких глазках сверкало то бесконечное добродушие, то ничем не преодолимое упорство... Его привязанность к Москве доходила до фанатизма; впоследствии его любовь к великорусскому народу дошла до ограниченности, впадающей в узкий эгоизм. Он любил не человека, а исключительно русского человека, да и то такого только, который родился на Москве-реке или на Клязьме. Русских, имевших несчастие родиться на берегу Финского залива, он уже не признавал русскими.

В ту минуту, когда я познакомился с ним, он еще, впрочем, не дошел до этого забавного отрицания и до этой странной исключительности [150]. Славянофилизм только еще зарождался тогда, и Константин Аксаков стоял на полдороге между «Московским наблюдателем» Белинского, в котором он принимал участие, и между «Москвитянином» Шевырева и Погодина, на который он начинал смотреть с участием...

Единственною нитью, соединявшею К. Аксакова с Белинским и его друзьями, была философия Гегеля, которая имела большое влияние на Аксакова, и общий взгляд их на искусство с точки зрения этой философии. Впоследствии, когда уже не исключительно одно искусство, а и общественные вопросы стали занимать литературу, когда образовались славянофильская и западная партии, Константин Аксаков совершенно и окончательно разошелся с Белинским. Они очутились в двух враждебных лагерях...

Если бы я приехал в Москву пятью годами позже,— нет никакого сомнения, что К. Аксаков не допустил бы меня до себя; но в том еще неопределенном и неустановившемся положении, в каком он находился в 1839 году, он искренно протянул мне дружескую руку, несмотря на то, что я был рожден на берегу Финского залива. Он, впрочем, и тогда говорил мне с негодованием о Петербурге и старался при всяком случае возбуждать во мне энтузиазм к Москве. Он останавливал меня перед Иваном Великим, перед Василием Блаженным, перед Царь-пушкою, перед Колоколом — и глазки его сверкали — он сжимал мою руку

своей толстой и широкой рукой... «Вот Русь-то, вот она, настоящая Русь-то!» — вскрикивал он певучим голосом. Он возил меня в Симонов и Донской монастыри, и когда я обнаруживал мой восторг от Москвы, восхищался ее живописностию и ее старинными церквами, К. Аксаков схватывал мою руку, жал мне ее так, что я только из деликатности не вскрикивал, даже обнимал меня и восклицал:

— Да! вы *наш,* москвич по сердцу!

Дом Аксаковых с утра до вечера был полон гостями. В столовой ежедневно накрывался длинный и широкий семейный стол по крайней мере на 20 кувертов. Хозяева были так просты в обращении со всеми посещавшими их, так бесцеремонны и радушны, что к ним нельзя было не привязаться.

Между отцом и сыном существовала самая нежнейшая привязанность, обратившаяся впоследствии в несокрушимую дружбу, когда отец под влиянием сына постепенно принимал его убеждения, со всеми их крайностями. Старик Аксаков в последние годы отпустил бороду и ходил в русском кафтане с косою рубашкою, каким он изображен в «Портретной галерее» г. Мюнстера. Портрет этот очень удачен.

Константин Аксаков в житейском, практическом смысле оставался до сорока с лишком лет, то есть до самой смерти своей, совершенным ребенком. Он беззаботно всю жизнь провел под домашним кровом и прирос к нему, как улитка к раковине, не понимая возможности самостоятельной, отдельной жизни, без подпоры семейства. Вне своих ученых и литературных занятий он не имел никакого общественного положения. Смерть отца и происшедшая от этого перемена в домашнем быту вдруг сломила его несокрушимое здоровье. Он не мог пережить этой потери и перемены и умер не только холостяком, даже девственником [151].

Белинский горячо любил Константина Аксакова. «Благороднейший, честнейший юноша,— говорил он об нем,— но в голове его какая-то узкость, китаизм, несмотря на глубокость духа, а в характере неподвижность и упрямство».

Белинский предчувствовал, что они должны разойтись скоро [152].

. . . .

В доме у Аксаковых я познакомился с Н. Ф. Павловым, его супругою Каролиною Карловной, урожденною Яниш, с М. Н. Загоскиным, который был тогда директором московских театров, с И. Е. Великопольским и с многими другими московскими известностями.

Великопольский имел собственный дом на Пресненских прудах. Однажды он давал в этом доме по какому-то случаю — а может быть, без всякого случая— бал и пригласил к себе всех своих старых и новых знакомых и в том числе меня и Белинского. С Белинским он познакомился через Аксаковых и, зная стесненное положение Белинского, нередко помогал ему. Белинский намекает об этом в одном из писем ко мне, напечатанных мною в «Воспоминаниях» моих об нем. Великопольский, человек с добрым и доверчивым сердцем, всю жизнь был увлекаем двумя пагубными страстями: к картам и к литературе; ни в литературе, ни в картах ему не везло. За одну из его драм цензор Ольдекоп был отставлен от должности, и благородный автор тотчас же предложил ему ежегодно выдавать его цензорское жалованье. Уволенный цензор отказался, кажется, от этого великодушного предложения [153]. Эту драму Великопольский в начале сороковых годов читал нам в «Отеле Демута». На этом чтении присутствовал между прочими и С. Т. Аксаков, находившийся в то время в Петербурге. Перед чтением слушателям дан был роскошный обед... Чтение началось в 7 часов и продолжалось до полуночи. Насыщенные слушатели дремали и от времени до времени вздрагивали. С лица С. Т. Аксакова, сидевшего против самого автора, лился пот градом, он беспрестанно вытирал свой лоб и с некоторым ожесточением упирался о спинку стула, который трещал при этом напоре. Когда чтение кончилось и Сергей Тимофеич встал со стула, стул совсем развалился. В карты Великопольского обыгрывал даже Пушкин, которого все обыгрывали, и потому, вероятно, великий поэт питал к Великопольскому какую-то ироническую нежность. В собрании сочинений Пушкина находится послание поэта к Великопольскому...

Часу в девятом я отправился на бал к Великопольскому вместе с К. С. Аксаковым и Белинским...

Дом Великопольского был набит битком гостями, оркестр гремел, танцы были во всем разгаре... Лакеи беспрестанно разносили разные прохладительные, конфекты и фрукты... Толпы любопытных собрались у дома. Сад на Пресненских прудах был также наполнен гуляющими. Белинский, К. Аксаков и я недолго оставались в комнатах, где была нестерпимая духота. Мы пошли гулять на Пресненские пруды. Когда стемнело, к изумлению нашему, часть Пресненских прудов была иллюминована и импровизировалось народное гулянье. Около подъезда дома, на дворе, толпы густели; многие господа, не знакомые хозяину праздника, входили бесцеремонно в дом и угощались. Хозяин дома появлялся на крыльцо, разговаривал приветливо со стоявшими тут и отдавал приказание угощать всех лимонадом, оршадом и конфектами. Подносы появлялись даже на Пресненских прудах. Из толпы явился какой-то поэт и продекламировал стихи в честь великодушного хозяина... Все это было чрезвычайно оригинально.

— Вот какие праздники дают у нас в Москве! — воскликнул К. Аксаков, с торжественным, сияющим лицом обращаясь ко мне.— Где вы увидите что-нибудь подобное?.. Не выражается ли в этом широкая, размашистая славянская натура? Как не любить нашу Москву, Иван Иванович, не правда ли?..

...К числу самых коротких людей дома Аксаковых принадлежал М. Н. Загоскин. Я редко встречал таких простосердечных и добродушных людей. Загоскин весь и всегда постоянно был нараспашку. Его бесхитростный, простой патриотизм часто доходил до комизма. Когда он бывал в расположении духа, он говорил без умолку и рассыпал в своем разговоре цинические пословицы, поговорки и выражения, сам восхищаясь ими и смеясь от всей души. Его круглое румяное лицо, вся его фигура — маленькая, толстенькая, но хлопотливая и подвижная — как-то невольно располагали к нему... Все в нем было искренно до наивности. Он имел взгляд на жизнь нехитрый, основанный на преданиях, на рутине, и вполне удовлетворялся им, отстаивая его с презабавною горячностию. Если кто-нибудь не соглашался с его убеждением и оспоривал его, он выходил из себя: черные глаза его сверкали из-под очков и нали-

вались кровью, он топал ножками, размахивал руками и отпускал такие словца, которые можно только слышать на улице... Новых идей, проповедываемых молодежью, он терпеть не мог. «Поверь мне, милый, все это чепуха,— говорил он К. Аксакову,— завиральные идеи, взятые из вашей немецкой философии, которая, по-моему, и выеденного яйца не стоит... Русский человек и без немцев обойдется. То, что русскому человеку здорово,— немцу смерть. Черт с ним, с этим европеизмом, чтоб ему провалиться сквозь землю! Тебя, Константин, я люблю за то, что ты привязан к матушке святой Руси. Эта привязанность вкоренилась в тебя потому, что ты воспитывался в честном, хорошем дворянском семействе,— ну, а уж твои приятели... Этих бы господ я...» Загоскин останавливался, сжимал руку в кулак и принимал энергическое выражение...

Загоскин разумел под приятелями Аксакова в особенности Белинского, которого он сильно недолюбливал [154]. Ненависть его ко всему иностранному была забавна... «Пьют лафиты,— говорил он,— да разные иоганисберги и шато д'икемы и хвастают этим, а не знают, что у нас есть свое родное, крымское, которое ни в чем не уступит их д'икемам и лафитам».

Однажды Загоскин пригласил меня обедать. За обедом он усердно угощал меня красным вином. «Каково винцо-то? — приговаривал он,— букет-то какой!» Вино мне действительно показалось недурным, и я похвалил его... «Ну, а какое это вино?»— спросил он, устремляя на меня проницательный взгляд и улыбаясь.— Я не знаю...— отвечал я,— лафит, кажется?..— «Ах вы, европейцы! — вскрикнул Загоскин,— лафит! лафит!.. Нет, милый, я с Депре с вашим не имею знакомства... Это вино чисто крымское, из винограда, созревшего на русской почве... Чем оно хуже вашего лафита?.. Да и Депре-то ваш ведь надувает, я думаю, вас: он продает вам втридорога то же крымское, выдавая вам его за какой-нибудь шато-ла-роз, а вы смакуете да восхищаетесь: какой лафит! 15 р. бутылка! — а мне эта бутылка стоит 3 р. 50 к.! Пора нам стряхнуть с себя иностранную дурь!..»

Загоскин не знал иностранных языков, но когда он сделался директором московских театров, он почел необходимым учиться по-французски и учился без учи-

теля. Он просто выучил наизусть почти весь лексикон Ольдекопа (память у него была удивительная) и говорил по-французски презабавно, большую часть без артиклей. Когда одна придворная дама в театре, в царской ложе, спросила у него бинокль, Загоскин начал отыскивать его по столам и стульям и метаться из угла в угол (он был очень рассеян) и потом, подойдя к даме, сказал: «Ублие, прянсес»...

Несмотря на мою близость с Белинским, Загоскин обнаруживал ко мне большую внимательность и расположение, вероятно потому, что встретил меня в доме С. Т. Аксакова, с которым он был очень дружен.

— Мы его сделаем москвичом,— говорил Загоскин Аксакову, ударяя меня по плечу.— Ему надо показать Москву во всей красоте. Я свезу его на Воробьевы горы.

Загоскин пригласил С. Т. Аксакова и меня обедать к себе. Он жил в Петровском парке на собственной даче. Тотчас после обеда был подан кабриолет и, к удивлению моему, с английской закладкой.

— Едем, едем... пора! — говорил мне Загоскин.—

Он хватался за свои карманы, шарил на столе, не отдавая себе в рассеянности отчета, чего он ищет... Эй, человек, шляпу, пальто!.. да не забыл ли я чего?

— Табакерка-то со мною ли?— спрашивал он у лакея...— Здесь, здесь!— кричал он, ощупав ее в кармане.

Наконец мы вышли на крыльцо. С. Т. Аксаков провожал нас. Загоскин сел в кабриолет и взял вожжи.

— Садитесь, садитесь скорей,— говорил он мне. Я сел... Лошадь поднялась на дыбы и рванулась.

— Не погуби, Михаил Николаич, молодого-то человека. Ты мне за него отвечаешь,— кричал нам вслед, смеясь, Сергей Тимофеич.

— Ничего, ничего, милый,— кричал Загоскин,— я доставлю тебе его в целости. Будь покоен!..

От Петровского парка до Воробьевых гор пространство огромное. Надобно проехать через всю Москву. До Триумфальных ворот мы проехали благополучно; но путешествие наше по Москве было сопряжено с опасностями на каждом шагу. Загоскин при каждой церкви опускал вожжи, снимал шляпу и крестился;

лошадь начинала нести. Я замирал от страха и стыдился обнаружить его, но наконец не выдержал.

— Позвольте, я буду править,— сказал я Загоскину.

— Ничего, ничего, милый, не бойтесь... Это лошадь смирная, она уж знает мои привычки...

Когда мы выехали из Москвы, я отдохнул несколько. Въезжая на Воробьевы горы, я было оглянулся назад.

— Нет, нет — не оглядывайтесь,— вскрикнул Загоскин,— мы сейчас доедем до того места, с которого надо смотреть на Москву...

Минут через десять мы остановились. Загоскин попросил попавшегося нам навстречу мужика подержать лошадь, а сам повел меня к дереву, одиноко стоявшему на горе...

— Ложитесь под это дерево,— сказал он мне,— и смотрите теперь, смотрите! Отсюда лучший вид...

Я повиновался и начал смотреть. Действительно, картина была великолепная. Вся разметавшаяся Москва, с своими бесчисленными колокольнями и садами, представлялась отсюда — озаренная вечерним солнцем. Загоскин лег возле меня, протер свои очки и долго смотрел на свой родной город с умилением, доходившим до слез...

— Ну, что... что скажете, милый,— произнес он взволнованным голосом,— какова наша белокаменная-то с золотыми маковками? Ведь нигде в свете нет такого вида. Шевырев говорит, что Рим походит немного на Москву,— может быть, но это все не то!.. Смотри, смотри!.. Ну, бога ради, как же настоящему-то русскому человеку не любить Москвы?.. Иван-то Великий как высится... господи!.. Вон вправо-то Симонов монастырь, вон глава Донского монастыря влево...

Загоскин снял очки, вытер слезы, навернувшиеся у него на глазах, схватил меня за руку и сказал:

— Ну, что, бьется ли твое русское сердце при этой картине?

В экстазе он начал говорить мне «ты».

Чудный летний вечер, энтузиазм Загоскина, великолепная картина, которая была перед моими глаза-

ми, заунывная русская песня, несшаяся откуда-то — все это сильно подействовало на меня.

— Благодарю вас,— сказал я Загоскину,— я никогда не забуду этого вечера.

Загоскин обнял меня, поцеловал и сказал:

— Ты настоящий русский, ты наш,— только ты, пожалуйста, не увлекайся этими завиральными идеями, которые начинают быть в ходу. Белинский ваш — малый умный, да сердца у него нет, русского-то сердца...

И он тыкал себя пальцем в левый бок...

С этого вечера Загоскин сделался ко мне еще благосклоннее. Он непременно требовал, чтобы я в театр иначе не ездил, как в его ложу, и очень хлопотал о том, чтобы показать мне Мочалова во всем блеске его таланта...

— Не знаю только, удастся ли,— говорил он,— надо пообождать немного. В эту минуту он никуда не годится, запил, каналья!

С. Т. Аксаков при всяком свидании с Загоскиным спрашивал: «Ну, что Мочалов?..», получал неудовлетворительный ответ и приходил в бешенство...

— Погиб, кажется, окончательно этот великий талант! — восклицал он, ударяя кулаком по столу,— что с ним делать?

Сергей Тимофеич рассказал мне при этом, что он долго возился с ним и напрасно употреблял всевозможные усилия для того, чтобы пробудить самолюбие в Мочалове и оторвать его от грязной, невежественной жизни. Мочалову было неловко и дико в обществе образованных людей... Он давал им слово остепениться, благодарил Аксакова за участие, проклинал собственную свою слабость, несколько дней вел себя прилично, но потом вдруг незаметно исчезал, отдавался самому отчаянному кутежу с разными купчиками, напивался, буянил и кричал: «На колени передо мною! Я гений! Я Мочалов!»

— Теперь я уж махнул рукой на него,— прибавил Аксаков,— едва ли вам удастся видеть его в настоящем свете; а впрочем — кто его знает?.. У него вдруг, неожиданно еще до сих пор вырываются истинно вдохновенные минуты, особенно в «Гамлете».

— Ну, милый, я тебе привез приятную новость,— заговорил однажды Загоскин, входя в кабинет С. Т. Аксакова,— говорят, Молчалов приходит в себя... Мы дадим для него «Отелло» и «Гамлета» (он указал на меня)... Только крепко боюсь я за него. Едва ли он надежен...

— Бог даст, ничего,— заметил Сергей Тимофеич,— в целом не выдержит, так, может быть, минутами будет хорош...

Через несколько дней после этого на афише появился «Гамлет» с Мочаловым. Сергей Тимофеич ждал этого спектакля с большим волнением, между страхом и надеждою...

Я вместе с ним сидел в директорской ложе. Загоскина не было при начале спектакля... Перед поднятием занавеса Сергей Тимофеич произнес с беспокойством: «посмотрим, что-то будет!»

По окончании первого акта Сергей Тимофеич посмотрел на меня грустно и, покачав головою, произнес: «нет — из рук вон плохо». Во время второго акта, в сценах, где появлялся Гамлет, Аксаков уже едва сдерживал свое огорчение и негодование... Он с беспокойством поворачивался на своем стуле и шептал: «он совсем погиб!.. Еще никогда он не был так дурен в Гамлете. Его просто надо прогнать со сцены». Когда занавес опустился, Сергей Тимофеич вышел из ложи совсем встревоженный и наткнулся в комнате перед ложею с Загоскиным, который только что приехал.

— Какая гадость,— сказал он, обращаясь к Загоскину и задыхаясь от досады,— ведь смотреть, братец, нет никакой возможности...

— На кого? На Шекспира? — перебил Загоскин рассеянно и приглаживая у зеркала свои волосы...— То-то, милый,— продолжал он,— вы все кричите: Шекспир! Шекспир! Гений! гений! и считаете святотатством, если из него слово выкинешь; а его надо непременно сокращать, я это всегда говорил...

Аксаков вышел из терпения, схватил Загоскина за отвороты фрака и начал трясти его...

— Какой Шекспир! Ну какой Шекспир!.. Что ты бредишь? Не на Шекспира, а на Мочалова нет возможности смотреть... Понимаешь?..

— А-а! — протянул Загоскин. — Ну, да я предчувствовал, что он играть не может.

— Зачем же ты заставил его играть? Ведь на него жалко и стыдно смотреть. Это не Гамлет, а пародия на Гамлета!..

Загоскин вспыхнул.

— Да ведь ты же приставал ко мне: «скоро ли покажешь ты нам Мочалова? да когда ж велишь дать Гамлета?..» Ну, вот я и велел дать, а ты на меня же накидываешься.

После сцены с матерью в третьем акте Сергей Тимофеич не выдержал — махнул рукой и уехал...

Я тоже едва усидел до конца: ни одного вдохновенного проблеска, ни одного слова, вырвавшегося из сердца; неуместные вскрикивания, неловкость движений, нестерпимая бестактность в игре... «Где же этот талант, о котором кричали все москвичи? Где же этот Гамлет-Мочалов, от которого Белинский приходил в такой энтузиазм?..» [155]

Я вышел из театра усталый, с неприятным, тяжелым впечатлением.

Через неделю после этого давали «Отелло».

В «Отелло» Мочалов был так же плох, как и в «Гамлете», только в сцене второго акта, когда Десдемона встречает его на острове Кипре, Мочалов обнаружил такую искреннюю нежность, такую бесконечность любви к своей супруге, что по этой сцене можно было догадываться, каким бывает он в лучшие, вдохновенные свои минуты на сцене. Голос его поразил меня своею симпатическою мягкостью, выражение лица — глубоким и истинным чувством.

Но мне так и не удалось видеть Мочалова в настоящем его свете. . . . .

— У меня завтра вечером, — сказал мне Сергей Тимофеич, — Загоскин читает свой новый роман «Тоску по родине». Приезжайте, если хотите послушать. Он вас полюбил и хочет непременно, чтобы вы были в числе слушателей...

Чтение началось со 2-й части, содержание первой автор рассказал нам.

Я сидел возле С. Т. Аксакова.

Под текучий и гладкий слог Загоскина я было забылся на минуту... Вдруг этот приятно усыпляющий

слог превратился в живой язык, повеявший свежестию и силою: описывалась малороссийская ночь... Я невольно встрепенулся... Место действия романа в Испании,— как же тут попала малороссийская ночь?.. Я не разобрал вдруг, но вскрикнул невольно:

— Как хорошо это!

Сергей Тимофеич дернул меня с улыбкою за рукав:

— Что это вы? — шепнул он мне.— Ведь это он приводит иронически отрывок из Гоголя, замечая, что если уж так описываются малороссийские ночи, то как же описать испанские?..

После описания какого-то испанского города Сергей Тимофеич перебил чтение и спросил у Загоскина:

— Да как же ты это так хорошо и подробно описываешь наружность испанских городов, никогда не бывав в Испании?

Загоскин положил рукопись на стол, взглянул на Аксакова через очки, наклонив немного голову, и отвечал очень серьезно:

— А на что же у меня, милый, лукутинские-то табакерки с испанскими видами?..

И приостановя на минуту чтение, он начал доказывать, что лукутинские изделия — верх совершенства, что у иностранцев и отделка и рисунки на подобных изделиях хуже, и что если русский человек захочет, то он всегда заткнет за пояс и немца, и француза, и англичанина...

. . . .

...Дни летели для меня в Москве весело, разнообразно и с быстротою неимоверною. Мысль о том, что я должен месяца через два оставить Москву (мне необходимо было ехать по делам в Казанскую губернию), приводила меня в беспокойство.

— Если бы можно, я никогда не расстался бы с Москвою! — говорил я Константину Аксакову...

— Да переезжайте совсем к нам,— возражал Аксаков,— у вас нет ничего общего с Петербургом.

Мы говорили вполголоса. В нескольких шагах от нас у окна (это происходило в гостиной Аксаковых) стоял Сергей Тимофеич с М. П. Погодиным, с которым я еще не был знаком.

— Вот, Михайло Петрович,— сказал Константин Аксаков, подводя меня к нему,— петербургский литератор, который в восторге от нашей Москвы.

Аксаков взглянул на меня с любовию и представил меня Погодину.

Погодин протянул мне руку.

— Очень рад с вами познакомиться... А «Отечественные записки»,— сказал он через минуту, обращаясь ко мне,— прекрасный журнал, судя по вышедшим номерам. Молодец Краевский!.. Нам бы соединиться вместе. Я охотно отдал бы ему мой «Москвитянин». Право. Напишите-ко ему об этом... Мы не расходимся, кажется, во взглядах.

Первые номера «Отечественных записок» вообще одобряли все известные московские литераторы. У постели тогда больного Н. А. Мельгунова довольно часто собирались по вечерам: Шевырев, Хомяков, Павлов (Н. Ф.), Конст. Аксаков и другие... Шевырев и Хомяков также очень хвалили журнал г. Краевского[156]. Здесь я услышал в первый раз из уст самого автора стихотворение:

Гордись,— тебе льстецы сказали...
и т. д.,

которое производило в Москве фурор еще до появления в печати.

Кстати об этом стихотворении. Оно в июне 1839 г. было послано Н. Ф. Павловым к Краевскому для напечатания в «Отечественных записках»...

Осенью, по возвращении моем из Казани в Москву, я получил письмо Краевского (от 10 октября), в котором он между прочим писал мне:

...«Какова оказия! Пожалуйста, сообщите все следующее *аккуратно* Николаю Филипповичу (Павлову)... Начинаю ab ovo *. Он летом прислал мне стихотворение Хомякова «Гордись, тебе льстецы сказали». Я, как расчетливый человек, отложил напечатание его до осени. Настал сентябрь; я представляю это стихотворение в цензуру. Цензор и цензурный комитет вычеркивают стих: «Скажи им таинство свободы». Заменить этого стиха я ничем не осмелился и потому написал к Николаю Филипповичу, чтоб спросил на сей

* Сначала.— *Ред.*

казус решение самого Хомякова. Пока я жду, вдруг, ровно неделя тому назад, является в 230 № «Санктпетербургских ведомостей» (академических) это же стихотворение Хомякова под названием «Отчизна», без подписи имени автора и со стихом, у меня вычеркнутым, но только без тех шести стихов, которыми Хомяков заменил находящиеся в средине два стиха:

А твой завет, твое призванье,
Твой богом избранный удел...

и которые в доставленной мне рукописи написаны рукою Николая Филипповича. Это изумило меня! Я тотчас же пишу письмо к князю Дондукову (тогдашний попечитель санктпетербургского округа и председатель ценсурного комитета) и прошу позволения напечатать стихи Хомякова в том виде, как они ко мне присланы и с примечанием [157]; он позволил (они помещены в 10 книжке); но на другой же день в 231 № «Санктпетербургских ведомостей» помещена *поправка,* в которой сказано, что «Отчизна» написана Хомяковым... «Инвалид» и даже «Губернские санктпетербургские ведомости» перепечатали это стихотворение прежде «Отечественных записок». Что все это значит? Не растолкует ли Николай Филиппович?

Если же подобная штука сделана *без воли Хомякова,* то надобно, чтобы он написал сам к Дондукову письмо, в котором жаловался на подобное своеволие; иначе ни одна статья наша не будет безопасна от такого грабительства. Я этого дела здесь разыскать не могу, ибо не имею сношений ни с Очкиными, ни с какою этою. . . . . . .»

Я передал все это Павлову; но каким образом разъяснилась эта *штука,* по выражению Краевского, я не помню.

Однажды ночью мы возвращались от Мельгунова пешком домой по бульварам: Павлов, Хомяков и еще не помню кто-то... Разговор между Павловым и Хомяковым был необыкновенно одушевлен. Предметом его был некто *Милькеев,* издавший незадолго перед тем, под протекциею Павлова и Хомякова, небольшое собрание своих стихотворений, которые теперь никому не известны, кроме записных библиографов. Павлов и Хомяков были тогда в восторге от громких стихов

Милькеева и считали его одною из самых блестящих надежд русской литературы. Каролина Карловна Павлова, уже известная тогда своим поэтическим даром и альбомом, в котором ей написал что-то сам Гете [158],— удостоила Милькеева даже посланием; Милькееву, кажется, было в это время двадцать два или двадцать три года. Это был талант-самородок, как выражались тогда; он не имел почти никакого образования и вовсе не знал иностранных языков. Николай Филиппович Павлов, как человек светский, доказывал, что Милькеева необходимо заставить учиться по-французски, что французский язык доставит ему возможность сблизиться с порядочным обществом, которое будет способствовать к его развитию... Хомяков горячо возражал против этого, говоря, что ни французский язык, ни общество не могут принести ему ровно никакой пользы, напротив — вред; что его надо принудить заняться серьезно немецким языком, что знакомство с немецкой литературой и философией расширит его миросозерцание. Спор был горячий; спорящие не хотели уступать друг другу и расстались, не решив участь гения-самородка... Через полгода после этого к Милькееву совершенно охладели, и он вскоре умер... если я не ошибаюсь, в крайней бедности.

Когда я рассказывал об этом споре за Милькеева Белинскому, Белинский грустно улыбнулся.

— Вот чудаки-то! — воскликнул он,— вместо того чтобы спорить об нем и издавать его стихотворения, не имеющие ничего, кроме реторических фраз, лучше бы просто помогли бедняку. Они ему сделали большой вред... Он по их милости возмечтал о себе бог знает что! Да если бы он имел и действительный поэтический талант, так и тогда бы он умер с голоду, потому что за стихи не платят. Павлов хочет сделать его светским человеком, Хомяков мыслителем,— а ему прежде всего нужен кусок насущного хлеба и средства, чтобы добыть его [159].

. . . .

После поездки моей с Загоскиным на Воробьевы горы я написал восторженную, то есть исполненную реторики, статейку о Москве, с восклицательными и вопросительными знаками, бесчисленными точками

и со всевозможными эпиграфами о Москве из Дмитриева, Грибоедова, Пушкина и других. Она была напечатана в «Литературных прибавлениях к Инвалиду» г. Краевского. Статейка эта, впрочем, была искренняя, несмотря на реторические фразы, и ею я приобрел себе еще большее расположение семейства Аксаковых.

Константин Аксаков был очень доволен ею, обнимал меня и крепко жал мне руки [160].

Вечером в тот день, когда он прочел ее, мы отправились с ним бродить по Москве и, утомленные, расположились, наконец, отдохнуть на береговом скате Москвы-реки, в виду Драгомиловского моста.

Мы лежали на траве без сюртуков. Дневной жар начинал спадать понемногу. Легкий вечерний ветерок приятно освежал нас... Закат был великолепный.

— Есть ли на свете другой город,— говорил мне Константин Аксаков,— в котором бы можно было расположиться так просто и свободно, как мы теперь?.. Далеко ли мы от центра города, а между тем мы здесь как будто в деревне. Посмотрите, как красиво разбросаны эти домики в зелени на горе... В Москве вы найдете множество таких уединенных и живописных уголков, даже в нескольких шагах от центра города... Вот ведь чем хороша Москва! Я не понимаю, как можно жить в вашем холодном гранитном Петербурге, вытянутом в струнку?.. Нет, оставайтесь у нас; у вас русское сердце, а русское сердце легко может биться только здесь, среди этого простора, среди этих исторических памятников на каждом шагу... Как не любить Москву!.. Сколько жертв принесла она для России!..

Аксаков постепенно одушевлялся и, заговоря об этих жертвах, вскочил с земли; глазки его сверкали, рука сжималась в кулак, голос его делался все звучнее...

— Пора нам сознать нашу национальность, а сознать ее можно только здесь; пора сблизиться нам с нашим народом, а для этого надо сначала сбросить с себя эти глупые кургузые немецкие платья, которые разделяют нас с народом (и при этом Аксаков наклонился к земле, поднял свой сюртук и презрительно от-

бросил его от себя). Петр, отрывая нас от нашей национальности, заставлял брить бороды, мы должны теперь отпустить их, возвращаясь к ней... Так-то, Иван Иваныч!— сказал Аксаков в заключение, кладя свою широкую ладонь на плечо мое, когда я приподнялся с травы.— Бросьте Петербург, переселитесь к нам... Мы славно заживем здесь. Не шутя, подумайте об этом.

Он натянул на себя узкий немецкий сюртук, который как-то неловко сидел на его коренастой фигуре, и мы отправились домой, когда уже солнце совсем село...

...Лет через пять после этого Константин Аксаков наделал в Москве большого шуму, появясь в смазных сапогах, красной рубахе и в мурмолке.

На одном бале (это было в сороковых годах) он подошел, говорят, к известной тогда в Москве по своей красоте К.

— Сбросьте это немецкое платье,— сказал он ей,— что вам за охота носить его? Подайте пример всем нашим дамам, наденьте наш сарафан. Как он пойдет к вашему прекрасному лицу!..

В то время как он с жаром говорил ей это, к ней подошел тогдашний московский военный губернатор князь Щербатов. Она заметила ему, что Аксаков уговаривает ее постоянно носить сарафан.

Князь Щербатов улыбнулся...

— Тогда и нам надо будет нарядиться в кафтаны?— возразил он не без иронии, взглянув на Аксакова.

— Да! — сказал К. Аксаков торжественным голосом, сверкнув глазами и сжав кулак,— и почему же не так?.. Скоро наступит время, когда все мы наденем кафтаны!

Князь Щербатов, при таком энтузиазме, поспешил удалиться.

— Что такое у Щербатова произошло с Аксаковым?— спросил кто-то у Чаадаева, бывшего свидетелем этой сцены.

— Право, я не знаю хорошенько,— отвечал Чаадаев, слегка улыбаясь,— кажется, Константин Сергеич уговаривал военного губернатора надеть сарафан... что-то вроде этого...

ГЛАВА II

Кетчер.— Несколько слов о кружке, к которому принадлежал он.— М. С. Щепкин и его семейство.— Поездка в Химки к нему на дачу.— Гоголь у Аксаковых.— Чтение I главы «Мертвых душ».— Представление «Ревизора» в присутствии автора.— Н. Ф. и К. К. Павловы.— Кетчер и Павловы.



Кружок Белинского был в очень коротких и близких сношениях с М. С. Щепкиным и его семейством. Я был знаком с Михайлом Семенычем еще до приезда моего в Москву и тотчас по приезде познакомился с его семейством.

У Щепкина часто сходились Катков, Белинский, братья Бакунины и Кетчер, переводчик Шекспира. Кетчер был домашним человеком в доме Щепкина. Он, впрочем, имел свойство делаться домашним человеком всюду, куда ни появлялся. С бесцеремонным участием он входил тотчас же во все семейные дела... Кетчер пользовался между всеми своими близкими и в кружке Белинского репутациею необыкновенно прямого, честного человека, готового хоть на плаху за друзей своих.

Наружность Кетчера не имела большой привлекательности; но простота его манер, доходящая до грубости, бесцеремонность обращения со всеми, впадающая в некоторый цинизм, резкая, непрошенная правда, которую он бросает в лицо и другу и недругу, крикливый голос, заглушающий все голоса, руки, вечно движущиеся и рассекающие воздух, как крылья ветряной мельницы, добродушный, но оглушающий хохот на каждом шагу, вырывающийся из огромного рта,— все это вместе, может быть, неприятно действует на людей нервических, но как-то располагает к нему невольно и внушает доверенность. Приятели Кетчера, подшучивая над ним, уверяли, что он только в месяц раз умывается и не имеет в заводе ни гребня, ни щетки, потому что никогда не чешет головы. Впрочем, гребень и не нужен ему, потому что волосы его, всегда подстриженные коротко, образуют на его голове щетинистую шапку.

Кетчер был приятелем Белинского и его друзей, но он, собственно, не принадлежал к их кружку...

За несколько лет до этого он сошелся с Искандером, когда еще тот был студентом Московского университета, и с его друзьями и товарищами по университету Огаревым и Сатиным.

...У них образовался свой кружок, главою которого сделался Искандер. С блестящими способностями, с пытливым умом, жаждавшим знания и не останавливавшимся ни перед какими преградами преданий, взращенный на французской литературе XVIII века, пылкий и остроумный, Искандер скоро обратил на себя внимание всей мыслящей Москвы... Среди юношеского разгула за бутылками шампанского, разливаемого Кетчером с криками и хохотом (Искандер и Огарев не имели недостатка в средствах), приятели горячо рассуждали о разных общественных, исторических и политических вопросах. Они принадлежали в то время к числу немногих у нас, постоянно следивших за политическим движением...

Искандер познакомился с Белинским, статьи которого начинали уже обращать на себя внимание; но они не могли сойтись в то время, как сошлись впоследствии.

Белинский и его кружок, занятый исключительно философскими отвлеченностями и категориями, весь погруженный в Гегеля, чуждый политических современных вопросов и движения, даже не замечавший их на высотах своего миросозерцания, не очень благосклонно поглядывал на кружок, образовавшийся под влиянием Искандера, который не увлекался немецкой философией и имел направление более практическое. Искандер и Белинский поговорили друг с другом и разошлись, конечно, с полным уважением друг к другу, но с убеждением, что им вместе делать нечего.

Белинский сожалел Искандера, Искандер еще более скорбел о Белинском... Вскоре, впрочем, судьба разбросала Искандера и его друзей по разным углам России. Кетчер один остался в Москве [161].

. . . .

Белинский любил Кетчера, но замечал иногда, что он «тяжело действует на его нервы». Он называл его *несносным крикуном* — в глаза. «Все они прекрасные люди,— говорил Белинский о кружке Искандера,— но

их привычки и вино, которое льется на их сходках,— все это не по моей натуре. Из них только один Искандер — человек необыкновенно замечательный, блестящий и остроумный».

...Каким образом и где я познакомился с Кетчером, я хорошенько не помню. Мне теперь кажется, что я знаком с ним с самого рождения. Знаю только то, что через пять минут после нашего знакомства мы были уже на *ты*, и Кетчер обращался в первый день знакомства со мною так же бесцеремонно, как с теми, с которыми он был дружен несколько лет... Я как теперь вижу его перед собою, с бутылкою шампанского в руке, наливающего мне стакан с диким хохотом и кричащего: «Ну, пей же, братец, пей!»

В июне месяце Щепкин с семейством переехал на дачу близ *Химок* (первая станция от Москвы), и мы отправились к нему с Белинским и Кетчером. Кетчер явился ко мне в черном плаще без воротника, подбитом красным стаметом, как дьявол в «Роберте» [162], и с корзинкою, из которой торчала солома.

— Что за корзинка?— спросил я его.

Кетчер захохотал во все горло.

— Ах ты, шут эдакой! — закричал он.— Кто ж об этом спрашивает? Натурально, это дорожный запас. У нас, брат, без этого никуда не ездят; тут две бутылки моих и две твоих,— понимаешь теперь?..

Всю дорогу Кетчер кричал без умолку, доказывая преимущества Москвы перед Петербургом во всех отношениях, и между прочим немилосердно ругал петербургских журналистов...

День был душный. Страшно парило. Пот лил с нас градом; я и Белинский задыхались от шоссейной пыли и не могли пошевелить ни рукой, ни ногой. Но на Кетчера ничто не действовало... Он все кричал, хохотал и размахивал руками... Когда мы подъезжали к дому, где жили Щепкины и которого не видно с большой дороги, Кетчер пребольно ударил меня по плечу.

— Вот и Химки!.. Смотри, смотри! Ну, есть ли что-нибудь подобное у вас в Петербурге?.. Ваши дачи— ведь это скверные карточные домики на тине и болоте,— а это, смотри — какая роскошь!..

Перед нами на холму был старый деревянный довольно большой помещичий дом, с прудом напереди

и с густым садом назади, из-за которого поднималась зеленая глава церкви. Пруд был в цвету. Поверхность его была покрыта круглыми листами, дорожки сада заросли, сад, разросшийся на свободе, начинал глохнуть... Место, действительно, было прекрасное. За садом гладкое необозримое поле, засеянное хлебом...

Когда мы свернули с большой дороги и спустились в овраг, кругом густо заросший деревьями, на нас так и пахнуло свежестию и запахом деревни. Поднимаясь на горку, мы увидели маленькую, круглую фигурку Щепкина, в летнем костюме и в соломенной шляпе с большими полями. Кетчер при этом встал в коляске, замахал руками и начал издавать какие-то крикливые звуки с хохотом...

Все это я помню живо, с мельчайшими подробностями, хоть 22 года прошло с тех пор!..

Михайло Семеныч встретил нас с распростертыми объятиями, и мы с каким-то наслаждением прикладывались к его мягким и полным щекам, дрожавшим при малейшем движении...

Щепкину было тогда лет за пятьдесят, и несмотря на свою тучность, он был еще очень бодр и жив.

Многочисленное семейство его едва помещалось в этом помещичьем деревенском доме. Кроме четырех его сыновей, из которых старший, Дмитрий, был уже на службе, а двое (Николай и Петр) студентами университета,— у него жили два молодых человека Барсовы, сироты, дети его сценического приятеля, и две пожилые девицы — сестры его, так же маленькие и толстенькие, как он, с мужскими манерами, не выпускавшие изо рту чубуков и немилосердно истреблявшие жуков табак... Старшая дочь Щепкина, болезненная и слабая, почти не выходила из своей комнаты; вторая, имевшая южный тип своей матери (женщины очень кроткой и симпатичной), уже дебютировала с успехом на московской и на разных провинциальных сценах... Она незадолго перед этим ездила с отцом в Казань, где произвела большой эффект... У нее в это время было множество поклонников и, между прочим, один из самых юных приятелей Белинского, принадлежавший к его кружку [163]. Незадолго до этого, кажет-

ся, и сам Белинский был не совсем равнодушен к ней. Меньшая дочь Щепкина была еще ребенком.

В комнатах был порядочный хаос, точно как будто семейство перебралось сюда накануне. В большой комнате в середине дома, из которой был выход через балкон в сад, был накрыт длинный стол... В этой же комнате лежал на полу огромный пуховик, на котором сидела одна из сестер Щепкина с длинным чубуком во рту.

Кетчер прежде всего позаботился, чтобы шампанское поставили на лед. Он расхаживал по всем комнатам, хохотал, кричал и отпускал дамам дешевые остроты, которыми сам был всех довольнее.

Между посторонними мы нашли здесь М. Н. Каткова, который был отчего-то в трагическом настроении: складывал руки по-наполеоновски, потуплял задумчиво голову и потом рассеянно поднимал ее, щуря свои маленькие глазки, ходил в отдалении от других, нахмуря брови, и бесился на Кетчера, который беспрестанно приставал к нему с шуточками, сопровождавшимися хохотом.

До обеда хозяин дома, его сыновья и Катков отправились купаться на пруд. Мы смотрели на них с берега. Щепкин-отец, великий мастер плавать, представлял нам разные фокусы на воде и между прочими остров: он весь скрывался в воде, обнаруживая только один круглый и полный живот свой.

За обедом Щепкин, с свойственным ему мастерством, рассказывал нам разные анекдоты и случаи из своей жизни, между прочим и *Сороку-Воровку*, которую впоследствии, со слов его, так хорошо изложил Искандер [164]. Кетчер разливал шампанское и кричал: «да ну, пейте же, пейте!», сам подавая пример всем. Он ходил кругом стола с бутылкою, как-то страшно размахивал ею, строго следя за непьющими, и останавливался перед недопитым бокалом с криками: «Это что такое? сейчас допивать! Дрянь вы! Сколько вас тут, а четырех бутылок не могут допить!»

Всякий раз, когда Кетчер проходил мимо Белинского, тот хмурил брови и беспокойно взглядывал на него, но Кетчер, смотря на него с сожалением и качая головою, говорил:

— Не бойся, не бойся, не налью... Уж я тебя не трогаю, черт с тобой!

Белинский однажды (это он сам мне рассказывал, говоря о Кетчере) серьезно поссорился с Кетчером, принуждавшим его пить, и взял с него слово, чтобы он никогда не приставал к нему с вином. С тех пор Кетчер постоянно обходил его с бутылкой, отпуская, впрочем, каждый раз на счет его какие-нибудь остроты...

В это время Щепкин был в полном расцвете своего таланта. Он производил тогда фурор в роле «городничего»... Влияние его на молодых людей, вступавших на сцену, было велико и благодетельно: он внушал им серьезную любовь к искусству и своими советами и замечаниями о игре их много способствовал их развитию. Щепкина ценили и любили все литераторы, и все были близки с ним. Шевырев отзывался об нем и его таланте с таким же энтузиазмом, как и Белинский... Блестящие рассказы Щепкина, исполненные малороссийского юмора, его наружное добродушие, вкрадчивость и мягкость в обращении со всеми, его пламенная любовь к искусству, о которой он твердил всем беспрестанно; толки о его семейных добродетелях, о том, что он, несмотря на свои незначительные средства и огромное семейство, содержит еще на свой счет сирот— детей своего товарища, и т. д.,— все это, независимо от его таланта, делало для тогдашней молодежи Щепкина лицом в высшей степени интересным и симпатичным... Темные слухи, робко выходившие откуда-то, о том, что Щепкин будто бы интриган и человек, умеющий ловко и льстиво подделываться к начальству и к сильным мира сего, были с негодованием заглушаемы... Для меня Щепкин казался идеалом артиста и человека. Я даже чувствовал к нему вроде сыновней нежности.

После «Ревизора» любовь Щепкина к Гоголю превратилась в благоговейное чувство. Когда он говорил об нем или читал отрывки из его писем к нему, лицо его сияло и на глазах показывались слезы — предвестники тех старческих слез от расслабления глазных нерв, которые льются у него теперь так обильно, кстати и некстати. Он передавал каждое самое простое и незамечательное слово Гоголя с несказанным

умилением и, улыбаясь сквозь слезы, восклицал: «Каков! каков!» И в эти минуты голос и щеки его дрожали...

После обеда, когда мы с старшим сыном Щепкина, погуляв по саду, возвратились в дом, я заметил во всех какое-то беспокойство... Катков был бледен, как смерть, и дышал неровно; около него ухаживал Кетчер с участием и с хохотом; Белинский, также несколько изменившийся в лице, тревожно прохаживался по комнате.

Мне стало неловко. Я понял, что тут происходит какая-то маленькая драма. Белинский вышел со мною в другую комнату...

— Пройдемтесь по саду,— сказал он мне.

Мы пошли в сад. Белинский молчал.

— Что такое с Катковым?— спросил я.

— С ним было дурно,— отвечал Белинский,— к тому же он еще совершенный ребенок и любит мелодраматические сцены...

Белинский остановился на этом. Я, разумеется, не расспрашивал его более и заговорил о другом...

Перед отъездом нашим Михайло Семеныч объявил мне, что он на днях будет обедать у Сергея Тимофеича с Гоголем (который только что приехал в Москву), и с таинственным тоном прибавил умиленным и дрожавшим голосом:

— Ведь он, кажется, намерен прочесть там что-то новенькое!..

Действительно, через несколько дней после этого Сергей Тимофеич пригласил меня обедать, сказав, что у него будет Гоголь и что он обещал прочесть первую главу «Мертвых душ».

Я ожидал этого дня с лихорадочным нетерпением и забрался к Аксаковым часа за полтора до обеда. Щепкин явился, кажется, еще раньше меня...

В исходе четвертого прибыл Гоголь... Он встретился со мною, как с старым знакомым, и сказал, пожав мне руку:

— А, и вы здесь... Каким образом? [165]

Нечего говорить, с каким восторгом он был принят. Константин Аксаков, видевший в нем русского Гомера [166], внушил к нему энтузиазм во всем семействе.

Для Аксакова-отца сочинения Гоголя были новым словом. Они вывели его из рутины старой литературной школы (он принадлежал к самым записным литераторам-рутинерам) и пробудили в нем новые, свежие силы для будущей деятельности. Без Гоголя Аксаков едва ли бы написал «Семейство Багровых»[167].

День этот был праздником для Константина Аксакова... С какою любовию он следил за каждым взглядом, за каждым движением, за каждым словом Гоголя! Как он переглядывался с Щепкиным! Как крепко жал мне руки, повторяя:

— Вот он, наш Гоголь! Вот он!

Гоголь говорил мало, вяло и будто нехотя. Он казался задумчив и грустен. Он не мог не видеть поклонения и благоговения, окружавшего его, и принимал все это, как должное, стараясь прикрыть удовольствие, доставляемое его самолюбию, наружным равнодушием. В его манере вести себя было что-то натянутое, искусственное, тяжело действовавшее на всех, которые смотрели на него не как на гения, а просто как на человека...

Чувство глубокого, беспредельного уважения семейства Аксаковых к таланту Гоголя проявлялось во внешних знаках с ребяческой, наивной искренностию, доходившей до комизма. Перед его прибором за обедом стояло не простое, а розовое стекло; с него начинали подавать кушанье; ему подносили любимые им макароны для пробы, которые он не совсем одобрил и стал сам мешать и посыпать сыром.

После обеда он развалился на диване в кабинете Сергея Тимофеича и через несколько минут стал опускать голову и закрывать глаза — в самом ли деле начинал дремать или притворялся дремлющим... В комнате мгновенно все смолкло... Щепкин, Аксаковы и я вышли на цыпочках. Константин Аксаков, едва переводя дыхание, ходил кругом кабинета, как часовой, и при чьем-нибудь малейшем движении или слове повторял шепотом и махая руками:

— Тсс! тсс! Николай Васильич засыпает!..

Об обещанном чтении Гоголь перед обедом не говорил ни слова; спросить его, сдержит ли он свое обещание, никто не решался... Покуда Гоголь дремал,

у всех только был в голове один вопрос: прочтет ли он что-нибудь и что прочтет?.. У всех бились сердца, как они всегда бьются в ожидании необыкновенного события...

Наконец Гоголь зевнул громко.

Константин Аксаков при этом заглянул в щелку двери и, видя, что он открыл глаза, вошел в кабинет. Мы все последовали за ним.

— Кажется, я вздремнул немного? — спросил Гоголь, зевая и посматривая на нас...

Дамы, узнав, что он проснулся, вызывали Константина Аксакова и шепотом спрашивали — будет ли чтение? Константин Аксаков пожимал плечами и говорил, что ему ничего неизвестно.

Все томились от этой неизвестности, и Сергей Тимофеич первый решился вывести всех из такого неприятного положения.

— А вы, кажется, Николай Васильич, дали нам обещание?.. вы не забыли его? — спросил он осторожно...

Гоголя подернуло несколько.

— Какое обещание?.. Ах, да! Но я сегодня, право не имею расположения к чтению и буду читать дурно, вы меня лучше уж избавьте от этого...

При этих словах мы все приуныли; но Сергей Тимофеич не потерял духа и с большою тонкостию и ловкостию стал упрашивать его... Гоголь отговаривался более получаса, переменяя беспрестанно разговор. Потом потянулся и сказал:

— Ну, так и быть, я, пожалуй, что-нибудь прочту вам... Не знаю только, что прочесть?..— И приподнялся с дивана.

У встрепенувшегося Щепкина задрожали щеки; Константин Аксаков весь просиял, будто озаренный солнцем; повсюду пронесся шепот: «Гоголь будет читать!»

Гоголь встал с дивана, взглянув на меня не совсем приятным и пытливым глазом (он не любил, как я узнал после, присутствия мало знакомых ему лиц при его чтениях) и направил шаги в гостиную. Все последовали за ним. В гостиной дамы уже давно ожидали его.

Он нехотя подошел к большому овальному столу перед диваном, сел на диван, бросил беглый взгляд на всех, опять начал уверять, что он не знает, что прочесть, что у него нет ничего обделанного и оконченного... и вдруг икнул раз, другой, третий...

Дамы переглянулись между собою, мы не смели обнаружить при этом никакого движения и только смотрели на него в тупом недоумении.

— Что это у меня? точно отрыжка? — сказал Гоголь и остановился. Хозяин и хозяйка дома даже несколько смутились... Им, вероятно, пришло в голову, что обед их не понравился Гоголю, что он расстроил желудок...

Гоголь продолжал:

— Вчерашний обед засел в горле: эти грибки да ботвиньи! Ешь, ешь, просто черт знает, чего не ешь...

И заикал снова, вынув рукопись из заднего кармана и кладя ее перед собою... «Прочитать еще «Северную пчелу», что там такое?..» — говорил он, уже следя глазами свою рукопись.

Тут только мы догадались, что эта икота и эти слова были началом чтения драматического отрывка, напечатанного впоследствии под именем «Тяжбы». Лица всех озарились смехом, но громко смеяться никто не смел... Все только посматривали друг на друга, как бы говоря: «Каково? каково читает?» Щепкин заморгал глазами, полными слез.

Чтение отрывка продолжалось не более получаса. Восторг был всеобщий; он подействовал на автора.

— Теперь я вам прочту, — сказал он, — первую главу моих «Мертвых душ», хоть она еще не обделана...

Все литературные кружки перед этим уже были сильно заинтересованы слухами о «Мертвых душах». Гоголь, если я не ошибаюсь, прежде всех читал начало своей поэмы Жуковскому. Говорили, что это произведение гениальное... Любопытство к «Мертвым душам» возбуждено было не только в литературе, но и в обществе.

Нечего говорить, как предложение Гоголя было принято его поклонниками...

Гоголь читал неподражаемо. Между современными литераторами лучшими чтецами своих произведений считаются Островский и Писемский: Островский читает без всяких драматических эффектов, с величайшею простотою, придавая между тем должный оттенок каждому лицу; Писемский читает, как актер,— он, так сказать, разыгрывает свою пьесу в чтении... В чтении Гоголя было что-то среднее между двумя этими манерами. Он читал драматичнее Островского и с гораздо большею простотою, чем Писемский...

Когда он окончил чтение первой главы и остановился, несколько утомленный, обведя глазами своих слушателей, его авторское самолюбие должно было удовлетвориться вполне... На лицах всех ясно выражалось глубокое впечатление, произведенное его чтением. Все были и потрясены и удивлены. Гоголь открывал для своих слушателей тот мир, который всем нам так знаком и близок, но который до него никто не умел воспроизвести с такою беспощадною наблюдательностию, с такою изумительною верностию и с такою художественною силою... И какой язык-то! язык-то! Какая сила, свежесть, поэзия!.. У нас даже мурашки пробегали по телу от удовольствия.

После чтения Сергей Тимофеич Аксаков в волнении прохаживался по комнате, подходил к Гоголю, жал его руки и значительно посматривал на всех нас... «Гениально, гениально!» — повторял он.

Глазки Константина Аксакова сверкали, он ударял кулаком о стол и говорил:

— Гомерическая сила! гомерическая!

Дамы восторгались, ахали, рассыпались в восклицаниях.

Гоголь еще более вырос после этого чтения в глазах всех... [168]

На другой день я с Константином Аксаковым отправился к Белинскому...

Аксаков передал ему о вчерашнем чтении с энтузиазмом, он говорил, что после первой главы «Мертвых душ» нельзя уже сомневаться в том, что Гоголь гений и что он подарит русскую литературу колоссальным произведением, в котором отразится вся Русь.

Белинский слушал Аксакова с жадностию и смотрел на нас с завистию.

— Черт вас возьми, счастливцы! — сказал он.— Я не знаю, чего бы я не дал, чтобы выслушать теперь эту главу...

Белинский в это время еще не был лично знаком с Гоголем. (Он познакомился с ним впоследствии в Петербурге у Прокоповича[169].) После выхода «Миргорода» Белинский поражен был художественной силой Гоголя, особенно выразившейся в «Старосветских помещиках» и «Невском проспекте». От «Ревизора» он был вне себя.

Значение этой комедии он понял один из первых. Пушкин восхищался только удивительным комизмом автора...

Замечательно, что когда впоследствии Белинский начал разъяснять великое общественное значение произведений Гоголя, Гоголь пришел в ужас от этих разъяснений и объявил, что вовсе не имел в виду того, что приписывают ему *некоторые* критики[170].

Гоголь, друг Жуковского и других литературных авторитетов, смотревших на Белинского очень неблагосклонно, между прочим боялся, кажется, что энтузиазм к нему молодого, не признаваемого ими критика может несколько окомпрометировать его в глазах их...

Сергей Тимофеич Аксаков уговорил Загоскина (который не слишком жаловал Гоголя) дать «Ревизора» на московской сцене по случаю приезда Гоголя в Москву...

Спектакль этот дан был сюрпризом для автора: Щепкин и все актеры наперерыв друг перед другом старались отличиться перед ним. Большой московский театр, редко посещаемый публикою летом, был в этот раз полон. Все московские литературные и другие знаменитости были здесь в полном сборе: в первых рядах кресел и в ложах бельэтажа. Белинский, Боткин и их друзья, еще не принадлежавшие тогда к знаменитостям, помещались в задних рядах. Все искали глазами автора, все спрашивали, где он? Но его не было видно. Только в конце второго действия его открыл Н. Ф. Павлов в углу бенуара г-жи Чертковой.

По окончании третьего акта раздались громкие крики: «Автора! Автора!» Громче всех кричал и хлопал К. Аксаков. Он решительно выходил из себя...

— Константин Сергеич!.. Полноте!.. поберегите себя!..— восклицал Николай Филиппович Павлов, подходя к нему, смеясь и поправляя свое жабо...

— Оставьте меня в покое,— отвечал сурово Константин Аксаков и продолжал хлопать еще яростнее.

— За что же сердиться? Я желаю вам добра... Вот,— продолжал он, обращаясь ко мне,— Константин Сергеич на меня сердится за то, что я уговариваю его умерить свой энтузиазм, который может повредить его здоровью... В самом деле, ведь это вредно для здоровья так выходить из себя? Правда? а?..

Гоголь при этих неистовых криках (я следил за ним) все спускался ниже и ниже на своем стуле и почти выполз из ложи, чтобы не быть замеченным.

Занавес поднялся.

Актер вышел и объявил, что «автора нет в театре».

Гоголь, действительно, уехал после третьего действия, к огорчению артистов, употреблявших все богом данные им способности для того, чтобы заслужить похвалу автора.

На публику этот отъезд произвел также неприятное впечатление; даже Константин Аксаков был недоволен этим.

— Нет, ваш Гоголь уж слишком важничает,— говорил ему Николай Филиппович,— вы его избаловали... Не правда ли? а?.. Согласитесь, что он поступил неприлично и относительно публики и относительно артистов?.. а? Правду ведь я говорю?

— Да, это он сделал напрасно,— заметил К. Аксаков с огорчением...[171]

Николай Филиппович Павлов сидел в первом ряду, в желтых перчатках, в лакированных сапогах, от время до время вынимал из кармана золотую табакерку и с какою-то особенною грациею понюхивал табак. В антрактах он прогуливался по театральной зале, заговаривая со всеми знаменитостями. Если бы я не имел удовольствия лично знать автора «Трех повестей», я принял бы его, наверно, за какого-нибудь знатного московского барина по его наружной изящности и особенным манерам.

Белинский, робкий, неловкий, не имевший никаких манер,— в поношенном сюртуке, застегнутом на все пуговицы,— был просто жалок, когда он стоял рядом с Павловым, благосклонно с ним разговаривавшим и подносившим ему свою золотую табакерку (Белинский нюхал табак).

Время, о котором я говорю, было самым цветущим временем Н. Ф. Павлова, незадолго перед этим вступившего в брачный союз с известною московскою поэтессою, девицею Яниш, которая, кроме своего таланта, владела еще тысячью душами крестьян и домом на Сретенском бульваре, с парадной лестницей и швейцаром...

Павлов победил ее своими «Тремя повестями», которые произвели фурор при своем появлении,— и она отдала свое поэтическое сердце и свою руку счастливому повествователю.

Когда Николай Филиппович представил меня своей супруге, я ощутил невольно некоторую робость...

Передо мною была высокая, худощавая дама, *вида строгого и величественного,* как леди Локлевен Вальтер-Скотта[172]. В ее позе, в ее взгляде было что-то эффектное, реторическое. Она остановилась между двумя мраморными колоннами, с чувством достоинства слегка наклонила голову на мой поклон и потом протянула мне свою руку с величием театральной царицы... Мне казалось, что мне следовало в эту минуту стать на колени, чтобы приложиться к ней,— однако я просто пожал ее.

Через пять минут я узнал от г-жи Павловой, что она пользовалась большим вниманием Алекс. Гумбольдта и Гете и что последний написал ей несколько строк в альбом...[173] Затем был принесен альбом с этими драгоценными строками... Через четверть часа Каролина Карловна продекламировала мне несколько стихотворений, переведенных ею с немецкого и английского...

Когда я короче познакомился с Каролиной Карловной, я заметил, что манеры ее, несмотря на их театральное величие, отзывались иногда не совсем приятною грубоватостию.

Однажды Н. Ф. Павлов, в гостиной дома Аксаковых, стоял перед зеркалом и натягивал желтые пер-

чатки. Он хотел отправиться куда-то. Супруги его не было... Она приехала после и вошла в гостиную в ту минуту, когда он охорашивался у зеркала... Она значительно мигнула г-же Аксаковой, приставила палец ко рту и, на цыпочках пробравшись к супругу, изо всей силы ударила его в спину.

Николай Филиппович вскрикнул во все горло, покорчиваясь обернулся назад, взглянул на свою супругу и сказал:

— А я думал, что это меня какой-нибудь солдат ударил в спину...

Каролина Карловна приезжала в Москву изредка. Она жила на даче по Владимирской дороге, и К. Аксаков раза два возил меня к ней... Я помню, что в один из этих приездов мы сидели втроем на балконе дачи и забавлялись шуточными переводами некоторых стихотворений Виктора Гюго, между прочим:

Ce siécle avait deux ans, Rome remplaçait Sparte... и т. д. [174]

Я помню два первые стиха нашего подстрочного перевода:

Сей век о двух годах. Рим Спарту заменил,
Под Бонапартом уж Наполеон сквозил...

Каролина Карловна находила эти стихи очень забавными и торжественно декламировала их, распростирая в воздухе правую руку.

Несколько лет после этого, в один из приездов моих в Москву, она жила на той самой даче в Соколове по петербургской дороге, которую занимал впоследствии Искандер [175]. В день ее рождения (кажется, в июле) я вместе с Сатиным приглашен был к ней обедать.

Мы приехали к четырем часам.

У подъезда и на крыльце нас встретили лакеи в летних платьях с гербовыми пуговицами... Чей герб был на этих пуговицах: Николая Филипповича или Каролины Карловны, или два их соединенные герба,— я не знаю [176].

Николай Филиппович повел нас в небольшую комнату, где находилось уже несколько гостей. На столе перед диваном стояла большая открытая шкатулка,

обитая внутри малиновым бархатом. Это был дамский дорожный несесер с вызолоченными вещицами, поднесенный Николаем Филипповичем супруге и поставленный здесь, вероятно, на удивление гостей.

Хозяин дома, до появления хозяйки, занимал нас рассказами... Николай Филиппович Павлов есть живое доказательство понятливости, ловкости и сметливости русского человека. Его назначали в актеры, и он получил первое образование в театральной московской школе. Можно представить себе, что́ это было за образование; притом сценического таланта у него не оказалось ни малейшего; но его бойкий ум, переимчивость, смелость, его замечательные способности обратили на него особенное внимание Кокошкина. Павлов выучился довольно порядочно по-французски и даже начал говорить очень недурно на этом языке... Он, кажется, занимался также и английским языком, доказательством чего служит его перевод «Венецианского купца» Шекспира. В доме Кокошкина, куда съезжалась вся аристократическая Москва, он приобрел знакомства, получил внешнюю полировку, превратился, наконец, в совершенного московского джентльмена — и оставил сцену. Кокошкин определил его на службу...

Павлов вышел в отставку и обратился к литературе... Имя его приобрело громкую известность «Тремя повестями». Либеральное направление этих повестей обратило на автора внимание правительства. Говорят, будто даже сам император удостоил их прочтения и, строго осудив их неблагонамеренное направление, заметил, чтобы посоветовать талантливому автору избегать впредь такого рода сюжетов, что он может заняться, например, описанием кавказской природы или чем-нибудь подобным... Этим повестям Павлов обязан, как я уже заметил, и браком своим с девицею Яниш...

У Павлова была всегда страсть к картам, которая развилась в нем сильнее при расширении его средств: говорят, что он проигрывал и выигрывал в вечер по 10 и 15 тысяч и расстроил состояние жены своей, от которой имел полную доверенность на управление ее имением. Отсюда начались между супругами весьма неприятные домашние сцены, окончившиеся, как из-

вестно, разрывом и большою неприятностью для Павлова. Это подало повод Соболевскому, отъявленному врагу его, написать следующие куплеты:

Ах, куда ни взглянешь,
Все любви — могила!..
Мужа мамзель Яниш
В яму посадила.
Молит эта дама,
Молит все о муже:
— Будь ему та яма
Уже, хуже, туже...
и т. д.[177]

Говорят, что известное четверостишие Соболевского:

Не в ту силу, что ты жалок,
Не даю тебе я палок,
Но в ту силу, что мне жалки
Щегольские мои палки —

было написано им также на Павлова. Откуда истекала ненависть Соболевского к Павлову, я не знаю; но известно, что Соболевский всегда носил с собою афишку, в которой был возвещаем бенефис каких-то трех посредственных актеров и в том числе Павлова. «Это я так берегу, на всякий случай,— говорил Соболевский,— если Павлов забывается, я обыкновенно вынимаю на этот случай эту бумажку и издалека молча показываю ее ему». Павлов, сделавшийся литератором и светским человеком, страшно боялся, чтобы ему напоминали о его прежнем поприще...[178]

Впрочем, Павлов пользовался вообще репутацией очень либерального и неподкупного человека,— по крайней мере, в кругу известных московских литераторов[179]. Он был очень хорош с Аксаковым, Хомяковым и Шевыревым, хотя имел совершенно западное воззрение и не разделял нисколько их славянофилизма.

В то время (это было в конце 40-х годов), когда мы с Сатиным приглашены были в Соколово праздновать рождение Каролины Карловны, семейные отношения супругов уже начинали колебаться. Г-жа Павлова взяла слово с своего мужа не брать в руки карт. Он держал это слово: сам точно не брал их в руки, но просил играть за себя других... Супруга не подозревала этой хитрости, и колебавшееся домашнее спокойствие кое-как еще поддерживалось... Я сказал, что мы

приехали в Соколово в четыре часа и что хозяин дома занимал нас более часа своими рассказами в ожидании супруги. Аппетит уже начал беспокоить нас, но в четверть шестого растворились двери — и Каролина Карловна, накрахмаленная и нарядная, появилась с большою торжественностию.

Она удостоила обратить на меня особенное внимание и предложила мне руку, чтобы пройтиться по саду.

Николай Филиппович с остальными гостями последовали за нами. Едва сделали мы несколько шагов, как Каролина Карловна объявила мне, что она пишет большую поэму под названием «Кадриль», и начала мне декламировать из нее отрывки наизусть с пафосом и с драматическими жестами. Мы обошли все аллеи довольно большого сада, а декламации не предвиделось и конца.

Николай Филиппович решился воскликнуть:

— Что же, Каролина Карловна, мы будем сегодня обедать? Уж шесть часов.

— Ну, прикажите подавать,— отвечала она и продолжала декламацию.

Наконец мы подошли к столу. В эту минуту в столовой появились маменька и папенька Каролины Карловны, старичок и старушка очень приятной наружности. Они очень скромно уселись за стол, с подобострастною любовию и уважением посматривая иногда на свою талантливую дочь, перед авторитетом которой они преклонялись безусловно. Отец Каролины Карловны имел слабость к живописи и малевал какие-то картины; мать вязала чулки и исполняла обязанность ключницы...

Дочь царила в доме и хлопотала только о том, чтобы придать ему аристократическую наружность и некоторого рода живописность. Она, говорят, даже осматривала туалет маменьки и папеньки перед их выходом к гостям...

Маменька была одета с немецкою аккуратностию и щепетильностью, в отлично сплоенном чепчике и в искусно гофрированном воротничке около шеи. Папенька в летнем пальто цвета небеленого батиста. Длинные серебряные его волосы с тщательным пробором на середине головы спускались до плеч. Эти две фигуры были точно сняты с какой-нибудь фламандской картины.

За обедом более всех говорила, конечно, сама хозяйка дома. Предметом ее разговора была литература и описание гениальных способностей ее сына...

Каролина Карловна выражала большое неудовольствие на Белинского, который неуважительно отзывался о поэтическом таланте Хомякова в «Отечественных записках», замечала, что каждый стих Хомякова звенит, как золото, и в доказательство продекламировала несколько стихотворений его. Затем она перешла к своему собственному таланту... В ту пору только что появились в «Отечественных записках» стихотворные пародии, и г-жа Павлова объявила, что недавно, гуляя по саду, она также вздумала импровизировать пародию — и надеется, что эта шутка не хуже петербургских пародий.

— Я вам прочту ее,— сказала она.

Она положила салфетку на стол и, приняв торжественный вид, начала декламировать...[180]

Николая Филипповича подергивало... Г-н и г-жа Яниш с благоговейным восторгом следили за дочерью.

Николай Филиппович, впрочем, сам в это время был еще в восторге от стихов своей супруги и нередко при ней читал нам наизусть ее стихи, причем она обыкновенно величественно улыбалась и значительно поглядывала на нас...

Кетчер был довольно близок с Павловым, но не любил бывать в его доме, потому что не чувствовал расположения к его супруге. Г-жа Павлова не могла также питать к нему особенной симпатии. Своей фигурой, своими жестами, своими криками, своим хохотом, своею непрошенною резкою правдою и вообще своею циническою бесцеремонностию — Кетчер был неудобен для дома с такой великосветской обстановкой... В его присутствии нарушалась щегольская чопорность и оскорблялась искусственность этого дома.

Что касается до меня, то я очень любил быть вместе с Кетчером у Павловых.

Контраст между им и хозяевами дома со всею их обстановкой был очень забавен. К тому же, надо сказать правду, без Кетчера у Павловых была тоска нестерпимая, потому что уж все в этом доме было как-то слишком изящно, чинно, прилично и рассчитанно...

ГЛАВА III

Воззрения Белинского и его кружка в 1839 г.— Встреча Белинского с студентом Кавелиным.— Мои письма к г. Краевскому о Белинском.— Отрывки из письма ко мне г. Краевского.— Мой отъезд из Москвы в деревню.— Возвращение в Москву.— Еще письмо г. Краевского.— Вечера у Боткина.— Статья Белинского по поводу книжки о «Бородинской годовщине».— Негодование Белинского против Менцеля.— Отъезд мой с Белинским из Москвы.

. . . .

К Белинскому я заходил каждое утро... Он очень хандрил и жаловался на боль в груди... Обстоятельства его были в это время печальные. Степанов, издатель «Московского наблюдателя», платил ему помесячно (да и то неаккуратно) какие-то ничтожные деньги за редакцию. Белинский сначала был увлечен мыслию стать во главе журнала, сотрудниками которого должны были сделаться все его молодые и талантливые друзья... Он твердо был убежден, что при их содействии, соединенном с его кипучей, энергической деятельностью, успех журнала будет несомненен... «Я покажу, чем должен быть журнал в наше время»,— писал он ко мне... Но надежды его не оправдались. Подписка на «Наблюдатель» оказалась незначительной, и при выходе пятой книжки все средства издателя уже совершенно были истощены. Причинами этого были: невозможность объявить о том, что журнал переходит под редакцию Белинского; непрактичность и издателя и редактора, пустивших очень небольшое число объявлений о преобразовании журнала, в которых притом глухо и неопределенно сказано было о переходе «Наблюдателя» от г. Андросова (бывшего редактора) под новую редакцию. Впрочем, и это, может быть, не зависело ни от издателя, ни от редактора. И наконец, то примирительное направление первых книжек возобновленного «Наблюдателя» — направление, которому публика никак не могла симпатизировать.

Сотрудники видели, что дело не ладится, и охладели к журналу. Белинский был недоволен составом первых книжек и совершенно упал духом. Между ним

и некоторыми из его друзей произошли недоразумения: с одним из них, Боткиным, как я говорил уже, Белинский в течение нескольких месяцев совсем не видался; Константин Аксаков начинал с ним внутренне расходиться, уже слишком склоняясь к славянофилизму...[181]

При таких неблагоприятных обстоятельствах Белинский задолжал в лавочку. В долг ему не хотели ничего отпускать. Обед его, при котором я не раз присутствовал, был и без того неприхотлив: он состоял из дурно сваренного супа, который Белинский густо посыпал перцем, и куска говядины из этого супа... Конечно, Белинский не мог умереть с голода — близкие люди не допустили бы его до этого; но жить благодеяниями — и еще при сознании своей силы и таланта, при уверенности, что он мог бы приобретать достаточно своими трудами — нелегко. Всякий дрянной фельетонист, с некоторым практическим тактом, был гораздо обеспеченнее Белинского, живя только одним своим ремеслом... При своих внутренних силах и энергии Белинский был бессильным ребенком в жизни, как многие, впрочем, умные люди, принадлежавшие к его поколению,— и вследствие этого легко и за ничтожную плату отдавался в руки спекуляторов, ужасаясь мысли умереть с голоду или жить благодеяниями, что еще хуже...

Через несколько времени после приезда моего в Москву Белинский уже объявил мне, что «Наблюдатель» продолжаться не может. Неуспех его он приписывал разным причинам,— но он в это время еще не подозревал, что в самом направлении, которое он хотел придать журналу, заключалась невозможность его успеха.

Увлекшись толкованиями Бакунина гегелевой философии и знаменитою формулою, извлеченною из этой философии, что (все действительное разумно),— Белинский проповедывал о примирении в жизни и искусстве, усиливаясь во что бы то ни стало, против своей натуры, сделаться консерватором, и с ожесточением ратовал за *искусство для искусства.* Он дошел до того (крайности были в его натуре), что всякий общественный протест против старого порядка казался ему преступлением, насилием; французская револю-

ция — делом нескольких экзальтированных людей, безумцев, осмеливавшихся посягнуть на разрушение государственного порядка, и смиренно преклонился перед всяким произволом, исходившим свыше... Он с презрением отзывался о французских энциклопедистах XVIII столетия, о критиках, не признававших теории «искусства для искусства», о писателях, заявлявших необходимость общественных реформ и стремившихся к новой жизни, к общественному обновлению. Он с особенным негодованием и ожесточением отзывался о Жорж-Санд. Искусство составляло для него какой-то высший, отдельный мир, замкнутый в самом себе, занимающийся только вечными истинами и не имевший никакой связи с нашими житейскими дрязгами и мелочами, с тем низшим миром, в котором мы вращаемся. Истинными художниками почитал он только тех, которые творили *бессознательно*. К таким причислялись Гомер, Шекспир и Гете. Гете назывался не иначе, как олимпийцем. Шиллер не подходил к этому воззрению, и Белинский, некогда восторгавшийся им, охлаждался к нему по мере проникновения своей новой теорией. В Шиллере не находил он того спокойствия, которое было непременным условием свободного творчества, того объективного, бесстрастного взгляда, который проявлялся в произведениях олимпийца Гете, за исключением, впрочем, 2-й части «Фауста», которая всегда казалась Белинскому сухой и мертвой символистикой... Пушкин, к великому, впрочем, сожалению Белинского и его друзей, также не совсем подходил под их теорию,— в нем не отыскивался элемент примирения, и потому стихотворения Клюшникова (*θ*), в которых ясно выражался этот элемент, были признаваемы Белинским и его кружком хотя уступающими Пушкину по обработке и форме, но несравненно более глубокими по мысли[182].

Светлый взгляд Белинского затуманивался более и более; врожденное ему эстетическое чувство подавлялось неумолимой теорией; Белинский незаметно запутывался в ее сетях, которые еще скреплял Бакунин. Его свободной, в высшей степени гуманной природе тяжело, неловко, тесно и душно было такое рабское подчинение философским категориям и формулам, в которых еще тревожно путался сам Бакунин.

К этому присоединились еще — неудача «Наблюдателя», долги, размолвки с приятелями. Я застал Белинского в напряженном, лихорадочном состоянии, которое я не мог не заметить, но приписывал это только его стесненному положению.

Через несколько времени после моего приезда в Москву Бакунин уехал, кажется, в деревню... С Боткиным Белинский не виделся (он снова сошелся с ним уже после возвращения моего из Казани). Его навещали только Клюшников и Кудрявцев, который был еще студентом [183]. Белинский, как я уже говорил в моих «Воспоминаниях» о нем, полюбил Кудрявцева за его эстетический вкус, за его, как он выражался, тонкую, нежную натуру. Они часто толковали о современных литературных деятелях и перечитывали лучшие, по их мнению, произведения русских поэтов. К числу таковых они причисляли так называемые патриотические стихи Пушкина («Бородинская годовщина» и к «Клеветникам России»), «Чернь», к «Поэту», «Пророк» и другие. Белинский с увлечением отзывался об этих стихотворениях и часто читал их наизусть, прибавляя обыкновенно в заключение:

— Вот где Пушкин является истинным, великим художником!.. . . . .

...Однажды вечером я возвращался откуда-то с Белинским домой. На Арбатской площади попался нам навстречу молодой человек небольшого роста, полный, румяный, очень приятной наружности, с вьющимися темными волосами, в очках. На нем был студентский сюртук.

Увидев Белинского, студент с юношеским неудержимым увлечением бросился к Белинскому, схватил с жаром его руку и воскликнул, запыхавшись:

— Виссарион Григорьич! Как я рад вас видеть, Виссарион Григорьич!..

— Ах, здравствуйте,— отвечал сухо Белинский, видимо смущенный таким внезапным нападением на него, и взглянул на студента холодно и резко, как бы спрашивая: «что вам от меня нужно?»

Студента, кажется, покоробило от этого взгляда; он произнес еще несколько слов и удалился, смущенный.

Мне стало жаль его...

— Кто это такой? — спросил я,— и отчего вы с ним обошлись так холодно?..

— Это бывший мой ученик,— отвечал Белинский,— Кавелин, мальчик очень умный, горячий, с большими способностями, подающий большие надежды; но я терпеть не могу, когда мальчишки пристают ко мне,— ну, о чем мне толковать с ними? Что я могу иметь с ними общего?

Студент этот был тот самый Кавелин, который через несколько лет после этого получил блестящую известность на кафедре Московского университета и присоединился к кружку Белинского. Кавелин припоминал не раз Белинскому об этой встрече, и оба они очень смеялись...

В этот вечер Белинский был очень не в духе, обнаруживал особенное раздражение и жаловался на боль в груди...

Когда я зашел к нему, он бросился в кресло, совершенно ослабленный и тяжело дыша. Несколько минут он не говорил ничего. Наконец, бледный, с страдающим лицом, он обратился ко мне.

— Нет,— сказал он,— мне во что бы то ни стало надобно вон из Москвы... Мне эта жизнь надоела, и Москва опротивела мне. Что, как вы думаете, можно будет как-нибудь уломать жида-Краевского?

Надобно сказать, что Белинский в первые же дни нашего знакомства, сообщая мне о погибели «Наблюдателя», объявил, что он не прочь был бы переехать в Петербург и принять на себя критический отдел в «Отечественных записках». Я не скрыл от него, как г. Краевский отзывается об нем.

— Он вполне надеется,— прибавил я,— что Межевич оживит его журнал своей критикой, и я оставил их в самом приятном и дружеском расположении.

Белинский горько улыбнулся.

— Ну, нечего сказать,— хорош ваш Краевский!.. Да ведь этот Межевич — бесталаннейший смертный, совершенная тупица... Межевич ничего не может сделать; ему понадобится непременно другой человек; а вы между тем намекните ему, что я не прочь... разумеется, за хорошее вознаграждение; напишите, что у меня есть статья о *Менцеле* — и расхвалите ее, разу-

меется, как можно больше, и прибавьте, что эту статью я предназначаю для его журнала... Она еще не написана,— ну, да это все равно. Сблизьте меня как-нибудь с ним да обделайте это дело половчее... Не говорите ему об моей нищете; он, пользуясь этим, еще, пожалуй, прижмет меня...

В письмах к г. Краевскому я говорил всякий раз что-нибудь о Белинском и его кружке... Г. Краевский между тем завел переписку с Катковым, который через меня обещал ему статью для журнала. Уже в первых письмах г. Краевского ко мне заметно было, что бессилие и неспособность Межевича начинали тревожить его, и я не сомневался, что только чувство собственного достоинства мешает ему обратиться прямо к Белинскому. Воспользовавшись этим, я написал г. Краевскому прямо, что Белинский предлагает ему свое сотрудничество, что недурно было бы, если он перепечатает в своих изданиях превосходную статью Белинского о «Сыне отечества» Полевого, что у Белинского есть статья о Менцеле, которая производит в Москве фурор и которую он не прочь был бы прислать в «Отечественные записки»...

В ответ на это я получил от него письмо (от 20 июня). Он писал мне, между прочим, следующее:

«Статья о «Сыне отечества» перепечатается (если она едка) в «Литературных прибавлениях» из «Наблюдателя» под таким названием: Справедливое суждение «Московского наблюдателя» о «Сыне отечества», в pendant к Справедливому суждению «Сына отечества» об «Отечественных записках», перепечатанному в «Пчеле»... [184]

«Прошу Белинского статью о Менцеле *и душевно рад его будущему сотрудничеству. Поклон ему от меня низкий* и вопрос: «как устроится это сотрудничество? по каким частям?» и проч.

Я тотчас же отправился с этим письмом к Белинскому. На Белинского оно произвело очень благоприятное впечатление. Он повеселел. Г. Краевский почувствовал необходимость прибегнуть к *крикуну-мальчишке* для поддержания своего журнала. Белинскому открывалась возможность оставить Москву и расплатиться с своими долгами. Перемена жизни улыбалась ему.

В письме г. Краевского была, между прочим, следующая приписка:

«Ради бога, скажите Каткову, что́ это он со мною делает? не шлет до сих пор окончания своей статьи! Я уж писал к нему об этом,— а он все медлит. О, Москва! Москва!..» [185]

Последнее восклицание очень понравилось Белинскому...

— Это правда,— заметил он,— все мы, москвичи,— прекрасные и умные люди, но всё делаем как-то спустя рукава. В нас недостает безделицы — настоящего практического смысла и настоящей деятельности... На словах мы герои, а чуть до дела...

Белинский не докончил фразы, махнул рукой и повторил, смеясь: «О, Москва! Москва!..»

Перед отъездом моим в Казань, в июле месяце, дело о переезде Белинского в Петербург было решено. Он принял условия г. Краевского: г. Краевский должен был ему выслать к осени вперед незначительную сумму на уплату долгов и на отъезд и обязался платить ему три тысячи пятьсот рублей ассигнациями в год, с тем, чтобы Белинский принял на себя весь критический и библиографический отдел «Отечественных записок». Мы решили ехать в Петербург вместе после возвращения моего из Казани в Москву.

. . . .

Я вернулся в Москву в начале октября.

10 октября я получил письмо от г. Краевского. Вот отрывки из него:

«Христа ради, хлопочите сами, подбейте Павлова и Погодина, чтоб вырвать у Гоголя статью для «Отечественных записок». Кстати. Я объявил было в «Литературных прибавлениях» о приезде Гоголя в Москву; но Плетнев сказал мне, что получил от него письмо с просьбою — никому не объявлять, что он в Москве... Жуковский сказывал мне, что Гоголь через месяц будет в Петербурге. Его статья необходима; надобно употребить все средства, чтоб получить ее. Не пишу к нему сам, потому что эти вещи не делаются через письма, особенно с ним. *Растолкуйте ему необходимость поддерживать «Отечественные записки» всеми силами*. Если же он сделался равнодушен к судьбам

«российской словесности», чего я не ожидаю, то *покажите ему вперед за статью хорошие деньги, в которых он, верно, нуждается*. Если ж ничто не возьмет, то надо дожидаться приезда его сюда и здесь напасть на него соединенными силами...» [186]

«...Виссариону Григорьичу низкий поклон и благодарение за статьи его. В статье о «Бородинской годовщине» Никитенко выкинул два места: что делать! Он не любит Европы и не хочет признавать, чтоб в ней было что-нибудь порядочное. Прочее все осталось так, как было, кроме отзыва о Жуковском, *который я посмягчил*. Статья о книге доктора Ратье также *изменена мною,* потому что один из здешних дельных врачей доставил мне о ней статью: ведь мы с Виссарионом Григорьичем в этом деле профаны, надо верить тому, кто лучше знает...» [187]

«Утешьте Виссариона Григорьича: *браниться можно* обиняками, как увидит он из статьи Ѳитабуки в «Литературных прибавлениях». * В статье его для «Литературных прибавлений» не делано было ни мною, ни Межевичем никаких прибавлений,— все это делал бич журналов — цензор Лангер, а в разборе «Стихотворений Леонова» (Каткова) — Никитенко...» [189]

«Убедите, бога ради, Каткова отыскать большое письмо, которое я посылал к нему еще в сентябре и которого, как видно из его писем, он не получал. Что же это такое, господи боже мой! Времени мало, урвешься написать — да и то пропадет! Я адресовал его на имя г. Боткина, как сам же Катков просил: отчего же оно пропало? Скоро буду к нему еще писать и уж адресую на имя Галахова. Авось будет вернее!»

«Поблагодарите г. Боткина за его премилую статью о музыке Лангера...» [190]

«Присылайте скорее стихов Аксакова, Павловой, Клюшникова и других. У меня нет стихов. Лермонтов отдал бабам читать своего «Демона», из которого я хотел напечатать отрывки, и бабы черт знает куда дели его; а у него уж, разумеется, нет чернового; таков мальчик уродился!..» [191]

---

* Статья эта против Греча была написана, кажется, самим г. Краевским, по крайней мере он очень гордился ею и часто ссылался на нее как на образец остроумной полемики [188].



Ив. Панаев

И. И. ПАНАЕВ

Гравюра Ф. Брокгауза. 1850-е годы



В. Г. БЕЛИНСКИЙ

Литография с оригинала К. Горбунова. 1843 год



Н. А. НЕКРАСОВ
Портрет работы И. Н. Крамского. 1877 год



А. И. ГЕРЦЕН и Н. П. ОГАРЕВ
С фото братьев Майер. 1860-е годы



Т. Н. ГРАНОВСКИЙ
Литография с дагерротипа. 1848 год

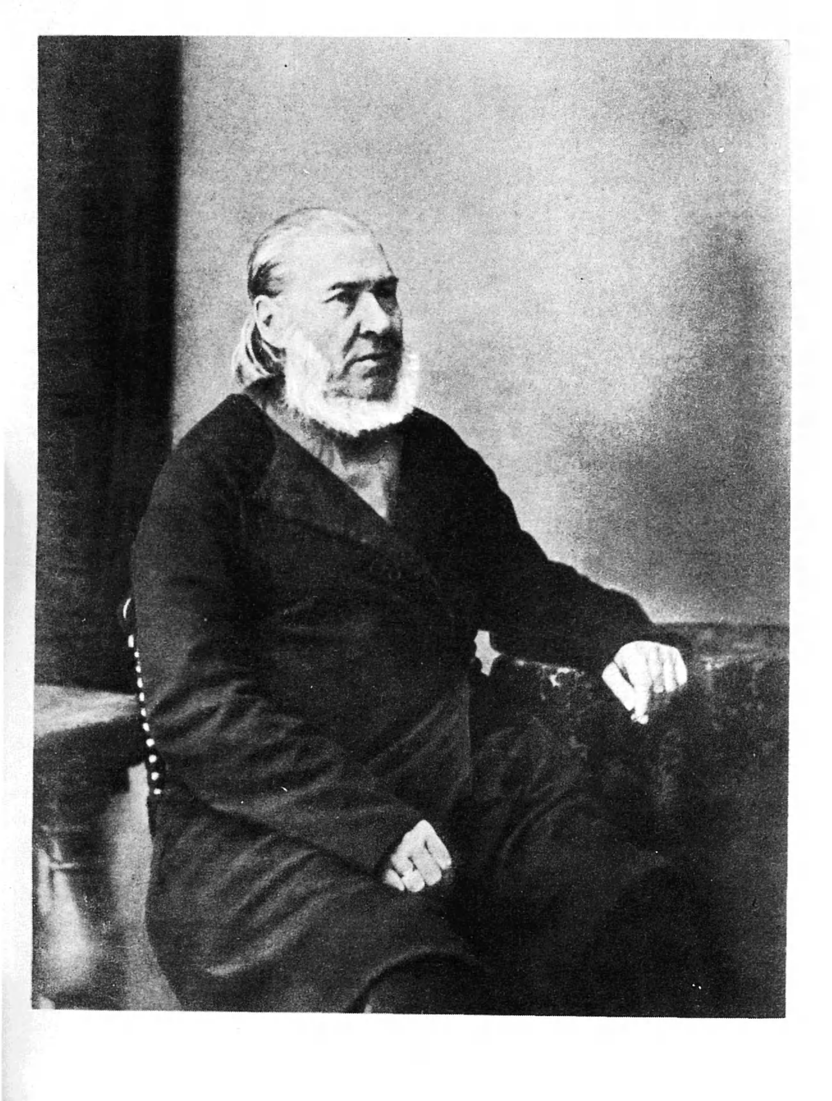


Е. Ф. КОРШ

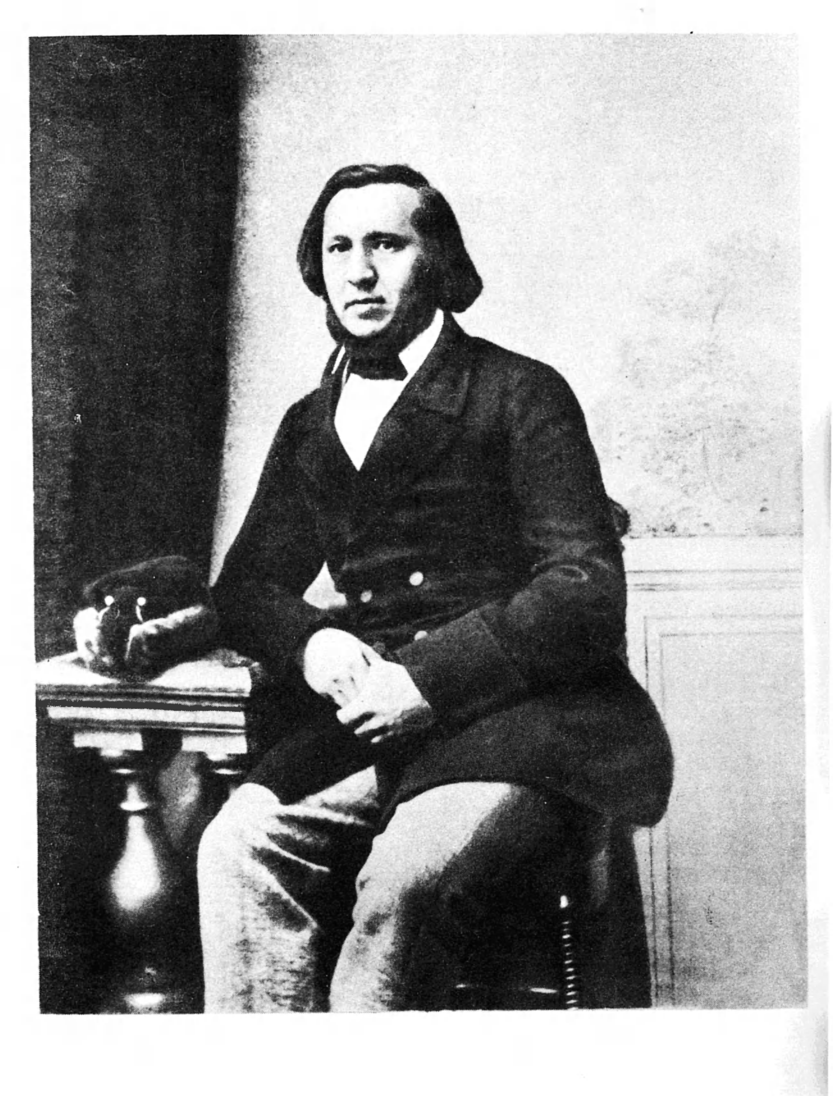
Автолитография К. Горбунова. 1845 год



Н. Х. КЕТЧЕР
Автолитография К. Горбунова. 1846 год



С. Т. АКСАКОВ
Фото А. Бергнера. 1850-е годы



К. С. АКСАКОВ

Фото А. Бергнера. 1850-е годы

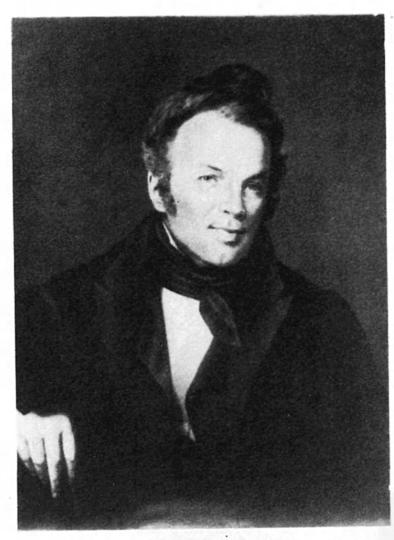


И. И. ПАНАЕВ

Акварель Н. Алексеева. 1840-е годы



В. А. СОЛЛОГУБ
Автолитография Вагнера. 1843 год



И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ
Портрет работы А. Тиранова [1835]



П. А. ПЛЕТНЕВ
Литография



В. Ф. ОДОЕВСКИЙ
Акварель А. Покровского. 1844 год



П. В. АННЕНКОВ

Литография А. Мюнстера по фотографии А. Деньера. 1850-е годы



М. Н. ЗАГОСКИН
Литография. 1820-е годы



Н. В. КУКОЛЬНИК
Рисунок К. Брюллова



М. С. ЩЕПКИН
Акварель А. Добровольского.
1839 год



М. И. ГЛИНКА
Рисунок неизвестного художника.
1837 год



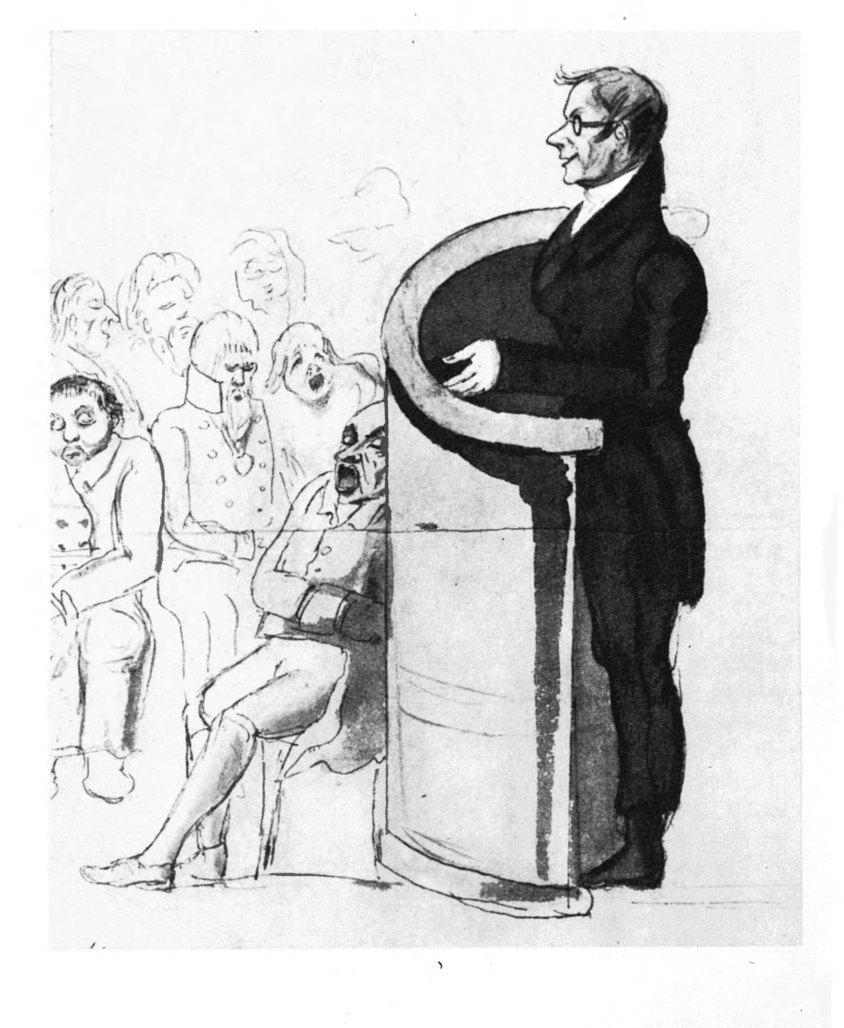


Н. Ф. ПАВЛОВ К. К. ПАВЛОВА

Рисунки Э. Дмитриева-Мамонова. 1848 год

В. П. БОТКИН, И. С. ТУРГЕНЕВ и А. В. ДРУЖИНИН

Рисунок Д. Григоровича. 1855 год



Н. А. ПОЛЕВОЙ
Карикатура Н. Степанова

ПЕТЕРБУРГ. НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

ПЕТЕРБУРГ. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

«...Жду вас и Виссариона Григорьича. Ради бога, приезжайте скорее...»

Далее в письме речь о каком-то доносе Булгарина.

Из этого письма видно, что между г. Краевским и кружком Белинского начались уже деятельные сношения...

По возвращении моем в Москву я, к великому удовольствию, увидел, что все недоразумения между Белинским, Боткиным и отчасти Катковым прекратились и что они находятся в полном мире и согласии.

Белинского я застал в очень хорошем расположении духа... Близость отъезда из Москвы и предстоящая перемена жизни оживляла его. Из всех друзей его только один Константин Аксаков смотрел на него с грустью, сожалением и отчасти с досадою. Он не понимал, как москвич может равнодушно оставлять Москву...

Друзья сходились большею частию по вечерам у Боткина... Разговор был постоянно одушевленный, горячий. Предметом его были толки об искусстве с точки зрения Гегеля: с этой точки строго разбирали Пушкина и других современных поэтов. Лермонтов с своим демоническим и байроническим направлением никак не покорялся этому новому воззрению. Белинского это ужасно мучило... Он видел, что начинающий поэт обнаруживает громадные поэтические силы; каждое новое его стихотворение в «Отечественных записках» приводило Белинского в экстаз,— а между тем в этих стихотворениях *примирения* не было и тени! Лермонтова оправдывали, впрочем, тем, что он молод, что он только что начинает, несколько успокоивались тем, что он владеет всеми данными для того, чтобы сделаться со временем полным, великим художником и достигнуть венца творчества — художественного спокойствия и объективности... Клюшников, сам имевший в себе частичку демонизма, очень симпатизировал таланту Лермонтова и довольно остроумно подсмеивался над некоторыми толками о поэте; Катков и К. Аксаков прочитывали свои переводы из Гейне, Фрейлихграта и из других новейших немецких поэтов. Катков обыкновенно декламировал с большим эффектом, принимая живописные позы, складывая руки накрест, подкатывая глаза под лоб...

Я никогда не забуду этих вечеров...

Сколько молодости, свежести сил, усилий ума потрачено на разрешение вопросов, которые теперь, через 20 с лишком лет, кажутся смешными! Сколько кипения крови, сколько увлечений и заблуждений!.. Но все это не пропало даром. До истины люди добираются не вдруг... Этот кружок займет важное место в истории русского развития... Из него вышли и выработались самые горячие и благородные деятели на поприще науки и литературы.

Я всей душою привязался к Белинскому и его друзьям. Пробужденная ими, моя мысль начала обнаруживать некоторую деятельность под их влиянием...

Через несколько дней после моего возвращения в Москву Белинский принес мне прочесть свою рецензию на книгу Ф. Глинки «Бородинская годовщина», которую он отослал для напечатания в «Отечественные записки».

— Послушайте-ка,— сказал он мне,— кажется, мне еще до сих пор не удавалось ничего написать так горячо и так решительно высказать наши убеждения. Я читал эту статейку Мишелю (Бакунину), и он пришел от нее в восторг,— ну, а мнение его чего-нибудь да стоит! Да что много говорить, я сам чувствую, что статейка *вытанцовалась...*

И Белинский начал мне читать ее с таким волнением и жаром, с каким он никогда ничего не читал ни прежде, ни после.

Лихорадочное увлечение, с которым читал Белинский, язык этой статьи, исполненный странной торжественности и напряженного пафоса, произвел во мне нервное раздражение... Белинский сам был явно раздражен нервически...

— Удивительно! превосходно! — повторял я во время чтения и по окончании чтения: — но... я вам замечу одно...

— Я знаю, знаю чтó, не договаривайте,— перебил меня с жаром Белинский,— меня назовут льстецом, подлецом, скажут, что я кувыркаюсь перед властями... Пусть их! Я не боюсь открыто и прямо высказывать мои убеждения, что бы обо мне ни думали...

Он начал ходить по комнате в волнении.

— Да! это мои убеждения,— продолжал он, разгорячаясь более и более...— Я не стыжусь, а горжусь

ими... И что мне дорожить мнением и толками черт знает кого? Я только дорожу мнением людей развитых и друзей моих... Они не заподозрят меня в лести и подлости. Против убеждений никакая сила не заставит меня написать ни одной строчки... они знают это... Подкупить меня нельзя... Клянусь вам, Панаев,— вы ведь еще меня мало знаете...

Он подошел ко мне и остановился передо мною. Бледное лицо его вспыхнуло, вся кровь прилила к голове, глаза его горели.

— Клянусь вам, что меня нельзя подкупить ничем!.. Мне легче умереть с голода — я и без того рискую эдак умереть каждый день (и он улыбнулся при этом с горькой иронией), чем потоптать свое человеческое достоинство, унизить себя перед кем бы то ни было или продать себя...

Разговор этот со всеми подробностями живо врезался в мою память. Белинский как будто теперь передо мною...

Он бросился на стул, запыхавшись... и отдохнув немного, продолжал с ожесточением:

— Эта статья резка, я знаю — но у меня в голове ряд статей еще больше резких... Уж как же я отхлещу этого негодяя Менцеля, который осмеливается судить об искусстве, ничего не смысля в нем! [192]

. . . .

...По мере приближения нашего отъезда в Петербург Белинский становился все оживленнее и веселее.

— Теперь уж я не ваш! — говорил он, смеясь, своим друзьям.— Я петербуржец... А вы — москвичи, провинциалы; да, ваша Москва — провинция, что вы ни говорите и как ни гордитесь ею...

Белинский глубоко благоговел перед реформою Петра I и оправдывал ее во всех ее крайностях. Петербург поэтому еще особенно привлекал его...

Кетчер кричал против Петербурга изо всей силы; К. Аксаков, ударяя себя в грудь, восклицал, что Москва выстрадала за Русь, что он искупительница России, что она ее центр, что вся святыня Руси хранится в Москве, а Петербург — город дворцов и казарм, временный лагерь.

— Ничего,— перебил Белинский,— придет время и Петербургу,— он еще молод... Петербург имеет уже

одно важное значение, что это — *окно, прорубленное Петром в Европу*[193].

К. Аксаков при этом выходил из себя. Хотя еще он не питал той непримиримой ненависти к Петру I, которая развилась в нем впоследствии,— но он и в это время уже не чувствовал к нему расположения...

...День нашего отъезда в Петербург, наконец, наступил. Нас провожали до Черной грязи Боткин, Кетчер и Катков.

Кетчер явился на наши проводы в своем красном плаще, с неизбежным хохотом и еще более неизбежной корзинкой, из которой торчала солома...

Мы, вероятно, долго пробыли бы на станции, потому что Кетчер, по своему обыкновению, расходился, кричал, потрясая бутылкой, подшучивал над Белинским, подавал ему советы, как забрать в руки Краевского — и все это сопровождал хохотом. Белинский, не терпевший шумных и длинных проводов, торопился ехать. Он был молчалив и грустен. Видно, что отрываться от своего кружка ему было нелегко... Боткин обнаруживал сильное нетерпение...

— Уж поезжайте лучше скорей, друзья,— повторял он, качая головою.— Проводы эти всегда ужасно тяжелы.

— К чему торопиться? вздор! — кричал Кетчер,— да вы не допили еще своих стаканов,— но Белинский решительно встал. Наша дорожная карета давно уже ожидала нас у подъезда.

— Ну, прощайте, господа,— сказал он,— не забывайте меня...

Все бросились обнимать Белинского. Боткин гладил его по затылку и по голове и, смотря на него с нежностию, говорил:

— Ну, я рад за тебя, Виссарион... Нам с тобой тяжело расставаться, голубчик, очень тяжело, ты это знаешь, но ведь тебе в Москве оставаться не для чего...

Катков энергически сжимал Белинского в своих объятиях и крепко, несколько раз поцеловал его.

Кетчер поднес ему стакан с шампанским.

— Ну, Виссарион, чокнемся,— сказал он.— Теперь ты *должен* выпить.

Белинский выпил стакан без противоречия.

— Молодец! — закричал Кетчер, целуя его.— Ну, теперь прощай, да смотри же, не поддавайся Краевскому...

Когда карета двинулась и мы высунулись в окно,— Боткин с нежною грустью смотрел на нас, махая своим платком, Кетчер кричал что-то и размахивал фуражкой, Катков стоял неподвижно со сложенными накрест руками, с надвинутыми на глаза бровями, провожая нас глубоким и задумчивым взглядом...

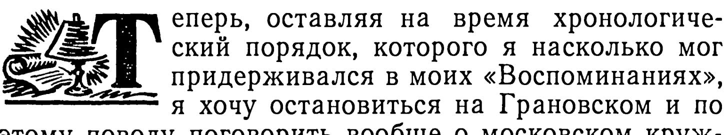
ГЛАВА IV

Клюшников, Кетчер и Бакунин и вообще их московский кружок [194].

. . . .
. . . .
. . . .

ГЛАВА V

Грановский и московский кружок.



Теперь, оставляя на время хронологический порядок, которого я насколько мог придерживался в моих «Воспоминаниях», я хочу остановиться на Грановском и по этому поводу поговорить вообще о московском кружке. Я не имею претензии представить полный образ этого человека, рассмотреть со всех сторон эту замечательную личность — указывать на значение Грановского как профессора, разбирать его исторические труды и т. д. Я очень хорошо знаю, что это мне не по силам. Я просто и откровенно выскажу о нем то, что знаю. Если в этом слабом очерке найдется хоть одна незамеченная и новая черта, которая пригодится для его будущей биографии,— я буду доволен и этим...

Когда я возвратился из Казани в Москву, Грановский незадолго до меня приехал в Москву из-за границы, где он пробыл три года (с 1836—1839). Он тотчас же сошелся с Белинским и с его друзьями. Они были близки ему уже по Станкевичу, с которым он познакомился за границей и к которому привязался всей силой души [195].

Первая новость, встретившая меня в кружке Белинского, это был приезд Грановского...

— Нашего полку прибыло,— сказал мне Белинский,— Грановский здесь. Какой гуманный, симпатичный человек! Я почти не встречал еще в жизни человека, кроме Станкевича, который бы с первой минуты так располагал к себе, как он... Недаром Станкевич так любил его и так горячо писал нам об нем. Действительно, это человек с избранной натурой...

Люди самых противуположных мнений сходились в мнении о Грановском. На вечере у Мельгунова — Шевырев, Хомяков и Павлов отзывались об нем почти точно так же, как Белинский.

Приезд его вообще произвел большой эффект в московских ученых и литературных кружках.

— Я сказал Грановскому, что вы здесь,— сказал мне Белинский,— он желает с вами познакомиться и хочет зайти к вам. Предупредите-ко его.

Любопытство мое насчет Грановского было возбуждено сильно, и я на другой же день отправился к нему, не застал его дома и оставил карточку.

Он жил тогда на казенной квартире, в доме бывшего Московского благородного пансиона, на Тверской.

Грановский отплатил мне визит в тот же день. Я жил наискосок от него — в гостинице Копа...

Грановскому было тогда лет около тридцати.

Черты лица его были крупны и неправильны: нос и губы толстые — лицо это не имело той вульгарной, внешней красоты, которая поражает с первого раза; но его большие, глубокие, темные глаза с меланхолическим оттенком, с надвинутыми густыми и широкими бровями, его открытый лоб, почти черные волосы, зачесанные назад и доходившие до плеч, его грустная, добродушная, кроткая улыбка — все это вместе поражало той внутренней красотой, в которую чем более вглядываешься, тем более она кажется привлекательною... В его движениях, взглядах, голосе, манере говорить (он несколько пришепетывал, что́ нисколько не портило его) было что-то неотразимо симпатичное. Все женщины были от него в восторге; все мужчины, даже враждебные его убеждениям, не могли не питать к нему личной симпатии.

Всегда несколько робевший перед авторитетами, я сначала смутился было перед новым возникавшим авторитетом молодого профессора, но он так мило и просто обошелся со мною, что после первых объяснений я почувствовал себя совершенно легко и свободно [196].

Предметом нашего разговора был наш общий знакомый, приятель его и Станкевича, Я. М. Неверов.

После этого я встречался с Грановским на вечерах у Боткина.

Грановский, впрочем, не часто посещал в это время кружок Белинского. Нет сомнения, что он симпатизировал людям, но не мог никак симпатизировать их тогдашним убеждениям. Грановского интересовали более человеческие дела, чем философские отвлечения.

Он, как прекрасно выразился кто-то, «думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду» [197]. С его светлым воззрением на современную гражданственность, основанным на историческом знании и изучении, те убеждения, до каких дошли Бакунин и Белинский, опираясь на отвлеченные, философские толкования, должны были казаться ему дикими...

Грановский, впрочем, не высказывался. Он, вероятно, угадывал, что убеждения эти — только минутное заблуждение. Он видел экзальтацию Белинского... и не хотел даже слегка касаться его больной стороны.

К тому же Грановский, мягкий по своей натуре, наделенный большим тактом в обращении с людьми, любящий и снисходительный, понимал, может быть, что ему не совсем выгодно,— несмотря на то, что истина была на его стороне,— вступать в споры с таким яростным бойцом, каков был Белинский, и с таким несокрушимым диалектиком, каков был Бакунин.

Таким образом, Грановский расстался с Белинским, уезжавшим в Петербург, без всяких объяснений. Их короткие, дружеские отношения начались уже после, когда кружок Белинского слился с кружком Искандера.

Месяца через три после отъезда Белинского в Петербург Грановский познакомился с Искандером в проезд сего последнего из Владимира в Петербург [198].

«Мельком видел я его тогда,— говорит Искандер,— и только увез с собой во Владимир благородный

образ и основанную на нем веру в него как в будущего близкого человека. Предчувствие мое не обмануло меня. Через два года (в 1842 г.), когда я побывал в Петербурге и, второй раз сосланный, возвращался на житье в Москву, мы сблизились тесно и глубоко».

«Он был,— продолжает Искандер,— звеном соединения многого и многих и часто примирял в симпатии к себе целые круги, враждовавшие между собой, и друзей, готовых разойтись. Грановский и Белинский принадлежат к самым светлым и замечательным личностям нашего круга, несмотря на то, что в них было много непохожего».

Нельзя лучше характеризовать Грановского, как характеризует его Искандер.

«Грановский,— говорит он,— напоминает мне ряд задумчиво-покойных проповедников времен реформации; не тех бурных, грозных, которые в гневе своем чувствуют вполне свою жизнь, как Лютер; а тех ясных, кротких, которые так же просто надевали венок славы на свою голову, как и терновый венок. Они невозмущаемо тихи, идут твердым шагом, но не топают; людей этих боятся судьи, им с ними неловко; их примирительная улыбка оставляет по себе угрызение совести у палачей.

Таков был сам Колиньи, лучшие из жирондистов; и действительно, Грановский по всему строению своей души, по ее романтическому складу, по нелюбви к крайностям — скорее был бы гугенот и жирондист, нежели анабаптист или монтаньяр»...[199]

Грановский и Искандер привязались друг к другу сильно, несмотря на несходство своих характеров и отчасти воззрений, как оказалось впоследствии. Грановский с своей кроткой и мягкой натурой робко отступал перед суровой логикой Искандера и перед тем, что Искандер называл «бесстрастной объективностию природы»... Искандер шел вперед грудью, напролом, не отступая ни перед чем, не пугаясь никаких выводов, как бы они ни были безотрадны. Отсюда впоследствии должна была произойти между ними неизбежная размолвка.

Но как глубока была привязанность Грановского к Искандеру и Огареву доказывают следующие строки

из письма его к Искандеру через два года после отъезда Искандера за границу (в 1849 г.):

«На дружбу мою к вам двум ушли лучшие силы моей души. В ней есть *доля страсти,* заставлявшая меня плакать в 1846 г. и обвинять себя в бессилии разорвать связь, которая, по-видимому, не могла продолжаться. Почти с отчаянием заметил я, что вы прикреплены к душе моей такими нитками, которых нельзя перерезать, не захватив живого мяса...»

В первые годы знакомства Грановского с Искандером между ними существовала, впрочем, полнейшая гармония... В политических убеждениях они всегда сходились; до глубоких же внутренних вопросов касались или слегка, или вовсе не касались; к тому же Искандер в то время еще не доходил до беспощадной крайности своих воззрений и до того желчного сарказма, который проявился у него потом...

...Искандер глубоко уважал Белинского, видел, каким мощным полемическим талантом владеет он, сколько энергии в душе его, и скорбел, что эта энергия растрачивается на поддержку отживающих идей... В статье моей о Белинском я говорил о первом посещении Белинского Искандером в январе 1840 года... Объяснение между ними последовало тотчас, иначе и быть не могло. Искандер высказал Белинскому, что он идет по ложной и опасной дороге и бог знает до чего может дойти по ней... Он даже прямо высказал ему — до чего... Белинский был уязвлен глубоко, он почувствовал, что в жестких словах Искандера было много правды, но еще упорно отстаивал свой образ мыслей, несколько успокоивая себя тем, что взгляды Искандера узки, что его миросозерцание не просветлено гегелевской философией и т. д. Он был видимо поколеблен.

После отъезда Бакунина в Берлин и сближения с Искандером Белинский впадает в тоску и апатию — предвестницу внутреннего переворота. Он борется с собою до конца 1841 года, но во второй приезд Искандера в Петербург, в 1842 году, он крепко жмет ему руку, обнимает его и, улыбаясь, говорит ему: «Ты победил, галилеянин!» [200]

С этой минуты Белинский воскресает духом, он дышит легче и свободнее, он уж не насилует своей рево-

люционной натуры. Он делается ожесточенным, неумолимым противником тех идей, которые за год перед тем проповедывал с такою горячностию и искренностию. Он употребляет все свои способности и силы для искупления этих прошлых заблуждений, о которых он вспоминает с болью и негодованием. С этой минуты он совершенно сходится с Искандером, Грановским и другими...

Кружок расширяется и приобретает бо́льшее значение и силу... К нему присоединяются, кроме молодых профессоров Московского университета, вернувшихся из-за границы (Каткова[201], Редкина и других), все передовые тогдашние люди — Белинский, Искандер, Боткин, Огарев, Галахов, Евгений Корш и многие другие...

...Е. Корш, с которым Грановский до отъезда своего за границу дружно работал вместе для «Библиотеки для чтения» Сенковского, около этого времени поселяется в Москве. С Коршем до кончины своей Грановский остается в самых близких отношениях...

Е. Корш, уступавший многим относительно литературной деятельности, был одним из самых приятных собеседников кружка. Его отсутствие чувствовалось даже при Искандере, который, по выражению Корша, всегда заливался и звонил, как колокольчик. В этом серебряном звоне было столько силы, блеска, ума, иронии, знаний, что он никогда не мог надоесть. Его можно было слушать бесконечно и заслушиваться. Он с неподражаемою ловкостию умел переходить от шутки к делу. Его блестящая речь играла и искрилась, как шампанское, которое он так любил... Корш, с своим неглубоким, хотя метким умом, быстро подмечал смешные стороны всех друзей, даже не исключая Грановского и Искандера, и очень едко острил над всеми, еще *пришпиливая,* по чьему-то удачному выражению[202], свои остроты заиканьем, которое придавало большую оригинальность его разговору, его замечаниям и шуточкам.

Присутствие Грановского все сливало в какую-то гармонию, на все накладывало тонкий, поэтический колорит, смягчало резкости, примиряло диссонансы и даже смиряло Кетчера, которого перекричать и смирить было трудно...

Приятели собирались часто то у Боткина, то у Кетчера, то у Искандера (всего чаще) и у Грановского, который только что женился. Искандер сделал удивительно тонкую и меткую характеристику домашнего быта Грановского, и я позволю себе снова прибегнуть к нему.

«Жена его (Грановского),— говорит он,— была очень молода и еще не совсем сложилась; в ней еще был тот особенный элемент отроческой нестройности, даже апатии, которая нередко встречается у молодых девушек с белокурыми волосами и особенно германского происхождения. Эти натуры, часто даровитые и сильные, поздно просыпаются и долго не могут придти в себя. Толчок, заставивший молодую девушку проснуться, был так нежен и так лишен боли и борьбы, пришел так рано, что она едва заметила его. Кровь ее продолжала медленно и покойно переливаться по ее сердцу».

«Любовь Грановского к ней была тихая, кроткая, больше глубокая и нежная, чем страстная. Что-то спокойное, трогательно-тихое царило в их молодом доме. Душе было хорошо видеть иной раз возле Грановского, поглощенного своими занятиями, его высокую, гнущуюся, как ветка, молчаливую, влюбленную и счастливую подругу. Я и тут, глядя на них, думал о тех ясных и целомудренных семьях первых протестантов, которые безбоязненно пели гонимые псалмы, готовые рука в руку, спокойно и твердо идти перед инквизитора».

«Они мне казались братом и сестрой, тем больше, что у них не было детей...»

. . . .

На сходках друзей быстро обменивались мысли и знания, среди острот, шуток, неистовых и неизменных криков Кетчера: «Эй вы! что ж вы бокалы-то свои забываете?.. Допивайте!.. Допивайте!..» Друзья сообщали друг другу новости, все прочитанное и узнанное ими, спорили; «вырабатываемое каждым делалось достоянием всех» — по выражению Искандера.

Грановский между тем приобретал все бóльшую известность на своей кафедре, возбуждая к себе любовь и энтузиазм своих слушателей...

Весною 1843 г. он открыл публичный курс «Средневековой истории Франции и Англии». Вся блестящая Москва съехалась на эти лекции, как будто сговорившись заранее; дамы занимали половину аудитории. Грановский серьезно и смело для того времени проводил свои воззрения. Начальство, правда, косилось уже на него, но явно придраться к нему не могло. Успех этих лекций был колоссальный. По окончании последней лекции энтузиазм выразился, как обыкновенно, хлопаньями, криками, пожатиями руки профессора и чуть не бросанием на воздух чепцов со стороны барынь... Все теснились около профессора, изъявляя ему свой восторг, свое участие... Грановский был глубоко тронут. Ему даже не дали досказать заключительных, благодарственных слов. На крыльце его ожидали студенты и вынесли его на руках на улицу.

Популярность Грановского в Москве упрочилась этими лекциями... Шевырев, вообще не питавший к Грановскому большого расположения, после этого не мог скрывать более свою зависть и злобу,— он стал тайно интриговать против Грановского в университете и открыто, вместе с своим другом Погодиным, нападать на него в «Москвитянине». Нападки эти были нелепы и грубы... Грановского обвиняли в *западничестве,* а на языке этих господ быть западником значило быть почти врагом отечества.

Дело дошло до того, что Грановский на одной из своих лекций во время вторых своих публичных чтений в 1844 г. адресовался открыто к славянофилам:

«Да отчего же я должен питать ненависть к Западу? — спросил он у них.— И добросовестно ли было бы с моей стороны, ненавидя Запад, взяться за преподавание его истории?..»[203]

Публика и студенты были, конечно, на стороне Грановского. Благороднейшие из славянофилов (К. Аксаков, Хомяков, Киреевские) видели, как аляповато и неловко нападают на Грановского их собраты по убеждениям, и старались, по окончании второго курса публичных лекций Грановского, сделать попытку к примирению. Они изъявили желание принять участие в обеде, который давался в честь Грановского, и уговорили Шевырева и Погодина присутствовать на этом обеде...

...Я приехал в Москву накануне этого обеда и был на последней лекции Грановского.

Грановский не имел на кафедре блестящего ораторского таланта, поражающего с первого раза; но в манере изложения его было столько простоты, увлекательности, пластичности и внутреннего сосредоточенного жара, который выражался в его прекрасных и грустных глазах; в его тихом голосе было столько симпатии, что, смотря на него и слушая его, я не удивлялся тому всеобщему энтузиазму, который производил он своими лекциями...

После шумных изъявлений восторга, рукоплесканий и криков (всех шумнее обнаруживали свой восторг из дам К. К. Павлова, а из кавалеров — Кетчер) все отправились прямо в дом, где приготовлен был обед в честь профессора. Распорядителями этого обеда со стороны западников был Искандер, со стороны славянофилов К. С. Аксаков или Хомяков — я хорошенько не помню[204].

Стол был накрыт покоем. На почетном месте, в середине стола, сидел Грановский, возле него Шевырев. Мне досталось место против них. За обед сели в три часа.

В половине обеда начались тосты. Первый тост был за Грановского, сопровождавшийся громкими единодушными криками западников и славянофилов. Грановский благодарил и предложил тост за Шевырева. Третий тост был за университет.

После этого поднялся Константин Аксаков. С энергически сжатым кулаком и сверкающими глазками, громким, торжественным голосом, ударив кулаком по столу, он произнес:

— Милостивые государи! я предлагаю вам тост за Москву!

Тост этот был принят всеми с энтузиазмом... и в эту самую минуту раздался звон колоколов, призывавших к вечерни.

Шевырев, воспользовавшись этим, произнес своим певучим и тоненьким голосом:

— Слышите ли, господа, московские колокола ответствуют на этот тост!..

Эта эффектная выходка с одной стороны возбудила улыбку, с другой — восторг. Константин Аксаков

подошел к Шевыреву, и они бросились в объятия друг друга...

Затем Константин Аксаков произнес с необыкновенным пафосом известные стихи свои к Москве, начинающиеся так:

Столица древняя, родная,
Тебя ль не ведает страна?
Тебя назвать — и Русь святая
С тобою вместе названа... и т. д. [205]

После этих стихов Шевырев в свою очередь подошел к Аксакову и начал прижимать его к груди своей...

Когда шум и славянофильские восторги смолкли, кто-то из западников сказал:

— Милостивые государи! я предлагаю тост за всю Русь, не исключая и Петербурга...

Г. Шевырев вдруг изменился в лице при этих словах...

— Позвольте, я прошу слова! — воскликнул он, вскакивая с своего стула...

Все смолкли и обратились к нему. Он начал:

— Милостивые государи! позвольте заметить, что тост, предложенный нам сейчас — бесполезен, ибо уже в тосте за Москву, который был принят всеми без исключения с таким единодушным энтузиазмом, заключался тост всей России. Москва — ее сердце, милостивые государи, ее представительница. Москва, как справедливо заметил Константин Сергеич Аксаков в превосходной статье своей, помещенной в № «Московских ведомостей» (номер я забыл), поминала ежедневно на перекличке все русские города.— И пошел, и пошел...[206]

Когда красноречивый оратор Москвы кончил, я обратился к нему:

— Позвольте вам сказать, что Москва не поминала на своей перекличке Петербурга,— по очень естественной причине, что Петербург не существовал тогда. За что же вы хотите исключить Петербург из общего тоста?

— Я с большим удовольствием выпью за ваше здоровье, г. Панаев,— отвечал мне Шевырев, протягивая свой бокал и чокаясь с моим бокалом...

— За Петербург! за Петербург! — кричали юные западники, и даже Кетчер заорал громче всех — «за Петербург!» — только в контру Шевыреву, потому что Кетчер не терпел Петербурга так же, как и Шевырев, хотя и смеялся над славянофилизмом...

Западники обнаружили сильное желание развернуться, но Грановский смягчил их своим кротким и умоляющим взглядом, да и сами они поняли, что Грановскому было бы крайне неприятно, если бы они пиршество, данное в честь его, превратили в два враждебные лагеря.

Обед кончался. Уже многие встали с своих мест. Тосты, впрочем, продолжались. Славянофилы обнимались с западниками. Зала гудела от говора, от времени до времени раздавался дикий хохот Кетчера и его крики: «Пей же, пей!»

Шум еще увеличился, когда все встали из-за стола и смешались...

К. Аксаков, с которым я не видался более четырех лет (он жил в это время с семейством в своей подмосковной) встретил меня на этом обеде с явною холодностью и избегал разговора.

Я спросил его: — Какая причина этому?..

— Лично против вас я ничего не имею,— откровенно отвечал мне Аксаков, пожимая мою руку,— но,— прибавил он с добродушною суровостию,— к вам как к петербургскому литератору я не могу питать никакой симпатии. Ваш Петербург извращает людей... Что сделали вы с Белинским? Можно ли было ждать, чтобы после наших дружеских отношений он позволил себе против меня такие выходки...

Какие выходки — я не знал; но я возразил Аксакову, что Белинский восставал не лично против него, а вообще против всей его партии, против «Москвитянина» в особенности, который зацеплял его очень неделикатно.

Но Аксаков горячился и отзывался о Белинском с желчью [207].

Примирение на этом обеде славянофилов с западниками со стороны большинства было, может, искренно, но непродолжительно. Полемика между двумя этими партиями сделалась еще ожесточеннее прежнего.

Над этим минутным и неудавшимся примирением очень справедливо подсмеивался Белинский.

— Дети, дети! — говорил он о Грановском и Искандере.— Им только бы придраться к какому-нибудь случаю, чтобы лишний раз выпить и поболтать... Какое это примирение? И неужели Грановский серьезно верит в него? Быть не может!.. Сколько ни пей и ни чокайся, это не послужит ни к чему, если нет в людях никакой точки соприкосновения, никакой возможности к уступке с той или с другой стороны. Для меня эти лобызания в пьяном виде — противны и гадки...

Белинский изъяснялся еще резче в своих письмах к московским друзьям по поводу этого мнимого примирения [208].

Примирительный обед так раздражил его, что после него он стал писать в «Отечественных записках» против славянофилов еще злее.

Грановскому сначала это было неприятно. По мягкости своего характера он, кажется, полагал, что *дурной мир лучше доброй ссоры,* и даже старался иногда оправдывать перед своими друзьями Шевырева, своего непримиримого врага...

Но когда появились бессильные и гадкие стихи Языкова под заглавием: «Не наши», в которых прежний поэт разгула и свободы, *сделавшийся,* как выразился очень удачно Искандер, *славянофилом по родству* (Хомяков был женат на его сестре), намекал на Чаадаева — как на отступника, на Грановского — как на лжеучителя, губящего юношество, на Искандера — как на лакея, щеголяющего западной ливреей; на всех разделяющих их идеи — как на изменников отечества,—при такой выходке даже миролюбивый и кроткий Грановский вышел из себя [209].

— Нет, господа,— говорил он,— я каюсь в своем глупом заблуждении. Белинский тысячу раз прав. Примирение с господами, действующими против нас такими средствами, глупо и нелепо.

Впрочем, благороднейший и честнейший из славянофилов К. Аксаков с негодованием, как известно, протестовал против стихотворного доноса болезненного поэта, выживавшего из ума и пережившего свой поверхностный талант [210].

Ссоры с славянофилами, обнаруживавшиеся желчной полемикой в журналах («Москвитянине» и «Отечественных записках») и оканчивавшиеся всегда торжеством западной партии, которой явно сочувствовала читающая публика,— были все-таки не по сердцу Грановскому. Многих из славянофилов Грановский и уважал и любил. Он отзывался постоянно с увлечением о благородстве и честности К. Аксакова и братьев Киреевских и отдавал полную справедливость блестящим способностям и остроумию Хомякова.

Всепримиряющее, нежное свойство души Грановского, ровность и приятность его обращения со всеми,— его *вкрадчивость,* сказал бы я, если бы с этим словом не соединялась мысль о хитрости, несовместной с его характером,— все это вместе постепенно привлекало к нему различные слои московского общества и способствовало к распространению его популярности... Грановский был, между прочим, очень дружен с П. Я. Чаадаевым, но об этом я буду иметь еще случай говорить впоследствии. За Грановским все гонялись, все искали его знакомства, его внимания, все дорожили его мнением и впоследствии на связи с ним основывали свою известность. Такое искание его, такое внимание к нему отвлекало его от занятий, не давало ему времени сосредоточиваться для них; но Грановский, по мягкости своей, не мог отказаться от общественных связей, от своего расширявшегося знакомства. Он нередко даже исчезал на несколько дней из своего кружка и на насмешливые упреки своих друзей пожимал плечами и, улыбаясь, отвечал:

— Ну, что ж делать?.. Если я вижу, что огорчу людей своим отказом, у меня недостает духу отказываться.

Каролина Карловна Павлова одно время с свойственною ей бойкостию завладела было совсем Грановским недели на две... Она перечитала ему все свои поэмы и стихотворения, и Грановский, очень хорошо умевший отличать громкие стихотворные фразы от истинной поэзии, наделенный большим эстетическим вкусом, увлекся было реторикой Павловой и начал через меру восхвалять ее стихи. Приятели подсмеивались над ним, особенно Белинский. Грановский сам чувствовал, что он неправ.

— Ну, если в ее стихах нет поэзии,— возражал он,— по крайней мере нельзя же отказать ей в том, что у нее стих необыкновенно звучный...

— Да кто же не пишет теперь звучных стихов? — перебили его.

— Вот и он! — прибавил Боткин, указывая на меня, и прочел ему по этому случаю мою пародию на Павлову:

Она все думала, что мысль и вдохновенье
Достались ей в удел;
Что рождена она для песнопенья,
Для высших дел;
Что ей и стих и смелое созвучье
В ущерб другим даны;
Что нет ее созданий в мире лучше... и т. д.[211]

Пародия эта очень понравилась Грановскому, он смеялся и с этих пор уже не вступался за поэзию автора «Кадрили». После напечатания некоторых глав из этой поэмы он даже сам подсмеивался над своим увлечением[212] . . . .

Грановский любил общество молодых, умных и развитых женщин и с некоторыми из таких он был в самых интимных отношениях, к которым никогда не примешивалось ни малейшей доли страсти; но кружок друзей нараспашку, за хорошим обедом или ужином, в придачу с Кетчером (т. е. с шампанским) он все-таки предпочитал утонченным дамским беседам; ему приятно было внимание к нему московского общества; но он дорожил гораздо более тем энтузиазмом, который возбуждал в своих слушателях и вообще во всей развитой молодежи. Он очень ясно видел, что она приветствует в нем, как удачно заметил кто-то, «рвущуюся к свободе мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее»...[213]

С каждым приездом моим в Москву и с каждым приездом Грановского в Петербург я привязывался к нему сильнее. Грановский видел это и не раз обнаруживал мне свою симпатию.

Еще более сблизился я с ним летом 1845 г. в Москве. Жена моя была очень дружна с женою Грановского. Она была почти всякий день у Грановских, я довольно часто обедывал у них. Жили они тогда на Садовой, в доме Мюльгаузена (тестя Грановского). Мы только что вернулись из нашей заграничной поездки,

и я передавал Грановскому и всем нашим общим приятелям парижские похождения различных наших соотечественников и некоторых людей, очень близких нам. Я очень смешил всех этими рассказами. Грановскому особенно нравился мой рассказ о забавных похождениях некоего капитана Клыкова (человека, впрочем, доброго и честного), окончившихся процессом в исправительной полиции.

. . . .

Искандер летом в 1845 г. переехал на дачу в Соколово... Соколово, старинное барское село, некогда принадлежавшее Румянцовым, находится в 20 верстах не доезжая Москвы по петербургской дороге... Место, где расположен соколовский парк, очень живописно. В этом парке выстроено несколько домов и домиков. В одном из больших домов жил сам помещик Дивов, другие он отдавал внаймы на лето.

Искандер занял дом, стоявший в парке на горе, над небольшою, извивающеюся речкою. Влево, в полуверсте от дома, где кончался парк, стояла беседка, в густой зелени, носившая название Belle-vue,* из которой открывался отличный вид вдаль; вправо расстилались луга и хлебная степь...

Грановский, Корш, Боткин, Кетчер и другие ездили туда почти каждую субботу и оставались там до понедельника. В одну из суббот я присоединился к ним.

— Насчет питий,— кричал Кетчер,— не беспокойтесь, я уж распоряжусь; надо взять с собой по крайней мере дюжину шампанского, да и других вин. У них там, по моему расчету, должно быть вино на исходе. Надо, впрочем, справиться у Депре (при этом он както строго вздернул брови), когда в последний раз брали у него; но во всяком случае ящик шампанского взять необходимо...

Жена Грановского уже несколько дней перед этим гостила в Соколове вместе с М. Ф. Корш (сестрой Корша).

Часов в 8 вечера мы выехали из Москвы. Кетчер уложил огромный запас вина нам под ноги, так что мы не знали, куда девать наши ноги; сам он уселся на козлы с ямщиком, в своем мефистофелевском пла-

* Прекрасный вид.— *Ред.*

ще на красной подкладке, и хохотал над нами всю дорогу, забавляясь тем, как мы корчили ноги.

Когда мы приехали в Соколово и вышли, чтобы подняться пешком на гору, уже начинало темнеть... Кетчер шел впереди, указывая нам дорогу, размахивая палкой и оглашая дуброву своим зычным голосом и гомерическим смехом.

Искандер выбежал на этот голос и смех нам навстречу. Вслед за ним появились дамы — жена Искандера и жена Грановского.

Грановский, поцеловавшись с женой, отправился с нею вперед и исчез между деревьями, а Кетчер, обращаясь к Искандеру, его жене и М. К. Рейхель, девице, жившей у Искандера, кричал:

— Ну, что вы поделываете, как вы поживаете?— кричал Кетчер.— Ха, ха, ха! Ждали ли вы таких дорогих гостей? Ха, ха, ха!.. А есть ли у тебя вино? Чем ты будешь поить нас? Ха, ха, ха!

Он подбоченился и остановился перед Искандером.

— У меня есть еще небольшой запас; но зная, что вы все приедете,— отвечал он,— я сегодня послал к Депре.

— Ну, а зачем же ты не написал ко мне? Для чего напрасно мучить и посылать человека?..

Кетчер имел обыкновение обращаться с своими совершеннолетними друзьями, как гувернер с детьми. Он начал серьезно ворчать на Искандера и сопровождал это ворчание сильной мимикой.

— Перестань орать! Скучно! — заметил Искандер.— Вино будет. Чего тебе еще?

— Не в том сила,— возразил упорно Кетчер,— я уж позаботился об этом, мы привезли вина с собой, дело в том, что ведь ты свистун, братец, не умеешь ничем заранее распорядиться...

И вслед за тем он снова залился добродушнейшим хохотом...

Отпустив еще с хохотом несколько любезностей дамам, Кетчер направился лично убедиться, поставлено ли шампанское на лед. . . . .

...Время, проведенное мною в Соколове, я никогда не забуду. Оно принадлежит к самым лучшим моим воспоминаниям. Чудные дни, великолепные теплые вечера, этот парк при закате солнца и в лунные ночи,

наши прогулки, наши обеды на широкой лужайке перед домом, послеобеденное far-niente * на верхнем балконе, встреча утренних зорь, всегда оживленная беседа, иногда горячие споры, никогда не доходившие до неприятного раздражения, увлекательная речь Грановского, блестящее остроумие Герцена, колкие заметки Корша, дикий, но добродушный хохот Кетчера, размахивавшего длинным чубуком — все это вместе было так хорошо, так полно жизни и поэзии... В этом поэтическом чаду, вероятно, никому из нас не приходило в голову, что это последние пиры молодости, проводы лучшей половины жизни, что каждый из нас стоит уже на той черте, за которой ожидают его разочарования, разногласия с друзьями, неизбежные охлаждения, следующие за этим, разъединение, долгие непредвиденные разлуки и близкие преждевременные могилы...

А лето 1845 года в Соколове действительно было закатом молодости этого кружка, лучшими представителями которого были Белинский, Искандер и Грановский,— но закатом великолепным, блестящим, ярко и картинно озарившим всех друзей своими последними лучами...

...Утром, после чая, Искандер шел обыкновенно в свой кабинет работать, и все рассыпались в парке... Кто лежал с книгой под деревом, кто гулял, кто вел тихую беседу с приятелем на берегу реки, кто отправлялся купаться; Кетчер обыкновенно с огромной палкой и с котомкой уходил в лес за грибами. Перед обедом все сходились. Искандер являлся после своих занятий еще живее и веселее обыкновенного, обед был шумный, вино не сходило со стола до ночи. Кетчер ликовал,— он был в своей сфере, откупоривая с шумом бутылку за бутылкой. Эти хлопанья, среди самых непрерываемых, одушевленных и пылких речей, нередко продолжались до самого рассвета. Все кипели молодою жизнию. Никто не думал о сне, никому не хотелось расстаться друг с другом, даже дамы не спали...

После одной из таких ночей, недалеко до рассвета, я, несколько утомленный, отправился спать. Я спал вместе с Кетчером в отдельном небольшом домике... Хочу отворить дверь — дверь заперта; я стучусь... нет

* Ничегонеделание.— *Ред.*

ответа, только внутри дома раздается хохот Кетчера и женские голоса... Я подхожу к окну — и вижу Елизавету Богдановну (жену Грановского) и Марью Каспаровну (девицу, жившую у Искандера). Они сговорились с Кетчером подшутить надо мной и не пускать меня до рассвета. Делать нечего. Я воротился в Bellevue, где еще продолжался шумный, веселый разговор до солнечного восхода... Вина было выпито страшное количество, но оно как будто не действовало на нас, только солнце уличило нас в неумеренной попойке, осветив наши бледные и зеленоватые лица...

Часов около десяти на другой день Искандер пришел будить нас...

— Ну, Панаев,— сказал он,— беда! Нам сегодня, кажется, вовсе придется не обедать.

— Отчего?— спросил я.

— Весь запас истощился, и даже капли водки не осталось.

Рюмка водки перед обедом была для меня и для него необходимостию...

— Что же делать? об этом надо серьезно подумать,— продолжал Искандер.— Я послал в Москву человека, да не знаю, успеет ли он вернуться к обеду... Ах, вот блестящая мысль!.. Я возьму у Наташи спирту, на котором приготовляют кофе, и мы впустим туда несколько капель воды [214]. Это может с успехом заменить водку.

Действительно, так было сделано. Эта импровизированная водка до того понравилась мне и Искандеру, что мы долго потом употребляли вместо водки спирт, подвергаясь остроумным замечаниям Корша и других приятелей...

...Для полного комплекта недоставало в это лето только Огарева, который был за границей. Отсутствие его особенно чувствовалось Грановским и Искандером, которые были к нему сильно привязаны...[215]

Весною 1846 года Грановский читал третий и последний курс своих публичных лекций. Опять вся Москва собралась к его кафедре. Я не слышал этих лекций, но все наши друзья говорили, что лекции эти не были так удачны, как первые, что Грановский обнаруживал какое-то утомление, что-то как будто тревожило его и лишало одушевления [216].

После одной из этих лекций Грановский узнал о приезде Огарева и Сатина.

Вместе с Искандером они бросились к Яру.

Свидание после нескольких лет разлуки было горячо...

Теперь кружок был в полном сборе.

Тут же сговорились, чтобы лето провести неразлучно и непременно опять в Соколове, которое я называл почему-то всегда Соколов*кой*. Искандер постоянно подсмеивался над этим.

— Настоящий барин,— говорил он про меня, смеясь,— он все употребляет уменьшительные: Прохор у него Прошка, Соколово — Соколовка.

Искандер занял прежний дом, Грановский — небольшой флигель в этом же парке, Огарев поместился на антресолях, Кетчер — в маленьком домике, в глубине парка...

Все мечтали о том, как будет хорошо и весело. Надежды, однако, не сбылись... После переселения на дачу у Искандера умер отец[217]. Хлопоты и дела отвлекли его на время от друзей...

Я приехал в Москву, когда Искандер кончил свои дела, и отправился вместе с ним в Соколово.

Раз вечером, когда мы все сидели на верхнем балконе дома, занимаемого Искандером, между ним и Грановским зашла речь о тех теоретических вопросах, до которых они вовсе не касались или касались только слегка, как бы боясь серьезно затронуть их... Слово за слово, спорящие разгорячились; Грановскому спор этот, по-видимому, был очень неприятен, старался прекратить его, но Искандер упорно продолжал его. Наконец Грановский, меняясь в лице, сухо сказал:

— Довольно,— что бы ты ни говорил, ты никогда не убедишь меня и не заставишь принять твоих взглядов... Есть черта, за которую я не хотел бы переходить. Мы дошли до этой черты.

Искандер взглянул на Огарева грустно-иронически. Огарев печально покачал головою.

Последовало неловкое молчание; потом разговор возобновился об обыкновенных вещах.

Я в первый раз видел Грановского в раздраженном состоянии и до этого не подозревал, чтобы между им

и Искандером могло существовать разногласие, близкое к охлаждению их отношений...

Весь этот вечер и Грановский и Искандер были грустны и чувствовали неловкость... Даже крики и хохот Кетчера, который они всегда сносили терпеливо, кажется беспокоили их.

На другой день, за обедом, Грановский очень хвалил одну из статей Искандера, напечатанную в «Отечественных записках».

— Да что ж тебе нравится,— возразил с ироническою улыбкою Искандер,— *стиль,* что ли? Ведь ты не согласен с моим взглядом...

Грановский вспыхнул.

— Твои статьи, — возразил он, — будят, толкают,— вот чем они хороши... Разумеется, односторонности твоих воззрений и теорий поддаваться нельзя...

— Так если мои теории — пустяки, для чего же будить и тревожить людей из-за пустяков?

Спор снова закипел, в него вмешался Огарев, который был на стороне Искандера, и кончился тем, что Грановский сказал, побледнев и дрожащим голосом:

— Вы меня, господа, очень одолжите, если в разговоре со мною не будете касаться таких предметов. Можно говорить о чем-нибудь более приятном и полезном...

Жена Искандера круто переменила разговор...

Корш через несколько дней после этого заметил Искандеру и Огареву, что, будучи уже в совершеннолетии и зрелости, мечтать о каком-то идеальном тождестве между друзьями невозможно.

Грановский и Искандер сходились по-прежнему; в их наружных отношениях ничего не переменилось; но если не холодность, то какая-то осторожность уже заметна была в обращении их друг с другом.

Они так и расстались [218].

После отъезда Искандера за границу представителем московского кружка остался Грановский. Около него группируются все остальные. Авторитет его доходит в это время до своей высшей ступени.

Грановский делается кумиром кружка, может быть даже и сам не замечая этого при начале. Его влияние растет как будто против его воли, потому что он вовсе не хлопочет об этом и не только не старается поддер-

жать его, напротив, делает все, чтобы поколебать его, как мы увидим впоследствии. Если Грановский обращает внимание на какого-нибудь молодого человека и замечает о его таланте, отзывается с похвалою о его научных сведениях, — этот молодой человек одним словом Грановского тотчас же выдвигается из толпы: петербургские журналисты начинают гоняться за ним, предлагают ему хорошие деньги за его статьи, стараются переманивать его друг от друга и проч. Грановский, по своей доброте и снисходительности, нередко ошибался в людях, и на его рекомендации не всегда можно было положиться. Он поднял было на минуту Ордынского, объявив его человеком чрезвычайно даровитым и знатоком греческого мира. Ордынский вдруг явился сотрудником в лучших журналах; но его несостоятельность и тупость обнаружились скоро, — и Грановский тотчас же сознается в своей ошибке и еще смеется над собою...

Сделавшись авторитетом и сознавая это, Грановский носил этот авторитет так легко, так незаметно, что его нельзя было отличить от простых смертных... Он никого не тяготил своим авторитетом, никому не навязывал его. Он оставался тем же гуманным, мягким, симпатическим Грановским, которым был и до этого.

Он сам скорее тяготился приобретенным им значением и теми обязанностями, которые это значение налагало на него. У него недоставало необходимой для представителя кружка силы, энергии, и потому, после отъезда Искандера за границу, московский кружок мельчает, бледнеет, выдыхается. В среде его начинают появляться новые люди, конечно прекрасные, но ограниченные и малоспособные. Корш переезжает в Петербург, Огарев живет в деревне... Все как-то расклеивается...

После 1848 года неблагосклонность правительства к университетам, преследование литературы, тупоумие цензуры доходит до последних пределов. Малейшее движение на Западе отзывается у нас новым гнетом. О Грановском в течение трех месяцев два раза собирает справки тайная полиция. Все избранные, передовые люди, подавленные страданием, упадают духом — и Грановский, может быть, более, нежели другие...[219]

Он ищет развлечения, забвения разных неприятностей — в картах. Слабость к картам развивается у него до страсти. Он ведет большую игру, вовсе несообразную с своими ограниченными средствами, путается в своих делах, занимает деньги, заводит связи с людьми, не имеющими с ним ничего общего, нимало не заботясь о том, что это вредит его авторитету как профессора и как представителя кружка. Студенты начинают роптать на него, хотя любят его по-прежнему; друзья исподтишка покачивают головами и вздыхают, замечая, что карты губят его...

В это время возвращается из-за границы Н. Г. Фролов, после смерти первой жены своей, урожденной Галаховой,—женщины, по всеобщему сознанию всех знавших ее, чрезвычайно замечательной[220]. Грановский познакомился с Фроловыми за границей и был очень близок с ними *.

Отношения Грановского к Фролову и связи, скреплявшие их все более и более после возвращения Фролова в отечество, заставили Грановского быть несколько пристрастным к нему и придавать ему значение, которого он не имел. Закоренелые кружковые доктринеры искренно или по расчету подчинялись во всем безусловно Грановскому, смотрели, разумеется, его глазами на Фролова, не позволяя иметь о нем никому самостоятельного мнения и в противном случае грозили кружковой опалой. Маленький и кругленький Фролов вдруг поднялся и вырос в качестве друга Грановского...

Я здесь, кстати, передам те впечатления, которые оставил во мне Фролов. Верны они или нет — пусть судят об этом люди, которые близко знали его и смотрели на него беспристрастно и независимо от его связи с Грановским. Только эта связь заставляет меня остановиться перед ним на минуту.

Фролов занимал середину между людьми, которых обыкновенно клеймят названием *дюжинных людей,* и людьми, выдающимися из толпы по своим способностям...

Уже он не мог быть вполне дюжинным человеком,

* См. подробности об этом в книге г. Анненкова о Станкевиче.

потому что самолюбие дюжинных людей удовлетворяется обыкновенно мелочами и пустяками, а самолюбие Фролова, которое постоянно грызло и терзало его, заключалось в том, чтобы сделаться серьезным человеком и приобрести во что бы то ни стало ученую известность. Он воспитывался в Пажеском корпусе и выпущен был оттуда в Семеновский полк. Четыре года исполнял он с безукоризненною отчетливостию все служебные обязанности, но недостаток высшего образования не давал покою его самолюбию. Он завел знакомство с разными петербургскими профессорами, спрашивал у них советов, особенно дорожил советами профессора Никитенки, и решился выйти в отставку и отправиться в Дерпт. Из Дерпта он уехал в Германию и женился на Е. П. Галаховой... Он не знал, на чем остановиться, не имея ни к какой науке положительного, истинного призвания, и потому слушал в Берлине всевозможные курсы: истории, философии, права, естественных наук и путался в этой обширной программе. Наконец, после долгих странствований и исканий, он остановился на Гумбольдте и Риттере и их последователях, в намерении перенести на русскую почву столь мало известную у нас науку землеведения.

Возвратясь в 1847 году в Россию, он вывез из-за границы начало труда своего об Александре Гумбольдте, перевод I части «Космоса», модели памятников жены своей и картины и рисунки того места кладбища, где она покоится...

Я познакомился с Фроловым в конце 1844 года в Париже; он посещал усердно лекции в Сорбонне, тщательно записывал их, по вечерам писал что-то, рылся в своих бумагах, обнаруживал какую-то ученую кропотливость и среди шумной парижской жизни вел жизнь монашескую, упорно подавляя в себе страсти, которые иногда, против воли его, прорывались в его взглядах и в выражении лица его. В нем действительно было что-то монашеское... Сходясь с людьми, он имел поползновение тотчас закрадываться в их внутренний мир и управлять их совестью, подобно католическим аббатикам; но это редко удавалось ему, потому что ему недоставало их ядовитой хитрости и тонкости.

В Петербурге он обратился ко мне, как уже к близкому знакомому, с рукописью о Гумбольдте, для напе-

чатания ее в «Современнике». Мы решились печатать, ее, хотя конца ее не предвиделось. Влияние Грановского на нас в этом случае было сильно. Грановский отзывался о статье с большою похвалою. До этого (то есть еще до приезда его в Россию) было уже напечатано в «Современнике» исследование Фролова о женевской тюрьме, доставленное нам Грановским же.

Первая статья о Гумбольдте не произвела благоприятного впечатления на публику. Фролов не совладел с своим предметом, путался, повторялся и еще более затемнял изложение неуменьем владеть русской фразой.

Я заметил ему, что его язык надо поправлять... Это было неприятно ему, но он согласился, с тем чтобы поправки эти делались в его присутствии...

Часа три сряду мы сидели над мелко исписанною, нечеткою рукописью — и я едва успел привести в порядок первые пять страниц. Фролов даже никак не мог справиться с знаками препинания. Точек у него вовсе не было; вся рукопись испещрена была точками с запятыми. Поправки мои ему не нравились, он упорно защищал свои бесконечные периоды. Пот лился с меня градом. Это была невыносимая пытка.

Поправки эти и то, что вторая, полуисправленная статья напечатана была без *шпонок* (то есть теснее обыкновенного, строчка к строчке) — оскорбили его самолюбие. Он надулся на нас.

Друзья Грановского и Фролова вменяли нам отсутствие этих проклятых шпонок в великое преступление, обвиняли нас в том, что мы сделали это из барышничества, из жадности к деньгам, чтобы менее заплатить за статью, не принимая в соображение, что расчет уменьшился на какие-нибудь 10 р., которые обогатить нас не могли, и что мы из угождения к кружку бросали сотни рублей не только бесполезно, даже, может быть, ко вреду журнала, ибо статьи о Гумбольдте оставались в журнале неразрезанными...

Фролов так и не окончил эти статьи, углубившись в перевод «Космоса», доказавший только окончательно совершенное неуменье переводчика владеть отечественным языком. Едва ли у кого-нибудь из самых любознательных читателей достало терпения пересилить

половину первой части знаменитого творения Гумбольдта в переводе Фролова [221].

Поселившись в Москве, Фролов скоро женился на больной сестре Станкевича, которая умерла через несколько месяцев после брака. Средства его после этого значительно расширились, и он мог независимее предаваться своим кропотливым трудам, продолжать свою труженическую жизнь. С Грановским он сближался теснее и теснее.

Летом 1850 года он переехал на дачу вместе с Грановским в Архангельское князя Юсупова [222]. Они заняли один из больших флигелей, выдававшихся к Москве-реке. Грановские поместились в нижнем этаже, Фролов — наверху...

...Я приехал в Москву вскоре после их переезда и остановился, по обыкновению, у Боткина. Грановский и Фролов, бывшие в это время по делам в Москве (Фролов строил для себя дом), просили меня и Боткина переселиться к ним в Архангельское, недели хоть на две, говоря, что у них очень обширное помещение. Фролов был со мною любезен. Он забыл, по-видимому, о шпонках.

— У нас вам будет хорошо, право хорошо,— говорил он, обращаясь ко мне и Боткину и смотря на нас с двусмысленною улыбочкою: смесь добродушия с дурно скрываемым самодовольством от сознания своего превосходства.

Фролов постоянно обращался к нам с такою улыбочкою. Переложенная на слова, она как будто говорила: «вы люди хорошие, добрые, но ветреные, пустые; несмотря на это, я, человек дельный и серьезный, удостоиваю вас своим расположением. Вы мне нравитесь...»

— Вам будет покойно, — продолжал Фролов, кладя мне руку на плечо,— мы поместим вас вместе с Васильем Петровичем, у вас будет отдельная комната... Мы постараемся доставить вам всевозможные развлечения, вы не соскучитесь... Какие прогулки у нас, какое купанье!

Мы охотно приняли это приглашение и сговорились ехать вместе с Грановским в его тарантасе на другой день вечером...

Вечер этот для меня незабвенен.

Мы уселись втроем в тарантасе и отправились в Архангельское часов около восьми.

Это было в исходе июня.

Когда мы въехали на проселочную дорогу, ведущую к Архангельскому, а город с пылью и духотою остался далеко за нами и нас охватил свежий и душистый воздух полей и деревенский простор, — нам сделалось необыкновенно легко и приятно...

Грановский и без того в этот день был в очень хорошем расположении духа: лицо его было как-то особенно светло и приветливо, и его задумчивые, грустные глаза смотрели веселее, как будто какая-то тяжесть спадала с него.

У него была потребность высказаться, и он разговорился с нами о себе с такою увлекательною горячностию и откровенностию, с таким бесконечным добродушием, с такою задушевною простотою, к которым способны только люди с высшими, избранными натурами, не боящиеся открыто сознаваться в своих недостатках и слабостях.

Он завел речь о своей страсти к картам.

— Вы и вообразить не можете, господа,— сказал он нам,— до чего доводила меня эта безумная страсть и в какое ужасное положение она ставила меня!..

И он рассказывал нам, как, увлекаясь постепенно и проигрывая, он увеличивал игру, с каждым днем путаясь более и более; с каким трудом доставал деньги для уплаты; как, наконец, он задолжал такую сумму, которую непременно надо было выплатить через неделю, а достать ее в такой короткий срок не предвиделось никакой возможности; как честь его висела на волоске; какие страшные и мучительные бессонные ночи проводил он; как, узнав его безвыходное положение, к нему обратились известные московские шулера с предложением ему денег, с тем чтобы он вступил в их сообщество. Им нужно было безукоризненное, честное имя, чистая репутация для прикрытия их мошенничества, плутней и грабежа. Грановский тут-то только увидел ясно, до какого страшного падения довела его безумная страсть, над какой пропастью оста-

новился он... Шулера, конечно, уехали от Грановского смущенные, поняв всю глупость и необдуманность своего поступка, а Грановского спас один из его приятелей, достав нужную ему сумму.

— Уж теперь кончено, господа,— прибавил он в заключение своего рассказа,— урок, полученный мною, был слишком жесток, и я даю вам слово, что не буду брать этих проклятых карт в руки...

Потом он начал рассказывать нам с одушевлением о замышляемых им трудах, о тех исторических вопросах, которые занимали его в ту минуту... Глаза его горели. Лицо было одушевлено. Мы радовались, видя его нравственное обновление. С этого незабвенного вечера я полюбил его еще более...

Подъезжая к Архангельскому, Грановский заметил Боткину, почему он не попробует себя в повествовательном роде... что по складу своего ума он мог бы написать недурную психологическую повесть... Мысль эта понравилась Боткину...

— А в самом деле, разве попробовать? — сказал он в раздумьи и покачивая головою.— Сюжет-то трудно выдумать; что бы такое придумать?.. Сюжет — это ужасно трудная вещь!

И Боткин начал импровизировать сюжет, сначала довольно серьезно, но так как из этой импровизации ничего не выходило, то он обратил ее в шутку, и мы от души смеялись над его вымыслом, до тех пор покуда въехали в густую аллею великолепного архангельского парка.

У крыльца дома ожидали нас жена Грановского с своею сестрой, Фролов и Ник. Щепкин с женою, нанимавшие также дачу в Архангельском...

На нас с Боткиным посыпались отчасти колкие, отчасти добродушные замечания Фролова, сопровождаемые улыбками и дружеским трепаньем по плечу...

Все мы перед ужином прошлись немного по парку к большому дому...

Архангельское и в вечернем сумраке поразило меня своим великолепием, изяществом и широтою своих размеров... Боткин кстати начал припоминать стихи Пушкина об Архангельском, из послания его к Юсупову [223].

Ложась спать, мы с Боткиным мечтали о том, что проведем несколько приятнейших дней в Архангельском.

Боткин был в самом тихом и приятном настроении, которое часто у него расплывалось до сентиментальности. Он, сидя на постели, покачивая мерно и тихо головою, с сладким выражением лица хвалил Фролова...

— Милый человек, милый! — повторял он.— У него прекрасное сердце... конечно, он не орел... между нами, Грановский ведь пристрастен к нему... ведь у Фролова в голове путаница, туман,— но человек он милый, милый, добрый...

Мечты наши о приятных днях, предстоящих нам в Архангельском, осуществились не вполне. К концу нашего пребывания гармония, царствовавшая между нами и нашими гостеприимными хозяевами, была несколько нарушена; но об этом после.

Первые дни нашего пребывания прошли весело и незаметно в разговорах, прогулках, в катаньях на лодке по Москве-реке, в осмотре достопримечательностей Архангельского. Последнее Грановского мало занимало, но Фролов был нашим усердным чичероне: он водил нас в дом, в театр, посвященный Гонзаго[224], указывал нам на каждую картину и статую, казавшиеся ему замечательными; причем Боткин замечал иногда раздраженным голосом:

— Что это вы-с? С чего вы взяли, что это хорошая вещь? Это дрянь, просто дрянь... Это все плохие копии. Все, что было здесь замечательного, вывезено отсюда в Петербург еще отцом Юсупова... а это дрянь, дрянь!

Фролов останавливал нас даже перед старыми и развесистыми дубами и липами в парке и замечал, что такие деревья можно найти только в одном царскосельском парке (по приезде в Петербург он поселился в Царском селе и изучил его парки с подробностию).

День наш начинался часов в девять — кофеем, чаем и различными закусками, расставленными на длинном столе в большой столовой, внизу, которая примыкала к теплице, уставленной большими померанцевыми, апель-

синными и лавровыми деревьями. Грановский, пивший декохт, вставал ранее нас и после декохта около часу прохаживался по великолепной широкой липовой аллее, которая вела от флигеля к большому дому, пробегая «Journal des dèbats», «Indépendance» и «Allgemeine Zeitung»... Затем, когда он оканчивал свою прогулку, мы отправлялись к чаю, где все уже были в сборе, кроме Фролова. Фролов являлся немного позже, с заспанными глазками, целовал ручки дамам, всех дружно приветствовал, потом пил и кушал с усердием и, накушавшись, что называется вплотную, отправлялся к себе наверх заниматься... Раз с Боткиным мы не выдержали, посмотрели в щель двери и увидели Фролова преспокойно и пресладко спавшим... С тех пор, когда Фролов говорил, что он идет *заниматься,* мы с Боткиным без невольной улыбки не могли взглядывать друг на друга. После чая с завтраком Грановский уходил в свой кабинет и до самого обеда не отходил от своей конторки. Его занимал в это время, если я не ошибаюсь, его курс истории для учебных заведений[225]. В 4 часа садились за стол, а после обеда предавались различным развлечениям, прогулке и беседе.

Наше мирное деревенское времяпровождение нарушено было прежде всего приездом Сатина и Кетчера с ящиком шампанского, затем приездом в Архангельское молодого Юсупова с своими приятелями и последовавшими затем празднествами...

Я и Боткин были довольно коротко знакомы с Юсуповым. Юсупов, узнав о нашем пребывании в Архангельском, тотчас пригласил нас к себе. С Юсуповым приехали в Архангельское также близко знакомые мне Г* и В*. Мы провели у Юсупова вечер и следующие затем три дня. На второй день у Юсупова был обед. Юсупов, зная, что Грановский нанимает дачу у него в Архангельском, не сделав предварительного визита Грановскому, вздумал пригласить его на обед, не сказав ни мне, ни Боткину ни слова об этом. Грановский улыбнулся этому приглашению и оставил его без внимания. Мы, ничего не подозревая, очень беспечно и спокойно явились к утреннему чаю Грановского... Через несколько минут мы стали замечать, что на нас посматривают очень недоброжелательно, отвечают на

наши вопросы нехотя и вообще обращаются с нами с холодною сдержанностию. Более всех обнаружил к нам холодность Н. Щепкин, едва удостоивавший смотреть на нас, и Фролов. В самом Грановском мы еще не заметили, впрочем, никакой перемены: он обращался к нам со всегдашнею своею приветливостию и улыбался нам так же симпатически.

Мне и в голову не приходила причина перемены к нам остальных. Я никак не мог придумать, что бы это значило... Когда мы ложились спать, Боткин, проведавший обо всем, уже объяснил мне, в чем дело.

Фролов предположил, что Грановский был приглашен Юсуповым по совету моему и Боткина, что мы этим окомпрометировали и унизили достоинство Грановского. Ко всему этому примешивались еще кое-какие сплетни.

Меня очень огорчило это. Я так высоко ценил Грановского, так искренно любил его, так дорожил его приязнью ко мне, что всякое недоразумение между им и мною было тяжело мне. До остальных мне не было дела.

Утром, при встрече с Грановским, я тотчас же объяснился с ним. Я был сильно взволнован и невольно высказал по этому поводу со всею горячностию мои чувства к нему. Грановский обнял меня и поцеловал.

— Клянусь тебе,— сказал он мне,— что ни в тебе, ни в Боткине я не сомневался, я был уверен, что вы не могли поступить так бестактно. Я против вас ничего не имею и люблю вас всею душою. Фролов по дружбе ко мне принял все это слишком горячо и в горячности заподозрил вас. Согласись, однако, что приглашение было странно: с какой стати я пошел бы обедать к незнакомому мне человеку по его приглашению. Он мог бы сначала сделать мне визит, если бы желал видеть меня у себя... Об этом, впрочем, не стоит толковать, и я очень благодарен тебе за твое прямое объяснение.

Но Фролов и Щепкин уходились еще не так скоро...

...Мы провели у Грановского еще дня два, не так уже приятно, как прежде, и уехали в Москву.

С тех пор я не видел Фролова. Фролов женился после этого в третий раз на родственнице Грановского и продолжал вести свою однообразную, труженическую жизнь, занявшись в последнее время изданием «Магазина землеведения и путешествий»[226]. Он умер в один год с Грановским, несколькими месяцами ранее его, в черниговском имении своей последней жены...

Еще за несколько времени до поездки моей в Архангельское я обедал с Грановским в Троицком трактире. Грановский был в этот день в хорошем настроении.

Зашла речь о Фролове. Я заметил, что у него какая-то путаница в голове.

Грановский улыбнулся.

— Нет,— сказал он,— поверь мне, что Фролов очень умный человек и душа у него прекрасная, но у него нет никакого диалектического дара: когда он говорит со мною об отвлеченных предметах, в ту минуту, когда он говорит, я ничего не могу понять; но после, когда я остаюсь один и вспоминаю его разговор, я понимаю, что он хотел сказать мне[227].

. . . .

...Грановский принимал горячее участие в успехах русской литературы, радовался развитию нашей журналистики и постоянно твердил о необходимости поддерживать лучшие ее органы. К «Современнику» он питал более симпатии, чем к «Отечественным запискам»; с г. Краевским он не мог иметь ничего общего, но, несмотря на это, считал как бы своею обязанностию посылать ему изредка свои статьи... Враждебные отношения этих двух журналов беспокоили его, и он умолял нас не вступать в полемику с «Отечественными записками».

— Бросьте, ради бога, ваши личные отношения,— говорил он нам не раз,— дело не в Краевском, черт с ним совсем! Я сам его не люблю,— но существование и процветание его журнала необходимо так же, как существование и процветание вашего.

В один из своих приездов в Петербург он остановился у Корша и пригласил на вечер между прочими своими знакомыми и г. Краевского.

За ужином он встал и, обращаясь в особенности к г. Краевскому и ко мне, предложил тост за процветание «Отечественных записок» и «Современника» и за восстановление между ними полного согласия.

«Желательно было бы,— сказал он,— чтобы между «Отечественными записками» и «Современником» не существовало никаких враждебных отношений — и о чем враждовать им? Они идут к одной цели, действуют в одинаковом направлении. Вы, господа (он обратился к г. Краевскому и ко мне), должны оставить ваши личные неприятности и отношения и соединиться во имя общего дела. Мы все от души пьем за процветание «Отечественных записок» и «Современника»!»

Г. Краевский, с насупившимися бровями, проговорил что-то глухо. Я протянул ему свой бокал и сказал, что искренно желаю успеха «Отечественным запискам» и что даже лично против него не имею ничего. «Нас призывает, как заметил Грановский,— прибавил я в заключение,— дело общее, забудемте наши личные мелочные отношения и дадим себе слово прекратить навсегда личную полемику!»

Г. Краевский чокнулся с моим бокалом и так же глухо произнес:

— Что ж, я не прочь с своей стороны, если вы...

И затем он подсел ко мне и начал говорить с ожесточением о «Письмах Иногороднего Подписчика», печатавшихся тогда в «Современнике», уверяя, что эти письма и породили полемику между нами и что он, г. Краевский, никакого шутовства, *гаерства*, никакой *сенковщины* выносить не может, что *он* ратует за науку, за искусство и проч. [228].

На другой день Кавелин давал обед в честь Грановского. Г. Краевский, поздоровавшись со всеми, взглянул на меня и отвернулся...

Примирение не удалось...

С этих пор при встречах мы придерживаемся этой методы — то есть отворачиваемся друг от друга.

Грубость г. Краевского была очень досадна Грановскому: самолюбие его было несколько оскорблено его благородною и неудачною попыткою; но он очень

смеялся, когда я рассказал ему, что г. Краевский считает гаерством фельетоны Дружинина и что он уверяет, что он так уважает искусство и науку, что никакого *шутовства* не может переносить в литературе.

В Грановском не было тени педантизма закоренелых ученых,— он, впрочем, и не принадлежал к так называемым *ученым* в строгом смысле; он был одним из самых талантливых и изящных дилетантов науки. Он не изгонял остроумной шутки из области литературы, не презирал и не преследовал ее, как это делают тупоумные мудрецы; напротив, остроумная пародия, ловкая и забавная шутка очень нравились ему и заставляли его смеяться от всей души.

Кузьма Прутков, которого он прочитывал у меня еще в корректурах, забавлял его целый вечер, он знал наизусть некоторые из его лучших афоризмов и любил повторять их.

Чувство такта и меры в оценке литературных явлений никогда не покидало его. Ему очень нравились, например, «Записки Багрова» С. Т. Аксакова; но когда Аксаков возведен был в литературные патриархи, Грановский смеялся над этим... Через два года после выхода «Воспоминаний» Аксакова (это было на вечере у Арапетова) Грановский довольно резко остановил П. В. Анненкова, придававшего преувеличенное значение Аксакову.

— В том,— сказал он,— что Аксаков в последнее время обнаружил замечательный талант — об этом никто не спорит, но для чего вы хотите делать из него кумир? Конечно, «Воспоминания» Аксакова повыше «Записок» Жихарева. Аксаков прекрасно владеет языком — это бесспорно, но вы ставите его, господа, на такую недосягаемую высоту, которая вредит ему и делает его смешным [229].

Беседа Грановского, всегда исполненная тонкого ума, внутренней теплоты, чувства гуманности, симпатии ко всем живым явлениям современности, не имевшая в себе ничего блестящего, но освещенная тихим, ровным поэтическим колоритом, производила всегда отрадное впечатление на его слушателей, возбуждала их привязанность и укрепляла в них сочувствие к нему... Но иногда Грановский, затронутый за живое,

являлся в ином, более ярком свете: в нем проявлялась необыкновенная сила, в глазах загоралась энергия, речь его лилась быстрым потоком и даже принимала не свойственный ему желчный и иронический колорит.

Таким, впрочем, я видел его всего один раз, на квартире у Корша в Петербурге. Это было в последний приезд его в Петербург.

Надобно сказать, что Корш, несмотря на свой колкий ум, быстро схватывавший в других все странное и смешное, имел какое-то пристрастие к Москве и ко всему московскому. Не разделяя вовсе славянофильских воззрений, над которыми он постоянно тешился, Корш жил и дышал только воспоминаниями о Москве. В Петербурге ему было нехорошо, неловко, скучно. Он беспрестанно рвался к Москве и стонал по ней. Этою слабою своею стороною он даже немного надоедал своим приятелям...

Корш имел в Петербурге положение довольно хорошее (он был тогда при редакции «Журнала министерства внутренних дел» и заведывал журналом с тех пор, как Надеждин был разбит параличом); положение его после смерти Надеждина должно было значительно улучшиться, но, несмотря на это, Корш рвался в Москву и охотно готов был бросить Петербург на какие-то московские надежды и фантазии. Это бесило Грановского, который очень любил Корша и принимал глубокое участие в его многочисленном семействе. С сестрой Корша Марьей Федоровной он был связан тесной дружбой.

Я заехал к Коршу нечаянно и нашел у него довольно большое собрание, обычный хвост кружковых петербургских доктринеров, всюду таскавшийся за Грановским во время приездов его. Все сидели за длинным чайным столом. У Корша самовар почти никогда не сходил со стола...

Стоны Корша о Москве и его толки о том, что жить можно приятно и независимо только в Москве, что только в Москве ум, знание, радушие и все возможные добродетели, раздражили Грановского. Он одушевился и начал оспоривать мнение Корша. Начала речи его я не застал...

Когда я взошел в комнату и взглянул на Грановского, я как будто увидел перед собою нового человека или, по крайней мере, совсем преображенного. Внутренний пыл ярко отражался в его благородных, прекрасных чертах, в которых мелькала грустная, но едкая ирония; даже в голосе его была не свойственная ему энергия. Я никогда не слышал, чтоб речь его лилась так звонко, горячо и свободно (Грановский говорил обыкновенно тихо и запинался в разговоре и на кафедре). Я никогда не видал его таким прекрасным и таким вдохновенным, как в эту минуту.

Изредка и вяло прерываемый Коршем, он говорил часа два сряду. Каждое его слово в этот вечер надобно было стенографировать. Он доказывал, что Москва отживает то великое и неоспоримое значение, которое она имела некогда для России, что, напротив, значение для России Петербурга, в ущерб Москве, обнаруживается с каждым днем более и более и что Петербургу предназначено играть со временем большую роль в судьбах нашего отечества; что русский человек развитый и мыслящий еще несколько свободнее может жить из всей России в одном только Петербурге...

— Если бы не моя привязанность к Московскому университету,—говорил он,— я ни одной минуты не остался бы жить в Москве,— и что такое для меня, для тебя и для всех нас Москва без людей, дорогих нашему сердцу, кровных нам по убеждению, по мысли? Москва дорога мне по одним воспоминаниям об этих людях... С этой барской, пошлой, тупоумной Москвой, представителем которой является Английский клуб; с этой апатичной, ленивой Москвой, которая только спросонья важничает и, как старая баба, хвалится своим древним родом, своими прежними заслугами, толкует по старой памяти о своем умственном превосходстве, нелепо хвастает какою-то будто бы независимостию, которую приобрела она,— с этой Москвою я не могу, не хочу и не должен иметь ничего общего... И какая независимость в Москве? Москва, как все русские провинциальные города, подчинена произволу и прихоти начальствующих лиц. Хороша независимость при Закревском, перед которым все трепещут и который распоряжается всеми нами, как турецкий паша! [230] Вся-

кий произвол и гнет, конечно, тяжел, но прямо идущий от барина он все-таки более сносен, чем произвол холопа, всегда разбивающего себе лоб от излишнего усердия... Медному холопскому лбу ничего не делается, но каково другим, подчиненным этому медному лбу!.. В Москве могут жить хорошо теперь только люди остановившиеся, обеспеченные, отживающие. Человеку с свежими силами, с неостывшей энергией, с жаждою деятельности — в Москве делать нечего. Такого человека не может удовлетворить одно только бесплодное возвращение к своему прошедшему, эгоистическое наслаждение своими воспоминаниями; ему некогда праздно оглядываться назад, он стремится вперед и вперед... Ему должно казаться нестерпимым это бездеятельное, тупое самодовольствие, в которое погружена Москва. Такое самодовольствие есть несомненный признак отсталости и дряхлости...[231]

Грановский никогда так сильно и резко не высказывал своих убеждений относительно Москвы. Корш был поражен и смущен его словами, которые, однако, не убедили его, а только раздражили: во весь этот вечер он был сам не свой и не отпустил ни одной колкости или остроты...

Могло ли мне прийти в голову, что я не услышу более Грановского, что ужин, который накрывали, был для некоторых из нас последнею, прощальною нашею трапезою с Грановским перед вечной разлукой?..

Вино как-то не пилось, Грановский был в волнении после своего разговора, Корш не в духе, все чувствовали невольно какую-то безотчетную грусть...

Грановский после ужина долго говорил с Марьей Федоровной в стороне... Наконец обнял всех и простился...

На другой день с первым поездом железной дороги Грановский уехал в Москву...

Это было в конце февраля 1855 года (если я не ошибаюсь), а 4 октября этого же года Грановского не стало...[232]

Больная жена его, дни которой давно уже были сочтены, имела несчастие пережить его, но ненадолго...

В течение пятнадцати лет (с 1839 по 1855) Грановский боролся на кафедре с различными препятствия-

ми, с величайшим трудом проводя независимую мысль, одушевлявшую его. Он носил в душе глубокий протест против старого порядка, грозно поддерживавшегося одной физической силой, и несмотря на то, что этот протест выражался в его лекциях и в его статьях в свойственных его характеру формах, деликатных и мягких,— влияние его на молодое поколение все-таки было очень сильно...

...В минуты безвыходного отчаяния Грановский говорил: «Благо Белинскому, умершему вовремя!» — «Сердце ноет при мысли, чем мы были прежде и чем стали теперь!»

Падая духом, охладевая к своим трудам и обязанностям, он хотел заглушать свои внутренние страдания, как мы видели, бурной жизнию игрока; но его чистая, благородная натура спасала его... и он измученный, разбитый, надломленный возвращался снова к своему долгу, говоря: «ведь еще кое-что можно делать»... [233]

Но эта борьба, но эти страдания, доводившие его до отчаяния и падения, сокрушили его и без того непрочное здоровье и ускорили его кончину. Еще будучи в Берлине, в конце тридцатых годов, он жаловался, впрочем, на боль в груди. *

Горькая насмешка судьбы!.. Грановский умирает именно в ту самую минуту, когда надежда на лучшее будущее вдруг одушевила всех и возбудила в нем умственную деятельность и энергию. По уверению друзей его, никогда он не порывался так трудиться на общую пользу и в особенности на пользу образования, как последний (1855) год своей жизни. Возвратясь осенью в Москву из деревни вдовы Фроловой [234], он с горячностию взялся за мысль о периодическом издании «Литературно-исторического сборника», в котором, кроме исторических исследований, должны были помещаться статьи литературные и политические... Грановский замышлял ряд статей о своей науке под названием «Исторических писем». Программа сборника была готова, и он хотел ехать в Петербург, чтобы

* Это видно из писем к Грановскому Станкевича, помещенных г. Анненковым в его биографии Станкевича.

исходатайствовать разрешение этого издания... Смерть вдруг останавливает его порывы [235].

От Грановского осталось немного: исторические монографии, писанные им на ученые степени, очерки и характеристики, журнальные критические статейки и рецензии. Все это имеет более литературного, чем строго ученого достоинства. Грановский, конечно, мастерски владел языком, и фраза его отличается простотою, ясностию, сжатостию и изящностию, но по одним сочинениям Грановского, не представляющим ничего особенного, никак нельзя объяснить, почему имя его приобрело такое значение, почему возбуждал он такой энтузиазм при жизни и отчего такая благоговейная любовь сохраняется некоторыми к его памяти?

Объяснить это для тех, которые не знали Грановского, почти невозможно. Только те, кто слушали его лекции, видели его в дружеском кружке, пользовались его советами, беседовали с ним, могут засвидетельствовать, что влияние его было действительно велико, что личность его была в высшей степени симпатична и обаятельна и что его значение не преувеличено его друзьями, как это теперь предполагают многие...

...В одном из своих сочинений Грановский говорит, что в переходные эпохи всегда особенно выдаются два типа:

«1) Люди с гордой и самонадеянной силой, идущие смело вперед, не спотыкаясь о развалины прошедшего, с чутким слухом и зорким оком. Сердца их не отзываются на звуки былого. За ними всегда остается право победы.

2) Люди, в которых воплощается вся красота и достоинство отходящего времени. Они лучшие его представители и доблестные защитники» [236].

Грановский стоял как бы примирителем между теми и другими, сочувствуя более первым, но относясь к ним как историк с одинаковым беспристрастием. С своим глубоким, врожденным чувством изящного, он не мог не останавливаться перед красотою прошедшего, не мог не отзываться, и даже с любовью, на былые звуки, но мысль его вся была устремлена к будущему, и, не чувствуя в себе разрушающей силы первых, он понимал необходимость их и в полном сочувствии к ним благословлял их на великий подвиг...

ГЛАВА VI

Белинский в Петербурге.— Приезд Бакунина.— Его посещения.— Переезд Белинского на Петербургскую сторону.— Приезд Каткова, остановившегося у меня.— Наши занятия и гулянья. — Перевод «Путеводителя в пустыне» Купера. — Ссора Каткова с Бакуниным у Белинского.— Толки о дуэли.—Книгопродавец Поляков.— Отъезд Бакунина и Каткова за границу. — К. Аксаков в Петербурге проездом за границу.— Полтора года страдальческой жизни Кетчера в Петербурге.



Белинский, как уже известно моим читателям, остановился у меня на квартире. Через час после нашего приезда мы сидели у г. Краевского.

Г. Краевский, казалось, был очень доволен нашим приездом. Довольство выражается у него обыкновенно грубоватою любезностию и тупыми шуточками. Белинский передал ему о том, какие капитальные статьи он замышляет для «Отечественных записок». Г. Краевский одобрял планы Белинского, не без удовольствия улыбаясь, и поддакивал нам во всем с особенною мягкостью в голосе, причем иногда пускался в кое-какие рассуждения о литературе собственно для того, чтобы зарекомендовать Белинскому свое глубокомыслие.

. . . .

Белинский тотчас принялся за свою вторую большую статью о «Бородинской годовщине», появившуюся в декабрьской книжке «Отечественных записок» 1839 года [237], и вслед за тем за «Менцеля»...

Приезд Бакунина в Петербург зимою 1840 года очень обрадовал Белинского. Бакунин заходил к нам почти всякий день и, исполненный монархического экстаза по Гегелю, рассказывал нам различные анекдоты об императоре, которые сообщались ему флигель-адъютантом Глазенапом, и возводил их в апофеозы... Сомневаться в гении Николая Павловича считалось признаком невежества. Мне казалось все это несколько странным, однако и я, по авторитету Белинского и Бакунина, настраивал себя на благоговейное восхищение монархом...

Мы только и делали, что пересказывали нашим приятелям августейшие слова, речи и поступки, сообщаемые нам Бакуниным, восторгались, умилялись и с жаром оглашали воздух стихами:

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?..
...Иль мало нас? или от Перми до Тавриды...

От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?
и так далее [238].

Бакунин оставался в Петербурге, все время в таком настроении, до весны 1840 года [239]. Белинский переехал от меня ранней весною на Большой проспект Петербургской стороны, в видах экономии, и с любовию занялся устройством своего хозяйства и квартиры. Я переехал почти в то же время к Пяти углам, в дом Пшеницыной, который впоследствии Катков называл «кораблем Пшеницына»...

В апреле я получил от Каткова письмо, в котором он уведомлял меня, что намерен ехать за границу и перед этим прожить несколько времени в Петербурге. Я приглашал его остановиться у меня. Перед этим Катков прислал нам свой перевод шекспирова «Ромео и Юлии», который был продан нами книгопродавцу Полякову, бывшему тогда издателем «Пантеона». Деньги должны были быть заплаченными по напечатании перевода [240].

Катков был уже деятельным сотрудником «Отечественных записок». Несколько статей его было напечатано в библиографии; он готовил несколько больших критических статей и между прочим статью о Сарре Толстой, от которой был тогда в восторге весь кружок... [241].

В неустоявшейся еще молодости Каткова было в это время много смешного и дикого. Его статьи и он сам были исполнены претензий; он смешивал фразу с делом, раздраженье пленных мыслей [242] принимал за серьезный труд; рисовался и в жизни и в статьях и доводил свою самоуверенность до заносчивости.

Когда я вспоминаю о Каткове, он до сих пор представляется мне почему-то не иначе, как с несколько

прищуренными глазками, с сложенными на груди руками, декламирующий стихотворение Фрейлихграта и повторяющий с легким завыванием:

Capitano! Capitano!..

или декламирующий свой прекрасный перевод гейневского «Французского гренадера»:

. . . .

Какое мне дело! пускай поджидают...
Бросаю детей и жену,
Голодною смертью пускай умирают:
В плену император! в плену!..[243]

Катков был тогда очень молод, и его молодость проявлялась в нем странными фантазиями. Раз как-то захотелось ему идти непременно в погребок и провести там вечер, как это делывал в Берлине знаменитый Гофман, которым все мы сильно увлекались в то время.

Катков предложил мне это.

— Да ведь здесь, Михайло Никифорыч, нет таких погребков, как в Германии,— возразил я,— здесь берут только вино в погребках, а не распивают его там... Если вы хотите, я пошлю за вином...

— Нет, я хочу непременно пить в погребке.

— Да коли это здесь не водится?

— Отчего не водится? Это вздор! Если не водится, так мы введем это в обычай... Я знаю, почему вам не хочется: вы боитесь унизить этим свое достоинство...— и разгорячась более и более, Катков начал нападать по этому поводу на различные дворянские предрассудки и нелепые приличия, которыми я, по его мнению, был заражен.

— Так вы решительно не хотите идти со мною? — спросил он в заключение, складывая торжественно руки и щуря глазки.

— Решительно нет.

— Ну, так я пойду один.

Катков взялся было уже за шляпу, но потом отложил свое намерение.

Дня два после этого он дулся на меня...

В другой раз мы отправились с ним, с Белинским, с Бакуниным, с Языковым и еще не помню с кем-то из

наших приятелей на биржу есть устрицы, до которых Белинский был страстный охотник.

Все запивали устрицы портером, но Катков потребовал какого-то крепчайшего вина, уверяя, что устрицы обыкновенно пьют с этим вином — и один выпил всю бутылку.

Когда мы окончили наш завтрак и вышли на улицу, вино мгновенно обнаружило свое действие над Катковым: он, ни слова не говоря нам, пустился бежать от нас. Мы уговаривали его остановиться, хотели удержать его, но он вырвался от нас и скоро исчез.

Все остальные из биржи зашли ко мне. Прошло часа три, мы сели уже за чай, но Катков не являлся. Это уже начинало беспокоить нас, тем более, что горничная моей жены сказала нам, что видела его на Семеновском мосту, что он стоял со сложенными руками посредине моста, что все экипажи объезжали его и что около него собралась даже толпа...

Каткова мы так и не видели в этот вечер.

На другой день Языков, живший с своей сестрою, передал нам, что Катков заходил к нему и звонил так сильно, что оборвал звонок и перепугал сестру его.

— Неужели? — вскрикнул, вспыхивая, смущенный Катков,— а я, клянусь вам, и не помню, заходил ли я к вам. Бога ради, извините меня.

Такие вспышки веселья и разгула бывали, впрочем, у него редко; бóльшую часть времени Катков проводил в постоянном усиленном труде, который, кроме его внутренней потребности, был необходим ему потому, что этим трудом он должен был содержать не только себя, но свою старуху мать и брата, который тогда приготовлялся к университету.

Средства к существованию Каткова основывались в это время единственно на сотрудничество в «Отечественных записках». Г. Краевский платил ему с трудом за его критические статьи по 100 рублей ассигнациями за лист, если я не ошибаюсь. Положение г. Краевского в первые три года издания «Отечественных записок» было затруднительно: журнал не окупался, долг возрастал. Многие из московских друзей Белинского работали для «Отечественных записок» con amore *, бесплатно, стараясь поддерживать журнал, в котором

* С любовью, из любви к делу.— *Ред.*

участвовал он. Белинский привлек в «Отечественные записки» вместе с собою всю талантливую и горячую московскую молодежь. Он одушевлял, оживлял и подстрекал всех к труду...

Незадолго до приезда Каткова в Петербург я прочел только что изданный во французском переводе роман Купера: «Путеводитель в пустыне» (Le Lac Ontario). Роман этот произвел на меня сильное впечатление, и я рассказал содержание его Белинскому.

— Его надобно непременно перевести для «Отечественных записок»,— сказал Белинский,— и скорей, чтобы кто-нибудь не перебил.

Каткову «Путеводитель в пустыне» также нравился, и Белинский упросил нас переводить его вместе. Катков взял на себя перевод двух первых, а я двух последних частей; Катков переводил с английского, я с французского. Г. Краевский объявил нам, что за перевод деньгами он платить не может, а отпечатает нам 200 отдельных экземпляров, которые мы можем продать в свою пользу. Мы согласились на это условие и принялись за труд с жаром. Целые вечера за одним столом *на корабле Пшеницыне* мы просиживали над этим переводом [244].

Через месяц по отпечатании его в журнале мне были доставлены 200 условленных экземпляров, которыми мы могли, впрочем, распоряжаться не прежде полугода.

Г. Юнгмейстер только что открыл тогда книжный магазин, и я продал ему наши экземпляры за 700 рублей ассигнациями, то есть по 3 руб. 50 коп. асс. за экземпляр. Г. Юнгмейстер говорил мне впоследствии, что он бросил эти деньги даром, потому что продал только *2 экземпляра!* С год назад тому мне понадобился наш перевод... Я не мог отыскать его, однако, ни в одной книжной лавке (не исключая и лавки г. Юнгмейстера), даже не нашел его на Толкучем. Куда же девался этот бедный «Путеводитель», или г. Юнгмейстер сжег его?..

Перед этим весь наш кружок был в сильном волнении, и вот по какой причине. Через два месяца после переезда Белинского на новую квартиру в одно утро у него сошлись Катков и Бакунин. По обыкновению, начались рассуждения о разных философских

вопросах. Катков вступил в спор с Бакуниным; спорящие никогда, кажется, не питали друг к другу особенного расположения, и потому спор с самого начала принял желчный и колкий оттенок, доведший спорящих до того, что они потребовали удовлетворения друг у друга.

Катков не без эффекта сообщил мне об этом и просил меня быть его секундантом... Я согласился не без страха... Несколько дней Катков был торжественно мрачен, щурил глаза более обыкновенного, чаще складывал руки по-наполеоновски, заводил речь о смерти и т. д. Белинский сначала встревожился этим происшествием... Наконец, по долгом размышлении и после многих переговоров, решено было отложить дуэль до Берлина, чтобы не подвергнуться строгости отечественных законов и не воспрепятствовать решенной обоими ими поездке за границу...

Бакунин уехал несколькими месяцами ранее Каткова [245].

Катков поневоле откладывал свою поездку, потому что рассчитывал на деньги, следуемые ему от книгопродавца Полякова за перевод «Ромео и Юлии». Он полагал, что с этими деньгами и с прибавкою к ним незначительной суммы (не более, впрочем, ста рублей ассигнациями), бывшей у него, он может доехать до Берлина и прожить еще там несколько времени до новых ресурсов, имевшихся у него в виду. Но книгопродавец Поляков, ухмыляясь, изгибаясь и извиваясь перед Катковым, каждый день клялся ему, что он заплатит *завтра*. Таким образом прошло более месяца. Катков вышел из терпения и взял билет на пароход... Он объявил об этом Полякову и сказал, что долее терпеть не намерен...

— Будьте уверены-с, Михайло Никифорыч-с,— отвечал Поляков,— клянусь вам всем священным-с; вы можете назвать меня подлецом-с в глаза, если завтра в 10 часов утра я не доставлю вам всей суммы сполна-с, новенькими-с, ассигнация к ассигнации-с, на подбор-с, ей-богу-с.

Это было накануне отъезда Каткова. Мы прождали Полякова до часу и отправились к нему в лавку. Катков был вне себя...

Поляков хотел было скрыться от нас, но мы поймали его за фалду. Он чуть было не бросился в ноги Каткову и со всеми возможными клятвами уверял, что уж завтра в 10 часов утра (то есть в день самого отъезда) он всенепременно расплатится...

— Пароход отходит в час из Петербурга в Кронштадт... Смотрите же,— говорили мы,— мы вас опубликуем, опозорим!..

— Сохрани боже-с! — стонал Поляков.— Как это можно-с! Я не допущу себя до этого срама-с... Помилуйте, кто сам себе враг-с...

— Что мне делать? — сказал Катков.— Ведь этот мошенник опять надует меня.

Я имел наивность думать, что в этот раз Поляков наконец сдержит свое обещание, и успокоивал Каткова...

Но Поляков не явился. В 11 часов мы, в совершенной ярости, вбежали в его лавку. В лавке его не оказалось... Дома его поймать было невозможно. Наша ярость пала на его приказчиков, которым, впрочем, это было нипочем. Они уже были приучены к подобным сценам.

И Катков должен был уехать за границу со ста рублями ассигнаций.

Мы провожали его до Кронштадта...

— Бога ради, спасайте же меня,— сказал он, обнимая нас при прощаньи,— высылайте мне скорей деньги в Берлин... Я могу умереть с голода, если вы меня забудете...

Как ни тревожило, однако, Каткова его безденежье, он был весел и счастлив мыслию, что через несколько дней будет в Западной Европе, которая так давно манила его к себе; что он вступит в самое святилище науки, в этот Берлинский университет, о котором он так давно мечтал. Он предавался разным упоительным фантазиям со всем увлечением и беспечностию молодости, забывая свое стесненное положение и предстоящую ему в Берлине дуэль, считая ее неизбежной.

Через несколько дней после его отъезда Поляков заплатил деньги, и мы тотчас же отослали их к Каткову в Берлин, с прибавкою денег от г. Краевского...

Я забыл сказать, что еще за год до этого, весною 1840 года, останавливался на несколько дней в Петербурге, проездом за границу, Константин Аксаков[246].

Он на другой же день после своего приезда пришел ко мне.

После объятий и крепких рукопожатий я спросил его:

— Надолго ли вы к нам, Константин Сергеич?

— Нет, нет...— отвечал он,— зачем мне оставаться здесь?.. Вы знаете, что мне противен ваш Петербург... Я послезавтра уезжаю за границу. Мне просто душно здесь. Ваш Петербург... точно огромная казарма, вытянутая в струнку. Этот гранит, эти мосты с цепями, этот беспрестанный барабанный бой — все это производит подавляющее, гнетущее впечатление... Лица какие-то не русские... Болоты, немцы и чухны кругом. Нет, сохрани боже оставаться здесь долго!

Когда мы вышли вместе с Аксаковым на улицу, он с недоброжелательством начал посматривать на все: на домы, на людей, встречавшихся нам; его раздражал гром от экипажей, движение на улицах... И как будто для того, чтобы забыться и отвлечь свое внимание от всего этого, он начал смотреть вверх, на небо.

Небо было ясно, одна только небольшая тучка пробегала по синеве...

Аксаков схватил меня за руку, остановился и начал с жаром декламировать:

Последняя туча рассеянной бури,
Одна ты несешься по ясной лазури... и т. д.[247]

Он продекламировал мне все стихотворение, не замечая ничего и никого, а около нас уже образовалась толпа с ироническими улыбками.

Когда я обратил на это внимание Аксакова, Аксаков печально покачал головою.

— Я забылся,— сказал он,— я думал, что я в Москве. У нас нисколько не кажется странным, если человеку вздумается прочесть стихотворение, идя по улице. А у вас, верно, это не принято, оттого эти господа и обступили нас. В Москве широта, простор, свобода во всем, а здесь...

И он продолжал на эту тему, прибавив в заключение:

— Бога ради, извините меня, может быть я *скомпрометировал* вас?..

Аксаков думал пробыть с год за границей, но пробыл в Германии, кажется, не более четырех месяцев, страдая тоской по Москве и порываясь к родному очагу, без которого жизнь была для него невозможна.

Европа не произвела на него приятного впечатления; он возвратился в Москву еще более яростным москвичом, чем был до своей поездки, и скоро сделался ожесточенным противником Запада и одним из самых фанатических представителей славянофилизма.

Ходило множество забавных рассказов из заграничной жизни Аксакова. Я помню один, справедливость которого, смеясь, подтверждал сам он.

На углу одной из берлинских улиц Аксаков заметил девочку лет 17-ти, продававшую что-то. Девушка эта ему понравилась. Она всякий день являлась на свое привычное место, и он несколько раз в день проходил мимо нее, не решаясь, однако, заговорить с нею...

Однажды (дней через девять после того, как он в первый раз заметил ее) он решился заговорить с нею...

После нескольких несвязных слов, произнесенных дрожащим голосом, он спросил ее, знает ли она Шиллера, читала ли она его?

Девушка очень удивилась этому вопросу.

— Нет,— отвечала она,— я не знаю, о чем вы говорите; а не угодно ли вам что-нибудь купить у меня?

Аксаков купил какую-то безделушку и начал толковать ей, что Шиллер — один из замечательнейших германских поэтов, и в доказательство с жаром прочел ей несколько стихотворений.

Девушка выслушала его более с изумлением, чем с сочувствием.

Аксаков явился к ней на другой день и принес ей в подарок экземпляр полных сочинений Шиллера.

— Вот вам,— сказал он,— читайте его... Это принесет вам пользу. Вы увидите, что, независимо от таланта, личность Шиллера — самая чистая, самая идеальная, самая благородная...

— Благодарю вас,— произнесла девушка, делая книксен,— а позвольте спросить, сколько стоят эти книжки?..

— Четыре талера.

— Ах боже мой, сколько! — наивно воскликнула девушка.— Благодарю вас... Но уж если вы так добры, так лучше бы вы мне вместо книжек деньгами дали...

Аксаков побледнел, убежал от нее с ужасом и с тех пор избегал даже проходить мимо того угла, где она вела свою торговлю [248]. . . . .

. . . .

. . . .

Ненависть к Петербургу, как читатель уже видел, питали не одни московские славянофилы, а и москвичи-западники, как, например, Корш и Кетчер.

Надобно было посмотреть на бедного Кетчера, когда он вздумал было переселиться в Петербург, по совету своего брата, на службу в Медицинский департамент! [249] Кетчеру была необходима жизнь нараспашку, в каком-нибудь маленьком деревянном флигельке с садиком или по крайней мере с палисадником, в котором бы он мог копаться запросто в халате: садить огурцы и подсолнечники; вести небольшое хозяйство, иметь небольшие запасы,— для этого требовались различные чуланчики, небольшой отдельный погребок и тому подобное...

В Москве он легко пользовался всеми этими удобствами: сохранял кислую капусту до осени и угощал середи лета друзей своих жирными селянками; по утрам он беспрестанно переходил от своих гряд с огурцами к переводу Шекспира и от Шекспира снова к огурцам; после раннего обеда отправлялся куда-нибудь за город к приятелям и собирал дорогой еще иногда грибы, проходя через какой-нибудь лесок, а вечером кричал и хохотал на вольном воздухе, разливая шампанское... После такой привольной размашистой жизни он вдруг очутился в тесной квартире огромного петербургского дома, по крайней мере с 4000 обитателей, на самом верху: грязная лестница, ни одного чуланчика, ни одной травки на вымощенном дворе,— все как-то узко, тесно... и приятели — люди небогатые и расчетливые, у которых шампанское не появляется всякий день!.. Ни голосу, ни движениям, ни размашистым привычкам нет никакого простора.

Кетчер изнемогал в такой жизни, стонал по Моск-

ве и гремел проклятиями против Петербурга... По его словам, в Петербурге ничего даже нельзя было достать порядочного: и говядина хуже московской, и вино скверное, подмешанное, и шампанское поддельное, и сигары никуда не годные.

Белинский, который, напротив, симпатизировал с петербургской жизнью, часто подсмеивался над Кетчером и любил представлять московскую жизнь в карикатуре. Кетчер выходил из себя, защищая Москву, и поднимал такой крик, что Белинский затыкал обыкновенно уши и умолял Кетчера замолчать.

— Ведь тебя не перекричишь, бог с тобой, я со всем согласен...— говорил Белинский, улыбаясь.

Кетчер никак не мог примириться с петербургской жизнию; тоска по Москве увеличивалась в нем с каждым днем... и при первой возможности он переселился в Москву. Еще до сих пор с ужасом вспоминает он о своей петербургской жизни и не шутя уверяет всех, что в Петербурге ни за какие деньги не достанешь ни говядины порядочной, ни настоящих гаванских сигар, ни настоящего шампанского...

ГЛАВА VII

Наш петербургский кружок.— Субботы у меня.— Увлечение Белинского Леру и Жорж-Сандом.— «Revue indépendante».— Неловкое положение г. Краевского вследствие нового направления Белинского.— Женитьба Белинского.— Кречетов.— Удар паралича.— Некрасов.— Знакомство с ним и с Григоровичем.— Появление Тургенева.— Два слова об эксплуататорах и об эксплуатируемых.



После отъезда Бакунина и Каткова Белинский, найдя неудобным жить вдалеке от редакции, переехал с Петербургской стороны к Аничкину мосту в дом Лопатина, куда я также переселился и где нанял себе квартиру г. Краевский после смерти жены своей[250].

Около Белинского в Петербурге составлялся мало-помалу небольшой кружок из людей, высоко ценивших его как писателя и глубоко уважавших его как человека. К этому кружку принадлежали между прочими: П. В. Анненков, Кавелин (переехавший в Петербург),

А. А. Комаров, М. А. Языков, И. И. Маслов, Н. Н. Тютчев и другие; вскоре к ним присоединились Некрасов и Тургенев и позже Ф. М. Достоевский и Гончаров... Из Москвы часто приезжали В. П. Боткин, Искандер и Огарев. Приезды эти были праздником для Белинского и для всех нас. Искандер с каждым приездом своим все теснее сближался с Белинским...

Белинский, с свойственною ему энергиею, начал действовать в новом направлении. Но прошедшее все еще давило его, как кошмар.

— Жизнь моя не должна быть долга,— говорил он мне,— во мне зародыш чахотки,— я это очень хорошо знаю; но я охотно отдал бы несколько лет жизни, если бы мог искупить этим вполне мое безумие, дотла истребить воспоминание об этой эпохе и уничтожить все нелепые статьи мои, относящиеся к ней.

В то самое время, когда в Белинском совершался внутренний переворот под влиянием Искандера,— в Париже появился под редакциею Леру, Жоржа-Санда и Виардо «Revue indépendante». Я принялся читать его с жадностию и, увлеченный статьями Леру, переводил их отрывками Белинскому. Перед этим Белинский прочел все романы Санда, которые были переведены (я перевел нарочно для него конец «Спиридиона»), и прежнее негодование его к Жорж-Санд, так резко выразившееся в статье о Менцеле, заменилось в нем пламеннейшим энтузиазмом к ней. Все прежние его литературные авторитеты и кумиры — Гете, Вальтер-Скотт, Шиллер, Гофман — побледнели перед нею... Он только и говорил о Жорж-Санд и Леру. Увлечение его было так сильно, что он решился учиться по-французски, чтобы читать их в подлиннике[251]. К гегелианизму вообще он охладевал немного: о гегелианцах правой стороны он отзывался с негодованием и желчью, но обнаруживал большое сочувствие к гегелианцам левой стороны.

Покуда Белинский освоивался понемногу и не без труда с французским языком (к изучению языков он вообще не обнаруживал способностей), я начал составлять для него историю французской революции по Минье, с прибавлением самых замечательных речей жирондистов и монтаньяров, которые я брал из «Histoire parlementaire de la révolution française»[252].

Белинский и многие наши приятели, не знавшие французского языка или мало знакомые с подробностями этой эпохи, сходились у меня каждую субботу, и я прочитывал им то, что успевал составить и перевести в течение недели.

Для Белинского открывался новый мир, который до сих пор представлялся ему смутно, по рассказам... Он следил за чтением с лихорадочным любопытством; потрясенный до глубины, он прерывал чтение восторженными восклицаниями, беспрестанно вскакивал со стула в волнении и повторял несколько раз:

— Да! всему виною мое проклятое невежество. Если бы я знал все это прежде, я не написал бы этих безобразных статей, которые составляют несчастие моей жизни, лежат на мне неизгладимым пятном!..

Ко мне в эту зиму (1841) Белинский обнаруживал бо̀льшую симпатию, чем когда-нибудь, и в увлечении своем приписывал мне такие способности и достоинства, которых я никогда не ощущал в себе...

Я считал себя счастливейшим человеком, видя, что способствовал моим переводом просветлению мыслей Белинского и расширению его кругозора. Я гордился тем, что возбуждал его благородный энтузиазм, доставлял ему минуты высокого наслаждения и пробуждал в нем и в других слушателях гражданское чувство...

Все мои слушатели ждали субботы, как праздника, и следили за моим чтением с напряженным вниманием. Маслов, не имевший до этого никакого понятия о французской революции, был поражен грандиозностью этой эпохи, он трепетал от восторга при речах Верньо, Гаде и других жирондистов и заплакал, когда дело дошло до их смерти... Он и некоторые другие сделались отчаянными жирондистами. Мы с Белинским отстаивали монтаньяров.

Чтение оканчивалось обыкновенно жаркими спорами... Надобно было видеть в эти минуты Белинского! Вся его благородная, пламенная натура проявлялась тут во всем блеске, во всей ее красоте, со всею своею бесконечною искренностию, со всей своей страшной энергией, приводившей иногда в трепет слабеньких поклонников Жиронды[253].

Маслов каждую субботу после чтения давал нам клятвы, что он выучится французскому языку.

Белинский укорял его в лености и распущенности.

— Если бы у меня было столько свободного времени, как у вас,— говорил он,— я, при всей моей тупости к языкам, давно бы уж выучился по-французски. Как вам не стыдно!.. Я замучен работой, да и тут нахожу время заниматься... и начинаю понемногу смекать по-французски... Через полгода, я даю вам слово, я буду читать свободно и понимать все без труда; а вы...

И тут, постепенно одушевляясь, Белинский разражался против русского человека вообще, против его апатии, равнодушия ко всему, беспечности, против отсутствия в нем всякой любознательности, и все это приписывал нашей славянской породе.

— Прежде нам была нужна палка Петра Великого,— говорил он,— чтобы дать нам хоть подобие человеческое; теперь нам надо пройти сквозь террор, чтобы сделаться людьми в полном и благородном значении этого слова. Нашего брата славянина не скоро пробудишь к сознанию. Известное дело — покуда гром не грянет, мужик не перекрестится. Нет, господа, что бы вы ни толковали, а мать святая гильотина — хорошая вещь!

Внутренняя ломка, начавшаяся в Белинском после его сближения с Искандером (нет сомнения, впрочем, что она произошла бы и без влияния Искандера,— Искандер только ускорил ее), страдания Белинского, его борьба с самим собою, предшествовавшая радикальному перевороту в его воззрении, была, конечно, видима только его близким.

Г. Краевский ничего не подозревал. Он еще повторял фразы Белинского из его статей о «Бородинской годовщине» и «Менцеле», когда уже в «Отечественных записках» начали появляться рецензии в совершенно противоположном направлении. Когда он заметил перемену направления в своем журнале, это сначала крайне удивило его. Делать, впрочем, было нечего. В области мысли он не был так силен, как в области денежных расчетов, и должен был покориться безусловно Белинскому; ему так же легко было променять свой прежний образ мыслей на новый, как выпить стакан

воды... К тому же новое направление, может быть, еще обещало усиление подписки. Вот начало либерализма Краевского.

В начале и половине сороковых годов мало обращали внимания на русскую литературу, существование ее едва замечали. Правительство не только не чувствовало необходимости в пособии литературы, но оно одну мысль об этом сочло бы до крайности дерзкою. Если бы оно узнало, что самовластие его осмеливаются укреплять на каких-то философских формулах, оно наверно бы зажало рот своим непрошеным защитникам. Силу свою оно основывало на миллионе штыков, а не на философских бреднях. Считаться в это время архимонархическим публицистом не было никакой выгоды, и те, которые заподозривали Белинского в лести и в подкупе, обнаруживали только свою смешную наивность и непонимание дела. Статьи Белинского о «Бородинской годовщине» прошли совершенно незамеченными правительством, а если бы они и были замечены, то нет никакого сомнения, что Белинскому было бы сделано внушение не вмешиваться впредь в дела, не касающиеся литературы. Исключительною областью литературы, по мнению правительства, была природа и любовь, не выходящая, разумеется, из законных форм; мораль заключалась в строгом наказании порока и в награждении добродетели. К этому дозволялось литературе воспевать славу русского оружия и подвиги полководцев... Все литераторы, хоть на одну черту выходившие из этой программы, считались людьми неблагонамеренными... Пушкин был под постоянным надзором полиции, несмотря на свое стихотворение «Клеветникам России». Надеждин, чтобы загладить свои телескопские прегрешения, должен был сделаться усердным чиновником, возвратившись из Усть-Сысольска; Полевой искуплял свой «Телеграф» «Парашами-Сибирячками»[254] и усиливался подделываться под тон Булгарина, считавшегося между журналистами и литераторами *образцом благонамеренности...*

Необходима была глубокая вера в свои убеждения, соединенная притом с величайшим литературным тактом, чтобы проводить в то время смелую, независимую мысль сквозь тупую цензуру, вооруженную,

впрочем, очень острыми ножницами. Белинский, убедившись в своем настоящем призвании и проникнувшись горячей верой в свои новые убеждения, приобрел удивительную способность газировать свою мысль и проводить ее незаметно от цензора, несмотря на его строгий цензурный надзор...

Но все это стоило Белинскому страшных усилий, и притом не всегда удавалось сдерживать свою энергическую, кипучую натуру, тайком проводить мысль, удовлетворяться иногда только одними намеками на нее... Для него это была невыносимая пытка. Он страдал, выбивался из сил и горько жаловался. С каждым днем он убеждался более и более, что никакое человеческое свободное развитие невозможно с теми принципами, которых он был минутным защитником.

— Я не понимаю, как мог доходить до такого безумия,— повторял он.

Когда он получил первое письмо от Бакунина, в котором тот отрекался от своего прошедшего и издевался над ним, и когда впоследствии доходили до него слухи о Бакунине, сделавшемся самым видным человеком между тогдашними германскими публицистами, Белинский был в восторге от этих известий.

— Каков наш Мишель-то! — повторял он.— Впрочем, смешно было бы и сомневаться в нем,— прибавлял он обыкновенно с самою светлою улыбкою.

Все мы более или менее, когда туман, застилавший наши глаза, начал рассеиваться, начинали порываться к лучшему будущему, усматривали яснее наш идеал, стали понимать несостоятельность старого порядка и чувствовать его тягость.

На эту тему разыгрывались тогда все разговоры людей, считавших себя передовыми и современными; им, разумеется, подражали остальные, тершиеся около них.

Мой наставник Василий Иваныч Кречетов, с которым я познакомил читателя в первой части моих «Воспоминаний», наслушавшись Белинского и других моих приятелей и начитавшись «Revue indépendante», которое он брал у меня, начал также стремиться к идеалу и жаловаться на то, что человеку мыслящему нельзя жить в этом *растленном и разлагающемся обществе,* как он выражался. Несмотря на это, он про-

должал кушать, как всегда, с большим аппетитом; с прежнею любовию глядел на сочный кусок ростбифа и с прежнею приятностию, покрякивая, выпивал за обедом до капли бутылку доброго *шери* (как он называл херес).

Когда он увидел у меня в первый раз Белинского, Белинский чувствовал себя нездоровым, посматривал мрачно и говорил мало... Кречетов затрогивал разные вопросы, на которые Белинский отвечал лаконически и сухо. Желая блеснуть перед Белинским своею ученостию, он цитировал Горация, замечая, что он всего его знает наизусть, рассуждал о романтизме, произнося русское *наш*, как N французский[256], и не возбудил ничего в Белинском, кроме улыбки...

— Ну, батюшка,— сказал он мне,— кажется, нет ничего особенного в вашем хваленом Белинском!..

Но когда он увидел Белинского в одушевлении и услышал его в споре, он сжал значительно нижнюю губу и произнес:

— О да, да! В нем видна эта, эта-эта сила, эта мощь... Голова, умная голова!

С тех пор он питал к Белинскому уважение, смешанное с страхом, разумеется, скрывая это и хорохорясь перед ним, но не любил его, потому что Белинский никогда не обращался к нему серьезно...

Кречетов заходил ко мне по-прежнему довольно часто... Я начал замечать с некоторого времени, что он как будто не в своей тарелке, ест меньше, сидит повеся голову, тяжело вздыхает. Сначала я приписывал это уменьшению его средств и спросил: как идут его уроки?.. На уроки он не жаловался; напротив, у него прибавились новые ученики; да и когда, бывало, он нуждался в деньгах, он брал у меня на определенный срок несколько рублей и возвращал мне их день в день, минута в минуту. Он был необыкновенно честен в этом отношении. Раз как-то я взглянул на него попристальнее. Меня поразили пурпуровый цвет его мясистых щек и краснота глаз, тем более, что он был в совершенно трезвом состоянии.

— Да что с вами, Василий Иваныч, вы не очень здоровы? — спросил я его.— Вы как-то грустны в последнее время и у вас цвет лица такой странный?..

Кречетов печально, безнадежно махнул рукой.

— Физически я здоров... у меня железная натура, но морально я точно расстроен... Верите ли, что вот уж больше двух недель меня гнетет эдакая, эдакая... непроходимая тоска... Места нигде не нахожу.

— Да отчего же?

— Смешной вопрос! — возразил Кречетов.— Мне, как и всякому мыслящему человеку, нестерпимо, невыносимо жить среди этого дикого, пошлого общественного устройства... Я чувствую, что нельзя дышать в этой душной, смрадной атмосфере...

И Кречетов пыхтел и отдувался...

Через день после этого, возвращаясь с урока, он зашел на Сенную, купил добрую часть телятины, взял кулек и хотел отправиться домой... Вдруг почувствовал, что правая его рука, державшая кулек, слабеет и правая нога не повинуется... Он успел только вскрикнуть в испуге:

— Извозчик!

И упал без чувств на мостовую.

Его привезли домой замертво.

Кречетов две недели перед этим страдал сильным приливом к голове. Не будь он знаком с нами, он, вероятно, не приписал бы своей тоски такой отдаленной и отвлеченной причине; а догадавшись о настоящей, просто пустил бы себе кровь, предупредил бы удар и преспокойно продолжал бы наслаждаться жизнию за куском сочного бифстекса, орошаемого *шери*...

Вот до каких гибельных последствий доводит иногда сближение с так называемыми современными людьми!

Кречетов, впрочем, действительно имел железную натуру. Через два месяца он оправился и прожил после этого лет десять, правда, ковыляя и с покривившимся ртом, но продолжая за обедами своих старых знакомых по-прежнему и даже более прежнего наслаждаться жирными телятинами, сочными ростбифами и бифстексами, добрым золотистым *шери* и т. д. и повторяя заученную фразу:

«В этом растленном обществе жить нет возможности человеку мыслящему!..»

В начале 40-х годов к числу сотрудников «Отечественных записок» присоединился Некрасов; некоторые его рецензии обратили на него внимание Белинского,

и он познакомился с ним. До этого Некрасов имел прямые сношения с г. Краевским. Я в первый раз встретил Некрасова в половине 30-х годов у одного моего приятеля. Некрасову было тогда лет 17, он только что издал небольшую книжечку своих стихотворений под заглавием «Мечты и звуки», которую он впоследствии скупал и истреблял. Мы возобновили знакомство с ним через семь лет[257]. Он, как и все мы, очень увлекался в это время Жорж-Сандом. Он был знаком с нею только по русским переводам. Я звал его к себе и обещал прочесть ему отрывки, переведенные мною из «Спиридиона». Некрасов вскоре после этого зашел ко мне утром, и я тотчас же приступил к исполнению своего обещания...

С этих пор мы виделись чаще и чаще. Он с каждым днем более сходился с Белинским, рассказывал свои горькие литературные похождения, свои расчеты с редакторами различных журналов и принес однажды Белинскому свое стихотворение «На дороге»[258].

Некрасов произвел на Белинского с самого начала очень приятное впечатление. Он полюбил его за его резкий, несколько ожесточенный ум, за те страдания, которые он испытал так рано, добиваясь куска насущного хлеба, и за тот смелый практический взгляд не по летам, который вынес он из своей труженической и страдальческой жизни — и которому Белинский всегда мучительно завидовал.

Некрасов пускался перед этим в издание разных мелких литературных сборников, которые постоянно приносили ему небольшой барыш...[259] Но у него уже развивались в голове более обширные литературные предприятия, которые он сообщал Белинскому.

Слушая его, Белинский дивился его сообразительности и сметливости и восклицал обыкновенно:

— Некрасов пойдет далеко... Это не то, что мы... Он наживет себе капиталец!

Ни в одном из своих приятелей Белинский не находил ни малейшего практического элемента и, преувеличивая его в Некрасове, он смотрел на него с каким-то особенным уважением.

Литературная деятельность Некрасова до того времени не представляла ничего особенного. Белинский полагал, что Некрасов навсегда останется не более как

полезным журнальным сотрудником, но когда он прочел ему свое стихотворение «На дороге», у Белинского засверкали глаза, он бросился к Некрасову, обнял его и сказал чуть не со слезами в глазах:

— Да знаете ли вы, что вы поэт — и поэт истинный?

С этой минуты Некрасов еще более возвысился в глазах его... Его стихотворение «Родина» привело Белинского в совершенный восторг. Он выучил его наизусть и послал его в Москву к своим приятелям... У Белинского были эпохи, как я уже говорил, когда он особенно увлекался которым-нибудь из своих друзей... В эту эпоху он был увлечен Некрасовым и только и говорил об нем...

Некрасов сделался постоянным членом нашего кружка...

...Через Некрасова я познакомился с Григоровичем. Григорович был сотрудником мелких изданий Некрасова, и для одного из таких изданий он сочинил плохой рассказ под названием «Штука полотна».

Однажды я встретил Некрасова на Невском проспекте. Он шел с каким-то стройным и высоким молодым человеком очень приятной наружности. Я присоединился к ним.

Каким-то образом у нас зашла речь об издании, в котором была помещена знаменитая «Штука полотна»... Я подшучивал над этим изданием. Некрасов смеялся вместе со мною и прибавлял свои шутки.

— Но уж нелепее всего в этой книжке,— заметил я,— это «Штука полотна»...

— Рекомендую вам автора этой «Штуки»,— сказал Некрасов, указывая на молодого человека приятной наружности.— Это г. Григорович...

Я еще не успел смутиться, как Григорович протянул мне руку и сказал, улыбаясь:

— Бога ради, не конфузьтесь... Я сам об этой «Штуке» совершенно такого же мнения, как вы... Уж нелепее и пошлее, конечно, быть ничего не может... Очень рад с вами познакомиться [260].

Около этого же времени, может быть несколько ранее, я сошелся с И. С. Тургеневым [261].

Я встречал, еще до моего знакомства с ним, довольно часто на Невском проспекте очень красивого

и видного молодого человека с лорнетом в глазу, с джентльменскими манерами, слегка отзывавшимися фатовством. Я думал, что это какой-нибудь богатый и светский юноша, и был очень удивлен, когда узнал что это — Тургенев.

О Тургеневе я много слышал от Грановского и других, познакомившихся с ним за границей. Грановский, встречавший его в Берлине у Фроловых, отдавал справедливость его уму; но вообще отзывался о нем не совсем благосклонно. Он до самого конца жизни не питал к нему большой симпатии. Я слышал также от многих, что Тургенев имеет блестящее образование, страсть к литературе и пишет очень недурные стихи.

Тургенев скоро сблизился с Белинским и со всем нашим кружком. Все, начиная с Белинского, очень полюбили его, убедившись, что у него при его блестящем образовании, замечательном уме и таланте — сердце предоброе и премягкое.

Тургенев начал свое литературное поприще элегиями и поэмами, которые всем нам тогда очень нравились, не исключая и Белинского.

«Отечественные записки» приобрели в Тургеневе замечательного сотрудника; кружок наш — блестящего и образованного собеседника, хорошо знакомого с иностранными литературами, слегка посвященного в тайны немецкой философии, и мастерского рассказчика, увлекавшегося иногда через край своей прихотливой и поэтической фантазией...

Тургенев не изъят был в это время от мелочного светского тщеславия и легкомыслия, свойственного молодости. Белинский прежде всех подметил в нем эти слабости и зло подсмеивался иногда над ними. Надо заметить, что Белинский был беспощаден только к слабостям тех, к которым он чувствовал большое сочувствие и большую любовь.

Тургенев очень уважал авторитет Белинского и подчинялся безусловно его нравственной силе... Он даже несколько побаивался его.

Белинский рассказывал множество презабавных выходок с ним Тургенева. Я помню между прочими следующую:

Во время поездки Белинского за границу он встретился где-то в Германии с Тургеневым. Тургенев, ви-

дя болезненное его расстройство и тоску, дал ему слово не покидать его...

— Вы соскучитесь со мною, я не хочу стеснять вас,— заметил ему Белинский,— лучше не давайте слова.

Тургенев начал клясться, что он ни за что не оставит его...

Он прожил с ним таким образом дней пять... Тоска тайно томила его, ему хотелось вырваться на свободу, но сознаться в этом Белинскому он ни за что не решился. На шестой день он тихонько вынес свой чемодан и тайком уехал в Англию, не простившись с Белинским[202]. . . . .

Белинский очень горячо любил всех своих петербургских приятелей; они благоговели перед ним, смотрели на него как на своего учителя, слушали его не переводя дыхание и принимали на веру каждую его строчку, каждое его слово. Каждый из них готов был за него в огонь и в воду, но из них не было ни одного, который бы мог вступать с ним в состязание относительно теоретических вопросов, а для кипучей, деятельной натуры Белинского обмен мыслей, спор, состязание с бойцом равной силы были потребностию... И потому Белинский часто скучал в своем кружку и, чтобы сколько-нибудь удовлетворить свою потребность, за отсутствием живого слова, писал длинные послания к своим московским друзьям о разных вопросах, тревоживших его... И когда кто-нибудь из них, особенно Искандер или Грановский, приезжали в Петербург, он, как говорится, отводил с ними душу. Появление Тургенева оживило его. В нем он мог найти до некоторой степени удовлетворение своей потребности и потому сильно привязался к нему. Впрочем, Белинский никогда ни на кого из своих петербургских друзей не смотрел с высоты своего авторитета и никому из них не дал ни разу почувствовать своего превосходства; напротив, он отыскивал в каждом лучшие его стороны, даже преувеличивал их.

Он высоко ценил в Языкове кротость его характера, мягкость сердца, бесконечную преданность его друзьям и отсутствие эгоизма, доходившие до пренебрежения собственных выгод; в Анненкове он восхищался *разумным* эгоизмом, уменьем отыскивать себе нас-

лаждение и удовлетворение во всем — и в природе, и в искусстве, и даже во всех мелочах жизни... «Это один из самых счастливейших людей, каких я встречал в жизни,— говорил про него Белинский,— здоровая, цельная натура, неиспорченная этой поганой рефлексией, которая была развита в нашем московском кружке до болезненности». На Кавелина он смотрел с любовию, как на благородного, пылкого, без меры увлекающегося и доверчивого юношу, и замечал иногда с улыбкою: «Одно только беда, что ведь он до старости останется таким!»

Кавелин, только что переселившийся тогда в Петербург, поселился на одной квартире с Н. Н. Тютчевым и Кульчицким.

В этой квартире Белинский до своей женитьбы обыкновенно отдыхал от своих занятий. Две недели в месяц он почти не выпускал пера из рук и не отходил от своего стола; другие две недели отдавался развлечению. Развлечение это большею частию состояло в преферансе, по 3 к., до которого Белинский был страстный охотник... Чаще всего мы собирались вечером на преферанс в квартире трех приятелей. Кульчицкий, очень добрый малый (умерший за два года до смерти Белинского в чахотке), известен был кое-какими журнальными статейками и шуточным трактатом о преферансе. Он был искренно привязан к Белинскому и всеми силами старался угождать ему. Он приготовлял обыкновенно карточный стол за полчаса до нашего прихода, сам тщательно вычищал зеленое сукно, так что на нем не было ни пылинки, клал на него четыре превосходно завостренных мелка и колоду карт.

Когда мы с Белинским входили, Кульчицкий торжественно обращался к Белинскому, подводил его к столу и восклицал:

— Как вы находите это зеленое поле?.. Не правда ли, это радует сердце?

Белинский приятно улыбался — и мы, по требованию его, немедля приступали к делу...[263]

...Белинский привязывал к себе не только людей мыслящих, вполне понимавших его и разумно ему сочувствовавших, но и людей самых нехитрых, не имевших никакого понятия об отвлеченных предметах. Не-

задолго до этого к нему привязался некто князь Козловский, человек очень слабый духом, но геркулес по физической силе: он ломал кочерги, свертывал в трубку целковые и тому подобное... Князь Козловский ухаживал за Белинским во время пребывания своего в Петербурге, как нянька за ребенком, и всякий день на столе Белинского появлялись какие-нибудь сюрпризы: то окорок ветчины, то какая-нибудь необыкновенная колбаса, то бутылка бургонского.

Князь Козловский отправился потом в Крым вместе с князем А. Н. Голицыным, который и умер на его руках. Голицын завещал ему кое-какие вещи — и Козловский, возвратившись в Петербург, все их раздарил Белинскому и его друзьям. . . . .

После женитьбы своей Белинский редко выходил из дому[264], его болезнь, развиваясь постепенно, стала сильно тревожить его; он сознавал вполне безнадежность своего положения, как это видно из письма его, которое читатель найдет далее[265]; строгость цензуры по временам делалась невыносима, отношения его к г. Краевскому с каждым днем становились тяжелее... Г. Краевский сделал какую-то ничтожную прибавку к его плате после его женитьбы, все еще ссылаясь на свое стесненное положение и на долги, хотя в это время все его долги были уже выплачены им, что все мы очень хорошо знали...

— Боже мой, если бы я мог освободиться от этого человека,— говорил нам Белинский,— я был бы, мне кажется, счастливейшим смертным. Ходить мне к нему, любезничать, улыбаться в ту минуту, когда дрожишь от злобы и негодования,— это подлое лицемерие невыносимо для меня. В те минуты, когда я сижу с ним, я презираю самого себя; а между тем, что мне делать?.. где выход из этого положения?.. Если бы только вы могли вообразить, с каким ощущением я всякий раз иду к нему за своими собственными, трудовыми, в поте лица выработанными деньгами!

С г. Краевским Белинский и все мы виделись редко. Г. Краевский усиливал себя быть с нами любезным, но внутренно, вероятно, мало питал к нам расположения и должен был чувствовать неловкость в нашем присутствии, сознавая, что мы видим его насквозь. Еще лучше всех из нас он был с Боткиным, на которо-

го иногда находили пароксизмы нежности даже и относительно г. Краевского. Г. Краевский всех нас в душе своей считал *мальчишками,* по крайней мере это презрительное слово, говорят, вырывалось у него в минуты гнева против нас...

И мы были действительно мальчишками, и *первым мальчишкой* из нас был Белинский. Не сознавая того, что г. Краевский держится одною только духовною силою его и его кружка, что без этой поддержки, без этой силы, он, даже при пособии своих друзей Галахова и Мельгунова (да к тому же Межевич перебежал от него в это время тайком к Булгарину), не мог бы продержаться более двух лет с своим журналом,— Белинский и все мы с чего-то воображали, наоборот, что мы зависим от г. Краевского, что нам нет без него спасения, и наперерыв друг перед другом, за ничтожную плату, а некоторые совсем бескорыстно, употребляли все богом данные им способности — для обогащения г. Краевского. Лишенные всякого практического смысла, не находя в себе самих достаточной самостоятельности, мы создали себе кумир, украшали его своими приношениями и жертвами, кланялись ему, заискивали его внимания, даже робели перед ним (впоследствии я приведу довольно забавные факты робости некоторых из нас перед г. Краевским) и если осмеливались роптать на него, то исподтишка.

Как же винить кумира за то, что он умел ловко пользоваться положением, ему данным, что он эксплуатировал в свою пользу горячих, но неопытных юношей, которые, связав себя добровольно по рукам и по ногам, отдали себя в его полное распоряжение?

Все кумиры — и гораздо позначительнее — обыкновенно поступают так...

Если бы Белинский и все друзья его, выносившие «Отечественные записки» на своих плечах, в один прекрасный день вдруг одушевились энергией, в полном сознании своих сил пришли к г. Краевскому как власть имеющие и сказали бы ему:

«Милостивый государь! До сих пор мы, по нашей молодости и неопытности, подчинялись вашей грубой силе, которую мы сами же развили в вас нашим добровольным подчинением вам и отречением от собственной воли. Теперь мы сознали, что вы собственно

ничего, что вы не имеете самостоятельной духовной силы, а держитесь на поприще журналистики только Белинским и его кружком. Силу, вам данную им, вы употребляли до сих пор исключительно только для своей личной выгоды, вы нас притесняли, эксплуатировали нами, приписывали себе наши труды и щеголяли, как известная птица, павлиньими перьями... Мы чувствуем теперь, что можем обойтись и без вас и начать жить самостоятельною жизнию... Вот вам ваши «Отечественные записки» — управляйтесь с ними, как хотите, и ищите новых жертв для вашей эксплуатации...»

Что бы отвечал г. Краевский на такую геройскую, неожиданную выходку?

Он, как всякий человек в крайнем положении, вероятно, струхнул бы, стал бы клясться и божиться, что он никогда никого не думал притеснять, что он всегда считал Белинского своим спасителем, предлагал бы ему различные уступки и, в случае упорства Белинского, вероятно, принял бы его в половинную долю, как это он сделал в наши дни с г. Дудышкиным[266].

Белинский, конечно, растрогался бы этим и согласился, не рассчитав того, что вся материальная часть журнала осталась бы все-таки на руках г. Краевского — и он мог, как человек ловкий и практический, выводить Белинскому к концу года какие угодно счеты. Все-таки положение Белинского при этом значительно улучшилось бы.

Но ни Белинскому и никому из нас не приходила такая дерзость в голову, да если бы и пришла комунибудь, то не могла бы осуществиться, потому что вообще в нас, русских людях, не только не было тогда, но и до сих пор нет ни малейшего единодушия, никакой esprit de corps,* потому что мы до сих пор только герои на словах, а трусы на деле, потому что нам, в нашей апатии, легче подчиниться кому-то ни было и сносить по рутине эту подчиненность, чем вооружиться на минуту энергией для приобретения себе на целую жизнь независимости и самостоятельности.

Если бы Белинскому и пришла мысль открыто восстать против г. Краевского, то он наверное бы встре-

---

* Корпоративного духа.— *Ред.*

тил противоречие в своих друзьях и не успел бы согласить их на свой подвиг...

Вот отчего разного рода Краевские торжествуют в сем мире и преспокойно загребают жар чужими руками, еще прикидываясь подчас либералами и толкуя о гуманизме!

ГЛАВА VIII

Белинский вне своего кружка.— Военный историограф.— Обед у Башуцкого и чтение его.— Обеды и вечера А. С. Комарова.— Лажечников и его неудачное искание места директора московских театров.— Смерть Воейкова и Полевого.— Отношения тогдашних литераторов к «Отечественным запискам».— Несколько слов о Губере.



елинский редко и неохотно выходил из своего кружка, и то по *усильным* просьбам приглашавших его. Он изредка бывал у Одоевского, на вечерах у Михайловского-Данилевского, у Башуцкого, иногда у Струговщикова, да в год раз посещал обыкновенно Гребенку, когда тот приезжал звать его на малороссийское сало и наливки. Здесь он встречался с литературными знаменитостями — с Кукольником и с другими... Но он не желал сближаться с ними. Кукольник смотрел на него искоса, с любопытством, с высока своего уже шатавшегося величия и замечал: «там у *них* (под этим Кукольник разумел г. Краевского), говорят, появился *какой-то* Белинский; он порет им *объективную* дичь, приправленную *конкретностями,* а они думают, что это высшая философия и слушают его развеся уши»[267]. Белинский с своими старыми приятелями Надеждиным и Полевым не возобновлял сношений в Петербурге... На петербургских литераторов вообще он мало обращал внимания; он знал, что они не терпят его и боятся. Это, впрочем, было приятно его самолюбию.— «Этого семинариста (хотя Белинский вовсе не был семинаристом) раздражать нельзя,— говорил про Белинского один знаменитый военный историк,— с ним надо вести себя тонко и, напротив, стараться смягчать его»[268].

Он искал случая познакомиться с Белинским и, познакомившись, тотчас пригласил его к себе на вечер.

Белинскому было это тяжело, но он не имел духу отказаться. Скрепя сердце он отправился на приглашение историка и, нехотя улыбаясь, обратился ко мне:

— Шутите со мной! я нынче, батюшка, к генералам на вечера езжу.

Вот что передал мне Белинский об этом вечере.

«Я, разумеется, входя уже на лестницу к нему, почувствовал робость, хоть я очень хорошо сознавал, что робеть перед ним было бы смешно и что перед ним собственно я бы не сробел, да мне пришло в голову, что у него дочь, да еще, кажется, фрейлина, родственницы разные — светские дамы... потом толпа лакеев в передней, которые так все и вытаращили на меня глаза... Я чувствовал, что я побледнел, когда лакей отворил передо мною дверь в залу. Не успел я сделать шага вперед, как перед самым носом моим очутился его превосходительство с распростертыми объятиями...

«— Я, говорит, не знаю, как и благодарить вас, Виссарион Григорьевич, за то, что вы удостоили меня посещением. Поверьте, что я глубоко ценю ваше внимание ко мне... — И пошел, и пошел...

«Я сконфузился и пробормотал что-то. Он схватил меня за руку и потащил в гостиную, где сидело несколько не знакомых мне человек: оказалось, что это были какие-то фельетонисты и критики... Между ними сидела его дочь, прехорошенькая, лет семнадцати.

«— Надя! Надя! — кричал он ей.— Предчувствуешь ли ты, кого я веду за собой?

«Надя вскочила со стула, подошла к нам и посмотрела на меня.

«У меня так и забилось сердце. Я весь вспыхнул и, чувствуя мучительную неловкость, поклонился ей.

«— Это моя дочь, рекомендую,— говорил генерал,— глубочайшая почитательница всех ваших сочинений (я был убежден, что она первый раз слышит мое имя и никогда не читала ни одной моей строчки,— от этого я пришел еще в бóльшее смущение)...

«— Ведь это Виссарион Григорьич Белинский,— продолжал он, обращаясь к дочери,— кланяйся ему да пониже, благодари его за честь, которую он нам сделал. Покажи ему, что мы умеем ценить таких людей,

как он. Виссарион Григорьич наш *первый* современный *критик*.

«Надя, кажется, улыбалась мне и кивала приветливо головкой,— хорошенько, впрочем, я не видел. В глазах у меня был туман, я совсем задыхался, кровь так и била мне в голову.

«Наконец я уселся на стул и только хотел было вздохнуть полегче, как хозяин дома закричал дочери:

«— Ну что ж ты... Подай Виссариону Григорьичу трубку, сама набей ее и закури...

«— Нет... что это... помилуйте... не беспокойтесь,— пробормотал я, вскакивая со стула и едва держась на ногах...

«Но Надя выпорхнула из комнаты, как птица, и через минуту явилась предо мною с чубуком и с зажженной бумажкой...

«Я дрожащей рукой схватил чубук и начал тянуть изо всех сил, несмотря на то, что никогда не курю; но она держала зажженную бумажку над трубкой и отказаться от куренья я полагал невежливым.

«Я никогда не ужинаю,— ужин, вы знаете, вреден мне; а тут я должен был есть поневоле, потому что и сам он и Надя накладывали мне блюда. Вино для меня — яд, а я и вино принужден был пить, потому что он и Надя его протягивали ко мне свои руки и чокались с моим бокалом...

«И вино-то еще прескверное!.. Фу!»

Белинский отдувался.

«Я еще до сих пор не могу прийти в себя от этого вечера...» — заключил он.

Когда Белинский ушел после ужина (это рассказывал мне впоследствии один из присутствовавших на этом вечере),— хозяин дома, в присутствии дочери, обратился к остальным гостям своим, допивавшим вино, и произнес, вздыхая:

— Вот, господа, каково мое положение (надо заметить, что к ночи генерал был всегда навеселе). Я должен принимать к себе, ласкать этого наглого крикуна, этого семинариста, который ни стать, ни сесть не умеет в порядочном доме, из одного только, чтоб он не обругал меня публично... Ведь, согласитесь, в моем чине... я генерал-лейтенант, с моим именем, с моими

связями быть обруганным — это ведь невозможно перенести... Если бы не это, я и на порог своего дома не пустил бы его...

Генерал имел обыкновение отзываться таким образом о каждом своем госте тотчас по уходе его. Белинский узнал это впоследствии и, разумеется, уже более никогда не появлялся к нему, несмотря на все мольбы Данилевского и любезные угрозы прислать за ним свою Надю.

Белинский не только между такими генералами, но вообще в кругу людей мало знакомых ему, которых он изредка встречал у своих приятелей, терялся, робел, чувствовал себя неловким, скучал; но если разговор касался вопросов, задиравших его за живое, и кто-нибудь из присутствовавших дотрогивался неловко до его убеждений, Белинский вспыхивал, разгорячался, выходил из себя и приводил в ужас своими резкими и крайними выходками тех, которые мало знали его...

Литературных вечеров и чтений он не терпел...

Однажды А. П. Башуцкий, с которым Белинский познакомился у меня, напал на него с убедительною просьбою, чтоб он выслушал несколько отрывков из его романа «Мещанин», уверяя, что он более всего дорожит его мнением и верует безусловно в его эстетический вкус. В сущности едва ли это было правда. Башуцкий принадлежал к литераторам старой школы, со всеми с ними находился в приятельских отношениях, не исключая и Булгарина, и не мог питать расположения к воззрениям Белинского; но ему надобно было смягчить неумолимого критика, литературного *бульдога,* перед выходом своего романа [269].

Башуцкий пригласил Белинского, меня и Языкова обедать к себе. Белинский долго и упорно отговаривался недосугом, нездоровьем; но любезность Башуцкого и наши просьбы победили его.

Перед обедом я заехал за ним. Он одевался нехотя и ворчал на меня...

— А ну как он вздумает хватить весь роман? — спросил меня Белинский, когда мы остановились перед дверью, чтобы позвонить.— Меня мороз подирает по коже при этой мысли...

Я успокоивал его, что это невозможно.

Обед был прекрасный. После обеда мы отправились в кабинет хозяина; он поместил нас на покойных креслах, кресло Белинского поставил против себя, достал огромную рукопись и после нескольких оговорок начал чтение с первой главы. Белинский взглянул на меня и на Языкова с ужасом.

Чтения самых прекрасных произведений после обеда, когда совершается пищеварение, особенно неудобны для авторов. Башуцкий не расчел этого. Мы с Языковым заснули на половине первой главы... Когда я проснулся и взглянул на часы, было уже девять часов.

— Извините меня, Александр Павлович,— прервал я автора,— я должен ехать, я дал слово... Мне очень жаль, что я лишаю себя удовольствия,— и т. д.

Белинский злобно взглянул на меня.

Я уехал.

На другой день, зайдя к Белинскому, я застал его в самом мрачном расположении.

— Вы поступили со мною самым постыдным образом,— сказал он мне.— Знаете ли, что я до четырех часов должен был высидеть у Башуцкого, не вставая с места. Он прочел мне всю первую часть своего романа. Каково мне было, вы можете себе представить!.. Сегодня я болен, у меня грудь разболелась, в голове черт знает что... Так не поступают приятели. Но уж в другой раз такой штуки вам не удастся сыграть со мной... Я дал себе клятву не поддаваться вперед на такие приглашения и не слушать вас ни в чем...

Белинский, однако, не выдерживал своей клятвы. Один из товарищей моих по пансиону, А. С. Комаров, родственник того А. А. Комарова, который почти принадлежал к нашему кружку, познакомившийся с Белинским через нас, беспрестанно надоедал ему своими приглашениями то на обед, то на вечер.

А. С. Комаров, считавший своею специальностию естественные науки, получал всевозможные иностранные журналы и книги литературные, политические и ученые, выучивал наизусть либеральные стишки и декламировал их на дебаркадерах железных дорог и на гуляньях, бегал по знакомым с политическими новостями, хвастал тем, что он все, что делается в Европе, узнает первый, сообщал в русские журналы разные

ученые известия, перевирая их, приставал ко всем с своим либерализмом, вмешивался некстати во все разговоры политические, ученые и литературные, кормил плохими обедами и поил прескверным вином, клянясь, что это самое дорогое вино. В голове этого господина была страшная путаница; его пустота и легкомыслие превосходили все границы.

Он увивался около Белинского, ухаживал за ним, доставлял ему нужные книги, для того только, чтобы он терпел его и снисходительно принимал его приглашения. Это доставляло ему возможность хвастать потом, что он друг с Белинским и что Белинский без него обходиться не может.

Он завел у себя обеды по вторникам... Попробовав один обед, Белинский объявил Комарову наотрез, что он никогда обедать у него не будет, потому что у него провизия несвежая и вино прокислое, что он человек больной и желудок его не может переносить такой скверной пищи.

— Знаете ли, что у Языкова,— говорил он,— желудок переваривает все на свете, а после одного из ваших обедов он должен был приставлять себе пиявки к желудку.

Комаров всякий раз клялся, что в следующий вторник у него будет тончайший обед и самое дорогое вино от Рауля, и всякий раз был уличаем в хвастовстве.

От обедов его Белинский решительно отказался, но по вечерам он изредка приходил к нему, когда знал, что все мы должны собраться у него, по его настоятельным просьбам и мольбам, от которых мы не умели отделываться.

В один из таких вторников, часов в 9 вечера, я зашел к Комарову... Заспанный, старый и небритый лакей снял с меня шубу...

— Да есть ли у вас кто-нибудь? — спросил я лакея.

— Никого, кроме Белинского.

Я вошел в кабинет хозяина. Лампа ярко горела на столе, заваленном книгами и журналами. Белинский лежал на диване лицом к спинке и просматривал «Revue indépendante»; хозяин дома сидел у окна и печально глядел в него, хотя в окне зги не было видно. Тишина была мертвая.

— Что это значит? — спросил я.

Комаров завертелся и заболтал что-то.

Белинский обернулся на мой голос...

— А! наконец-то! — произнес он. — Вы, господа, пренесносные люди: вечно собираетесь по-аристократически в десятом часу, а я имел глупость прийти сюда спозаранку... Вы удивляетесь, что застали нас в таком положении? Да помилуйте, он мне так надоел (и Белинский указал на хозяина дома), что я уж должен был просить его оставить меня в покое. Только что я вошел, он не дал мне еще опомниться и как безумный бросился на меня и начал мне читать что-то из «Revue indépendante». — Я и без вас умею читать, сказал я ему, взял книгу и лег на диван, а он подсел ко мне и смотрит мне прямо в глаза, чего я терпеть не могу. Ну, я и попросил его оставить меня в покое...

Комаров заюлил и завертелся около нас и начал болтать какой-то вздор; между тем собрались наши приятели, и вечер прошел очень живо. Белинский не позволял вмешиваться хозяину дома в разговоры и ушел перед ужином, не внимая мольбам его остаться закусить чего-нибудь.

— Прощайте, господа, — сказал Белинский, — мне очень жаль вас, что вы добровольно хотите отравлять себя.

Комаров снова заюлил, и когда Белинский ушел, он произнес с насильственным смехом: «А Белинский большой чудак!» — и начал наливать нам в стаканы какое-то темно-синее вино, уверяя, что это лучший лафит...

. . . .

По мере того как Белинский возбуждал к себе все бо̀льшую любовь и уважение нового поколения литературного и нелитературного, старое литературное поколение смотрело на него все с большим ожесточением и бессильною злобою. Один из всех старых литературных авторитетов — И. И. Лажечников искренно дорожил его мнением и каждый приезд свой в Петербург посещал его [270].

И. И. Лажечников принадлежит к тем живым, редким натурам, которые никогда не стареются духовно

и потому чувствуют всегда большую наклонность к молодым поколениям. За это их не очень жалуют их сверстники и вообще все отсталые люди, идеал которых не в будущем, а в прошедшем. Лажечников едва ли не единственный из литераторов своего времени, за исключением Одоевского искренно и без всякой задней мысли, с полным сочувствием всегда протягивавший руку всем замечательным деятелям последующих литературных поколений. Он располагает к себе с первого взгляда своею кротостью, мягкостью, благодушием... Он настоящий поэт, увлекающийся, беспечный, исполненный фантазий, чуждый всякого практического такта, не уживающийся с действительностию и очень неловко входящий с нею в сделки. Он занимал довольно значительную административную должность [271]; но служба никогда не везет таким людям, и Лажечников вышел в отставку, расстроив свои дела и нажив себе бездну неприятностей и хлопот. Для того чтобы увеличить свой пенсион, он принужден был в последнее время принять на себя должность цензора; но в этой должности, в беспрестанной борьбе между своею обязанностию и своими убеждениями, он был истинным страдальцем. Дослужившись до пенсиона, он тотчас же оставил ценсорство и говорил, что это счастливый день в его жизни... Благодушие Лажечникова часто доходит до детской доверчивости к людям, до трогательной наивности.

Когда умер Загоскин, Лажечникова, который искал в это время места, один из его знакомых, человек очень почтенный, серьезный, но с некоторым расположением к юмору, уверил, что вакантное место директора московских театров принадлежит ему по праву, что Загоскин был сделан директором именно за то, что написал «Юрия Милославского» и «Рославлева».

— Кому же,— прибавил юморист,— как не вам, автору «Последнего Новика» и «Ледяного дома», принадлежит его место?..

— Да к кому же мне адресоваться? — спросил его Лажечников.

— Отправляйтесь прямо к директору канцелярии министра двора... Вы не знакомы с ним лично, но это ничего: вас знает вся Россия, к тому же директор был сам литератором, он любит литературу, и я уверен,

что он примет вас отлично и все устроит вам с радостию... Ему только стоит сказать слово министру двора...[272].

Я слышал этот рассказ из уст самого Лажечникова.

— Я по наивности принял это серьезно,— говорил мне Лажечников,— и отправился к директору.

«Меня ввели в комнату, где уже было несколько просителей, заметив, что надо обождать, что генерал занят. Я ждал директора с полчаса... Наконец, его превосходительство входит; переговорив с несколькими просителями, он обратился наконец ко мне:

«— Ваша фамилия? — спросил он меня.

«— Лажечников.

«— Вы автор «Ледяного дома»?

«— Точно так, ваше превосходительство.

«— Не угодно ли пожаловать ко мне в кабинет?..

«Мы вошли туда...

«— Милости прошу,— сказал директор,— не угодно ли вам сесть?

«И сам сел к своему столу.

«— Что вам угодно? — спросил он.

«Сухой, вежливый тон свысока несколько смутил меня. «Кажется, я сделал величайшую глупость», подумал я; однако ретироваться было уже поздно, и я не без смущения объявил ему, что желал бы получить место Загоскина.

«Когда я произнес это, я видел, что лицо его превосходительства подернулось иронией, пришел от этого в еще большее смущение и, если бы можно было, убежал бы от него без оглядки, не дождавшись никакого ответа...

«— Как... я не дослышал... что такое? Какое место? — произнес директор, устремляя на меня резкий взгляд.

«Я, проклиная внутренно свою доверчивость, повторил глухо: «место директора московских театров».

«Его превосходительство так улыбнулся, что я не знаю, чего бы я ни дал в эту минуту, только бы не видать этой улыбки.

«— Какое же вы имеете право претендовать на это место? — спросил он,— вы знаете ли, что это генеральское, очень важное место?

«Я не совсем связно отвечал ему, что так как Загоскин, вероятно, получил это место вследствие своей литературной известности, то я полагал, что, пользуясь также некоторою литературною известностию, могу надеяться...

«Но директор прервал меня с явною досадою...

«— Напрасно вы думаете, что Загоскин имел это место вследствие того, что сочинял романы... Покойный Михайло Николаич был лично известен государю императору,— вот почему он был директором. На таком месте самое важное — это *счетная часть,* тут литература совсем не нужна: она даже может вредить, потому что господа литераторы вообще плохие счетчики. На это место, вероятно, прочат человека опытного, знающего хорошо администрацию, притом человека заслуженного и в чинах...

«Я сидел как на иголках. При этих словах я вскочил со своего стула и начал неловко извиняться и оправдываться в том, что обеспокоил его превосходительство.

«— Ничего, ничего,— проговорил он,— я сожалею, что не могу быть вам полезным, но я вам должен сказать откровенно, что вам никак нельзя было претендовать на такое место...

«Я не знаю, как я вышел от директора...

«— Ну, нечего сказать, славную штуку сыграли вы со мной,— сказал я моему знакомому, посоветовавшему мне отправиться к директору, и передал ему, какой прием был сделан мне.

«— Скажите! — отвечал он добродушно.— А я ведь, право, думал, что он, как литератор, примет вас, нашего первого романиста, с распростертыми объятиями и готов будет все сделать для вас. Вот как иногда ошибаешься в людях! Ну кто бы мог это предвидеть? Ах, как жаль, как жаль!.. Да я и представить себе не могу, кого же они назначат на это место? Я все-таки убежден, что оно, по всем правам, принадлежит вам».

Лажечников не столько досадовал на директора канцелярии и на господина, посоветовавшего ему идти к нему, сколько на самого себя, и сам подсмеивался над своею доверчивостию и наивностию... [273].

. . . .

Немногие даже из замечательных людей сберегают до старости то живое начало, ту смелость духа, те благородные стремления, которые одушевляли их и давали им силу в молодости. На таких старичков, благословляющих, а не клянущих новые поколения, смотреть легко и отрадно. Они одушевляют юность на подвиги и вселяют в нее ту веру, без которой мертвы дела.

Но зато ничего не может быть жалче и печальнее, когда видишь человека, разбитого жизнию, бессильного, пережившего самого себя, старающегося насильно удерживать за собою власть, принадлежавшую ему некогда по праву, человека, прикидывающегося молодцом, когда уже ноги дрожат и изменяют ему на каждом шагу, и с злобною завистью отрицающего действительную силу, проявляющуюся в новом поколении... Такое зрелище представлял, к сожалению, в последние годы своей жизни некогда сильный литературный боец, под влиянием которого воспиталось почти все наше поколение. Я говорю о Полевом.

Если бы он после рокового произвола, обрушившегося над ним, присмирел поневоле и продолжал бы честно и смиренно трудиться с единственною целию поддерживать свое многочисленное семейство, имя его осталось бы незапятнанным в истории русской литературы. Но Полевой с испугу поспешил употребить слабые остатки своего таланта на угодничество, лесть, которых никто от него не требовал; беспрестанно унижал без нужды свое литературное и человеческое достоинство, протягивая свою руку людям отсталым, пошлым защитникам тех принципов, против которых он некогда ратовал, отъявленным негодяям, и — что всего хуже — с завистливою ненавистию отвернулся от нового поколения. Я редко бывал у Полевого, он знал мою дружбу с Белинским и потому был очень осторожен при мне, но, несмотря на это, не мог скрывать своего недоброжелательства к нему. Он не мог простить Белинскому того, что тот пользовался любовию и уважением молодежи в той же степени, если не более, какими пользовался некогда он... Ему хотелось показать, что Белинский приобрел значение не по праву, что он не имеет для критика достаточного образования, не владеет тактом и мерой, «хотя бесспорно отличается большою бойкостию пера»...

— Да и на нынешнюю молодежь-с,— прибавлял он,— угодить, ей-богу, не так трудно... Она нетребовательна-с... Это не то, что молодежь нашего времени-с...

Я не спорил с Полевым. Это было бы напрасно. Полевой, кажется, успокоивал свое уязвленное, больное самолюбие такими невинными парадоксами до конца жизни.

Хотя он совершенно потерял в последние годы свое литературное значение и популярность, но смерть его всех на мгновение примирила с ним. Полевой, восхвалявший романы частного пристава Штевена, писавший «Парашей-Сибирячек» и другие тому подобные произведения, был забыт.

В простом деревянном гробе, выкрашенном желтою краскою (он завещал похоронить себя как можно проще), перед нами лежал прежний Полевой, тот энергический редактор «Московского телеграфа», которому мы были так много обязаны нашим развитием.

Полевого отпели в церкви Николы Морского. Церковь была набита битком. Все почти литераторы присутствовали на его похоронах. Гроб его студенты несли до кладбища на руках.

Полевой, впрочем, скоро после похорон был забыт, как забываются все люди, имеющие несчастие умереть еще заживо.

Перед этим уже многие литературные деятели прежнего времени, о которых упоминал я в 1-й части моих «Воспоминаний», окончили свое земное поприще... Умерли Свиньин и Воейков, к удовольствию г. Краевского. Их смерть сделала его собственником «Литературных прибавлений» и «Отечественных записок». Г. Краевский был счастлив на журнальные вакансии, как Скалозуб...[274].

Воейков, говорят, за четверть часа до смерти так же хитрил и лицемерил, как всю жизнь. За ним ухаживала в последние минуты какая-то девушка. Он беспрестанно просил пить, и всякий раз, когда она подносила ему питье, он щипал ее и схватывал за волосы. Чтобы избежать этого, девушка поставила перед ним стакан на стол и уже не подходила близко к постели... Воейков начал стонать, кряхтеть, охать, жаловаться на свое беспомощное положение, клялся, что не может

поворотить ни рукой, ни ногой, и слабым, умоляющим голосом обратился к девушке, прося, чтобы она Христа ради поднесла ему стакан к губам... Но лишь только она исполнила его желание, он приподнялся с постели, снова с ожесточением схватил ее за волосы и упал, ослабевши от этого усилия, на постель.

Через четверть часа после этого он снова и сильнее прежнего начал стонать, охать и звать к себе девушку, говоря, что он умирает...

Она не поверила. Он прохрипел и остался недвижим. В этот раз это было уже не лицемерие, а действительная смерть; но девушка еще долго не решалась подойти к постели умершего, все думая, что Воейков притворяется умирающим...

После смерти Полевого, кое-как поддерживавшего «Сын отечества», в нашей журналистике осталось только два видных органа: «Библиотека для чтения» Сенковского, выдыхавшаяся и терявшая с каждым годом подписчиков, и «Отечественные записки» Белинского, успех которых возрастал с каждым годом... Все талантливые люди из нового поколения, появлявшиеся в Москве и Петербурге, присоединялись к «Отечественным записках». Булгарин в своих субботних фельетонах тщетно употреблял всевозможные усилия, чтобы поддержать «Библиотеку для чтения» и убить «Отечественные записки», но он сам, не замечая того, с каждым годом утрачивал свой авторитет, потому что поколение, веровавшее в него, старело, теряло вес и сходило со сцены. Его протекции и рекомендации потеряли всякую силу. Г. Каменский выхлопотал дозволение возобновить журнал С. Н. Глинки «Русский вестник»; Булгарин принял г. Каменского и будущий его журнал под свою протекцию, кричал из всех сил: «подписывайтесь, подписывайтесь на «Русский вестник»... Я отвечаю, что журнал будет превосходный» и т. д. Но по выходе первой книжки «Русского вестника» журнал этот должен был прекратиться за неимением подписчиков [275].

Только одни мелкие, дряхлевшие петербургские литераторы, всю жизнь пробавлявшиеся рутиной и фразой, были добродушно убеждены в том, что царству Сенковского и Булгарина не будет конца и что куда же Белинскому тягаться с такими гениями!.. Из лите-

ратурных авторитетов один Кукольник был открыто на стороне Сенковского и Булгарина; отживавшие литераторы-аристократы держали себя совершенно в стороне: они не терпели Сенковского, презирали Белинского, но, не имея своего органа [276], изредка, почувствовав желание видеть в печати свои стишки, поневоле отсылали их в «Отечественные записки», потому что имя г. Краевского, некогда красовавшееся рядом с их именами на обертке «Современника», было небезызвестно им, и к тому же собственно г. Краевский никогда не оскорблял их самолюбия. Иные из молодых петербургских литераторов, пользовавшиеся некоторым, довольно сомнительным, впрочем, успехом, колебались между «Библиотекой для чтения» и «Отечественными записками», не имея особенного влечения ни к одному из этих журналов. К числу таковых принадлежал Э. И. Губер, человек очень добрый и мягкий, владевший до некоторой степени стихотворным даром, но, к сожалению, имевший претензию на какую-то философию, полученную им в наследство от своего наставника [277].

Философия эта нисколько не служила к просветлению взгляда Губера на жизнь и искусство, а напротив, затемняла его голову и придавала ему мрачный характер, что-то таинственное, очень нравившееся, впрочем, дамам. Некоторые из них, принадлежащие к *высшему кругу,* приняли Губера под свое покровительство и под их влиянием наш философ вздумал писать фельетоны в «С.-Петербургских ведомостях», издававшихся тогда А. Н. Очкиным. Эти фельетоны, излагаемые весьма туманно, состояли из великосветских сплетен. Они имели успех в своем маленьком кружку, очень волновали его, но в публике проходили совершенно незамеченными...[278].

Граф В. А. Соллогуб, лучший из наших беллетристов сороковых годов, вовсе не разделяя убеждений Белинского, печатал, однако, свои повести в «Отечественных записках», во-первых, по старому своему знакомству с г. Краевским, а во-вторых, потому что «Отечественные записки» приобретали все больший успех в публике; а известно, что молодые люди вообще, и в особенности светские, всегда увлекаются успехом, даже иногда и не сочувствуя ему.

ГЛАВА IX

Мое знакомство с графом Соллогубом.— Его литературные успехи.— Огарев и К. Булгаков.— Чтение у меня на даче «Медведя».— Граф Мих. Юр. Виельгорский.— Константин Булгаков.— Середы у графа Соллогуба.— А. П. Башуцкий и Булгаков.— Появление Ф. М. Достоевского.— Успех его «Бедных людей».— Увлечение Белинского.— Достоевский на вечере у Соллогуба.— Чтение «Нахлебника» Тургенева у князя Одоевского и «Свои люди — сочтемся» Островского у Соллогуба.— Впечатление, произведенное этими пиесами на великосветскую публику.— Дружеские вечера у А. Н. Струговщикова.— Брюллов и Кукольник на этих вечерах.— Закат Кукольника.

Я познакомился с гр. Соллогубом, когда он еще был дерптским студентом и приезжал на вакации в Петербург.

Страсть к литературе развита была в нем тогда сильно, но он как будто стыдился обнаруживать ее.

Он говорил, что ему вздумалось набросать небольшой рассказ, что его Краевский взял у него, и спешил прибавить к этому, что он вовсе, впрочем, не намерен быть литератором, а так иногда пишет от нечего делать, от скуки.

Рассказ этот под названием «Сережа» был напечатан в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» 1837 г.[279]. Он понравился очень многим, но вообще в публике был мало замечен.

В Соллогубе, после выхода из университета, очень резко бросалась в глаза смесь немецкого буршества с русскими барскими замашками и претензиями — странная смесь, вечно ставившая его в неловкое противоречие с самим собою. От этого он казался искусственным, натянутым и как бы постоянно недовольным собою. Все это еще увеличивалось в нем с летами, когда к этому недовольству присоединялись муки неудовлетворенного чиновничьего честолюбия, оскорбленного литературного самолюбия и, наконец, недостаток средств вести ту широкую и беспечную барскую жизнь, к которой он был приготовляем в детстве. Не способный ни к какой самостоятельной мысли, ни к какой серьезной деятельности, ни к какому выдержанному труду, смотря даже на труд несколько презрительно, свысока и по-барски, он с барскою небрежностию

обращался с своим талантом, не заботился о его развитии и, несмотря на свои первые блестящие успехи в литературе, остался навсегда литературным дилетантом, хотя такая роль мало удовлетворяла его самолюбие. У него недостало воли остановиться на чем-нибудь, избрать себе какое-нибудь определенное поприще, какую-нибудь специальность... Ему хотелось в одно и то же время достичь какой-нибудь важной административной должности, иметь значение при дворе, играть роль в большом свете и приобрести литературный авторитет, не употребляя для этого, впрочем, никаких усилий. Беспечно гоняясь за всем, он ни на одном из этих поприщей не приобрел никакого значения и остался немножко литератором, немножко придворным, немножко светским человеком и немножко чиновником. С горьким и ядовитым сознанием своей неудавшейся жизни, с тоскою и пустотою в душе, вследствие отсутствия всяких убеждений, не удовлетворяемый рутинными понятиями, в которых погрязал лениво, он неловко разыгрывал в свете роль литератора, а в литературе — светского человека. Но недовольство самим собою, искреннее сознание в своих недостатках и слабостях перед людьми, которых он уважал — все это показывало, что Соллогуб по натуре своей не принадлежал к тем дюжинным господам, которые с апатическим равнодушием легко и дешево примиряются с самими собою...

Успех его «Истории двух калош» был огромный и в литературе и в публике. Повесть эта читалась всеми нарасхват. Критика с увлечением приветствовала ее и начала смотреть на Соллогуба как на одну из надежд русской литературы. Белинский был от нее в восторге. Он с участием и любопытством расспрашивал меня об ее авторе.

«История двух калош» наделала столько шуму, что она читалась даже теми, которые никогда ничего не читали... по крайней мере по-русски; в большом свете с неделю только и говорили об этих «Калошах»... Соллогуб был в ходу. Эти «Калоши» раз только доставили ему небольшую неприятность. При разъезде с бала Д * он, вместе с толпою разъезжающихся дам и кавалеров, остановился на лестнице. В этой толпе был между прочим А * — господин очень бойкий и наход-

чивый. Соллогуб, подсмеиваясь над ним, закричал с иронической торжественностию: «Карету А — на!» А * посмотрел на него с улыбкою и закричал в свою очередь: «Калоши Соллогуба!..» Все невольно улыбнулись. Самолюбие Соллогуба (действительно не имевшего на этот раз кареты) было уязвлено, и он не мог скрыть своего смущения.

Поощренный успехом, Соллогуб с жаром принялся за другую повесть, и на следующий год в «Отечественных записках» появился его «Большой свет». Этот «Большой свет» в публике имел почти равный успех с «Историею двух калош», но в литературных кружках, которым он тоже очень понравился, его приняли уже гораздо хладнокровнее, чем «Историю двух калош»...

Белинский отдавал справедливость ловкости и мастерству изложения этой повести, упрекал ее за слабость мысли, за неудавшуюся концепцию, за характер Сафьева (в Сафьеве Соллогуб хотел изобразить Соболевского), на которого автор смотрел с некоторым благоговением, как на идеал. Один только Краевский, заранее всем прокричавший об этой повести как о небывалом еще явлении в нашей литературе, упорно отстаивал ее от всяких замечаний, повторяя одни и те же фразы... «Нет, что ни толкуйте, это превосходная вещь, превосходная, большой свет схвачен в ней мастерски, и какой язык-то! Нет, Соллогуб молодец, молодец. Я не ожидал от него этого».

Через несколько дней после этого Краевский, впрочем, уже отзывался о «Большом свете» словами Белинского.

«Концепции нет,— повторял он,— и что это за лицо Сафьев? Можно ли выставлять его как идеал?» и прочее.

После «Истории двух калош», «Большого света» и в особенности «Аптекарши», которая произвела фурор, Соллогуб сделался самым любимым и модным беллетристом и даже нашел некоторых (весьма, впрочем, слабых) подражателей. Все последующие произведения его, если и не имели такого успеха, как его три первые повести, то все-таки читались с жадностию.

Летом 1842 г. я жил на даче в Павловске вместе с Краевским, который лишился в этот год жены. Фли-

гель дачи занимал Языков и Боткин, приехавший в Петербург. Лето это мы провели очень весело. У Языкова во флигеле гостил по нескольку дней Огарев, отправлявшийся за границу, Константин Булгаков, известный своими шалостями, артистическими талантами и остроумными выходками с великим князем Михаил Павловичем, и многие другие наши приятели. Гости не переводились в языковском флигеле.

С Огаревым мы познакомились через Искандера. Огарев очень привязался к Языкову.

Огарев принадлежал к тем мягким, кротким, созерцательным и вместе чувственным натурам, которых обыкновенно называют поэтическими. Такие натуры совершенно не способны к жизни практической, деятельной. Без постороннего влияния, оставленные самим себе, некоторые из них удовлетворяются отвлеченным миром фантазий, в который погружаются с каким-то апатическим наслаждением, и киснут в этих фантазиях, другие просто погрязают безвыходно в чувственных наслаждениях... Огарев с ранних лет дружески сошелся с Искандером, который не допустил его ни до того, ни до другого. Огарев развил в себе под его энергическим влиянием те убеждения, которые поддерживали его во всех переворотах его бурной жизни и осмыслили его существование.

Что-то необыкновенно симпатическое и задушевное было во всей его фигуре, в его медленных и тихих движениях, в его постоянно задумчивых глазах, в его тихом, едва слышном голосе, походившем более на шепот больного. Недаром Искандер, Грановский и многие из наших приятелей любили его с какою-то нежностью. Грусть никогда не покидала Огарева, даже в минуты самого шумного разгула. Старый, отживающий мир со всеми его нелепыми условиями и формами тяготил его, он не мог подчиниться ни одному из этих условий и с каким-то тайным наслаждением рвал те связи, которые прикрепляли его еще к этому миру. Он отпустил часть своих крестьян на волю, остальное еще довольно значительное состояние он проживал не только с сознательною беспечностию, но даже с каким-то чувством самодовольствия.

— Чтобы сделаться вполне человеком,— говорил он нам своим симпатическим шепотом, попивая, впро-

чем, шампанское,— я чувствую, что мне необходимо сделаться пролетарием.

И это была не фраза. Он говорил искренно, и на его грустных глазах дрожали слезы...

Огарев беспрестанно путался, спотыкался в жизни, предавался, как блудный сын, всем крайностям разгула, но, как блудный сын, он и в падении не утратил чистоты души своей и не изменил своим благородным убеждениям. Ни капли фразерства и лицемерства не было ни в его жизни, ни в его стихах.

Искренность и задушевность — их главные достоинства. Их можно, пожалуй, упрекнуть в монотонности, вялости, иногда в бессильной грусти, похожей на старческое хныканье, но уж никак не в искусственности и не во фразе...

Огарев и Языков не могли не сблизиться между собою; в них было что-то родственное по мягкости и кротости характеров и по отсутствию в обоих всякого практического такта. Огарев и Языков просиживали иногда напролет целые ночи, тихо беседуя и сладко фантазируя за бутылкою вина... Один раз после бессонной ночи Огареву (в этот раз с ним не было Языкова) пришла фантазия отправиться в Невский монастырь на могилу своего отца...[280]. И ему непременно захотелось взять с собою Языкова. Огарев отправился к нему в половине пятого часа утра и разбудил его... Языкова нимало не удивило, а, напротив, показалось очень натуральным предложение Огарева, и он тотчас же оделся и с великим удовольствием отправился с ним на кладбище.

Приезд Огарева, который провел в Павловске трое суток, оживил Языкова и заставил всех нас провести три бессонных ночи. Однажды к нам присоединился Соллогуб, живший в Царском селе. После окончания музыки в вокзале мы возвратились в языковский флигель, пили чай, заваривали жженку и просидели незаметно до 2 часов. В 2 часа мы отправились провожать Соллогуба. Соллогуб зазвал нас к себе. Мы влезли к нему в кабинет через окно, посидели у него с полчаса и отправились встречать утро в царскосельский сад и умываться к Молочнице...[281]. Домой мы вернулись часам к 8 и принялись завтракать. Такая безалаберная жизнь очень нравилась и Языкову и Огареву, но

внутренний комфорт Огарева нарушался, если в наши ночные беседы и прогулки вмешивалось постороннее лицо... «Соллогуб, может быть, очень хороший человек,— говорил Огарев,— но бог с ним, он не наш, мне с такими господами неловко, я при них и говорить не умею»...

И действительно, при Соллогубе было неловко в прямом, бесцеремонном, дружеском кружке. Он тотчас нарушал его гармонию, внося, против своей воли, искусственность, ложь, ломанье, фатство, от которых он никак не мог отделаться и которые становились его второю натурою. Он желал ближе сойтись с многими из нашего кружка, но при отсутствии всякой простоты и искренности и при его смешных барских выходках и замашках — это было невозможно. Препятствие к такому сближению было с его, а не с нашей стороны, а он добродушно жаловался на нас и упрекал нас в том, что мы его дичимся и удаляемся от него.

Отсутствие простоты доходило в этом человеке до комического. Ему хотелось прочесть нам свою новую повесть, и, вместо того чтобы просто передать нам свое желание, он, встретив меня однажды в Павловском вокзале, завел со мною такую речь небрежным, вялым тоном, нехотя и отвлекаясь беспрестанно посторонними предметами:

— Не правда ли, что сочинять повести это ужасно глупое занятие? а? Как вы думаете об этом? [282]

ВОСПОМИНАНИЕ О БЕЛИНСКОМ [283]

В 1838 году А. В. Кольцов, с которым я был знаком очень близко, просил меня от имени Белинского участвовать в «Наблюдателе», который тогда только что перешел под его редакцию. По этому поводу я написал письмо к Белинскому с предложением своих услуг, и между нами завязалась переписка.

Вот его письма ко мне:

I

Москва. 1838 г., апреля 26 [284].

Любезнейший Иван Иванович, не могу вам выразить того удовольствия, которое доставило мне ваше милое письмо. Я давно знаю вас, давно полюбил вас: во всем, что ни писали вы, видна такая прекрасная, такая человеческая душа [285]. Вы *один* доказали мне, что можно быть человеком и петербуржским литератором. Я не старался узнать, каковы вы на самом-то деле (как говорят опытные люди, разделяющие жизнь на идеальную и реальную): я слишком верю моему чувству, чтобы иметь нужду наводить справки для его оправдания. Веря моему чувству, я был уверен, что и вы любите меня, точно так же как был уверен, что меня терпеть не могут разные петербуржские поэты, прозаики — и знакомые и незнакомые со мною, и даже журналисты, переписывавшиеся со мною — но Вашу руку — я жму ее как руку друга! Вы не обманулись,

оставивши в стороне и пустые приличия и ложный стыд.

Благодарю, сердечно благодарю вас за ваше предложение — быть мне полезным по журналу. Эта помощь важна для меня. Теперь мне во что бы то ни стало, хоть из кожи вылезть, а надо постараться не ударить лицом в грязь и показать, чем должен быть журнал в наше время, показать это издателям изящных афиш и издателям толстых журналов с афишкою на придачу; но молчание — скоро увидите сами и, надеюсь, заочно погладите по головке. Горе вашей петербуржской братье, горе всем этим маленьким гениям, которые, после смерти Пушкина, напоминают собою слова Гамлета: «отчего маленькие человечки становятся великими, когда великие переводятся?» Итак, помогите по мере возможности, а то вас там разрывают по частям, по клочкам литературные воронья, собиратели чужих трудов. Литература наша теперь хромает, как никогда не хромала: сам Полевой, этот богатырь журналистики, сам он только портит дело и добросовестно вредит ему, хуже Сенковского.

Первый № «Наблюдателя» позамедлился от разных обстоятельств, которые могли встретиться только при первом №; но он выйдет в Москве, когда вы будете читать мое письмо; второй уже печатается, третий начнется печатанием завтра.

Прощайте и пишите ко мне чаще, а я не останусь у вас в долгу.

Письма адресуйте на мое имя — в дом Межевого института (Константиновского) [286].

Добрый А. В. Кольцов вам кланяется.

Ваш *В. Белинский.*

II

Москва. 1838 г. Августа 10[287].

Любезнейший Иван Иванович! Долго ждал я вашего письма, но мое долгое ожидание было с избытком вознаграждено: ваше письмо показало мне, что я приобрел еще спутника на пути жизни к одной цели. Я не умею понимать ни любви, ни дружбы иначе, как на взаимном понимании истины и стремлении к ней.

Уверен, что когда с вами увидимся, то возможность осуществится, и стремление к дружбе сделается дружбою. Не нужно больше слов — пусть все развивается само собою, из времени и обстоятельств. Для зерна нужна земля, чтоб сделаться деревом; для дружбы, как и для всякого чувства,— возможность дружбы. Я сказал, чтó я разумею под возможностию: для нас эта возможность уже слишком ясна — остальное довершит время.

Вы пишите, что желали бы видеть меня издателем журнала с 3000 подписчиков, а я бы охотно помирился и на половине: *«Телеграф»* никогда не имел больше, а между тем его влияние было велико, «Библиотека для чтения» издается человеком умным и способным, и издается им для большинства, и потому очень понятен ее успех. Журнал с таким направлением, которое я могу дать, всегда будет для аристократии читающей публики, а не для толпы и никогда не может иметь подобного успеха. Но я не знаю, почему бы мне не иметь 1500 или около 2000 подписчиков. Но видите ли: для этого нужно объявить программу перед новым годом, а не в марте или мае, и программу *нового* журнала с *новым* названием, потому что воскресить репутацию старого, и еще такого, как «Наблюдатель», так же трудно, как восстановить потерянную репутацию женщины. Сверх того в Москве издавать журнал не то, что в Петербурге; в нашей цензуре (московской) царствует совершенный произвол; вымарывают большею частию *либеральные* мысли, подобные следующим: 2 × 2 = 4, зимою холодно, а летом жарко, в неделе 7 дней, а в году 12 месяцев. Но это бы еще ничего— пусть марают, лишь бы не задерживали. VI № мог бы выйти назад тому две недели, но 5 листов пролежали больше недели в кабинете Голохвастова. Снегирев и сам мог бы вычеркнуть все, что ему угодно, но он хочет казаться пред издателями добросовестным, а перед начальством исправным, а мы должны терпеть. В 6 № я поместил переводную статью: «Языческая и христианская литература IV века. Авзоний и св. Паулин»; языческой и христианской и святого цензор нам не пропускает: каково вам покажется[288]? Вы знаете, что владелец «Наблюдателя» — Н. С. Степанов; у него есть все средства, сверх того — хорошая своя типогра-

фия. Если бы ему позволили объявить себя издателем, как Смирдину, начать журнал с нового года и в 12 книжках, как «Библиотека для чтения» и «Сын отечества», — то дело бы пошло на лад. Эти три обстоятельства: объявление имени издателя, который по своим средствам может иметь право на кредит публики, новый план журнала и настоящее время для его начала — могли бы дать содержание для программы и из старого журнала сделать *новый*. Конечно, если бы к этому еще позволили переменить его название — это было бы еще лучше, но на это плоха надежда. Еще лучше, если бы ко всему этому *мне* позволили выставить свое имя как редактора, потому что В. П. Андросов охотно бы отказался от журнала и всех прав на него. Но зачем говорить о невозможном. По крайней мере мы хотим попробовать насчет первых трех перемен — имени Степанова, 12 книжек и начала с нового года. Надо сперва прибегнуть к графу Строганову. Пока об этом не говорите решительно никому. Я уверен, когда придет время, и если вы что можете тут сделать чрез свои связи и знакомства, то сделаете всё[289].

Ваши *вкусовводители* точно люди добросовестные и благонамеренные — они *немножко и дерут, зато уж в рот хмельного не берут*[290]. Шевырев — это Вагнер. Он на лекции объявил, что *люблю букву*[291]... Хочу написать историю русской литературы для немцев—пошлю в Германию к Аксакову, он переведет и напечатает. То-то раззадорю наш народ. Уж дам же я знать суфлеру Кёнига[292]!

Я понял, о каком великом драматическом гении пишите вы ко мне: этого гения я разгадал еще в 1834 г. У меня очень верен инстинкт в литературных явлениях; издалека узнаю птицу по полету и редко ошибусь[293]...

Совершенно согласен с вами насчет философских терминов, что делать — погорячились. Говорите мне правду смело, только этим вы можете доказать мне свое дружеское расположение. Первая ваша правда мне понравилась, но оговорки были напрасны[294]. Кланяйтесь от меня Николаю Ивановичу Надеждину. Рад, что вам понравился Аксаков. Это душа чистая, девственная, и человек с дарованием[295]. Когда вы приедете в Москву, то увидите, что в ней и еще есть юноши.

Как жаль, что Бакунин живет в деревне! Как мне хотелось познакомить вас с ним. Но я познакомлю вас с В. Боткиным, которого музыкальные статейки, вероятно, вам понравились. Он же перевел «Дон-Жуана» Гофмана и переделал статью «Моцарт»[296]. Еще я познакомлю вас с Клюшниковым — очень интересный человек. Элегия в IV № «Опять оно, опять былое» — его. Стихотворение Красова «Не гляди поэту в очи» не относится ни к Пушкину и ни к кому, а его дума относится к Жуковскому[297]. Понравилась ли вам повесть в 1 №? Она принадлежит Кудрявцеву, автору «Катеньки Пылаевой» и «Антонины»[298]. Это человек с истинным поэтическим дарованием и чудеснейшею душою. И с ним я познакомлю вас. Он дал мне еще прекрасную повесть «Флейта». Странно, что вы прочли еще только два № «Наблюдателя», когда их вышло уже пять. Роман Степанова разругаю, потому что это мерзость безнравственная — яд провинциальной молодежи, которая все читает жадно[299]. Если бы это было только плохое литературное произведение, а не гнусное в нравственном смысле, то я уважал бы пословицу — de mortuis aut bene, aut nihil* . Благодарю вас за обещание *разного товара* — жду его с нетерпением — нельзя ли поскорее[300]. Харьковский профессор Кронберг изъявил свое согласие на участие. В 6 № его статья «Письма»; статья очень невинная, но ужаснувшая нашего цензора[301]. Читали ли вы в 5 № статью «О музыке»? Таких статей немного в европейских, не только русских журналах. Серебрянский — друг Кольцова, который и доставил мне статью. Представьте себе, что этот даровитый юноша (Серебрянский) умирает от изнурительной лихорадки. Очень рад, что вам понравилась моя статья о «Гамлете». В 3 № самая лучшая; я сам ею доволен, хотя она и искажена: Булыгин вымарывал слово *святой* и *блаженство,* а на конце отрезал целые пол-листа[302]. Напишите, как вам понравилась моя статья об «Уголино». Жаль Полевого, но вольно ж ему на старости из ума выжить. Что там за гадость такую он издает[303]. «Библиотека для чтения» во сто раз лучше: для большинства это превосходный журнал. Нет ли слухов о Гоголе? Как я смеялся, проч-

* О мертвых или хорошо, или ничего.— *Ред.*

тя в «Прибавлениях», что Гоголь, *скрепя сердце*, рисует своих оригиналов. *Во время оно* я и сам то же врал [304]... Скажите мне, что за человек *Струговщиков*? У него есть талант, он хорошо переводит Гете, по крайней мере получше во 100 раз Губера, который просто искажает «Фауста». И немудрено: он понимает Вагнера — как классика, а Фауста — как романтика. Я хочу растолковать ему, что он врет [305]. Если вы знакомы с Струговщиковым, то попросите у него чего-нибудь для меня: я с благодарностью (разумеется, *невещественною*) поместил бы. Уведомьте меня, что за человек Бернет? У него есть талант, который может погибнуть, если он не возьмется за ум заблаговременно. Я желал бы с ним познакомиться. Обещался мне Ф. Кони отдать для цензуры г. Корсакову две статьи, но что-то о них ни духу, ни слуху. Не знаете ли вы чего-нибудь об этом [306]. Прощайте. Жду от вас скорого ответа и с нетерпением ожидаю вас самих в Москву. Я и сам собираюсь в Питер, и весною думаю непременно побывать, если будут средства.

Ваш *В. Белинский.*

III

Москва. 1839. Февраля 18 дня.

Я так много виноват перед вами, любезнейший Иван Иванович, что нельзя и оправдываться. Впрочем, в моем столе и еще теперь лежит письмо к вам от ноября 10 прошедшего года, но — увы! недоконченное [307]. Право, не до писем было. В письме к вам мне хотелось бы означить определительно мое журнальное состояние, но это было невозможнее, чем означить погоду. И теперь пишу к вам коротко, но зато определенно. Вот в чем дело: *я не могу издавать «Наблюдателя»*. Далеко бы завело меня объяснение причин, и потому вместо всех этих объяснений снова повторяю вам — *я не могу издавать «Наблюдателя» и нахожу себя принужденным ныне отказаться от него* *. Но между тем — мне надо чем-нибудь жить, чтоб не умереть с голоду—

* Причины эти объясняются строгостью тогдашней цензуры и кроме того размолвкой между Белинским и некоторыми его московскими друзьями, что читатели увидят далее [308].

в Москве нечем мне жить — в ней, кроме любви, дружбы, добросовестности, нищеты и подобных тому непитательных блюд, ничего не готовится. Мне надо ехать в Питер и чем скорей, тем лучше. Прибегаю к вашему ко мне расположению, к вашей ко мне дружбе — похлопочите об устроении моей судьбы. Г. Краевский завален теперь делом — два журнала на руках[309] — думаю, что сотрудник, который в состоянии ежемесячно поставлять около десяти листов оригинального писанья или маранья, будет ему немалою подмогою. Я бы желал взять на себя разбор всех книг чисто литературных и даже некоторых других, — в таком случае в каждую книжку «Отечественных записок» я бы аккуратно поставлял от двух до пяти листов. Критика своим чередом, — смесь тоже. — Коротко и ясно: почем с листа? Но главное вот в чем: без 2000 мне нельзя даже и пешком пройти заставу; около этой суммы на мне самого важного долгу, а сверх того, я хожу как нищий в рубище. Кроме г. Краевского поговорите и с другими, сами от себя или через кого-нибудь: я продаю себя всем и каждому от Сенковского до (тьфу ты, гадость какая!) Булгарина, — кто больше даст, не стесняя притом моего образа мыслей, выражения, словом *моей литературной совести,* которая для меня так дорога, что во всем Петербурге нет и приблизительной суммы для ее купли. Если дело дойдет до того, что мне скажут: независимость и самобытность убеждений или голодная смерть — у меня достанет силы скорее издохнуть как собаке, нежели живому отдаться на позорное съедение псам... Что делать — я так создан.

Не замедлите ответом. Жду его с нетерпением.

Ваш *В. Белинский.*

Кроме того, в «Отечественных записках» я готов взять на себя даже и черновую работу, корректуру и тому подобное, если только за все это будет платиться соразмерно трудам. Денег! денег! А работать я могу, если только мне дадут *мою* работу. Итак скорей ответ. Главное, чтобы при вашем письме получил (если кто пожелает взять меня в работники) *подробные условия.*

Еще раз, — не замедлите ответом и — прощайте[310].

IV

Москва. 1839 г., февраля 25.

Я остаюсь в Москве, любезнейший Иван Иванович, и потому прошу вас оставить хлопоты обо мне и извинить меня за ложную тревогу. Различные затруднения до такой степени взбесили меня, что я твердо решился перебраться в Питер; но дело кое-как переделалось — и я опять москвич. Пока не могу много писать к вам: я еще болен от этих передряг. Пожмите от меня руку г. Струговщикову... Не умею благодарить его за присланные элегии Гете; несколько времени я обжирался ими; как в волнах океана жизни, купался я в этих гекзаметрах. Прошу у г. Струговщикова извинения в том, что я имел глупость две элегии поместить в 11 № за прошлый год, который только на днях явится, хотя уже является четвертый месяц. Перевод «Прометея» — чудо! Прошу и умоляю г. Струговщикова не оставить меня и вперед своими трудами[311].

Равным образом прошу вас засвидетельствовать мое уважение г. Владиславлеву. Очень благодарен ему за его милый подарок. Не отвечал ему на письмо по двум причинам: не до того было, а сверх того, я и не знаю имени и отчества г. Владиславлева. Попросите его засвидетельствовать мое почтение М. М. Попову, моему бывшему учителю, который во время оно много сделал для меня и живая память о котором никогда не изгладится из моего сердца.

Представьте себе — какое горе: у меня украдена учеником Межевого института, некиим М., тетрадь стихов Красова и попала в руки Сенковского, который и распоряжается ею, как своею собственностью. Нельзя ли об этом намекнуть в «Литературных прибавлениях»[312].

Не стыдно ли Краевскому воскурять фимиамы таким людям, каков Каменский, Гребенка и т. п.[313]? Статья Губера о философии обличает в своем авторе ограниченнейшего человека, у которого в голове только посвистывает[314]. Какая прекрасная повесть «История двух галош» гр. Соллогуба. Чудо! прелесть! Сколько душевной теплоты, сколько простоты, везде мысль!

Бью вам челом — нижайше кланяюсь, любезней-

ший Ив. Ив.: пока хоть чего-нибудь, а хорошего и отличного, когда будет у вас досуг. Право, если вы для 4 № не дадите своей повести — я рассорюсь с вами[315].

Кланяйтесь от меня Савельеву и скажите ему, чтобы он уже не хлопотал. До будущего 1840 года — я москвич, а там — что бог даст. Прощайте.

Ваш *В. Белинский.*

...Я приехал в Москву 13 апреля 1839 г. — и на другой же день отправился к Белинскому.

Вся умная и читающая молодежь была в это время увлечена его статьями.

Видеть этого человека и говорить с ним казалось для меня счастием.

Надо сказать, что я уже начинал сознавать тогда безобразие среды, в которой взрос, диких обычаев и предрассудков, которые всосал в себя с детства, но идеал лучшей и более человеческой жизни очень смутно представлялся мне — и я еще никак не мог оторваться от разных пошлых дворянских привычек, хотя по временам ощущал от них уже некоторую неловкость.

Двадцать лет тому назад в Москве все имевшие средства дворяне ездили обыкновенно в каретах четвернею на вынос[316]. Мне подтвердили, когда я отправлялся в Москву, что без четверни на вынос я не могу показать носа ни в один порядочный дом — и тотчас же по приезде в Москву я завел себе четверню на вынос.

На этой-то четверне, о которой мне и до сих пор еще вспоминать стыдно, я отправился к Белинскому.

Он жил в каком-то узеньком и глухом переулке недалеко, кажется, от Никитского бульвара в деревянном одноэтажном домике, вросшем в землю, окна которого были почти наравне с кирпичным узким тротуаром.

Когда моя четверня на вынос подкатила к воротам этого домика, домик весь заходил ходенем, и в глухом и тихом переулке раздался такой оглушающий гром от экипажа, что Белинский вскочил с дивана и бросился к окну с досадою, даже со злобой, как он мне, смеясь, говорил потом.

Такого грома не раздавалось в этом переулке с самого его существования (это тоже слова Белинского).

Я вышел из кареты, покраснев до ушей. В эту минуту я мучительно почувствовал неприличие моей четверни и грома, произведенного моею каретою, но уже было поздно.

Совершенно сконфуженный, с замирающим сердцем я вошел на двор, поросший травою, и робко постучался в низенькую дверь...

Дверь отворилась, и передо мною в дверях стоял человек среднего роста, лет около 30 на вид, худощавый, бледный, с неправильными, но строгими и умными чертами лица, с тупым носом, с большими серыми выразительными глазами, с густыми белокурыми, но не очень светлыми волосами, падавшими на лоб,— в длинном сюртуке, застегнутом накриво.

В выражении лица и во всех его движениях было что-то нервическое и беспокойное.

Я сейчас догадался, что передо мною сам Белинский.

— Кого вам угодно? — спросил он немного сердитым голосом, робко взглянув на меня.

— Виссариона Григорьича. — Я такой-то. (Я назвал свою фамилию).

Голос мой дрожал.

— Пожалуйте сюда... я очень рад... — произнес он довольно сухо и с замешательством и из темной маленькой передней повел меня в небольшую комнатку, всю заваленную бумагами и книгами. Мебель этой комнатки состояла из небольшого дивана с износившимся чехлом, высокой и неуклюжей конторки, подкрашенной под красное дерево, и двух решетчатых таких же стульев.

— Пожалуйста, садитесь, — он указал мне на диван,— давно ли вы в Москве?

— Я только вчера приехал.

Затем последовало несколько минут неловкого молчания. Белинский как-то жался на своем стуле. Я преодолел свою робость и заговорил с ним о нашем общем знакомом поэте Кольцове.

Белинский очень любил Кольцова.

— Ваши петербургские литераторы, — заметил он мне между прочим с улыбкою, — принимали Кольцова

с высоты своего величия и с тоном покровительства, а он нарочно прикинулся перед ними смиренным и делал вид, что преклоняется перед их авторитетами; но он видел их насквозь, а им и в голову не приходило, что он над ними исподтишка подсмеивается.

Я просидел у него с полчаса; о переписке нашей в этот раз не было ни слова; я боялся помешать его занятиям; к тому же его постоянное нервическое, беспокойное выражение лица приводило меня в большое смущение, и разговор наш шел вяло.

Я встал с дивана в надежде, что Белинский удержит меня, но он не удерживал. Мне показалось даже, что он был доволен тем, что я отправляюсь.

Он проводил меня до дверей, сказав, что непременно зайдет ко мне на днях.

Я вышел за ворота и пошел пешком. Мне стыдно уже было садиться в мою карету, запряженную четвернею, и я приказал ей следовать за мною.

— Только, пожалуйста, без шума и без грома, — сказал я кучеру, который посмотрел на меня с удивлением.

Через два дня после этого Белинский зашел ко мне утром и просидел довольно долго. В этот раз и он и я чувствовали себя как-то свободнее. Он расспрашивал меня о разных петербургских литераторах и журналистах и, по-видимому, слушал мой, несколько юмористический, рассказ о многих из них не без удовольствия.

Впоследствии он признавался мне, что я произвел на него, в первое мое свидание с ним, очень неблагоприятное впечатление, чему, конечно, немало способствовала моя карета, запряженная четвернею, и что он решился заплатить мне визит и покончить этим.

— Но во второй раз, — говорил он мне, — вы показались мне гораздо лучше, так что я даже забыл о вашей четверне и о карете. Я даже нашел, что в вас много добродушия, а некоторые ваши рассказы очень смешили меня, и я решился продолжать мое знакомство с вами.

С этих пор мы виделись все чаще и чаще.

Я переехал на Арбат, в серенький деревянный домик Тона (недалеко от Арбатских ворот), еще доселе существующий. Белинский нанял квартиру на дворе, наискосок этого дома. Он приходил ко мне запросто

обедать и с каждым разом становился со мною бесцеремоннее и искреннее. Я несколько раз в день забегал к нему.

С некоторыми из своих приятелей, именно с Боткиным и Катковым, он был в эту минуту в размолвке, так что, когда они являлись ко мне в одну дверь, он выходил в другую.

В это время всего чаще посещал его студент Московского университета, автор только что напечатанной в «Московском наблюдателе» повести «Флейта», впоследствии один из самых замечательных профессоров этого университета — П. Н. Кудрявцев.

Белинский очень любил автора «Флейты» и отзывался с большим уважением об его эстетическом вкусе.

— Кудрявцев наделен самым тонким чутьем для изящного, — говаривал Белинский, — и если ему что-нибудь нравится, так это действительно должна быть хорошая вещь...

Обстоятельства Белинского в эту минуту были очень плохи. Дела издателя «Наблюдателя» Степанова шли худо, он платил Белинскому за его труды самые ничтожные деньги, да и то в неопределенные сроки. Мелочные долги очень тревожили его. После переезда на новую квартиру у него всего оставалось 30 рублей ассигнациями. Усиленная борьба с тяжелыми обстоятельствами утомляла его, надежда на продолжение «Наблюдателя», за который он принялся с таким жаром, исчезала.

В эту минуту вся журнальная деятельность сосредоточилась в Петербурге, где возник еще новый толстый журнал.

— Я охотно переехал бы в Петербург, — говорил он, повторяя то, что уже писал ко мне,— и взял бы на себя весь критический отдел журнала, если бы мог получать 3000 ассигнациями. Неужели же я не стою этой платы? А здесь я решительно не могу оставаться, мне просто здесь грозит голодная смерть...

Бескорыстнее и честнее Белинского я не встречал ни одного человека в литературе в последние двадцать лет. Когда речь заходила о плате за труд, он приходил в крайнее смущение, весь вспыхивал и сейчас же

соглашался на всякие предложения, самые невыгодные для себя.

— Как же вам не стыдно было соглашаться на такие условия? — с упреком говорили ему его приятели.

— Что делать? — возражал он с улыбкою.— Подлая трусость одолевает, когда речь коснется до денег. Я всегда иду с решительностию, молодцом, определю себе цифру и думаю: нет, уж менее этого я ни за что не возьму, а как дойдет до дела, так и сробею. Такая уж гадкая натуришка!

С деньгами он обращался, как ребенок: он то экономничал, лишая себя необходимого, то вдруг прорывался и позволял себе неслыханные роскоши при своем положении. Увлечение было его натурою, и он увлекался даже мелочами.

Однажды утром, во время пребывания моего на Арбате в доме Тона, я подошел к окну.

В эту минуту проходили мимо четыре человека с лотками на головах. На лотках были уложены горшки с великолепными цветами.

«Это, верно, несут в дом к какому-нибудь богатому господину»,— подумал я.

Через минуту я, разумеется, забыл об этих цветах, а через полчаса пошел к Белинскому.

Я остолбенел, войдя в его комнату. Эта пустая комната, с щекатуренными стенами, вымазанными вохрой, приняла роскошный вид: она вся была уставлена рододендронами, розами, гвоздиками всевозможных цветов, разливавшими благоухание.

Белинский, наклонившись, поливал горшок с розаном. Когда он приподнялся и увидел меня, он весь вспыхнул.

— Ну, что, какова у меня оранжерея? — сказал он, смеясь.

— Чудесная! — отвечал я. — Я видел, как эти цветы проносили мимо меня, и, признаюсь, никак не ожидал, чтобы их несли к вам.

— У меня, батюшка, страсть к цветам. Я зашел сегодня утром в цветочный ряд и соблазнился. Последние тридцать рублей отдал... Завтра уж мне формально есть нечего будет...

И несмотря на это, Белинский в это утро был веселее и одушевленнее обыкновенного и, говоря, беспре-

станно обращался к своим цветам, отрывал сухие листья, очищал землю в горшках и прочее.

Через несколько недель я получил письмо из Петербурга. Один из тамошних журналистов[317], совершенным сюрпризом для нас обоих, вдруг делал Белинскому предложение переселиться в Петербург и заняться редакциею его журнала. И я и Белинский очень хорошо знали, что журналист этот не питал к нему особенного расположения. Я предлагал этому журналисту сотрудничество Белинского после третьего его письма ко мне, но журналист, приобретший себе тогда критика в лице г. Межевича, решительно отказался от предложений Белинского.

Дело, видно, однако, не обошлось без Белинского.

Белинский, которому действительно грозила в эту минуту голодная смерть, не колебался ни на минуту и принял предложения журналиста, хотя они не имели ничего заманчивого.

Я должен был ехать к себе в деревню на раздел имения, и мы сговорились так, чтобы на возвратном пути из деревни отправиться в Петербург вместе[318]. В деревне я получил от Белинского следующее письмо:

Москва. 1839. Августа 19 дня.[319]

Ну, Иван Иванович, насилу-то дождался я от вас весточки; ваше молчание заставило было меня живо беспокоиться насчет и вашего переезда через Волгу и ваших новых отношений к делящимся (чего доброго — думал я — пожалуй, зарежут). По сему резону вы выходите не *благодетельный помещик,* как изволите величать себя, а разве *злокачественный дворянин* и *разбойник,* как резко выразился Иван Иванович о Иване Никифоровиче. Вот Авдотья Яковлевна[320] — дело другое: она очень похожа на благодетельную помещицу; попробуйте отдать деревню в полное ее распоряжение — и увидите, что чрез полгода, благодаря ее доброте и благодетельности, *благодарные* ваши крестьяне — сии брадатые Меналки, Даметы, а наипаче Титиры — сделаются сами господами, а господа сделаются их крестьянами.

Записка ваша ко мне отличается удивительною пу-

стотою содержания. Однако ж спасибо вам и за нее. Рад, что вы обещаете приехать к концу сентября, но боюсь, чтобы ваш приезд — как это часто бывает в сем непрочном мире — не отодвинулся до конца октября. Знаю, что вы рветесь оттуда всей душою, да боюсь, что дела задержат. Пожалуйста, *почтеннейший,* приезжайте скорее: право, я жду вас с нетерпением. Признаюсь, почему-то и с Москвою мне уж поскорее хотелось бы разделаться.

После вашего отъезда со мной произошла бездна перемен и разных разностей. Во-первых, я был болен... *Убедительное* письмо ваше к Николаю Филипповичу[321] не произвело никакого эффекта, потому, вероятно, что нужда убедительнее красноречия. Но мне досадно только, что он не давал никакого ответа. Около трех недель я и надеялся и отчаивался (самое гнусное состояние), наконец заболел и увидел необходимость не выходить из дому, но вдруг почему-то решился выйти в последний раз, повидаться с Боткиным... Иду — вдруг едет навстречу Николай Филиппович. — А, подумал я, вот зачем тянуло меня из дому! — вскакивает с дрожек и начинает на тротуаре беседу. О том о сем, между прочим и о вас — имею ли я от вас известия, наконец — к делу, Щепкин (М. С.) должен ему 115 р., так он предлагал мне поделикатнее попросить их у него себе. В моем положении и это было благодеянием божиим; а Николай Филиппович уверял, что у него нет ни копейки и что сам нуждается. Тотчас я увиделся на университетских экзаменах с Барсовым и попросил его передать Михайле Семеновичу *о сем.* На другой день спокойно жду денег, но не тут-то было. К. Аксаков дал 10 р., а то бы лекарства не на что было взять, а еще нужны были пьявки и другие подобные мерзости, требующие денег. Я было и нос повесил, но вдруг является И. Е. Великопольский, осведомляется о здоровьи и просит меня быть с ним без церемоний и сказать, нужны ли мне деньги? Я попросил 50 р., но он заставил меня взять 100. Вот так благодетельный помещик! На другой день, перед самым отъездом своим в деревню, опять навестил меня. От Щепкина я получил деньги, когда уже выздоровел.

Я помирился с Боткиным и Катковым. Между нами все опять по-прежнему, как будто ничего не было.

Да, все по-прежнему, кроме прежних пошлостей. Сперва я сошелся с Боткиным, и без всяких объяснений, прекраснодушных и экстатических выходок и прорывов, но благоразумно, хладнокровно, хотя и тепло, а следовательно и *действительно*. Теперь вижу ясно, что ссора была необходима, как бывает необходима гроза для очищения воздуха: эта ссора уничтожила бездну пошлого в наших отношениях. Причины ссоры, несколько вам известные, были только предлогом, а истинные и внутренние причины только теперь обозначились и стали ясны. Боткин много был виноват передо мною, но и я в этом случае не уступлю ему. Надо быть беспристрастным и справедливым. Впрочем — странно: я, который не находил удовлетворительного мщения Боткину, я теперь не могу себе ясно представить, за что я на него так неистовствовал. Вообще в нашей ссоре много семейного, только для нас понятного. Боткин — чудесный человек — теперь я могу это сказать, потому что говорю без пылу, в котором если много пламени, зато много и дыму и чаду, но с теплотою и благоразумно. Катков имеет один недостаток — он очень молод, а кроме этого, он один из лучших людей, каких только встречал я в жизни. Я рад без памяти, что наши дрязги кончились и что вы таки увидите *нас,* так как хотели и думали увидеть нас, когда отправлялись из Питера в Москву.

К. Аксаков со мной как нельзя лучше. Его участие ко мне иногда трогает меня до слез. Невозможно быть расположеннее и деликатнее, как он со мною. Славный, чудный человек! Но молод так, что даже Катков годится ему в дедушки. В нем есть все—и сила, и энергия, и глубокость духа, но в нем есть один недостаток, который меня глубоко огорчает. Это — не прекраснодушие, которое пройдет с летами, но какой-то *китайский* элемент, который примешался к прекрасным элементам его духа. Коли он во что засядет, так, во-первых, засядет по уши, а во-вторых — во сто лет не вытащите вы его и за уши из того ощущеньица или того понятьица, которое от праздности забредет в его, впрочем, необыкновенно умную голову. Вот и теперь сидит он в глупой мысли, что Гете (далеко кулику до Петрова дня!) выше Шекспира. Но пока он сидел да посиживал в этой мысли, если только нелепость можно на-

звать мыслию, случилось происшествие, от которого на лице Аксакова совершилось страшное aplatissement, *ибо* это происшествие накормило его грязью, как говорят безмозглые персиане. Грязь эту разделили с ним Бакунин и Боткин.

Еще давно, прошлою осенью, узнавши нечто из содержания 2 ч. «Фауста», я с свойственною мне откровенностию и громогласностию провозгласил, что оная 2 ч. не поэзия, а сухая, мертвая, гнилая символистика и аллегорика. Сперва на меня смотрели как на богохульника, а потом как на безумца, который врет, что ему взбредется в праздную голову. *Новое* поколение гегелистов основало журнал в pendant к берлинскому «Jahrbücher», основанному Гегелем — «Hallische Jahrbücher», и в этом журнале появилась статья некоего *гегелиста* Фишера о Гете, в которой он доказывает, что 2 ч. «Фауста» — мертвая, пошлая символистика, а не поэзия, но что 1 ч.— великое произведение, хотя и в ней есть непонятные, а потому и непоэтические места, ибо (это же самое говорил и *я*) поэзия доступна непосредственному эстетическому чувству и отнюдь не требуется для уразумения художественных произведений посвящения в таинства философии, и что все непонятное в ней принадлежит к области символизма и аллегории. Фишер разбирает все разборы «Фауста» и нещадно издевается над ними; достается от него и *первому* поколению гегелистов, которые, говорит, ослепленные ярким светом гегелевой философии, пустились сгоряча все подводить под нее и во 2 ч. «Фауста» особенно мнили видеть полное осуществление системы Гегеля в сфере искусства[322]. Больше всех срезался Марбах, который в своей действительно прекрасной *популярной* книге напорол о 2 ч. «Фауста» такой дичи, что Боткин, прекрасно переведший из нее большой отрывок, ничего не понял, и когда хотел поместить этот отрывок в «Наблюдателе», то принужден был вычеркнуть бóльшую часть того, что сказано там о 2 ч. «Фауста», которую Марбах называет «Книгою с семью печатями» для непосвященных[323]. Каково срезались ребята-то? И каков я молодец! Не правда ли, что необыкновенно умный человек... А?.. Как вы думаете?.. (спросите и Авдотью Яковлевну, как она о сем разумеет — я думаю, дивится моей скромности).

В этом же «Hallische Jahrbüher» есть статья о Данте, в которой доказывается, что сей муж совсем не поэт, а его «Divina comedia» — просто символистика. Я то же и давно думал и говорил, ну, и после этого вы еще не станете на колени перед моим эстетическим гением?..

Вот каким длинным письмом заплатил я за вашу записку. Получил я письмо на ваше имя и прилагаю его при сем. Также прилагаю и письмо Андрея Александровича ко мне — оно очень интересно. Пожалуйста, пишите ко мне.

Константину (Аксакову) еще не отдавал вашего письма, не видался с ним [324]. А как он будет рад ему— как дитя! Да, славное дитя Константин; жаль только, что движения в нем маловато. Я и теперь почти каждый день рассчитываюсь с каким-нибудь своим прежним убеждением и постукиваю его, а прежде так у меня — что ни день, то новое убеждение. Вот уж не в моей натуре засесть в какое-нибудь узенькое определеньице и блаженствовать в нем. Кстати, после статей о 2-й ч. «Фауста» и Данте я стал еще упрямее, и теперь мне пусть лучше и не говорят о драмах Шиллера: я давно уже узнал, что они слабоваты. Пушкин меня с ума сводит. Какой великий гений, какая поэтическая натура! Да, он не мог по своей натуре написать ничего вроде 2-й ч. «Фауста». Я обещал Владиславлеву в альманах статью о «Каменном госте» в форме письма к другу. Хочется попытаться на нечто похожее на философскую критику à la Рётшер [325]. У меня теперь три бога искусства, от которых я почти каждый день неистовствую и свирепствую: Гомер, Шекспир и Пушкин...

Поблагодарите от меня Авдотью Яковлевну за память обо мне и ударьте ей за меня низко челом.

Прощайте. В «Литературных прибавлениях» перепечатана моя статья о Полевом, а новая еще не напечатана [326].

Ваш *В. Белинский.*

Белинский не изменил своего намерения. Я возвратился в Москву в октябре — и в конце октября 1839 г. мы были уже в Петербурге. Он остановился у меня...

Всегда слабое здоровье его в это время начинало расстраиваться. Он иногда жаловался на грудную боль и одышку.

Я жил в это время на Грязной улице близ Семеновских казарм, в деревянном двухэтажном доме архитектора Диммерта. Белинский расположился внизу в совершенно отдельной комнате[327].

В этой-то комнате совершилось, месяцев пять спустя после нашего приезда, примирение Белинского с одним из его знакомых, об уме, блестящем образовании и остроумии которого он всегда отзывался с энтузиазмом.

Размолвка их произошла в Москве. Белинский имел в это время совершенно отвлеченное, умозрительное направление. Герцен — более общественное. Они крепко поспорили и поссорились. Белинский уехал из Москвы, не видевшись с ним.

Раз, в часу шестом вечера, это было, если я не ошибаюсь, в марте 1840 года, человек докладывает Белинскому о приезде к нему Герцена.

Белинский вспыхнул и соскочил с дивана при этом имени...

— Вот вы увидите наконец его! Это человек замечательный и блестящий. Заходите ко мне немного погодя. Я вас с ним познакомлю.

Через полчаса я спустился в комнату Белинского.

Когда я вошел, разговор между Белинским и Герценом был еще несколько натянут. Белинский представил нас друг другу.

Герцен окинул меня быстрым взглядом, вежливо улыбнулся, пожал мне руку и обратился к Белинскому.

Я несколько минут с любопытством рассматривал его. Герцен был человек довольно полный, лет двадцати восьми, среднего роста, с темными волосами, подстриженными под гребенку. Черты лица его были приятны и правильны, лицо одушевлено необыкновенным блеском и живостию карих остроумных глаз и каким-то особенно тонким юмористическим выражением у оконечностей губ... На нем был фрак с гербовыми пуговицами.

Я не оставался долго в комнате, не желая мешать им.

Через час Белинский пришел ко мне наверх.

— Ну, мы объяснились и снова, кажется, сошлись,— сказал мне Белинский, отдуваясь и падая на диван

(это свидание, видно, сильно на него подействовало).— Я рассказал Герцену известное вам происшествие со мною у Краевского,— об этом господине, который отказался от знакомства со мною, потому что я автор... знаете... я не могу называть эту статью по имени — и как я за это пожал руку этому господину... Герцен выслушал это и бросился ко мне. Мы обнялись и забыли все прошлое. Слава богу!.. У меня как гора с плеч свалилась [328]...

Петербург сначала произвел на него очень хорошее впечатление.

— Вот это европейский город! — говорил он.— То есть, по крайней мере такой, каким я воображаю себе европейские города!..— Потом он стал жаловаться на климат, но, браня его, всегда прибавлял:

— Ну, а во всяком случае все уж лучше жить в Петербурге, чем в Москве [329].

Приезд Белинского в Петербург наделал большого шуму в петербургских литературных кружках.

Все отживавшие петербургские литераторы и журналисты ненавидели его и в то же время страшно боялись.

Однажды мы шли с Белинским по Невскому проспекту. Вдруг кто-то дернул меня сзади за пальто. Я обернулся.

Передо мною стоял редактор известной газеты, автор различных нравоописательных статеек и романов, доканчивавший свое литературное поприще площадными выходками против всего живого, талантливого и нового, восхвалением разных магазинов и лавочек и нескончаемыми толками о чистоте русского языка...

— Извините, почтеннейший, извините,— пробормотал он мне,— это я вас дернул... Скажите, пожалуйста, кто это с вами идет?

— Белинский,— отвечал я.

— А! а!..— и он начал осматривать Белинского с несказанным любопытством с ног до головы.— Так это бульдог-то, которого выписали из Москвы, чтобы травить нас?..

Я передал эти слова Белинскому. Это очень забавляло его, и он потом часто повторял, что Булгарин называет его бульдогом.

К числу петербургских журналистов этого времени принадлежал бывший издатель «Московского телеграфа», с которым Белинский находился одно время в Москве в очень близких сношениях.

Белинский, как это видно и из писем его ко мне, любил его и высоко ценил его прежнюю московскую журнальную деятельность, которая уже не имела ничего общего с петербургскою.

— Этот человек сам предвидел свое падение,— рассказывал мне Белинский с грустию.— Когда он уезжал из Москвы, я проводил его до заставы. У заставы мы обнялись и простились... «Желаю вам успехов и счастия в Петербурге»,— сказал я. Он как-то уныло улыбнулся. «Благодарю вас,— отвечал он,— нет-с, уж какие успехи! Но если я буду действовать не так, как следует (он употребил более ясное и резкое выражение), то не вините меня, а пожалейте-с... Я человек, обремененный семейством...»

В Петербурге Белинский не видался с ним. Полевой избегал его потому, что после совершенной перемены в своих убеждениях ему, кажется, неловко было взглянуть прямо в глаза Белинскому...

— Белинский — прекраснейший, благородный человек! — сказал мне однажды Полевой, когда я нарочно завел с ним речь о Белинском.— Горячая голова, энтузиаст, но теперь нам сходиться не для чего-с. Я здесь уж совсем не тот-с. Я вот должен хвалить романы какого-нибудь Штевена, а ведь эти романы галиматья-с.

— Да кто же вас заставляет хвалить их? — спросил я с удивлением.

— Нельзя-с, помилуйте, ведь он частный пристав.

— Что ж такое? Что вам за дело до этого?

— Как что за дело-с! Разбери я его как следует,— он, пожалуй, подкинет ко мне в сарай какую-нибудь вещь, да и обвинит меня в краже. Меня и поведут по улице на веревке-с, а ведь я отец семейства!

У меня сжалось сердце при этом страшном признании. И это говорил тот человек, который некогда энергически преследовал всякую подлость, проповедовал о свободе духа, о человеческом достоинстве!

Литературные петербургские знаменитости смотрели на Белинского с высоты своего величия. Они не удостоивали замечать его или отзывались о нем как о наг-

лом, недоучившемся студенте, который осмеливается посягать на вековые славы. Один Пушкин, кажется, втайне сознавал, что этот недоучившийся студент должен будет занять некогда почетное место в истории русской литературы... Он просил Щепкина передать Белинскому первые книжки только что начатого им «Современника», зная, что Щепкин находился в близких сношениях с Белинским.

— Только, пожалуйста, чтобы это осталось между нами,— прибавил Пушкин.

Он боялся, чтобы об этом не узнали его друзья — литературные знаменитости [330]...

Белинский жил в Петербурге исключительно в небольшом кружке молодых литераторов, из которых многие в настоящую минуту достигли также степени литературных знаменитостей и, может быть, уже относятся к новому поколению литературных деятелей с тою же гордостию и неприступностию, с какой относились к Белинскому литературные знаменитости его времени...

На этот небольшой кружок молодых литераторов Белинский имел неотразимое влияние. Его любили и вместе боялись, несмотря на его кроткую, нежную и увлекающуюся натуру,— боялись, потому что Белинский беспощадно высказывал правду в глаза своим друзьям и жестоко преследовал насмешкою различные их слабости. Взаимное самовосхваление, лесть и лицемерие были ненавистны ему.

— Все это признаки растленного старчества,— говорил он,— не дай бог дожить до этого!..

Вот записка его ко мне, в которой выражается вся горячая, благородная, любящая душа Белинского.

Декабря 5, 1842 г.

Ну, Панаев, вижу, что у вас есть чутье кое на что — сейчас я прочел «Мельхиора», и мне все слышатся ваши слова: эта женщина постигла таинство любви [331]. Да, любовь есть таинство,— благо тому, кто постиг его; и не найдя его осуществления для себя, он все-таки владеет таинством. Для меня, Панаев, светлою минутою жизни будет та минута, когда я вполне удостоверюсь, что вы *наконец* уже владеете в своем духе этим

таинством, а не предчувствуете его только. Мы, Панаев, счастливцы — очи наши узрели спасение наше, и мы отпущены с миром владыкою, мы дождались пророков наших — и узнали их, мы дождались знамений — и поняли и уразумели их. Вам странны покажутся эти строки — ни с того ни с сего присланные к вам, но я в экстазе, в сумасшествии, а Жорж-Занд называет сумасшествием именно те минуты благоразумия, когда человек никого не поразит и не оскорбит странностью — это она говорит о Мельхиоре. Как часто мы бываем благоразумными Мельхиорами, и благо нам в редкие минуты нашего безумия. О многом хотелось бы мне сказать вам, но язык коснеет. Я люблю вас, Панаев, люблю горячо — я знаю это по минутам неукротимой ненависти к вам. Кто дал мне право на это — не знаю; не знаю даже, дано ли это право. Мне кажется, вы ошибаетесь, думая, что все придет само собою, даром, без борьбы, и потому не боретесь, истребляя плевелы из души своей, вырывая их с кровью. Это еще не заслуга, Панаев, встать в одно прекрасное утро человеком истинным и увидеть, что без натяжек и фразерства можно быть таким. Даровое не прочно, да и невозможно, оно обманчиво. Надо положить на себя эпитимью и пост, и вериги, надо говорить себе: этого мне хочется, но это нехорошо, так не быть же этому. Пусть вас тянет к *этому,* а вы все-таки не идите к нему; пусть будете вы в апатии и тоске — все лучше, чем в удовлетворении своей суетности и пустоты.

Но я чувствую, что я не шутя безумствую. Может быть, приду к вам обедать, а не говорить: говорить надо, когда заговорится само собою, а не назначать часы для этого. Спешу к вам послать это маранье, пока охолодевшее чувство не заставит его изорвать...

Кружок, в котором жил Белинский, был тесно сплочен и сохранился во всей чистоте до самой его смерти. Он поддерживался силою его духа и убеждений.

После его смерти все как-то разбрелись и спутались, но память об этом кружке, верно, до сих пор дорога каждому из тех, которые принадлежали к нему...

Белинский редко выходил из этого кружка и показывался в литературный свет.

Этот свет изредка открывался для него только в одном доме, куда стекались раз в неделю всевозможные известности — ученые, военные, литературные, духовные и великосветские. Большой гармонии и одушевления в этом обществе не могло существовать, усилие хозяина дома сближать литературу с великосветским обществом не удавалось. Для великосветского общества, никогда не принимавшего живого участия в отечественной литературе, вся тогдашняя литература заключалась только в пяти или шести литературных авторитетах, посещавших салоны. На остальных литераторов и ученых, людей по бо́льшей части не светских, застенчивых, это общество посматривало с несколько оскорбительным любопытством сквозь стеклышки и лорнеты, как на зверей, спрашивая с удивлением хозяина дома: «Откуда *это? Что это?»* Литературные авторитеты не желали сближаться с этими остальными и удостоивали их только изредка своего благосклонного внимания или одобрения. Они как будто боялись показать, что имеют что-нибудь общее с литераторами. Слово литератор было для них как будто обидное слово: они хотели слыть прежде всего людьми светскими, только иногда удостоивающими заниматься литературою.

Положение записных ученых и литераторов было очень неловко в этом великосветском литературном салоне. Они обыкновенно с робостию, с замирающим дыханием пробирались через салон, преследуемые дамскими лорнетами и мужскими стеклышками, в кабинет радушного хозяина и там уже, забравшись куда-нибудь в уголок, вздыхали полною грудью.

Нужно ли было сближать литературу с великосветскостию — это вопрос, в рассмотрение которого я входить здесь не буду...

Но, упоминая об этих собраниях, я должен сказать, что всех человечнее, всех лучше являлся на них сам хозяин дома, принимавший с одинаковым радушием, теплотою и искренностию, без различия, каждого своего гостя — какого-нибудь важного, значительного господина с украшениями на фраке и бедного, робкого, никому еще не известного литератора. Это черта, особенно для того времени, заслуживающая внимания.

Белинский долго не решался появиться в этом са-

лоне, несмотря на то, что чувствовал большое расположение к его хозяину, доказательством чего было то, что он высказывался пред ним вполне, иногда даже с такою энергиею, которая приводила хозяина салона в большое смущение...

— Отчего вы не хотите бывать у меня? Я сердит на вас,— говорил он Белинскому.

— Сказать вам правду — отчего? — отвечал, улыбаясь, Белинский.— Я человек простой, неловкий, робкий, отроду не бывавший ни в каких салонах... У вас же там бывают дамы, аристократки, а я и в обыкновенном-то дамском обществе вести себя не умею... Нет, уж избавьте меня от этого! Ведь вам же будет нехорошо, если я сделаю какую-нибудь неловкость или неприличие по-вашему.

Но, несмотря на это, хозяин салона непременно хотел, чтобы Белинский был в числе его гостей.

Канун нового года праздновался им всегда с необыкновенною торжественностью. Он особенно упрашивал Белинского приехать к нему в этот вечер (накануне 184*) и кроме того взял с меня слово, чтобы я непременно уговорил его и привез с собой.

Мне не совсем легко было исполнить это поручение. Я уговаривал Белинского более часа. Наконец он начал колебаться.

— Ну, да пожалуй, черт с вами... я поеду! — сказал он, беспокойно прохаживаясь по комнате.— Что же мне надеть? — прибавил он сердито, обращаясь ко мне.

— Наденьте сюртук, ведь дам не будет.

Он одевался долго, кряхтел, кашлял, уверял, что больше, чем когда-нибудь, чувствует одышку, что не утерпит — непременно съест чего-нибудь и от этого ему будет еще хуже.

Когда мы садились в сани, он занес ногу и сказал:

— Кажется, я делаю ужаснейшую, непростительнейшую глупость!.. Знакомых у меня там почти никого нет... Ну что я буду делать?

Когда мы всходили на лестницу, он, поднявшись на несколько ступенек, остановился и произнес:

— Уж не воротиться ли мне? Это было бы самое благоразумное...

— Нет, я не отпущу вас ни за что,— отвечал я решительно.

— Ну уж нечего делать... Идемте... да не бегите так скоро по лестнице. Ведь вы так здоровы, что на вас смотреть противно, вам нипочем всходить на какую угодно высоту, а я, и тихо-то идя, задыхаюсь по этим проклятым петербургским лестницам.

Белинский часто подсмеивался над моим здоровьем.

— Что у вас за желудок!.. Камни переваривает!..— восклицал он.— Человек болен никогда не бывает! — говорил он, указывая на меня кому-нибудь из наших приятелей,— как вам это кажется? Ведь родятся же на свет такие счастливчики! Да погодите, и на вас придет черед. Разом крякнете...

Был час двенадцатый, когда мы появились в салоне. Перешагнув за его дверь, Белинский побледнел и закусил губу, но отсутствие дам, радушие и приветливость хозяина успокоили его. Он примирился с своим положением, однако скучал и почти не отходил от меня.

В этот вечер были тут все литературные знаменитости и авторитеты старые и молодые, которых он видел так близко в первый раз в жизни: Крылов, Жуковский, князь Вяземский, Лермонтов и другие.

После ужина Крылов и Жуковский расположились на диване, а некоторые около них, образовав отдельный кружок.

Мы сидели позади этого кружка. На Белинского никто из них не обращал никакого внимания, а некоторые едва ли даже знали о его существовании, хотя в это время, как я уже заметил, вся читающая русская молодежь с жадностию поглощала все, что выходило из-под пера его, и имя его (появившееся только однажды в журнале под какой-то еще не совсем удавшейся статьей) с восторгом уже повторялось в самых отдаленных концах России.

Здесь кстати я приведу одно из доказательств этого. В 1845 году я ехал из Нижнего в Казань в почтовой карете. Соседом моим был человек средних лет, с бородой, одетый в длинный сюртук, покрывавший высокие сапоги. Это был сибирский купец, умный, любознательный и усердный чтец всех русских журналов. Он, вовсе не подозревая, что я несколько причастен к литературе, завел со мною речь о журналах...

— Какой же из журналов в бо́льшем ходу у вас? — спросил я его.

Он назвал мне тот журнал, в котором участвовал Белинский.

— Почему же? — возразил я.

— Как почему? Очень понятно, потому что в нем участвует Белинский. Его статьи у нас читаются всеми с жадностию.

— Да каким же образом вы отличаете его статьи? Ведь он никогда не подписывает своего имени.

— Птица видна, сударь, по полету, говорит пословица. Он хоть и не печатает своего имени, а имя его у нас знают все грамотные люди.

По возвращении в Петербург я, разумеется, передал Белинскому мой разговор с сибирским купцом. На Белинского это очень приятно подействовало.

— Вот каков я! — сказал он, улыбаясь.— Вы не шутите теперь со мной!..

Обратимся, однако, к салону.

Я сказал, что Белинский сидел рядом со мною, никем незамечаемый, сзади кружка литературных знаменитостей; он прислушивался к их разговору. Возле него стоял небольшой столик на одной ножке с несколькими бутылками вина. В рассеянии он облокотился на столик, столик опрокинулся, бутылки разбились, вино полилось к ногам знаменитостей, и ко всему этому Белинский потерял равновесие и упал на пол.

Стук от падения этого, ручьи вина — произвели большую суматоху... Все вскочили со стульев, обратившись назад.

Белинский с трудом поднялся. Вся кровь его прихлынула к голове, с минуту он был как в беспамятстве, хозяин дома, испуганный, бросился к нему с участием, повел его в свой кабинет, предлагал ему воды, различные нюхательные спирты...

Белинский мало-помалу пришел в себя, улыбнулся и сказал:

— Вот видите ли, я предупреждал вас, что наделаю у вас каких-нибудь неприличий,— так и случилось. Вините не меня, а самого себя.

Падение Белинского со стула было причиною того, что имя его стало переходить из уст в уста.

Многие великосветские господа, в первый раз услыхавшие это имя, спрашивали не без любопытства:

— А чем же этот господин замечателен? Что он такое пишет?

Несмотря на такой неудачный дебют в великосветском и литературном обществе, Белинский не раз после того посещал этот салон, для того только, впрочем, чтобы доставить удовольствие его радушному хозяину, а он был убежден, что этим он точно доставляет ему удовольствие[332].

Вообще Белинский не терпел разнородного, малознакомого и большого общества. Он даже, бывало, при появлении в нашем обычном кружку какого-нибудь незнакомого лица, изменялся мгновенно, впадал в дурное расположение духа и переставал говорить.

Он искренно был привязан ко всем без исключения, составлявшим этот тесный кружок, но иногда вдруг почему-то особенно увлекался на время одним кем-нибудь и обнаруживал к нему необыкновенную нежность. Он, впрочем, всегда прямо и откровенно сознавал потом свои заблуждения и сам добродушно смеялся вместе с нами над своими крайностями и увлечениями.

Он только никогда не мог слышать равнодушно о некоторых статьях своих, явившихся в конце 1839 и в начале 1840 года в «Отечественных записках»[334]. Однажды он зашел ко мне утром спросить—обедаю ли я дома (это было, если я не ошибаюсь, года через три после напечатания этих статей). На столе в кабинете моем случайно лежала та книжка, в которой была напечатана его статья «Менцель», открытая именно на этой статье.

Белинский пришел ко мне в очень хорошем расположении духа, но, подойдя к столу и взглянув на книжку, он вдруг изменился в лице, схватил книжку и бросил ее на пол.

— Что это, вы нарочно хотите поддразнивать меня, подсовывая мне на глаза эту статью? Вы знаете, что я не могу без негодования вспоминать об моих статьях этого времени. Сделайте одолжение, я прошу вас не делать со мною таких вещей.

Он задыхался и почти упал на диван.

Я уверял, что не имел ни малейшего намерения с умыслом подсовывать ему эту статью, что мне и в голову не могло прийти ничего подобного, но он, несмотря на это уверение, не скоро успокоился и не приходил ко мне обедать в этот день.

Вообще малейшая, самая ничтожная вещь могла

приводить его иногда в бешенство — это было уже отчасти следствием роковой болезни, развивавшейся в нем сильнее и сильнее.

Во время отдыхов иногда по вечерам он любил играть в преферанс с приятелями по самой маленькой цене и играл всегда с увлечением и очень дурно.

Раз (это было у меня, накануне светлого праздника) он часа три сряду не выпускал из рук карт и наставил страшное количество ремизов. Утомленный, во время сдачи он вышел в другую комнату, чтобы пройтиться немного. В это время Тургенев (которого он очень любил) нарочно подобрал ему такую игру на восемь в червях, что он должен был остаться непременно без четырех... Белинский возвратился, схватил карты, взглянул и весь просиял... Он объявил 8 в червях и остался, как и следовало, без 4. Он с бешенством бросил карты и вскрикнул, задыхаясь:

— Такие вещи могут случаться только со мною.

Тургеневу стало жаль его — и он признался ему, что хотел подшутить над ним.

Белинский сначала не поверил, но когда все подтвердили ему то же,— он с невыразимым упреком посмотрел на Тургенева и произнес, побледнев, как полотно:

— Лучше бы уж вы мне этого не говорили. Прошу вас вперед не позволять себе таких шуток!

Когда болезненные припадки затихали или не слишком беспокоили его, он становился как-то особенно ясен и светел: его кроткая, прямая, деликатная натура вся так и отражалась в его глазах. В эти минуты он любил подшучивать над слабостями некоторых своих друзей — например, на падкость к аристократии, на маленькое хвастовство, тщеславие и прочее.

Но (об этом я уже заметил и не могу не подтвердить еще раз) для того, чтобы иметь о Белинском полное понятие, видеть его во всем блеске, надобно было навести разговор на те общественные предметы и вопросы, которые живо его затрогивали, и раздражить его противоречием; затронутый, он вдруг вырастал, слова его лились потоком, вся фигура дышала внутренней энергией и силой, голос по временам задыхался, все мускулы лица приходили в напряжение... Он нападал на своего противника с силою человека, власть имеющего, мимоходом играл им, как соломинкой, изде-

вался, ставил его в комическое положение и между тем продолжал развивать свою мысль с энергией поразительной. В такие минуты этот обыкновенно застенчивый, робкий и неловкий человек был неузнаваем[335].

Надобно было взглянуть на него также в те минуты, когда он писал что-нибудь, в чем принимал живое, горячее участие... Лицо и глаза его горели, перо с необыкновенною быстротою бегало по бумаге, он тяжело дышал и беспрестанно отбрасывал в сторону исписанный полулист. Он обыкновенно писал только на одной стороне полулиста, чтобы не останавливаться в ожидании, покуда просохнут чернила...

Сколько раз заставал я его в такие минуты и смотрел на него, незамечаемый им; если же он оборачивался и взглядывал на меня прежде, нежели я уходил, он без церемонии говорил мне:

— Извините меня, Панаев... Видите, я занят...

Он откладывал на минуту перо и прикладывал руку к голове. Я как теперь вижу его в этом положении.

Один раз я застал его ходящим по комнате в волнении и с усилием махающим правою рукою.

— Что это с вами? — спросил я его.

— Рука отекла от писанья... Я часов 8 сряду писал не вставая. Говорят, я сам виноват, потому что откладываю писанье свое до последних дней месяца. Может быть, это отчасти и правда, но взгляните, бога ради, сколько книг мне присылают... и какие еще книги—посмотрите: азбуки, грамматики, сонники, гадальные книжонки! И я должен непременно хоть по нескольку слов написать об каждой из этих книжонок!..

Он остановился на минуту, тяжело вздохнул и продолжал:

— Да и если бы знали вы, какое вообще мучение повторять зады, твердить одно и то же — все о Лермонтове, Гоголе и Пушкине; не сметь выходить из определенных рам — все искусство да искусство!.. Ну какой я литературный критик! — Я рожден памфлетистом — и не сметь пикнуть о том, что накипело в душе, отчего сердце болит!

Ничем неудержимый, смелый, беспощадный и неумолимый боец на бумаге, жестоко и ядовито терзавший все мелкие самолюбьица щекотливых светских и модных писателей, с внешним блеском и с внутреннею пустотою, он избегал встречи с ними и при своей врож-

денной робости и отсутствии светскости терялся обыкновенно при этих встречах; но на крайне беззастенчивый вопрос одного из великосветских писателей он отвечал однажды очень ловко.

Белинский обедал у меня дня через два после напечатания его критической статьи на одно из литературных произведений, произведшее большой шум в публике после своего великолепного появления. Критика Белинского была написана необыкновенно тонко и ловко, и тем сильнее чувствовалась ее ядовитость. Мы сели обедать ранее обыкновенного. В начале обеда вдруг раздался резкий звонок и вслед за тем громкий голос «дома?» самого автора этого произведения. Белинский изменился в лице и приподнялся на стуле.

— Я уйду,— прошептал он.

Жена моя уговорила его, однако, остаться.

Автор вошел, переваливаясь и волоча ноги.

— Здравствуйте-с,— сказал он, протянув руку моей жене, потом мне и кивнув головою Белинскому, который отвечал ему на это также легким кивком, закусив нижнюю губу, что выражало у него всегда неудовольствие.

— Я не мешаю вам,— продолжал небрежно автор,— дайте мне последний номер «Отечественных записок». Там, говорят, меня ужасно отделали. Мне хочется пробежать эту статью...

Ему подали «Отечественные записки», и он пошел в другую комнату.

Когда мы окончили обед, автор вдруг прямо подошел к Белинскому.

— Что это, *вы* надавали мне оплеух? — спросил он, полуулыбаясь.

Белинский побледнел.

— Если вы называете это оплеухами,— отвечал он смело и глядя ему прямо в глаза,— то должны по крайней мере сознаться, что для этого я надел на руку бархатную перчатку.

Автор расхохотался и уже продолжал разговор с Белинским с большим вниманием и приветливостию [336].

К числу общих наших приятелей, которого мы посещали довольно часто и у которого обыкновенно обедал Белинский по воскресеньям, принадлежал А. А. Комаров, преподававший русскую словесность в военно-учебных заведениях. А. А. Комаров глубоко уважал

Белинского и был предан ему всею душою. Он был между прочим большой гастроном и с особенною любовью и мастерски приготовлял салат. Белинский всегда был очень доволен его обедами и, похваливая их хозяину дома, не упускал случая ввернуть словцо об его двоюродном брате, который имел слабость также приглашать к себе на обеды, но кормил до крайности дурно.

— У Александра Александровича,— говаривал Белинский,— не испортишь желудка. Это не то, что у его двоюродного братца. Тот отравитель! На что желудки у них (он указывал на меня и на Языкова, также очень близкого ему человека), булыжники переваривают, а после обеда вашего братца и они приставляют иногда пиявки к желудкам.

А. А. Комаров был очень хорош с покойным Прокоповичем и через него сошелся очень близко с Гоголем. Первое время своей известности Гоголь обыкновенно, приезжая в Петербург, останавливался у Прокоповича и часто бывал у Комарова. Здесь встречался с ним Белинский.

Белинский был в энтузиазме от Гоголя как писателя — это всем известно, но как с человеком он никогда не мог сойтись с ним близко. Гоголь был слишком сосредоточен в самом себе и к тому же по мере своей известности начинал приобретать постепенно неприступность авторитета, все более и более сближаясь с другими литературными и светскими авторитетами. Открытый и искренний по натуре Белинский не терпел никакой напыщенности, натянутости и признавался, что ему всегда бывало немного тяжеловато в присутствии Гоголя.

Малороссийские устные рассказы Гоголя и его чтение (известно, что он был удивительный чтец и превосходный рассказчик) производили на Белинского сильное впечатление...

В то время Гоголь еще нередко позволял себе одушевляться в кругу своих старых несветских товарищей и приятелей и, приготовляя сам в их кухне итальянские макароны, до которых был величайший охотник, тешил их своими рассказами.

Упомянув о неприступности Гоголя и его странном обращении с его старыми приятелями, я кстати позволю себе сделать здесь небольшое отступление и рас-

скажу об одном вечере (это уже было года два или три после смерти Белинского) у А. А. Комарова, на котором присутствовал Гоголь. Гоголь изъявил желание А. А. Комарову приехать к нему и просил его пригласить к себе несколько известных *новых* литераторов, с которыми он не был знаком. Александр Александрович пригласил между прочими Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Я также был в числе приглашенных, хотя был давно уже знаком с Гоголем. Я познакомился с ним летом 1839 года в Москве, в доме Сергея Тимофеевича Аксакова. В день моего знакомства с ним он обедал у Аксаковых и в первый раз читал первую главу своих «Мертвых душ» [337]. Мы собрались к А. А. Комарову часу в девятом вечера. Радушный хозяин приготовил роскошный ужин для знаменитого гостя и ожидал его с величайшим нетерпением. Он благоговел перед его талантом. Мы все также разделяли его нетерпение. В ожидании Гоголя не пили чай до десяти часов, но Гоголь не показывался, и мы сели к чайному столу без него.

Гоголь приехал в половине одиннадцатого, отказался от чая, говоря, что он его никогда не пьет, взглянул бегло на всех, подал руку знакомым, отправился в другую комнату и разлегся на диване. Он говорил мало, вяло, нехотя, распространяя вокруг себя какую-то неловкость, что-то принужденное. Хозяин представил ему Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Гоголь несколько оживился, говорил с каждым из них об их произведениях, хотя было очень заметно, что не читал их. Потом он заговорил о себе и всем нам дал почувствовать, что его знаменитые «Письма» писаны им были в болезненном состоянии, что их не следовало издавать, что он очень сожалеет, что они изданы [338]. Он как будто оправдывался перед нами.

От ужина, к величайшему огорчению хозяина дома, он также отказался. Вина не хотел пить никакого, хотя тут были всевозможные вина.

— Чем же вас угощать, Николай Васильич? — сказал наконец в отчаянии хозяин дома.

— Ничем,— отвечал Гоголь, потирая свою бородку,— впрочем, пожалуй, дайте мне рюмку малаги.

Одной малаги именно и не находилось в доме. Было уже между тем около часа, погреба все заперты...

Однако хозяин разослал людей для отыскания малаги.

Но Гоголь, изъявив свое желание, через четверть часа объявил, что он чувствует себя не очень здоровым и поедет домой.

— Сейчас подадут малагу,— сказал хозяин дома,— погодите немного.

— Нет, уж мне не хочется, да к тому же поздно...

Хозяин дома, однако, умолил его подождать малаги. Через полчаса бутылка была принесена. Он налил себе полрюмочки, отведал, взял шляпу и уехал, несмотря ни на какие просьбы.

Не знаю, как другим,— мне стало как-то легче дышать после его отъезда [339]...

Но обратимся к Белинскому.

Белинский ходил к немногим, искренним приятелям, чтобы отдыхать от работы и отводить душу в спорах и толках о том, что его сильно тревожило; но он больше любил домашний угол и устроивал его всегда, по мере средств своих, с некоторым комфортом. Чистота и порядок в его кабинете были всегда удивительные: полы как зеркало, на письменном столе все вещи разложены в порядке, на окнах занавесы, на подоконниках цветы, на стенах портреты различных знаменитостей и друзей, и между прочими портрет Станкевича и несколько старинных гравюр, до которых он был большой охотник. Он сам отыскивал их на Толкучем рынке и хвастал мне своими находками. (Все эти вещи хранятся теперь у нашего приятеля М. А. Языкова.) Библиотеку свою, состоявшую большею частью из русских книг, он умножал с каждым годом и в последнее время, когда уже свободно читал по-французски, начал приобретать и французские книги... Если кто-нибудь, бывало, оставит следы ног на его паркете, насорит у него сигарочным пеплом или плюнет на пол, Белинский непременно нахмурится и начнет ворчать. В его кабинете нигде не видно было ни соринки...

В первое время моего знакомства с Белинским в Москве, еще когда стены его комнаты были голы и комната совсем пуста, эта страсть его к чистоте тотчас же бросилась мне в глаза и несколько удивила.

До моего знакомства с Белинским я все расспра-

шивал о нем у Н. И. Надеждина, который больной лежал тогда (в 1838 г.) в гостинице Демута, только что вернувшись из Усть-Сысольска.

Надеждин, который был вообще словоохотлив, как будто избегал почему-то всякий раз разговора о Белинском. Когда я раз спросил о его образе жизни, о его привычках, Надеждин засмеялся во весь рот, обнаружив, по обыкновению, свои десны, и сказал:

— Малый он с талантом, с убеждением, но в жизни ужаснейший циник. Когда он работал у меня в «Телескопе», я нанял ему небольшую, но миленькую и чистенькую квартиру с мебелью, еще с цветами на окнах!.. Он не прожил в ней и недели — не мог — и переселился куда-то на Трубу в непроходимую грязь...

Когда я сошелся с Белинским, я однажды спросил его:

— Что, вы всегда были такой охотник до чистоты, как теперь?

— Что это за вопрос? — перебил Белинский.

Я ему передал слова Надеждина. Белинский расхохотался.

— Неужели он вам говорил это? — вскрикнул он, весь вспыхнув.— Я клянусь вам, что ни о какой подобной квартире я отроду не слыхивал,— еще с цветочками! Хорош господин! Вы теперь меня видите и знаете: ну, похож ли я на циника?

Белинский впоследствии, когда средства его немного увеличились, все понемногу прибавлял что-нибудь к украшению своей квартиры, всякий раз показывал мне свои приобретения и советовался со мною, как и куда поставить какую вещь... и этот *циник,* прежде чем садился за работу, сам всякий раз смахивал пыль со всех своих вещей в кабинете.

К нему часто сходились по вечерам его приятели, и он всегда встречал их радушно и с шутками, если был в хорошем расположении духа, т. е. свободен от работы и не страдал своими обычными припадками. В таких случаях он обыкновенно зажигал несколько свечей в своем кабинете. Свет и тепло поддерживали всегда еще более хорошее расположение его духа...

Его небольшая квартира у Аничкова моста в доме Лопатина, в которой он прожил, кажется, с 1842 по 1845 год, отличалась, сравнительно с другими его

квартирами, веселостию и уютностию [340]. Эта квартира и ему нравилась более прежних. С нею сопряжено много литературных воспоминаний. Здесь Гончаров несколько вечеров сряду читал Белинскому свою «Обыкновенную историю». Белинский был в восторге от нового таланта, выступавшего так блистательно, и все подсмеивался по этому поводу над нашим добрым приятелем М. А. Языковым. Надобно сказать, что Гончаров, зная близкие сношения Языкова с Белинским, передал рукопись «Обыкновенной истории» Языкову для передачи Белинскому, с тем, однако, чтобы Языков прочел ее предварительно и решил, стоит ли передавать ее? Языков с год держал ее у себя, развернул ее однажды (по его собственному признанию), прочел несколько страничек, которые ему почему-то не понравились, и забыл о ней. Потом он сказал о ней Некрасову, прибавив: «кажется, плоховато, не стоит печатать». Но Некрасов взял эту рукопись у Языкова, прочел из нее несколько страниц и, тотчас заметив, что это произведение, выходящее из ряда обыкновенных, передал ее Белинскому, который уже просил автора, чтобы он прочел сам.

Белинский все с более и более возраставшим участием и любопытством слушал чтение Гончарова и по временам привскакивал на своем стуле, с сверкающими глазами, в тех местах, которые ему особенно нравились. В минуты роздыхов он всякий раз обращался, смеясь, к Языкову и говорил:

— Ну что, Языков, ведь плохое произведение — не стоит его печатать?..

На этой же квартире появился у него автор «Бедных людей», еще до печати этого произведения.

Надобно сказать, что первый узнавший о существовании «Бедных людей» был Григорович. Достоевский был его товарищем по инженерному училищу.

Он сообщил свою рукопись Григоровичу, Григорович передал ее Некрасову. Они прочли ее вместе и передали Белинскому, как необыкновенно замечательное произведение.

Белинский принял ее не совсем доверчиво. Несколько дней он, кажется, не принимался за нее.

Он в первый раз взялся за нее, ложась спать, думая прочесть немного, но с первой же страницы руко-

пись заинтересовала его... Он увлекался ею более и более, не спал всю ночь и прочел ее разом, не отрываясь.

Утром Некрасов застал Белинского уже в восторженном, лихорадочном состоянии.

В таком положении он обыкновенно ходил по комнате в беспокойстве, в нетерпении, весь взволнованный. В эти минуты ему непременно нужен был близкий человек, которому бы он мог передать переполнявшие его впечатления...

Нечего говорить, как Белинский обрадовался Некрасову.

— Давайте мне Достоевского! — были первые слова его.

Потом он, задыхаясь, передал ему свои впечатления, говорил, что «Бедные люди» обнаруживают громадный, великий талант, что автор их пойдет далее Гоголя, и прочее. «Бедные люди», конечно, замечательное произведение и заслуживало вполне того успеха, которым оно пользовалось, но все-таки увлечение Белинского относительно его доходило до крайности.

Когда к нему привезли Достоевского, он встретил его с нежною, почти отцовскою любовью и тотчас же высказался перед ним *весь,* передал ему вполне свой энтузиазм [341].

Открытее, искреннее и прямее Белинского я не знал никого.

Он сам признавался не раз:

— Что делать? Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить — это не в моей натуре...

Вообще открытие всякого нового таланта было для него праздником.

Страсть Белинского, не имея другого выхода, вся сосредоточилась на литературе. Он с какою-то жадностию бросался на каждую вновь выходящую книжку журнала и дрожащей рукой разрезывал свои статьи, чтобы пробежать их и посмотреть, до какой степени сохранился смысл их в печати. В эти минуты лицо его то вспыхивало, то бледнело; он отбрасывал от себя книжку в отчаянии или успокоивался и приходил в хорошее расположение духа, если не встречал значительных перемен и искажений.

Здоровье его между тем было плохо. Друзья уже давно советовали ему оставить журнальную работу, гибельную в его положении. Он колебался, возражая: «а чем же я буду жить и содержать семейство?» Наконец одно обстоятельство, справедливо рассердившее Белинского, придало ему решимость. Весною 1846 года он отказался от срочной работы в «Отечественных записках» и отправился в Москву, а в начале июня на юг России вместе с М. С. Щепкиным.

Проводы Белинского были необыкновенно веселы и шумны. Они начались небольшим завтраком в квартире Щепкина. Я в это время также был в Москве. Все московские друзья Белинского присутствовали тут; между прочими — Грановский, Е. Ф. Корш, Кетчер и Герцен, примирение которого с Белинским совершилось на моей квартире в 1840 году[342]. Белинский был в это время с Герценом уже в самых близких, дружеских сношениях. Они совершенно сошлись в своих убеждениях, и Белинский всею силою души привязался к нему. Они сделались друг для друга необходимыми людьми.

Герцен, несмотря на перенесенные им перевороты и страдания, сохранял веселость и живость необыкновенную. В этот раз он говорил во время завтрака неумолкаемо, с свойственным ему блеском и остроумием — и его звонкий, приятный голос покрывал все голоса...

Тарантас Щепкина уже был готов, экипажи провожавших также. Наступала минута отъезда.

Герцен все продолжал говорить с неистощимою увлекательностию.

— Едем, Михайла Семеныч, пора! — сказал Белинский, всегда нетерпеливый в таких случаях.

— Позвольте, господа,— перебил Корш,— как же мы поедем по городу с Герценом? С ним по городу нельзя ехать.

— Отчего же? — спросили все с недоумением.

— Да ведь с *колокольчиками* запрещено ездить по городу.

Все расхохотались и двинулись к экипажам.

Мы взяли с собою провизии и запас вина.

Обедать мы решили на первой станции — и там уже окончательно проститься с отъезжающими.

День был ясный и теплый. Поездка наша была необыкновенно приятна. Всегда неистощимый остроумием Герцен в этот день был еще блестящее обыкновенного.

Мы не входили на станцию, а расположились близ какой-то избы на открытом пригорке. Местоположение было незавидное, однако это не смущало нас. Мы развязали наши припасы, достали вино и расставили это все на землю. За неимением стола Герцен достал какую-то доску и на ней без церемонии начал резать ветчину, что привело в величайшее смущение Корша, который всегда был очень брезглив. Он ни за что потом не хотел дотронуться до этой ветчины.

Все расселись и разлеглись на земле или на бревнах как попало... Кто тащил к себе ветчину, кто резал пирог, кто развертывал жаркое, завернутое в бумагу. Кетчер кричал громче всех, хохотал без всякой причины и, по своему обыкновению, все возился с шампанскими бутылками...

— За здоровье отъезжающих! — завопил Кетчер, налив всем в стаканы шампанского и подняв свой бокал.

И при этом захохотал неизвестно почему.

Сигнал был подан — и попойка началась. Кетчер все кричал и лил вино в стаканы. Герцен уже лежал вверх животом и через него кто-то прыгал.

Белинского, который не пил ничего и не любил пьяных, все это начинало утомлять несколько. Он терял свое веселое расположение духа и обнаружил нетерпение...

— Пора, пора, Михайла Семеныч,— повторял он.

Наконец тарантас подан. Все переобнялись и перецеловались с отъезжающими...

— Дай бог тебе воротиться здоровому! — кричали со всех сторон Белинскому.

Он улыбнулся...

— Прощайте! прощайте! — сказал он нетерпеливо, махнув рукой.

Тарантас двинулся, колокольчик задребезжал. Мы все провожали его глазами... Белинский выглянул из тарантаса в последний раз, кивнул нам головой... и через несколько минут осталось на дороге только облако пыли.

— У нас, господа, осталось еще несколько бутылок! — закричал Кетчер, торжественно потрясая бутылкой в воздухе...

Мы остались, однако, после отъезда Белинского недолго. На возвратном пути Кетчер воевал немилосердно и поссорился с одним молодым человеком, жившим у Щепкина и провожавшим его [343].

Поездка на юг России не произвела никакого благотворного впечатления на здоровье Белинского.

Он возвратился в Петербург осенью 1846 года, чрезвычайно обрадованный неожиданным для него известием о «Современнике», к изданию которого мы уже начинали приготовляться.

Все эти приготовления, толки об новом издании, мысль, что он, освободясь от неприятной ему зависимости, будет теперь свободно действовать с людьми, к которым он питал полную симпатию, которые глубоко уважали и любили его; наконец довольно забавная полемика, возникшая тогда между нами и «Отечественными записками» — все это поддерживало его нервы, оживляло и занимало его [344]!

Он принялся с жаром за статью о Русской литературе для «Современника» (см. № 1 «Совр.» 1847) и написал другую статью, полную негодования (№ 2 «Совр.» 1847 г.), о знаменитых письмах Гоголя, появление которых глубоко оскорбило его [345].

Силы, однако, начинали изменять ему,— он это мучительно чувствовал; доктор советовал ему ехать за границу, мысль эта также улыбалась ему, все друзья утверждали его в этой мысли и надеялись, что эта поездка принесет ему пользу и по крайней мере поддержит его хоть на несколько времени. Средства нашлись, и весною 1847 года он отправился на пароходе.

В это время находились за границею П. В. Анненков, к которому Белинский чувствовал большую привязанность, и Тургенев; они, вероятно, могут сообщить много любопытного о пребывании его там и о впечатлении, которое произвела на него Европа [346].

Из-за границы Белинский возвратился в конце августа и остановился ненадолго в небольшой квартире на Знаменской улице...[347] Первое время он казался гораздо свежее и бодрее и возбудил было во всех друзь-

ях своих надежду, что здоровье его поправится. Он сам, кажется впрочем слабо, питался некоторое время этой надеждой. Через месяц он отыскал себе квартиру на Лиговке в доме Галченкова.

Квартира эта, довольно просторная и удобная, на обширном дворе этого дома, во втором этаже деревянного флигеля, перед которым росло несколько деревьев, производила какое-то грустное впечатление. Деревья у самых окон придавали мрачность комнатам, заслоняя свет...

Наступила глухая осень, с безрассветными петербургскими днями, с мокрым снегом, падавшим хлопьями на грязь, с сыростью, проникающею до костей. Вместе с этим у Белинского возобновилось снова удушье еще в более сильной степени сравнительно с прежним; кашель начинал опять страшно мучить его днем и ночью, отчего кровь беспрестанно приливала у него к голове. По вечерам чаще и чаще обнаруживалось лихорадочное состояние, жар... Силы его гаснули заметно с каждым днем.

Осень и зима 1847 года тянулись для него мучительно. Вместе с физическими силами падали силы его духа. Он выходил из дому редко; дома, когда у него собирались его приятели, он мало одушевлялся и часто повторял, что уж ему остается жить недолго, что смерть близится. Говорят, что чахоточные никогда почти не сознают своей болезни, опасности своего положения и постоянно рассчитывают на жизнь. Белинский очень хорошо знал, что у него чахотка и никогда не рассчитывал на жизнь и не утешал себя никакими мечтами на будущее.

Его болезненные страдания развились страшно в последнее время от петербургского климата, от разных огорчений, неприятностей и от тяжелых и смутных предчувствий чего-то недоброго. Стали носиться какие-то неблагоприятные для него слухи, все как-то душнее и мрачнее становилось кругом его, статьи его рассматривались все строже и строже. Он получил два, весьма неприятные письма, написанные, впрочем, с большою деликатностию, от одного из своих прежних наставников, которого он очень любил и уважал. Ему надобно было, по поводу их, ехать объясняться, но он уже в это время не выходил из дому[348]...

Некоторые господа, мнением которых Белинский дорожил некогда, начинали поговаривать, что он исписался, что он повторяет зады, что его статьи длинны, вялы и скучны [349].

Это доходило и до него и глубоко огорчало его.

К весне болезнь начала действовать быстро и разрушительно. Щеки его провалились, глаза потухали, изредка только горя лихорадочным огнем, грудь впала, он еле передвигал ноги и начинал дышать страшно. Даже присутствие друзей уже было ему в тягость.

Я раз зашел к нему утром, это было или в последних числах апреля, или в первых мая. На двор, под деревья вынесли диван — и Белинского вывели подышать чистым воздухом.

Я застал его уже на дворе.

Он сидел на диване, опустя голову и тяжело дыша.

Увидев меня, он грустно покачал головою и протянул мне руку, всю покрытую холодным потом.

Через минуту он приподнял голову, взглянул на меня и сказал:

— Плохо мне, плохо, Панаев!

Я начал было несколько слов в утешение, но он перебил меня:

— Полноте говорить вздор.

И снова молча и тяжело дыша опустил голову.

Я не могу высказать, как мне было тяжело в эту минуту...

Я начинал заговаривать с ним о разных вещах, но все как-то неловко, да и Белинского, кажется, уже ничего не интересовало... «Все кончено! — думал я...— через несколько дней, а может быть и через несколько часов не станет этого человека!»

А солнце светило так ярко; был такой чудесный весенний день, листочки на деревьях начинали развертываться, и воробьи чиликали и летали около умирающего...

Белинский умер через несколько дней после этого. У Языкова (М. А.) хранится портрет карандашом, как он был за несколько дней до смерти: исхудалый, с горящими, лихорадочными глазами, с всклокоченными волосами, обросший бородой.

Портрет этот сделан женой Языкова... Лицо умирающего так поразило ее и так врезалось ей в память,

что она тотчас по приезде домой набросала его на бумагу [350]...

В минуту смерти его я не присутствовал, но те, которые были тут, рассказывали мне, что Белинский, лежавший уже в жару без сил и без памяти на постели, вдруг, к изумлению их, вскочил с сверкавшими глазами, сделал несколько шагов, проговорил невнятно, но с энергиею какие-то слова и начал падать. Его поддержали, уложили в постель, и через четверть часа его уже не стало [351]...

Немногие петербургские друзья провожали тело его до Волкова кладбища. К ним присоединились три или четыре *неизвестных,* вдруг бог знает откуда взявшиеся. Они оставались до самого конца печальной церемонии на кладбище и следили за всем с величайшим любопытством, хотя следить было ровно не за чем. Белинского отпели и опустили в могилу, как и всякого другого, и огорченные друзья его бросили молча по христианскому обычаю горсть земли в его могилу, в которой уже начинала проступать вода...

Я не имел ни малейшей претензии на изображение личности Белинского. Для такого труда надо большие силы, да еще и время для этого не настало. Этой небольшой статейкой я хотел только вызвать более интересные воспоминания об нем людей, которые были так же близки к нему, как я. Я буду вполне счастлив, если мои отрывочные воспоминания напомнят хоть сколько-нибудь образ этого человека его друзьям и прочтутся не без интереса теми, которые не знали его, но которым дорога его память.

15 января 1860 г.

ПО ПОВОДУ ПОХОРОН Н. А. ДОБРОЛЮБОВА[352]

Слишком тринадцать лет назад тому, 29 мая 1848 года по Лиговке к Волкову кладбищу тянулась бедная и печальная процессия, не обращавшая на себя особенного внимания встречных. За гробом шло человек двадцать приятелей умершего, а за ними, как это обыкновенно водится на всякого рода похоронах, тащились две извозчичьи четвероместные колымаги, запряженные клячами... Это были литературные похороны, не почтенные, впрочем, ни одной литературной и ученой знаменитостью. Даже ни одна редакция журнала (за исключением редакции «Отечественных записок» и только что возникшего «Современника») не сочла необходимым отдать последний долг своему собрату, который честно всю жизнь отстаивал независимость слова и мысли, всю жизнь энергически боролся с невежеством и ложью... Из числа двадцати, провожавших этот гроб, собственно литераторов было, может быть, не более пяти-шести человек,— остальные принадлежали к людям простым, не пользовавшимся никакою известностью, но близким покойному... Ни одного постороннего человека добровольно не было на этих похоронах, только два или три какие-то неизвестные появлялись и на пути к кладбищу, и в церкви при отпевании, и на могиле при опускании гроба. Чего хотели они, чем могли возбудить их любопытство эти бедные похороны?..

Когда покойника отпели, друзья снесли гроб его на своих плечах до могилы, которая уже до половины

была наполнена водою, опустили гроб в воду, бросили в него по обычаю горсть земли и разошлись молча, не произнеся ни единого слова над этим дорогим для них гробом.

После возвращения с кладбища начались рассуждения о памятнике, о необходимости обеспечить семейство покойного и так далее,— открылась подписка... Все говорили так горячо, у всех голоса дрожали, у всех были слезы на глазах! Казалось, в эту минуту все готовы были пожертвовать для этого половиной своего состояния или отдать половину своих трудовых денег... И во всем этом было столько искренности!

Но мы обыкновенно вспыхиваем так же легко и быстро, как легко и быстро охлаждаемся (здесь я разумею уж не одних друзей покойного, а вообще всех русских людей).

Мы, друзья его, еще не успели сносить обувь, в которой шли за его гробом (я был также из числа двадцати), человека, поддерживавшего между нами разумную связь и осмыслившего наше существование, как наш энтузиазм к его памяти уже совершенно остыл и мы потеряли даже след к его могиле[353]...

Шли годы. Сбившись с прямого пути, погружаясь более и более в изящную пустоту жизни, путаясь в частных и личных мелочах, поддерживая, однако, втихомолку свои авторитетики дружбою с Белинским, имя которого мы не решались произносить громко,— мы и не заметили, как подошло к нам новое литературное поколение с горячею верою в будущее, которую мы давно утратили, с твердыми убеждениями и с смелым словом. Оно во всеуслышание произнесло имя Белинского, которое в течение с лишком семи лет не упоминалось в литературе[354].

При этом мы, немного смущенные и даже несколько оскорбленные тем, что нас предупредили люди посторонние, также закричали: «Да, Белинский! Белинский!» и начали объяснять наши дружеские связи с покойным, намекать на нашу близость с ним, чувствуя, что только этими намеками мы еще можем несколько поддержать себя в общественном мнении[355]. Затем множество почтенных господ профессоров и академиков,— которые при жизни Белинского едва подо-

зревали о его существовании или, зная его, избегали с ним встречи, приходили в ужас от его статей и в угоду тогдашним литературным знаменитостям отзывались о нем с презрением,— стали теперь упоминать о нем с весьма лестною для памяти покойного похвалою и даже как будто с некоторым чувством. Эти господа, вооружась именем Белинского (бедный Белинский!), его авторитетом, пробовали было преследовать молодое, ненавистное для них, поколение... «Куда вы идете? — кричали они: — что вы делаете? Никогда Белинский не допустил бы того и того»; или: «если бы Белинский встал из гроба, он бы отвергнул с негодованием то и то» — и так далее [356].

Белинский пошел снова в ход. Он приобрел таких друзей и поклонников через десять лет после своей смерти, от которых бежал бы со страхом и негодованием при жизни... Сочинения его начали печататься в Москве и разошлись в таком количестве, что, может быть, скоро потребуется второе издание; имя его начало беспрестанно появляться во всех газетах и журналах; новая редакция «Северной пчелы» сочла долгом объявить, что она вовсе не разделяет мнения о Белинском прежней редакции и питает к нему большое уважение как к критику [357]... Один из талантливейших наших писателей на своих изящных лекциях о литературе, читанных для самого избранного великосветского общества, в присутствии старых литературных знаменитостей, совершил изумительный подвиг, поставив имя Белинского наряду с именами Пушкина и Гоголя [358]!!. Об этом говорил некогда весь город...

Даже могила Белинского была отыскана, и, к изумлению друзей его, на этой могиле оказалась плита и камень с надписью: «Виссарион Григорьевич Белинский, скончался 26 мая 1848 года» [359]. Два года тому назад жена и дочь Белинского, проездом через Петербург, нашли на его могиле свежие венки и цветы... Кем положен этот камень? Кто украшает эту могилу цветами?..

По крайней мере мы, друзья Белинского, не можем дать на это ответа...

Через тринадцать лет нас привел к его могиле Добролюбов. Сколько совершилось в эти 13 лет — от смерти Белинского до смерти Добролюбова! И какая раз-

ница между поколением Белинского и новым поколением, современным Добролюбову!

Белинский выступил на литературное поприще более смелым и рьяным, чем приготовленным к делу бойцом. Энергический, талантливый, пылкий, увлекающийся, путающийся в философских теориях, которые передавались ему его друзьями, он долго боролся с собою: то с ожесточением разбивал авторитеты, то с торжественностию возносил их до небес и пел им почти гимны. Он мучительно отыскивал истину, терзался от своих внутренних противоречий, беспрестанно увлекался, сбивался с пути и приходил в отчаяние... Только года за четыре до своей смерти он высвободился от всех посторонних влияний и стал на более твердую почву. Белинский с начала тридцатых до конца сороковых годов подвизался на литературном поприще: в «Молве», в «Телескопе», в «Московском наблюдателе», в «Отечественных записках» и в «Современнике»...

С самого вступления на литературное поприще он является окруженный друзьями, которые развивают его, поддерживают его и распространяют его известность; он вскоре сам делается представителем кружка... Белинский высказывает все, что дано ему было высказать, и сходит в могилу, конечно, преждевременно, но почти уже совершив свое назначение. Он был полным отголоском своего поколения, серьезно начинавшего сознавать грубость и пошлость среды, его окружавшей, того поколения, которое ощутило действительную потребность лучшей, высшей жизни и стремилось к ней с юношескою горячностью, страстно, тревожно, но ощупью,— то расплываясь в романтизме, то ища точки опоры в немецкой философии, то увлекаясь социальными идеями Леру и Жорж-Санда; того поколения, которое произвело «лишних людей» — Лаврецких, Пасынковых, Рудиных и иных; и того поколения, которое было исполнено благородных, но не совсем определенных порываний, стремлений и увлечений,— *бесконечных увлечений* и вспышек; которое иногда впадало в ложный, искусственный лиризм и нередко смешивало фразы с делом...

Литературная деятельность Добролюбова, явившаяся через десять лет после Белинского,— эта деятельность, едва успевшая проявиться, тем не менее,

однако, указывает очень резко на то, как ушло вперед новое поколение от поколения Белинского...

Добролюбов окончил курс в бывшем Педагогическом институте в 1857 году. Он начал принимать участие в критических отделах журналов еще будучи в институте, и одна из его библиографических статей, относящихся к этому времени, напечатанная в «Современнике», обратила на себя всеобщее внимание своим здравым взглядом и едкою иронией. Статья эта наделала шум. Она была прочтена всеми. «Какая умная и ловкая статья!» — восклицали люди, никогда не обращающие никакого внимания на литературу... «Скажите, кто писал эту статью?» — слышались беспрестанные вопросы [360].

Ум и блестящие способности Добролюбова не могли не обратить на него особенного внимания лучших из его профессоров; и я помню, что на вечере у князя Щербатова, который был в то время попечителем Петербургского округа, целый вечер шли толки о Добролюбове и о том, какие блестящие надежды подает он.

— Жаль только одно,— заметил кто-то,— он, наверно, не вступит в службу... Журналисты тотчас запутают его в свои сети, и он весь отдастся литературе...

Многие ученые присоединились к этому голосу и с своей стороны изъявили также сожаление.

Вышло действительно так. Добролюбов по выходе из института весь отдался литературе. Да и могло ли быть иначе?.. У него была глубокая, истинная, непреодолимая потребность высказаться посредством литературы; он глубоко чувствовал и сознавал свое призвание. Журналистам нечего было ловить его в свои сети, заманивать его: он сам твердо и сознательно вошел в литературу, как власть имеющий. И с первого же раза занял в ней видное место.

Не уступая нисколько Белинскому в литературном таланте, Добролюбов имел уже преимущество перед ним в том, что получил основание несравненно более прочное и твердое; он с первого шагу стал на прямой путь, вполне сознавая, куда он ведет, и пошел по нем ровным и твердым шагом, не уклоняясь в стороны, не увлекаясь, не впадая в юношеский пафос, не подчиняясь и не кланяясь литературным авторитетам и не делая им ни малейших уступок. Никто так глубоко и

верно, просто и здраво не смотрел на явления русской жизни и на последние произведения русской литературы; никто так горячо не сочувствовал нашим насущным общественным потребностям... В его статьях проглядывала та мощь, та внутренняя, сосредоточенная сила, которая обнаруживала в нем будущего великого двигателя; его статьи были проникнуты глубокою любовью к человеку, самым горячим участием к нашим низшим братьям и самым искренним и здравым патриотизмом... Они, несмотря на срочность и быстроту журнальной работы, развивались стройно, с изумительною логическою последовательностию, с каким-то внешним спокойствием, под которым, однако, слышалось биение горячего, любящего сердца и из-под которого проглядывал горький юмор человека, оскорбляемого всякою ложью, лицемерием и пошлостию... В статьях его не было и тени той внешней горячности, которая выражается обыкновенно в так называемых *лирических выходках и отступлениях,* которые нашим поколением ценились некогда очень высоко, но в настоящее время уже потеряли всякое значение и сделались более смешными, чем трогательными. Такие статьи, как «Темное царство» и «Забитые люди», я думаю, достаточно подтверждают сказанное. В одном из некрологов Добролюбова очень справедливо сказано, что его девизом и предсмертным завещанием своим близким собратам по труду было: «меньше слов и больше дела» [416].

Деятельность Добролюбова была коротка (всего только четыре с половиною года), но она была изумительно плодотворна... Имя его не забудет история русской литературы!

Добролюбов вступил на литературное поприще одинокий, без всяких руководителей и покровителей (его гордой и сильной душе противно было меценатство), весь сосредоточенный в самом себе в 22 года и, при всей мягкости своих манер, если не холодный по наружности, то, по крайней мере, очень осторожный и сдержанный... [362] Он едва очистил себе дорогу и проложил себе самостоятельный путь для действия, как смерть вдруг прерывает его — на недоговоренном слове... но, несмотря на это, он оставляет по себе в русской критике почти такой же глубокий след, какой

оставил Белинский после 14-летней неутомимой деятельности... Чего нельзя было ожидать от такой духовной силы!

Да! сила его действительно была велика. Это был один из самых замечательных характеров по стойкости, твердости и благородству из всех литературных деятелей последнего двадцатипятилетия... Слово и дело никогда не противоречили в нем, и никогда в своих поступках он не допускал ни малейшего, самого невинного уклонения от своих убеждений. Другого, более строгого к самому себе человека в его лета трудно встретить...

На многих из нашего поколения,— людей, впрочем, очень замечательных и даровитых,— Добролюбов своею сдержанностию, сосредоточенностию и наружным спокойствием, которые нередко смешиваются с холодностию и бессердечием, производил не совсем приятное впечатление. Известно, что наше поколение по преимуществу обладало восторженностию, лиризмом и увлечением и беспрестанно слова и фразы принимало за дело. Если какой-нибудь малоизвестный нам господин говорил, например, при нас, сверкая глазами и ударяя себя в грудь, что он ставит выше всего на свете человеческое достоинство и готов жизнию пожертвовать за личную независимость или что-нибудь вроде этого, мы тотчас же бросались к нему в объятия, прижимали его, с слезой в глазу, к нашему бьющемуся сердцу и восторженно, немного нараспев, восклицали: «Вы наш! О, вы наш!» и закрепляли союз с ним прекрасным обедом с шампанским и *брудершафтом*. Если появлялся молодой человек с некоторым талантом и притом с изящными манерами (что соединяется весьма редко в одном лице), мы немедля приближали его к себе, кричали всем встречным: «Какой талант появился! Чудо! чудо! Какая художественная сила, какой художественный такт!» и так далее, давали ему утонченные обеды, предлагали в честь его тосты и валялись с ним по диванам целые вечера, толкуя —

О Шиллере, о славе, о любви...[363]

А молодой человек с некоторым талантом (который срезывался обыкновенно на втором произведении) говорил про нас: «Что за люди! Как они глубоко пони-

мают искусство! Каким благородным энтузиазмом бьются сердца их!»

Всякая безделица приводила нас в восторженное состояние, погружала в лирический экстаз. Мы всё привыкли страшно преувеличивать, на старости лет пускались даже в романтизм, начали вздыхать и разнеживаться не хуже наших сентиментальных дедов времен «Бедной Лизы»[364] и, как институтки, стали симпатизировать только тем, которые, подобно нам, свой внутренний жар, или, вернее, отсутствие всякого внутреннего жара, обнаруживали восторженными внешними знаками и фразами.

Все это, конечно, было бы довольно забавно, если бы не было так грустно[365], особенно при мысли, что мы принадлежали некогда к кружку Белинского, называли себя его учениками и, следовательно, были некогда на стороне здравых и свежих убеждений!

Замечая притом, что новое поколение начинает довольно зло подсмеиваться над нашею изнеженностию, расслабленностию, над нашими романтическими выходками и лирическими возгласами, что оно начинает слишком уже выдвигаться вперед, во вред нам, и прокладывает себе новый, более строгий и более прочный путь,— мы, или по крайней мере некоторые из нас, ожесточились против нового поколения вообще и в особенности против самых ярких его представителей. Наше негодование должно было прежде всего, конечно, пасть на Добролюбова. Мы все, или, пожалуй, некоторые из нас, за давностию лет или по действительным заслугам, оказанным нами некогда в *дни нашей свежести*,— приобрели авторитеты и кое-какие авторитетики. Нам, без сомнения, было бы очень приятно, если бы один из представителей молодого поколения обнаружил перед нами такое благоговение, какое мы обнаруживали в нашей молодости перед тогдашними авторитетами, и хоть для виду советовался бы с нами, выслушивал бы наши замечания и так далее. А Добролюбов не только не оказывал нам никакого внимания, даже просто не хотел замечать нас, не изъявлял желания быть нам представленным и отзывался о наших творениях так, как о самых обыкновенных, безавторитетных произведениях. Скажите, не оскорбительно ли это? Положим, что учитель наш Белинский гро-

мил также авторитеты, но ведь авторитеты тогдашнего времени держали себя совершенно недоступно относительно молодого поколения... Те из них, которые знали о существовании Белинского, смотрели на него, как орлы на червя,— а мы — так ли вели себя *мы* относительно нового поколения?.. Боже мой! да не мы ли *первые* протянули к нему свои объятия, не мы ли первые встретили его и приветствовали с лирическим восторгом, и — что же?..

Но тут мы,— или, что все равно, некоторые из нас,— решили, что новое поколение, несмотря на свой действительно замечательный ум и сведения, поколение сухое, холодное, черствое, бессердечное, все отрицающее, вдавшееся в ужасную доктрину — в *нигилизм!*.. Нигилисты! Если мы не решились заклеймить этим страшным именем все поколение, то по крайней мере уверили себя, что Добролюбов принадлежал к нигилистам из нигилистов [366].

— Господа! (я обращаюсь к тем, которые хотя одну минуту почему бы то ни было могли впасть в такое странное заблуждение) прочтите внимательно все, что написано Добролюбовым, от первой библиографической статейки его в «Современнике» 1857 г. [367] до «Забитых людей» включительно (чтение это не утомит вас), и сознайтесь, что тот, кто написал это, имел сердце горячее, любящее, благородное, проникнутое искреннею любовию к человечеству, несокрушимой верой в его совершенствование,— сердце, мучительно страдавшее от всякой лжи, неправды и гнета... Будьте откровенны, сознайтесь,— вы до сих пор не читали ни одной статьи его, а так только аристократически перелистывали некоторые из них и составили о Добролюбове понятие по отрывочным слухам и толкам. Я уверен, что, серьезно перечитав его, вы искренно раскаетесь в вашем опрометчивом об нем мнении (у вас сердце доброе, врожденное чувство справедливости еще не заглушено в вас), примиритесь с ним внутренно, может быть даже почувствуете симпатию к его памяти и пойдете поклониться его праху... Оно же и кстати: рядом с ним лежит ваш друг и учитель — Белинский, на могиле которого вы так давно не были!..

...Я увидел в первый раз Добролюбова в 1855 г., но познакомился с ним уже позже, когда он сделался по-

стоянным членом редакции «Современника», перед окончанием своего курса [368]. Мне всегда казалось, что в нем духовная сила преобладала над физической, что его мощный дух заключен был в слишком слабом теле. Он всегда имел вид болезненный, несколько утомленный. Неизлечимая хроническая болезнь, сокрушившая его, начинала, кажется, уже тогда зарождаться в нем. Усиленный труд в институте, усиленный труд после выпуска, обращающийся обыкновенно в потребность у всех людей, слишком жаждущих знания и слишком стремящихся к совершенствованию, тяжкая борьба с гнетущею средою — все это вместе развивало в нем болезнь и быстро вело его к ранней могиле...

После четырехлетней неутомимой и лихорадочной журнальной деятельности он почувствовал истощение сил и, по совету докторов, отправился за границу. За границей он пробыл более года и возвратился в Петербург в половине сентября этого года.

— Что, как вы находите меня? Поправился ли я? — спросил он меня при первой нашей встрече.

— Да, очень,— отвечал я.

А между тем на бледном и вытянувшемся лице его, обросшем бородою, выражалось крайнее истощение сил, предвещавшее близящуюся смерть.

Из-за границы он привез много книг, из чего можно было заметить, что он приготовлялся к труду еще более усидчивому и серьезному.

За месяц до смерти он сказал своему брату-гимназисту: «Мне теперь надо сильно работать, чтобы разделаться с моими долгами». Надобно заметить, что Добролюбов в последнее время много помогал своему семейству и определил двух братьев своих в 3-ю петербургскую гимназию. Отец его, выстроивший перед своею смертию трехэтажный дом в Нижнем-Новгороде (о котором, по поводу смерти Добролюбова, упомянуто было в одной газете), очень запутал дела свои, именно по случаю этой постройки, и оставил после себя долги.

Здоровье Добролюбова после возвращения его из-за границы с каждым днем становилось хуже. Борясь с физическими и нравственными муками, подавляемый самыми тяжелыми и безотрадными впечатлениями, он принялся, однако, за свой обычный журнальный труд

и, уже с смертию в груди, ослабевшей рукой дописывал последние строки своей статьи по поводу г. Достоевского: «Забитые люди». Доктора объявили в это время его близким, что никакой, самый малейший труд не возможен для него, что ему необходимо совершенное спокойствие физическое и нравственное (возможно ли было для него последнее — доказывает его раздирающий душу дневник) и что дни его уже сочтены.

Добролюбов однажды утром кое-как добрел до Некрасова и уже не мог возвратиться домой. Он пробыл у Некрасова недели две и за неделю до смерти пожелал, чтобы его перенесли домой.

С этой минуты он не вставал с постели и ослабевал с каждым часом; страдания его усиливались: он не спал ночи напролет, метался, просил беспрестанно, чтобы его переворачивали и перекладывали — в последние дни он не мог пошевельнуться сам и говорил едва слышно; это была мучительная и долгая агония. Он сознавал близость и неизбежность смерти.

Добролюбов скончался 17 ноября.

Друзья покойного объявили в газетах о его смерти и о выносе его тела и в то же время озаботились, чтобы Добролюбов был положен рядом с Белинским.

На похороны, 20 ноября, сошлось человек до двухсот, в числе которых были профессоры университета, журналисты и известные литераторы, за исключением весьма немногих. Гроб несен был на руках от квартиры покойного (на Литейной улице) до самого Волкова кладбища.

Над гробом Добролюбова и над его могилой произнесено было несколько горьких и задушевных слов его друзьями и посторонними лицами и прочтены были отрывки из его дневника...

Какая разница между похоронами Белинского и Добролюбова!

Отрывки из дневника Добролюбова яснее и красноречивее всяких слов объясняют, что люди с таким энергическим стремлением к добру и правде, каким был движим Добролюбов, должны чувствовать вдвое сильнее те страшные пытки и страдания, которые суждено испытывать вообще всем мыслящим людям. Ни Белинский, ни Добролюбов вследствие этого не могли жить

долго. Белинский умер тридцати пяти лет[369], Добролюбов двадцати шести!

Да и вообще, как известно, всем даровитым русским людям не живется что-то...

Церковный обряд был кончен, слова и речи смолкли, последняя горсть земли брошена в могилу, все разошлись тоскливо, с тяжелою думою...[370]

Смерть соединила Добролюбова с Белинским. Возле благороднейшего литературного деятеля нашего поколения лег благороднейший и талантливейший литературный деятель нового поколения. Белинский дождался достойного гостя...

Новое поколение будет, конечно, благодарнее и памятливее нашего — и не зарастет тропа к этим могилам.

Мир вашему праху, наши братья по мысли и убеждению!..

ПРИМЕЧАНИЯ

«Литературные воспоминания» И. И. Панаева написаны в 1860—1861 годах и впервые напечатаны в «Современнике» в 1861 году (№№ 1, 2, 9—11). Панаев не успел их завершить, и они оборвались с его смертью. Текст воспоминаний печатается по изданию: Панаев И. И. Литературные воспоминания. Редакция текста, вступительная статья и примечания И. Ямпольского. [Л.]: Гослитиздат, 1950.

Примечания ставят своей целью разъяснить многочисленные факты литературной и общественной жизни 1820—1850-х годов, о которых говорится в воспоминаниях, раскрыть некоторые намеки, исправить хронологические и другие ошибки. Краткие сведения об упоминаемых в тексте лицах и периодических изданиях даны в именном указателе. Более подробные примечания см. в указанном выше издании.

Сокращения, принятые в примечаниях

Анненков — Анненков П. В. Литературные воспоминания. М.: Художественная литература, 1960.

БдЧ — «Библиотека для чтения».

Белинский — Белинский В. Г. Полн. собр. соч.:В 13 т. М: Изд. АН СССР, 1953—1959.

БиК — В. Г. Белинский и его корреспонденты. М., 1948.

Герцен — Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд. АН СССР, 1954—1965.

Грановский — Т. Н. Грановский и его переписка. Т. 2. М., 1897.

«Заметки Нового поэта» — «Заметки и размышления Нового поэта о (или «по поводу») русской журналистике».

ЛН — «Литературное наследство».

ЛПРИ — «Литературные прибавления к Русскому инвалиду».

МН — «Московский наблюдатель».

МТ — «Московский телеграф».

ОЗ — «Отечественные записки».

Панаева — Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М.: Правда, 1986.

«Петерб. жизнь» — «Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта».

С — «Современник».

СО — «Сын отечества».

СП — «Северная пчела».

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

1. С.-Петербургский благородный пансион — закрытое учебное заведение для детей потомственных дворян — был открыт в 1817 г. при Главном педагогическом институте, а с 1819 г. находился при С.-Петербургском университете. Он существовал до 1830 г., когда был преобразован в 1-ю петербургскую гимназию. Хотя программа пансиона, как это и отмечает Панаев, была значительно меньше университетской, по правам и привилегиям он был приравнен к высшим учебным заведениям; окончившие его получали чин от XIV до X класса. И. И. Панаев поступил в пансион 25 февраля 1825 г., окончил его в июле 1830 г. История пансиона изложена в книге Д. Н. Соловьева «Пятидесятилетие С.-Петербургской первой гимназии» (СПб., 1880); ряд сведений о нем имеется также в книгах: Григорьев В. В. Имп. С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870; С-Петербургский университет в первое столетие его деятельности. Т. 1. Пг., 1919.

2. Д. С. Чижов.

3. О своей позднейшей встрече с этим учителем латинского языка Панаев рассказал в фельетоне *«Петерб. жизнь» (С,* 1856. № 8. С. 184—185).

4. Т. О. Рогов, преподававший в Благородном пансионе всеобщую и русскую историю, был человеком малообразованным и плохим педагогом. Еще в 1818 г. ему было поручено написать курс истории, о котором упоминает Панаев, вернее — дополнить учебник всеобщей истории, изданный Главным управлением училищ. В течение ряда лет он отделывался всякими отговорками и обещаниями. В 1829 г. он сообщил, что причиною замедления работы являются «новые мнения об истории, коими наполнены нынешние журналы иностранные и наши отечественные. Знаменитейшие историки прошедшего века, коими я руководствовался, ныне подвержены строгому разбору и суждению <...>. На самую «Историю» Карамзина сколько есть замечаний» (Григорьев В. В. Имп. С.-Петербургский университет... СПб, 1870, примечания, с. 24—25). Последние слова имеют в виду Н. А. Полевого. В словах о «разбойнике Полевом» отразилась не только общая оценка редактора *МТ* реакционными кругами (ср. со словами другого профессора Благородного пансиона, Я. В. Толмачева, на с. 36—37, но и их отношение к специально исторической концепции Полевого. В 1829 г. появилась его статья об «Истории государства Российского», в которой он подверг резкой критике взгляды Н. М. Ка-

рамзина (*МТ*, 1829, № 9), а в 1830 г.— первый том «Истории русского народа». Исторические взгляды Полевого, во многом противоречивые, имели, однако, прогрессивный характер: борясь с эмпиризмом, он выдвигал идею исторической закономерности и подчеркивал роль народа в историческом процессе.

5. Эвксинский понт — древнегреческое название Черного моря.

6. Див и пери. Поэма в стихах. Сочинение А. Подолинского. СПб., 1827. Цитата из предисловия «От издателя» не вполне точная. Это предисловие было высмеяно Панаевым еще в 1847 г. в «Письме Нового поэта к издателям „Современника"» (*С*, 1847. № 12, С. 193), а затем и в предисловии к «Собранию стихотворений Нового поэта» (СПб., 1855).

7. «В последних числах сентября» — не первый, а двадцать первый стих поэмы Пушкина «Граф Нулин», вышедшей в 1828 г.

8. Статьи и рецензии В. А. Ушакова о театре печатались в *МТ* в 1829—1830 гг.

9. О рукописном журнале, выходившем под редакцией И. И. Панаева, см. заметку его приятеля и товарища по Благородному пансиону М. А. Языкова в кн.: Панаев И. И. Первое полн. собр. соч. Т. 5. СПб., 1889. Отд. 2. С. 3—4. Упомянутый здесь исторический рассказ Панаева «Бельский», напечатанный якобы в каком-то альманахе, найти не удалось.

10. «Военное красноречие, основанное на общих началах словесности, с присовокуплением примеров в разных родах оного». СПб., 1825. Крайний ретроград по своим литературным и политическим взглядам, Толмачев сыграл весьма неблаговидную роль при разгроме в 1821 г. Петербургского университета известным мракобесом, попечителем С.-Петербургского учебного округа Д. П. Руничем. Позорно вели себя и два других профессора, о которых вспоминает Панаев,— Е. Ф. Зябловский и Т. О. Рогов.

11. В борьбе с Н. А. Полевым представители враждебного ему лагеря прибегали к насмешкам над его купеческим происхождением.

12. Повесть Н. А. Полевого «Сохатый» напечатана в книге «Денница, альманах на 1830 год, изданный М. Максимовичем» (М., 1830).

13. Сборник стихотворений В. И. Панаева «Идиллии», в духе пасторальной поэзии XVIII в.,— вышел в 1820 г. и был воспринят как архаическое и незначительное явление. С своей стороны, В. И. Панаев весьма недоброжелательно относился к Пушкину и другим крупным поэтам 1820—1830-х годов. Но особенно усилилась его ненависть к современной русской литературе с появлением Гоголя и Белинского. О своем племяннике он говорил, что тот «позорит старинную потомственную дворянскую фамилию <...>, связавшись с разночинцами и торгашами» (*Панаева*, с. 165). С 1832 г., заняв крупный бюрократический пост — он был директором канцелярии министерства имп. двора,— В. И. Панаев очень редко выступал в печати.

14. Трудно сказать, о какой именно книге идет речь. Несколько раз издавался перевод Д. И. Хвостова «L'art poétique» Н. Буало («Наука о стихотворстве»). Кроме того, Хвостов перевел: «Сатира. Боало к Молиеру», «К разуму. Сатира. Подражание Боало», «Послание Боало к Расину». Все они вошли в один из томов собрания сочинений Хвостова, отведенный переводам. Из-

вестно также отдельное издание «К разуму» (без титульного листа и года издания.— [СПб., 1820]).

15. Эпиграмма А. Я. Римского-Корсакова была напечатана в 1828 г. в альманахе «Альбом северных муз». Вот ее полный текст:

Его стихи для уха сладки,
В твореньях малых и больших;
Они, как пол лощеной, гладки;
На мысли не споткнешься в них.

16. Благородный пансион помещался на Ивановской ул. (теперь — Социалистическая).

17. М. И. Глинка и его приятель А. Я. Римский-Корсаков учились в Благородном пансионе до поступления в него Панаева. Несколько лет они жили в одной квартире. На слова Римского-Корсакова Глинка написал несколько романсов.

18. А. Г. Огинский преподавал в пансионе древние языки и историю. Вечер у Д. И. Хвостова Панаев незадолго до этого описал в фельетоне *«Петерб. жизнь»* (*С.* 1860. № 5. С. 93—98). Это было в 1835 г. Об И. А. Колмакове, преподавателе логики, Панаев писал еще в 1843 г. в повести «Тля» (*ОЗ,* 1843. № 2. С. 222—223), а затем в 1858 г. в фельетоне *«Петерб. жизнь»* (*С,* 1858. № 4. С. 193—195).

19. «Подснежник» — альманах, издававшийся А. А. Дельвигом в 1829—1830 гг. Судя по упоминанию о «Подснежнике», описанный Панаевым вечер происходил весною 1829 г. Когда вышел «Подснежник» на 1830 г., Глинки уже не было в Петербурге, да и виньеток В. П. Лангера в «Подснежнике» на 1830 г. нет.

20. Панаев имеет в виду строки из стихотворения С. П. Шевырева «Каин»:

Клейменый убийца у брега сидит
И Авеля имя в устах шевелит.

(Альбом северных муз. СПб., 1828).

21. С декабря 1829 г. инспектором пансиона был П. И. Бенард, впоследствии директор 1-й гимназии.

22. В то время, когда Панаев писал свои воспоминания, А. И. Павлов занимал должность производителя дел канцелярии статс-секретаря у принятия прошений на высочайшее имя.

23. Еще в 1840 г. Панаев изобразил С. Ф. Татищева в цикле «Портретная галерея» («Портрет № 3» — Литературная газета, 1840, № 16). Панаев подчеркивает бессмысленность этого сочетания. Филомела (греч. миф.) — дочь афинского царя Пандиона, превращенная в соловья. В поэзии Филомела нередко являлась иносказательным обозначением соловья. Впрочем, по другому преданию, Филомела была превращена в ласточку.

Глава II

24. Здесь имеется в виду, разумеется, не приятель Панаева М. А. Языков, а поэт Н. М. Языков.

25. Предисловие В. Гюго к драме «Кромвель» (1827) было манифестом французского романтизма, в котором излагались основные его положения.

26. Панаев, как и многие критики 1820-х годов, склонен был считать романтическим все живое и новое, шедшее вразрез с устаревшими канонами классицизма. Потому Полевой и Пушкин стоят у него рядом — как романтики. Между тем отношение к романтизму Пушкина, уже твердо вступившего на почву реалистического искусства, было совсем иным, чем у Полевого. Известно его отрицательное отношение к Бальзаку, Виньи, Сю и — после 1831 г.— к Гюго. *МТ* Полевого был наиболее значительным органом русского романтизма, и именно потому он пропагандировал аналогичные явления западной литературы. Однако — в отличие от юноши Панаева — романтизм не был для него чисто литературным течением и связывался в его сознании с определенными социально-политическими устремлениями, с буржуазным радикализмом и французской революцией 1830 г. Пропаганда французского романтизма в *МТ* относится к периоду после 1830 г. Это было небезопасно, поскольку в официальных кругах он расценивался как «исчадие Июльской революции». Именно в таком духе писали также о романтизме О. И. Сенковский и Н. И. Надеждин. Статьи Полевого о французском романтизме послужили одним из главных пунктов обвинения в записке министра народного просвещения С. С. Уварова, вызвавшей закрытие *МТ* в 1834 г.

27. Перевод одной главы «Собора Парижской богоматери» появился в *МТ* (1831, № 14).

28. В департаменте государственного казначейства Панаев прослужил несколько более года — с 12 января 1831 до 16 марта 1832 г.

29. Эпизод с клетчатыми брюками попал в одно из ранних произведений Панаева — повесть «Дочь чиновного человека» *(ОЗ,* 1839. № 4. С. 56).

30. Повесть А. А. Бестужева-Марлинского «Фрегат «Надежда» напечатана в *СО* (1833, №№ 9—17).

31. Речь идет о повести Панаева «Спальня светской женщины. (Эпизод из жизни поэта в обществе)», напечатанной в журнале «Сын отечества и Северный архив» (1835, №№ 13—14) за подписью «Ив. П-в» и с датой: С.-Петербург. 8 октября 1834.

32. Вторая повесть Панаева «Она будет счастлива. Эпизод из воспоминаний о петербургской жизни» напечатана в журнале «Телескоп» (1836, № 7), за подписью «Ив. П-в» и с датой: 10 декабря 1835. Панаев имеет в виду «Литературную заметку» А. Ф. Воейкова в *ЛПРИ* (1836, № 59—60), направленную против Белинского. Похвалив повесть Панаева, он писал: «Хотя под нею подписано «Ив. П-в», но мы давно не верим в подписные литеры и даже, пускаясь в догадки, подозреваем г. *Виссариона Белинского* в ее сочинении <...> Несравненно лучше писать такие повести, чем презрительно и неосновательно разбирать наших славных писателей». Белинский ответил ему не в «Телескопе», как утверждает Панаев, а в «Молве» (1836, № 12).

33. Известно восемь оригинальных и переводных (из В. Гюго) стихотворений Панаева, появившихся в разных периодических изданиях в 1834—1838 гг.: *БдЧ,* 1834. Т. 7; 1836. Т. 16; *МН,* 1835. Ч. 3; *ЛПРИ,* 1837, №№ 13 и 37; 1838, № 25; *С,* 1837. Т. 7; 1838. Т. 9.

34. В т. 7 *БдЧ* за 1834 г., где помещен перевод Панаева из Гюго («Стансы»), напечатано вступление к «Медному всаднику» Пушкина под заглавием «Петербург. Отрывок из поэмы».

35. Первая пьеса Н. В. Кукольника «Торквато Тассо» появилась в 1833 г. Осенью того же года поставлена на сцене Александринского театра и имела большой успех.

36. Знакомство Панаева с Кукольником относится ко второй половине 1833 г. Драма «Рука всевышнего отечество спасла» была поставлена на сцене Александринского театра 15 января 1834 г., а в начале следующей главы, рисующей продолжение знакомства, говорится о репетициях и затем премьере.

Глава III

37. Драма Кукольника, проникнутая идеями «православия, самодержавия и народности», была с особенной пышностью поставлена на сцене Александринского театра. Одобренная самим Николаем I, она имела большой успех в консервативных кругах русского общества и в высших правительственных сферах. Одновременно «Рука всевышнего» была издана отдельной книгой. В *МТ* появилась рецензия на нее Полевого. Сурово оценив драму, он писал в заключение: «Мы слышали, что сочинение г-на К. заслужило в Петербурге много рукоплесканий на сцене. Но рукоплескания зрителей не должны приводить в заблуждение автора» (1834. № 3. С. 504). Николай I, прочитав рецензию, был возмущен ею. В то же время давний недоброжелатель Полевого министр народного просвещения С. С. Уваров представил царю доклад о революционном направлении *МТ,* и журнал был закрыт. Автор эпиграммы на «Руку всевышнего» неизвестен.

38. Превознося в рецензии на «Торквато Тассо» «необыкновенный талант» Кукольника, О. И. Сенковский называл его «юным нашим Гете», а также сравнивал с Байроном (*БдЧ,* 1834, № 1. С. 13, 29, 37).

39. Кукольник считал Пушкина не только поверхностным и легкомысленным писателем, но и своим личным врагом и завистником. Так, в его дневнике (запись от 27 января 1837 г.) в связи с гибелью Пушкина говорится о том, что Кукольник «всегда почитал в нем высокое дарование», а Пушкин, напротив, был его злейшим врагом, нанес ему много незаслуженных обид и «непрестанно преследовал» (Баян. 1888, № 11. С. 98). Версия о Пушкине, якобы завидовавшем Кукольнику, еще в начале 1850-х годов проникла в печать. Автор статьи о Кукольнике в *БдЧ* писал: «Кукольник владеет огромным талантом <...> Было время, когда сам Пушкин завидовал успеху Н. В. Кукольника <...> Кукольник умнее, ученее, основательнее Пушкина и дельнее его смотрит на вещи» (1852. № 5. С. 12). Резкая отповедь на эту статью дана Панаевым в *«Заметках Нового поэта»* (*С*, 1852. № 6. С. 330—332). Нет сомнения, что насмешливые или скептические слова Пушкина об авторе «Торквато Тассо» и «Руки всевышнего» приобретали в сознании последнего преувеличенное значение. Однако Пушкин не мог не видеть в Кукольнике враждебного литературного явления. а в успехе его первых драм в читательской массе и в литератур-

ных кругах (как и в одновременном успехе стихотворений Бенедиктова) — некоего тревожного для русской культуры и литературы симптома.

40. «Жизнь за царя» — так называлась тогда опера Глинки, известная теперь под названием «Иван Сусанин». Премьера оперы состоялась 27 ноября 1836 г.

41. Художник М * — по всей вероятности, ученик К. П. Брюллова Г. К. Михайлов.

42. Это не анекдот, а факт. Во всяком случае, один такой отзыв Булгарина — о повести Панаева «Два мгновения из жизни женщины» — в *СП* (1839, № 1) обнаружить удалось.

43. Панаев имеет в виду рецензию В. С. Межевича на сборник «Русская беседа», где был помещен его рассказ «Барыня». Давая общую отрицательную оценку его произведений, Межевич писал: «Г. Панаев не мастер *создавать* ни завязки, ни происшествий, ни характеров; но он изрядно иногда *списывает* портреты, особенно с людей того круга, к которому он сам принадлежит и который хорошо знаком ему. Так, например, в одной из своих повестей (кажется, под названием «Прекрасный человек») он описывает *старушку,* не помним ее имени, с седыми усами и бородкою, и ее прелестных племянниц так живо и правдоподобно, как может описать только тот человек, который родился и вырос посреди этого милого общества, сроднился с ним всею силою души своей» *(СП,* 1841. № 254). Следует отметить, что в той главе повести «Прекрасный человек», о которой упоминает Межевич, речь идет о публичном доме. Этот выпад против Панаева был местью за его очерк «Русский фельетонист» (первая редакция «Петербургского фельетониста» — *ОЗ,* 1841, № 3), в котором Межевич был выведен в весьма непривлекательном виде. Панаев говорит об этом ниже, на с. 76.

44. Директор канцелярии — В. И. Панаев, директор канцелярии министерства имп. двора.

45. Первые годы *МТ* характеризуются сотрудничеством ряда писателей пушкинского круга. Ближайшим сотрудником, в значительной степени определявшим направление журнала, был П. А. Вяземский. Затем он отошел от активного участия в журнале, а в 1829 г. окончательно порвал с Полевым. Одной из главных причин разрыва было отрицательное отношение Полевого к Карамзину.

46. Копия письма Булгарина к М. А. Дондукову-Корсакову от 20 ноября 1841 г., о котором рассказывает Панаев, сохранилась в бумагах А. А. Краевского в рукописном отделе Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Как видно из этого письма, Булгарин считал, что на него жаловался не В. А. Соллогуб, а В. И. Панаев. Этим и объясняется описанная в воспоминаниях сцена встречи Булгарина с В. И. Панаевым в Милютиных лавках (роскошные гастрономические магазины в Петербурге).

47. Несколько альбомов с карикатурами Н. А. Степанова хранятся в рукописном отделе Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и в музее Института русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук СССР.

48. «Среды» Кукольника возникли зимой 1837/38 г. и прекратились в 1840 г. И до и после этого у него бывали литературные сборища, но не столь шумные и многолюдные. Поэтому слова

Панаева на с. 73 о том, что в начале 1840-х годов у Кукольника собиралось до восьмидесяти человек, неточны, тем более что описанная вслед за этим встреча с Булгариным и эпизод с сигарой имели место не в начале 1840-х, а в 1838 г. М. И. Глинка некоторое время был близок с Кукольником и даже жил у него в 1839—1841 гг. Эта близость объясняется как чисто бытовыми причинами — неудачно сложившейся семейной жизнью Глинки, так и музыкальными интересами Кукольника, который по-своему искренне любил Глинку и к суждениям и оценкам которого Глинка, по-видимому, в эти годы прислушивался. Он написал немало романсов на слова Кукольника и музыку к его драме «Князь Холмский». «Жизнь Глинки в «кукольниковской богеме»,—пишет советский исследователь,—лишь самоодурманивание общительного человека пребыванием будто бы в артистической атмосфере. Это был «дрянной опиум», и надо удивляться только стойкости и выдержке творческого сознания Глинки в борьбе его за право на творчество, ибо только благодаря этим качествам создавалась гениальная партитура „Руслана и Людмилы"» (Асафьев Б. Глинка. М., 1947. С. 39—40). Еще в 1838 г. Панаев очень резко и язвительно отозвался о Кукольнике — о его денежной жадности и завистливости — в письме к Белинскому (*БиК*, С. 196—197). В 1840 г. он изобразил Кукольника в повести «Белая горячка» в образе писателя Рябинина (*ОЗ*, 1840, № 5). Пустопорожние фразы о святом искусстве и высоком призвании художника легко уживаются у Рябинина с умением добывать деньги и угодливостью. И позже Панаев не раз обращался к Кукольнику как представителю вульгарного романтизма и литературной реакции. В 1847 г. он написал пародию «Два отрывка из драматической грезы „Доминикино Фети, или Непризнанный гений"» (*С*. 1847. № 2), в которой высмеял «итальянские» драмы Кукольника, в частности его «драматическую фантазию» «Доминикино».

49. Панаев «отдыхал» от службы не год, а около двух лет. В департамент народного просвещения он поступил 14 февраля 1834 г.

50. И. Т. Спасский был домашним врачом в семействе Пушкиных. Сейчас же после гибели поэта он написал воспоминания о его последних днях, опубликованные незадолго до воспоминаний Панаева (Библиографические записки. 1859. Т. 2, № 18).

51. Речь идет о доме артиста Александринского театра Я. Г. Брянского, на дочерях которого (Авдотье Яковлевне и Анне Яковлевне) женились впоследствии Панаев и Краевский. Сближению Панаева с Краевским способствовало и то, что в августе 1836 г. он был переведен в редакцию «Журнала министерства народного просвещения» и оказался в непосредственном подчинении у Краевского. Сатирический портрет А. А. Краевского дан Панаевым в фельетоне *«Петерб. жизнь»* (*С*. 1857, № 12); в отдельном издании «Очерков из Петербургской жизни» (Ч. 2, СПб, 1860) под названием «Петербургский литературный промышленник».

52. Панаев имеет в виду статью Краевского «Современное состояние философии во Франции и новая система сей науки, основываемая Ботеном», напечатанную в «Журнале министерства народного просвещения», 1834, № 3. Основная тенденция статьи, являющейся в значительной своей части переводом, заключается в

необходимости подчинения философского знания христианской религии и морали.

53. Статья Краевского о Борисе Годунове была напечатана не в *СО*, а в «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара (Т.6. СПб., 1836). В том же году она вышла отдельной брошюрой. Краевский доказывал, что Борис Годунов не виновен в убийстве царевича Дмитрия, и вообще это апология Бориса Годунова, направленная против Карамзина.

54. См. об этом заметку М. А. Гамазова в «Историческом вестнике» (1889, № 4. С. 225). Гамазов, незадолго до этого приехавший в Петербург, в течение нескольких месяцев жил у Панаева. В указанной выше заметке имеются некоторые подробности о чтении перевода В. А. Каратыгину и Я. Г. Брянскому. По словам Гамазова, именно он после чтения «Отелло» Каратыгину советовал Панаеву обратиться к Брянскому.

55. Это неверно. Стихотворный перевод драмы «Жизнь и смерть Ричарда III», поставленной в сезон 1832/33 г., сделан Брянским, но так как он не знал иностранных языков, то переводил не с оригинала, а, по его собственным словам, «из буквального перевода с английского» (см. Булгаков А. С. Раннее знакомство с Шекспиром в России / Театральное наследие. Сб. 1. Л., 1934. С. 103; см. также биографию Брянского в журнале «Пантеон», 1853. № 6. С. 44—45). Этот прозаический подстрочный перевод и сделал для него, по-видимому, балетмейстер Ш.-Л. Дидло.

56. Строки из «Руслана и Людмилы» Пушкина.

57. Неточная цитата из «Горя от ума»; у Грибоедова: «Теперь, брат, я не тот» (слова Горича Чацкому).

58. Романс А. А. Алябьева на слова А. А. Дельвига.

59. Удалось обнаружить лишь одно произведение В. И. Кречетова—пьесу «Юлия, или Опасность суеверия и мечтательности» (Детский журнал. 1838. № 8). Значительно позже несколько небольших статеек об античном мире появилось в *СО* (1851. № 6).

60. 21 декабря 1836 г.

61. О Каратыгине в роли Отелло Панаев вспомнил в 1858 г. в связи с гастролями негритянского трагика А. Ольриджа (*«Петерб. жизнь». С,* 1858. № 12. С. 270).

62. Перевод «Отелло» вышел в том же 1836 году. Перевод Панаева — прозаический. Рецензии, подписанной именем М. П. Вронченко, найти не удалось. Однако есть основания предполагать, что ему принадлежит большая статья о переводе Панаева, напечатанная в *СП* под псевдонимом «Юр Сервент» (1837. № 227). Вся она посвящена неточностям и искажениям оригинала.

63. Статья «Мысли о России» появилась в *ЛПРИ* (1837. № 1), перешедших к нему от А. Ф. Воейкова. О якобы сказавшемся в ней влиянии московских славянофилов говорить не приходится, потому что славянофильство как течение сформировалось позже. Статья Краевского отражала в известной степени реакционные идеи в духе уваровской формулы «православие, самодержавие, народность». С этой точки зрения разрешался в ней вопрос об исторических судьбах и будущем России и Запада: Россия должна спасти Европу от революционных потрясений и безверия; в качестве противоядия указывались «спасительный монархизм» и вера в «божественный промысел».

64. Статья Е. Ф. Розена напечатана в № 1 *ЛПРИ* за 1837 г. Об игре В. А. Каратыгина (Отелло) он отозвался весьма холодно; напротив, Я. Г. Брянского и его дочь Анну (впоследствии жену А. А. Краевского), исполнявшую роль Дездемоны, очень расхвалил. Положительно оценен в статье и перевод.

65. Розен писал об этом в статье «Ссылка на мертвых» (*СО*, 1847, № 6).

66. О сходном эпизоде см. в письме Панаева к Белинскому от 11 октября 1838 г. (*БиК*, С. 198). Якубович изображен Панаевым в повести «Литературная тля» (первоначально озаглавлена просто «Тля») в образе поэта Скворевича. В повести с ним связано несколько фактов и эпизодов (*ОЗ*, 1843, № 2. С. 266—268), которые в воспоминаниях Панаев прямо рассказывает о Якубовиче.

67. Слова «несколько сантиментальных и военных рассказов» неточны. В 1835—1838 гг. В. А. Владиславлев выпустил четыре тома своих «Повестей и рассказов» и напечатал еще целый ряд произведений в журналах и альманахах 1830-х — начала 1840-х годов. Альманах «Утренняя заря» выходил в течение пяти лет (1839—1843). Владиславлев служил адъютантом в корпусе жандармов и действительно использовал это для его распространения.

68. В 1851—1852 гг. изымались из книжных магазинов и библиотек и уничтожались старые номера *ОЗ* со статьями Герцена.

69. Панаев говорит о стихотворении Бернета (А. К. Жуковского) «Призрак», напечатанном в *ЛПРИ*, 1837, № 31 (в первых его строках речь идет о вечернях). Он ошибается, утверждая, что оно было дебютом Бернета: до «Призрака» появилась, например, поэма «Граф Мец» (1837, дата цензурного разрешения — 16 октября 1836 г.). Белинский отозвался об этом стихотворении в рецензии на поэму Бернета «Елена», помещенной не в «Молве» или «Телескопе», а в *МН* (1838, апрель, кн. 2).

70. Основные факты биографии В. И. Соколовского таковы. В 1832 г. он приехал из Сибири в Москву, где сблизился с Н. М. Сатиным, а через него — с Герценом и Огаревым. В июле 1834 г. был арестован по делу «о лицах, певших пасквильные куплеты». Эти «пасквильные куплеты» — сочиненная Соколовским сатирическая песня «Русский император в вечность отошел» и т. д., в которой в издевательском тоне говорится о смерти Александра I и восшествии на престол Николая I. К этому же делу были привлечены Герцен, Огарев, Сатин и др. Весною 1835 г. они были отправлены в ссылку, а Соколовский заключен в Шлиссельбургскую крепость. В 1837 г. его выпустили; он прожил некоторое время в Петербурге, а затем был выслан на жительство в Вологду; оттуда в начале 1839 г. поехал в Пятигорск лечиться, где и умер от чахотки, нажитой в крепости. В рассказе Панаева имеются некоторые неточности. По свидетельству Сатина, Соколовский не учился в Московском университете (Сатин Н. М. Из литературных воспоминаний. / Русские пропилеи. Т. 1. М., 1915. С. 196). В крепости он просидел не шесть лет, а два года. Не вполне точно приведена Панаевым цитата из «Хевери».

71. В *ЛПРИ* были напечатаны стихотворения Панаева «Поэту» (1837, № 13), «Смерть» (1837, № 37), «Лже-поэту» (1838,

№ 25), рассказ «Сегодня и завтра» (1837, №№ 14—16), две статьи о московском театре (1839. Т. 1. № 25; Т. 2. № 3). Критические статьи и рецензии Панаева, помещенные в *ЛПРИ,* до сих пор не установлены.

72. В *ЛПРИ* и *ОЗ* в первые годы их существования было принято написание «петербуржский» вместо обычного «петербургский». Об этом и некоторых других орфографических нововведениях Краевского тогда часто говорили и писали, высмеивая их.

73. Вечер у Панаева состоялся 11 апреля 1838 г. Как будет видно из дальнейших примечаний, Панаев ввел в свой рассказ некоторые более поздние факты. Грязная улица — позже Николаевская, теперь ул. Марата.

74. Говоря о том, что «перед этим только что появились разборы стихотворений Бенедиктова» — Белинского в «Телескопе» и др., Панаев допустил неточность. Он объединил здесь отклики на первый сборник Бенедиктова 1835 г.— Белинского (Телескоп, 1835, № 11) и Шевырева (*МН.* 1835. Ч. 3) — с откликами на второй сборник 1838 г.— Полевого (*СО.* 1838. Т. 2) и *ЛПРИ* (1838. № 15).

75. Эта «выходка» относится к более позднему времени. Здесь имеется в виду статья Межевича 1841 г. См. выше, с. 74 и примеч. 43.

76. Отзывы Пушкина о Л. Якубовиче неизвестны. Три его стихотворения Пушкин напечатал в т. 4 *С* за 1836 г. Якубович был потрясен гибелью Пушкина и напечатал краткий некролог в *СП* (1837. № 24).

77. «Дом сумасшедших» — сатира А. Ф. Воейкова на писателей, журналистов, государственных деятелей 1810—1830-х годов. Первая редакция этого произведения относится к 1814 г., но Воейков переделывал и дополнял его до самой смерти. Человек остроумный, язвительный, но вместе с тем злобный и завистливый, он нередко вводил тех или иных лиц в «Дом сумасшедших» из чувства личной неприязни. Сатира ходила по рукам в большом числе списков и была впервые напечатана в 1857 г. Строки «Битый рюриковой палкой и санскритским батожьем» — намек на «Историю русского народа» Полевого и его занятия санскритом. Примирению Полевого и Воейкова у Панаева предшествовал обмен письмами в связи с участием Полевого в «Сборнике на 1838 год», изданном Воейковым.

78. Здесь и в других местах воспоминаний Панаев дает яркий портрет Полевого после запрещения *МТ* и переселения в Петербург, когда, запуганный и присмиревший, он оказался в лагере реакционной и беспринципной журналистики, сделался соратником Булгарина, Греча и Сенковского и вместе с тем жертвой их интриг. Панаев скоро разошелся с ним. В начале 1840 г. он напечатал в цикле «Портретная галерея» памфлет на Полевого («Портрет № 2» — Литературная газета. 1840. № 12), знаменовавший окончательный разрыв с ним.

79. Обед состоялся в ноябре 1837 г.

80. Панаев ошибся: Жуковского в это время не было в Петербурге. Булгарин, Греч и Сенковский не были приглашены по требованию Вяземского и некоторых других писателей, которые соглашались приехать только с этим условием.

81. В «Сборнике на 1838 год», изданном Воейковым, приняли участие не десять или пятнадцать, а тридцать писателей, притом не только молодые и безвестные, в нем напечатаны произведения Вяземского, В. Ф. Одоевского, Полевого, Козлова и др. И книга составилась не «тощая», а довольно солидная — в 320 страниц. Панаев поместил в сборнике рассказ «Сумерки у камина».

82. Панаев цитирует это объявление по памяти и не вполне точно. В частности, об его повести «Она будет счастлива» было сказано несколько иначе: «...в которой увидели мы, наконец, настоящий характер россиянки высшего круга».

83. Э. И. Губеру принадлежит первый полный перевод первой части «Фауста» Гете. Губер закончил перевод в 1835 г., но его издание было запрещено цензурой. Тогда он уничтожил рукопись. Узнав об этом, Пушкин разыскал Губера и побудил снова взяться за перевод. По свидетельству самого Губера (Литературное объяснение/*ЛПРИ*, 1837. № 34. С. 335), Пушкин не только помогал ему своими советами, но и поправил многие места. Выпустив перевод в 1838 г., Губер посвятил его «незабвенной памяти А. С. Пушкина» и предпослал ему также стихотворное посвящение.

84. Шестилавочная улица — впоследствии Надеждинская, теперь ул. Маяковского.

85. Пятидесятилетие литературной деятельности И. А. Крылова праздновалось 2 февраля 1838 г. Инцидент, связанный с юбилеем, рассказан Панаевым неточно. Мысль о юбилее возникла на «средах» у Н. Кукольника; здесь был намечен юбилейный комитет, в который вошел и Н. И. Греч. Через Бенкендорфа программа юбилея поступила к Николаю I и была им одобрена. Однако министр народного просвещения С. С. Уваров изменил состав юбилейного комитета. Когда Греч получил от Жуковского письмо с просьбой о раздаче тридцати билетов, на подписном листе, где были напечатаны имена членов комитета, он не нашел своего имени. Греч отослал билеты обратно, сообщив, что не берется раздать их, да и сам не сможет участвовать в торжестве. Булгарин и Полевой решили последовать его примеру. Однако накануне юбилея Булгарин известил Греча о желании Николая I, чтобы все литераторы приняли в нем участие. Полевой достал билет через В. Ф. Одоевского, а Булгарину и Гречу было объявлено, что все билеты уже разошлись. Это вызвало газетную полемику. (См.: Русский инвалид. 1838. № 31; *СП*. 1838. № 32; *ЛПРИ*, 1838, № 7. О выступлении С. Н. Глинки в отчетах о праздновании юбилея не упоминается.

86. Панаев имеет в виду свое «Воспоминание о Белинском», напечатанное за год до «Литературных воспоминаний», см. с. 335—340.

87. Рассказ В. А. Соллогуба «Сережа (Лоскуток из вседневной жизни)» напечатан в *ЛПРИ* (1838. № 15).

88. Строки из «Моей родословной» Пушкина. Следует, однако, отметить, что Панаев односторонне интерпретирует идейный смысл этого произведения, так как не учитывает, что оно является ответом на обвинения Пушкина в аристократизме в статьях Булгарина и Полевого.

89. По-видимому, Панаев имеет в виду следующее место из повести-утопии Одоевского «4338 год. Петербургские письма», напечатанной в альманахе «Утренняя заря» на 1840 г. (С. 307—308): «Здесь такое уже обыкновение: на богатых домах крыши все хрустальные или крыты хрустальною же белою черепицей... Ночью, когда дома освещены внутри, эти блестящие ряды кровель представляют волшебный вид». Панаев резко отрицательно отнесся к этой повести; см. его письмо к К. Аксакову от 8 декабря 1839 г.: «Князь совсем из ума выживает и пишет такую гадость, что читать тошно» (Труды Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Сб. 4. М., 1939. С. 211).

90. Под этим псевдонимом Одоевский печатал в *ЛПРИ* и *ОЗ* середины 1840-х годов фельетоны по вопросам «кулинарного искусства» и «домохозяйства».

91. Из всех писателей пушкинского круга Панаев с наибольшей симпатией относился к В. Ф. Одоевскому, хотя и посмеивался над его слабостями. Еще в 1839 г. он писал Белинскому: «Нога моя вот уже более двух лет не вступает ни в один салон, кроме *крошечного салончика* князя Одоевского. Жаль, что он рожден князем и должен при случае *быть* или *казаться* таковым. Артист в душе,— он сам чувствует неловкость своего положения, и это его *мучит,* по крайней мере мне так кажется. Две разнородные стихии борются в нем, и ни одна не может одолеть другую» (*БиК,* С. 201). Эти ранние впечатления оказались устойчивыми и легли в основу тех страниц воспоминаний, которые посвящены Одоевскому. О добрых отношениях между ними свидетельствует и тот факт, что Панаев был у Одоевского перед печатанием воспоминаний. «Был у меня Панаев,— записал Одоевский в дневнике 1 февраля 1861 г.,— прочесть из своих записок, что касается до меня, и просить, позволю ли я? Я согласился» (*ЛН.* Т. 22—24. М., 1935. С. 126).

92. Проект журнала Краевского и Одоевского «Русский сборник» с приложением «Литературного летописца» относится не к концу 1830-х годов, а к 1836 г. С Одоевским у Краевского и в дальнейшем сохранились хорошие отношения. Что же касается Пушкина, то никакой ни личной, ни идейной близости у него с Краевским не было. Однако он ценил Краевского за его деловые качества и опыт журналиста. Краевский помогал ему в издании *С.*

93. Последствием стихотворения «Смерть поэта» была, как известно, ссылка Лермонтова на Кавказ.

94. Во избежание демонстрации вынос тела Пушкина состоялся по предписанию властей ночью. Было изменено и место отпевания — сначала оно было назначено в церкви при Адмиралтействе, а затем тело тайком перевезли в Конюшенную церковь.

95. Фамилия сотрудника английского посольства, к которому обратился Пушкин, не Мегнис, а А. Меджнис.

96. Слуга Пушкина Никита Козлов мог рассказать Панаеву и Краевскому о том, что стало широко известно лишь через много десятилетий: что гроб сопровождали жандармы, что власти стремились как можно скорее избавиться от все еще казавшегося им опасным поэта и мчали его тело так быстро, что загнали ло-

шадь, что были запрещены всякие встречи тела Пушкина и изъявления скорби по поводу его гибели.

97. Кроме названных Панаевым лиц, одним из издателей в 1837 г. был также В. Ф. Одоевский.

Глава VI

98. Речь идет о балете «Эолова арфа». В 1840 г. Ф. П. Толстой написал программу балета и сделал многочисленные рисунки. Однако постановка не была осуществлена. Упомянутые Панаевым рисунки Толстого к поэме И. Ф. Богдановича «Душенька» были изданы в 1850 г. Панаев явно недооценивал этого большого мастера, иронизируя над высокопарными похвалами по его адресу Кукольника и Каменского.

99. «Дон Жуан» Байрона в переводе В. И. Любича-Романовича был издан в 1847 г. и получил единодушную отрицательную оценку.

100. Здесь Панаев имеет в виду К. П. Брюллова, приревновавшего свою жену к Николаю I. Племянник Брюллова художник П. П. Соколов пишет в своих воспоминаниях: «В одно утро, когда молодая женщина стояла у окна квартиры Брюллова, окна которой выходили на набережную, на вороном коне в санях подъезжает к Академии государь. Увидя его, она невольно вскрикнула: — Ах, государь.— Карл Павлович подскочил к ней и со словами «А, узнала!» вырвал у нее из уха серьгу» (Исторический вестник. 1910. № 8. С. 402).

101. Имеется в виду произведение Э. Т. А. Гофмана «Серапионовы братья».

102. Н. А. Майков, в молодости — офицер, участник Отечественной войны 1812 г., вышел затем в отставку и всецело отдался живописи, впоследствии — академик живописи. Из основных членов кружка Майковых не упомянуты Панаевым Бенедиктов и помощник Сенковского по «Библиотеке для чтения» В. А. Солоницын, который и ввел к ним Гончарова. Гончаров преподавал Аполлону и Валериану Майковым латинский язык, риторику и русскую словесность и вместе с Солоницыным готовил их в университет. В 1836—1838 гг. кружок Майковых выпускал рукописный журнал «Подснежник», в 1839 г. выпустил альманах «Лунные ночи». Здесь были помещены первые повести Гончарова «Лихая болесть» и «Счастливая ошибка».

103. Поэма Кукольника «Мария Стюарт» не была окончена. Отрывки из нее опубликованы в альманахах «Новогодник» и «Утренняя заря» 1839 г. в *БдЧ* за 1840, № 1, и «Русском вестнике» за 1844, № 2. Панаев написал пародию на один из опубликованных отрывков, озаглавив ее «К***» («Почтительно любуюся тобою...»). Она была напечатана в № 1 *С* за 1847 г. Последняя строка пародии — «Так каждый взгляд родит стихотворенье». Аналогичная насмешка имеется в повести Панаева «Белая горячка» (*ОЗ*. 1840. № 5. С. 71).

104. Панаев цитирует Белинского (как и в ряде других мест своих воспоминаний) по первому изданию его сочинений, вышедшему в 1859—1862 гг. Набранные курсивом слова выделены Панаевым.

105. «Литературные мечтания» Белинского были напечатаны в «Молве» в сентябре — декабре 1834 г., т. е. тогда, когда Панаев, судя по гл. 2—3 его воспоминаний и по его произведениям середины 1830-х годов, еще не освободился от увлечения Кукольником и Марлинским. Но именно «Литературные мечтания» возбудили у Панаева первые сомнения в его литературных кумирах.

106. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» впервые напечатана во 2-й части альманаха «Новоселье» в 1834 г., а обе части «Миргорода» вышли в 1835 г. Письмо Пушкина к А. Ф. Воейкову с восторженным отзывом о «Вечерах на хуторе близ Диканьки» было включено в рецензию Л. Якубовича на «Вечера», помещенную в *ЛПРИ* (1831. № 79).

107. Телескоп. 1835. № 7.

108. См. примеч. 32.

109. Кольцов был в Петербурге в январе — апреле 1836 г. и в феврале — марте 1838 г. По-видимому, Панаев познакомился с ним в 1836 г. Дальше речь идет о встрече с Кольцовым в 1838 г.

110. Это неверно. Кольцов, как рассказывает Панаев в «Воспоминании о Белинском» (см. с. 313), действительно просил его от имени Белинского (это было в феврале — марте 1838 г.) принять участие в журнале *МН*. Но первое письмо Белинского к Панаеву — от 26 апреля 1838 г.— пришло уже после отъезда Кольцова из Петербурга; в нем Белинский передает Панаеву привет от Кольцова.

Глава VII

111. «Телескоп» был запрещен в 1836 г. за помещение в № 15 «Философического письма» П. Я. Чаадаева. Редактор-издатель журнала Н. И. Надеждин был сослан в Усть-Сысольск, Чаадаев объявлен сумасшедшим и подчинен медицинскому и полицейскому надзору, а цензор А. В. Болдырев, пропустивший «Философическое письмо», был отрешен от всех своих должностей (он был профессором и ректором Московского университета).

112. Скоро после гибели Пушкина Сенковский писал в рецензии на «фантазию» Тимофеева «Елисавета Кульман»: «...из всего числа поэтов, которых произвел Пушкин, г. Тимофеев едва ли не тот, чьи произведения соединяют в себе наиболее начал пушкинской поэзии» (*БдЧ*. 1837. Т. 21. С. 42). О производстве Кукольника в Гете см. примеч. 36.

113. С конца 1840-х годов Сенковский постепенно отходил от редакционных дел. В качестве соредактора Сенковского был приглашен А. В. Старчевский, который фактически руководил журналом. «Печальная роль» при Старчевском, которую, по словам Панаева, ему пришлось бы играть, если бы он прожил еще несколько лет, в 1850-е годы уже стала реальностью. В *СО*, реформированном Старчевским в 1856 г., Сенковский вел фельетон «Листок Барона Брамбеуса»; незадолго до смерти, в 1858 г., он принял близкое участие в первых номерах юмористического журнала «Весельчак».

114. Рассказ «Как добры люди» напечатан в «Одесском альманахе на 1839 год». Он представлял собою вступление к большому

произведению — «Записки безумного», над которым работал Панаев, но так и не написал его.

115. «Штатский генерал», с которым встретился Надеждин,— В. И. Панаев; см. о нем примеч. 13.

116. Панаев имеет в виду М. А. Бакунина.

117. В альманахе В. Владиславлева «Утренняя заря» на 1839 г. напечатана статья Надеждина «Народная поэзия у зырян».

118. Оживленное общение Панаева с Надеждиным относится к 1838—1839 гг. Надеждин вернулся в Петербург из ссылки весною 1838 г. (Панаев ошибся, говоря о 1837 г.); в августе 1839 г. отправился в Одессу, где служил при попечителе учебного округа Д. М. Княжевиче. По возвращении из Одессы поступил на службу в министерство внутренних дел и с 1843 г. занял место редактора «Журнала министерства внутренних дел». Впоследствии принимал активное участие в преследовании раскола. В немногочисленных литературных работах Надеждина этих лет преобладают статьи по вопросам этнографии и географии.

119. С наибольшей отчетливостью гоголевская оценка поэзии Языкова выражена в статьях «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» и «Предметы для лирического поэта в нынешнее время», вошедших в состав «Выбранных мест из переписки с друзьями».

120. Свидетельство Панаева о времени и месте его первой встречи с Гоголем противоречиво. Наиболее раннее из них — «Воспоминание о Белинском» (см. с. 345). Здесь Панаев утверждает, что познакомился с Гоголем в Москве у Аксаковых летом 1839 г. Судя по первой части воспоминаний (с. 151—152), знакомство произошло в Петербурге у Н. Я. Прокоповича и притом значительно позже — «после второй поездки за границу», откуда Гоголь вернулся в октябре 1841 г. Наконец, во второй части воспоминаний (с. 204) речь идет о встрече с Гоголем «как с старым знакомым» опять-таки в июне 1839 г. Летом 1839 г. знакомство состояться не могло — Гоголь вернулся из-за границы лишь 26 сентября этого года. Ошибочными являются и слова «после второй поездки за границу»: по-видимому, это простая описка — вместо «после первой поездки за границу» или «перед второй поездкой». Знакомство состоялось либо у Аксаковых в Москве в октябре 1839 г., либо в первых числах ноября в Петербурге, куда Гоголь приехал вместе с Аксаковыми, у них или у Прокоповича. Во всяком случае, 5 ноября 1839 г. Панаев, придя к Аксаковым, застал там Гоголя (см.: Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем // Собр. соч. Т. 3. М., 1956. С. 169).

121. Это неверно: «Журнал общеполезных сведений» выходил под редакцией Башуцкого в течение пяти лет (1835—1839).

122. За несколько лет до «Литературных воспоминаний» Панаев нарисовал портрет Башуцкого в фельетоне «*Петерб. жизнь*» (*С*. 1857. № 2. С. 316—317). Намерение Панаева подробнее охарактеризовать его литературную деятельность не было осуществлено.

123. Имеется в виду псевдоним О. И. Сенковского «Барон Брамбеус».

124. Говоря о том, что Свиньин охотно уступил Краевскому свой журнал, «который терял подписчиков с каждым годом», Панаев допустил неточность: в 1831—1838 гг. *ОЗ* вовсе не выходили.

125. Следует отметить, что еще в начале 1837 г. Краевский вел переговоры с Белинским о его сотрудничестве в *ЛПРИ,* но они ни к чему не привели, так как он не согласился предоставить Белинскому свободу мнений и оценок.

126. Краевский выплатил Н. Л. Свиньиной — правда, с большим запозданием — деньги, причитавшиеся ей за 1839—1843 гг.

127. Статья «Французская литература в 1838 году» (*ОЗ.* 1839. № 1) интересна в том отношении, что Панаев резко критикует в ней французских романтиков, и в первую очередь своего былого кумира В. Гюго.

128. Строка из стихотворения Пушкина «Осень».

Глава VIII

129. Имеется в виду повесть «История двух калош» (*ОЗ.* 1839. № 1).

130. Из представителей «аристократической литературной партии» в *ОЗ* в первые годы их существования сотрудничали Жуковский, Вяземский, Баратынский и др. Близкое участие в редакционных делах принимал (как и до этого — в *ЛПРИ*) В. Ф. Одоевский.

131. При переводе «Рассказов старинного полицейского агента», помещенных в № 1 *ОЗ* за 1839 г., французские слова «doyen d'âge» (старший годами) были поняты как обозначение какой-то должности.

132. Описание литературных вечеров Соллогуба должно было войти в гл. 9 второй части воспоминаний (см. ее содержание на с. 307), но она была лишь начата Панаевым незадолго до смерти.

133. Строка из стихотворения «Как часто пестрою толпою окружен...».

134. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» была напечатана в № 18 *ЛПРИ* за 1838 г. Под «Песней» не было разрешено поставить имя Лермонтова, незадолго до этого высланного на Кавказ, и она была подписана «-в». Поэтому лишь немногие знали, кто является ее автором.

135. Лермонтов познакомился с Краевским во второй половине 1836 г. через своего ближайшего друга С. А. Раевского. Краевский ввел Лермонтова в круг и ближайших друзей Пушкина. Он много сделал для проведения произведений Лермонтова в печать, преодолевая при этом сопротивление цензуры.

136. «Тамбовская казначейша» была напечатана под заглавием «Казначейша» и без имени автора в № 3 *С* за 1838 г. Слова «без его спроса» не соответствуют действительности. Но Лермонтов мог быть недоволен тем, что у него не спросили разрешения на печатание поэмы с цензурными искажениями и исправлениями Жуковского.

137. 18 февраля 1840 г.

138. Краевский утверждал, что он привез Белинского к Лермонтову в Ордонанс-гауз и здесь только они познакомились (*ЛН.* Т. 45—46. М., 1948. С. 370). По-видимому, Лермонтов действительно не встречался с Белинским у Краевского, но познакоми-

лись они, вопреки утверждению последнего, задолго до этого — летом 1837 г. в Пятигорске у Н. М. Сатина (Почин: Сборник Общества любителей российской словесности на 1895 год. М., 1895. С. 237—241).

139. Сам Белинский рассказал об этом свидании с Лермонтовым в письме к В. П. Боткину от 16 апреля 1840 г., напечатанном через много лет после смерти Панаева и подтверждающем правдивость и точность его рассказа. «Недавно был я у него в заточении,— писал Белинский,— и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура! Я был без памяти рад, когда он сказал мне, что Купер выше В. Скотта, что в его романах больше глубины и больше художественной целости. Я давно так думал и еще первого человека встретил, думающего так же» (Т. 9. С. 508—509).

140. «Репертуар русского театра» и «Ведомости С.-Петербургской городской полиции» Межевич стал редактировать сразу же после переезда в Петербург, в 1839 г. «Пчела» — газета «Северная пчела».

141. Панаев имеет в виду драму Кукольника «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский»; четвертый акт этой драмы оканчивается тем, что Ляпунов выбрасывает из окна на расправу разъяренной толпе фрага Фидлера, отравившего Скопина-Шуйского.

142. В этой статье Гоголь высказывал свою полную неудовлетворенность журналистикой и критикой, отмечая отсутствие в них «живого литературного движения». С особенной резкостью обрушивается он на *БдЧ* Сенковского и вообще на «торговое направление» в литературе, беспринципность, безвкусие и «литературное невежество».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ (1839—1847)

Глава I

143. Белинский цитирует эти строки в статье 1839 г. об «Очерках Бородинского сражения» Ф. Глинки (*ОЗ*. 1839. № 12; *Белинский*. Т. 3. С. 334).

144. Говоря о современных «литературных джентльменах», Панаев в первую очередь имеет в виду А. В. Дружинина.

145. В «Воспоминании о Белинском», напечатанном за год до «Литературных воспоминаний»; см. ниже, на с. 321—323.

146. Станкевич был в это время за границей, куда отправился лечиться в августе 1837 г. Он умер 24 июня 1840 г.

147. Неточная цитата из книги «Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым» (М., 1856. С. 73—74); у Анненкова — «неопределенные намеки».

148. Имеются в виду мемуарные очерки «Гимназия» и «Университет» в книге С. Т. Аксакова «Семейная хроника и Воспоминания» (1856).

149. С. Т. Аксакову шел в это время 48-й год.

150. Панаев познакомился с К. Аксаковым не в 1839 г., а за год до этого — в июле 1838 г., когда Аксаков провел несколько дней в Петербурге по дороге за границу.

151. С. Т. Аксаков умер в апреле 1859 г., а К. С. Аксаков — в июне 1860 г.

152. О «китайском элементе» у К. Аксакова Белинский не раз говорил еще до разрыва с ним; см., например, на с. 328 письмо к Панаеву от 19 августа 1839 г. Окончательный разрыв Белинского с Аксаковым произошел в 1841 г.

153. Речь идет о трагедии Великопольского «Янетерской», которая по выходе ее из печати в 1841 г. была уничтожена цензурой.

154. Нелюбовь Загоскина к Белинскому объясняется тем, что этот «благородный литературный Фамусов» (слова о нем Ап. Григорьева в статье «Оппозиция застоя»), консерватор и националист, принадлежал к числу непримиримых врагов пропагандировавшихся Белинским литературных и политических идей. В 1844 г. Загоскин сочинил пасквиль «Литературный вечер», в котором вывел Белинского в лице критика Варсонофия Николаевича Наянова (вошел в книгу Загоскина «Москва и москвичи», выход 2). Враждебное отношение к Белинскому усиливалось еще, вероятно, тем обстоятельством, что Белинский невысоко ставил его дарование и не раз отрицательно отзывался о его произведениях.

155. Панаев имеет в виду статью Белинского «Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (*МН*. 1836. Кн. 1 и 2 за март; Кн. 1 за апрель).

156. «Москвитянин» начал выходить с 1841 г., но разрешение на его издание было получено Погодиным еще в конце 1837 г. По замыслу Погодина и Шевырева, «Москвитянин» должен был противостоять «торговому направлению» и журнальному триумвирату Булгарина, Греча и Сенковского. Это и могло вызвать у Погодина мысль о соединении с *ОЗ*, когда их направление, до прихода Белинского, еще недостаточно определилось. Кроме того, говоря о сходстве взглядов, он мог иметь в виду статью Краевского «Мысли о России» (см. примеч. 63). В начале существования *ОЗ* в них время от времени печатались и славянофилы, и Погодин, и Шевырев. Однако скоро после того, как во главе журнала стал Белинский, *ОЗ* сделались главным идейным врагом «Москвитянина».

157. В примечании было указано, что предназначенное для *ОЗ* стихотворение появилось «в одной из газет с некоторыми изменениями и без подписи имени автора. Здесь оно помещается вполне и в настоящем своем виде».

158. См. примеч. 173.

159. Сибирский поэт-самоучка Е. Л. Милькеев был обласкан Жуковским во время его путешествия с наследником по Западной Сибири в 1837 г. Жуковский взял его с собой в Петербург, где устроил на службу. В начале 1840-х годов Милькеев жил в Москве; в 1843 г. он издал сборник стихотворений. Журнал П. А. Плетнева *С* и славянофильские круги возлагали на Милькеева большие надежды. Белинский же не увидел в нем оригинального таланта и обнаружил в его поэзии наиболее враждебные ему идейные и художественные тенденции, соединение риторики и изыскан-

ности Бенедиктова с «народностью» в духе Языкова («сивуха», «пенное»). Впрочем, и поклонники Милькеева скоро забыли его. В конце 1846 или в начале 1847 г. Милькеев кончил жизнь самоубийством. Послание К. Павловой к Милькееву, о котором упоминает Панаев, появилось в № 5 *ОЗ* за 1839 г.

160. «Исполненная реторика и статейка о Москве».— Это, по всей вероятности, статья «Московский театр (Отрывок из письма к***)», напечатанная в *ЛПРИ* (1839, т. 1, № 25) за подписью «П — в» и с датой: Москва, 3 июня 1839 г. Если это так, то либо Панаеву изменила память, либо статья была переделана в редакции *ЛПРИ;* в ней нет никаких «Эпиграфов» о Москве из Дмитриева, Грибоедова, Пушкина и других.

Глава II

161. «До ссылки между нашим кругом и кругом Станкевича,— пишет Герцен в «Былом и думах»,— не было большой симпатии, им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами и французами, мы их сентименталистами и немцами» (Т. 9. С. 17). Летом 1834 г. Герцен, Огарев и их друзья были арестованы, а весною следующего года сосланы в разные губернии Российской империи.

162. Опера Д. Мейербера «Роберт-дьявол».

163. «Один из самых юных приятелей Белинского» — М. Н. Катков.

164. Речь идет о повести Герцена «Сорока-воровка», написанной на основании устного рассказа Щепкина.

165. О времени знакомства Панаева с Гоголем см. примеч. 120.

166. Эта точка зрения на Гоголя, затушевывавшая обличительный смысл его творчества, была впоследствии развита К. Аксаковым в его брошюре «Несколько слов о поэме Гоголя „Похождения Чичикова, или Мертвые души“» (1842) и подвергнута резкой критике в статьях Белинского.

167. Т. е. «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова-внука».

168. В рассказе Панаева о чтении Гоголем своих произведений у Аксаковых имеются неточности. Гоголь вернулся из-за границы не в июне, а 26 сентября 1839 г. Первую главу «Мертвых душ» он читал у Аксаковых отдельно от «Тяжбы» в конце декабря 1839 или в начале января 1840 г., по возвращении из Петербурга. Это согласуется с указанием Панаева, что начало «Мертвых душ» Гоголь раньше всех читал Жуковскому. Жуковскому же он мог читать первые главы «Мертвых душ» в ноябре — первой половине декабря 1839 г., когда был в Петербурге и остановился у него. «Тяжбу» Гоголь читал у Аксаковых 8 марта 1840 г. На этом чтении Панаев, без сомнения, присутствовал, так как его рассказ совпадает с рассказом об этом: Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем (Собр. соч. Т. 3. М., 1956. С. 184—185).

169. По свидетельству С. Т. Аксакова (Собр. соч. Т. 3. С. 157), еще в 1835 г. Белинский был у него в гостях, когда Гоголь обещал прочитать свою комедию «Женихи» («Женитьба»). Гоголь пришел, но комедии не читал. Однако личное знакомство Белин-

ского с Гоголем могло тогда и не состояться. В октябре 1839 г. Белинский виделся с Гоголем в Москве у Аксаковых (см. письмо К. С. Аксакова к Г. С. и И. С. Аксаковым от 24—25 октября 1839 г.— *ЛН*. Т. 58. М., 1952. С. 570) и скоро после этого в Петербурге у В. Ф. Одоевского (см. письмо Белинского к В. П. Боткину от 22 ноября 1839 г. — т. 11, с. 120; письмо И. И. Панаева к К. С. Аксакову от 8 декабря 1839 г.— *ЛН*. Т. 56. М., 1950. С. 135), а может быть, и у Н. Я. Прокоповича.

170. Панаев имеет в виду не печатные высказывания Гоголя, а какой-то разговор, свидетелем которого был он сам или кто-либо из его знакомых, или, может быть, какое-нибудь письмо Гоголя. Нечто аналогичное писал П. В. Анненков: «Он еще тогда не пришел к убеждению, что московская критика, то есть критика Белинского, злостно перетолковывала все его намерения и авторские цели» (*Анненков*. С. 174). Следует отметить, что позже Гоголь негодовал против Герцена в связи с его брошюрой «О развитии революционных идей в России». Тургенев рассказывает, как Гоголь при встрече с ним и Щепкиным в 1851 г. с раздражением говорил, «что не может понять, почему в прежних его сочинениях некоторые люди находят какую-то оппозицию, что-то такое, чему он изменил впоследствии, что он всегда придерживался одних и тех же религиозных и охранительных начал» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч., Т. 14. М.— Л., 1967. С. 68).

171. Спектакль, о котором идет речь, был не летом, а 17 октября 1839 г.

172. Леди Локлевен (лицо историческое) — героиня романа В. Скотта «Аббат».

173. В 1833 г. вышла книга К. К. Павловой (тогда еще Яниш) «Das Nordlicht» — переводы стихов русских поэтов, в том числе своих собственных, на немецкий язык. Есть сведения, что рукопись переводов была передана Гете, который будто бы с похвалой отозвался о них и написал Яниш ласковое письмо. В 1829 г. А. Гумбольдт совершил путешествие на Урал для обследования его минеральных богатств. Проездом он был в Москве, где познакомился с Яниш. В предисловии к сборнику «Das Nordlicht» она говорит, что мысль заняться переводами русских поэтов на немецкий язык подал ей Гумбольдт. На прощание Гумбольдт написал ей в альбом какие-то лестные для нее строки. Ходили слухи, что Гумбольдт, несмотря на свой преклонный возраст, увлекся Яниш, а злые языки уверяли, что эти слухи распространяла она сама.

174. Первый стих стихотворения Гюго, открывающего его сборник: «Les feuilles d'automne. Les chants du crépuscule» (1831).

175. Павлова провела в Соколове лето 1850 г., а Герцен жил там не «впоследствии», а за несколько лет до нее — в 1845—1846 гг.

176. Здесь, как и в некоторых других местах воспоминаний, Панаев иронизирует над аристократическими претензиями Павловых, для которых у них к тому же не было оснований: Павлов — сын вольноотпущенника, Павлова — дочь врача, профессора Московской медико-хирургической академии.

177. «Неприятность», о которой писал Панаев, заключалась в следующем. В 1852 г. Павлова обратилась к московскому генерал-губернатору Закревскому с жалобой на мужа, который своей игрой в карты разоряет ее имение. Павлов был арестован и

посажен в так называемую долговую яму, куда сажали несостоятельных должников. Одним из побудительных мотивов для такого рода действий могло быть ходившее по рукам стихотворение Павлова, в котором обличались самодурство и произвол Закревского. Придравшись к тому, что у Павлова при обыске были найдены какие-то запрещенные к ввозу в Россию иностранные книги, его в апреле 1853 г. сослали в Пермь, где он пробыл несколько месяцев.

178. После окончания театральной школы Павлов в течение двух лет был артистом московского театра, но вскоре убедился, что сцена — не его призвание. Это высмеяно в ряде эпиграмм и сатир середины XIX в.

179. К тому времени, когда Панаев писал свои воспоминания, эта репутация резко изменилась. Павлов перешел на откровенно реакционные позиции и с 1862 г. получал субсидию от министерства внутренних дел на издание газеты «Наше время».

180. Этот эпизод относится к июню 1850 г. Слова «В ту пору только что появились в «Отечественных записках» стихотворные пародии», имеющие в виду пародии самого Панаева, весьма неточны. Первые его пародии появились за несколько лет до этого, в 1843 г., в *ОЗ,* а затем начиная с 1847 г. печатались в *С.* «Шутка» Павловой — ее стихотворение «Везде и всегда» — была помещена Панаевым в *С* (1850. № 8), вместе с другими, без имени автора, под общим заглавием «Стихотворения новооткрытого поэта». Через несколько лет в *С* (1854. № 9) была напечатана насмешливая рецензия на «Разговор в Кремле» Павловой, автор которой, упрекая во внешней формальной изощренности и пристрастии к «громкозвучащим», «новым и оригинальным рифмам», охарактеризовал «Везде и всегда» как «удачную шутку» и адресовал ее ей же самой. Раздосадованная этой рецензией Павлова прислала в редакцию *С* на имя Панаева письмо, которое вместе с язвительным ответом последнего было помещено на страницах журнала (1854. № 11. С. 130—137). Оба вспоминают о встрече 1850 г. В словах Панаева о проведенном в гостях у Павловой дне содержится зерно будущих воспоминаний об этом.

Глава III

181. Одной из существенных причин неуспеха *МН* была также его ориентация на сравнительно узкий круг читателей. Статьи писались сложным языком, насыщенным философской терминологией, а художественная литература не занимала в нем большого места. Сыграли свою роль и цензурные стеснения. В 1839 г. вышло не пять, а четыре книжки (две части) журнала.

182. Панаев неточно характеризует отношение Белинского к Пушкину и И. П. Клюшникову. В 1837—1839 гг. Белинский, действительно, с интересом следил за поэзией Клюшникова, но через некоторое время совершенно охладел к ней. Однако и раньше, с похвалой отзываясь (и в статьях и в письмах) о некоторых стихотворениях Клюшникова, он никогда, конечно, не отдавал предпочтение Клюшникову перед Пушкиным, тем более что в стихотворениях Клюшникова преобладали мотивы сомнения, рефлексы, а не «примирения». Еще в 1839 г. Белинский не без иронии сообщал

Н. В. Станкевичу, что Клюшников «стал очень откровенно поговаривать, что он выше Пушкина (sic!..), ибо-де Пушкин поэт распадения, а он (Клюшников!..) поэт примирения. Я молчал, но делал странные гримасы, которых он не мог не заметить» (*Белинский*. Т. 11. С. 395). Именно в эти годы Белинский решительно отказывается от своего прежнего мнения о «закате» творчества Пушкина. Теперь он видит в Пушкине «гигантское проявление русского духа» и величайшего мирового поэта (*ЛПРИ*, 1839. Т. 2. № 11; *Белинский*, Т. 3. С. 221, 223). Но вместе с тем он трактует Пушкина односторонне, как художественное воплощение «просветленного и примиренного с действительностию духа» (Литературная хроника — *МН*. 1838. Кн. 1 за март; *Белинский*, Т. 2. С. 349).

183. Белинский не раз весьма одобрительно писал и о самом П. Н. Кудрявцеве, и о его повестях и рассказах. Однако в середине 1840-х годов наступило охлаждение между ними. Оно аналогично размолвке Герцена и Огарева с Т. Н. Грановским и было вызвано теми же социально-политическими причинами.

184. Речь идет о статье Белинского «Русские журналы» (*МН*. 1839. Ч. 2. Кн. 4), значительная часть которой посвящена *СО*, фактическим редактором которого был в это время Н. А. Полевой. Эта часть статьи вошла в статью «Беспристрастное суждение „Московского наблюдателя“ о „Сыне отечества“ », напечатанную в *ЛПРИ*, за 1839 (Т. 2. № 4) (с этого началось сотрудничество Белинского в *ЛПРИ*). Она начинается следующими словами: «Когда-то в „Северной пчеле“ была напечатана статья «Беспристрастное суждение „Сына отечества“ об „Отечественных записках“» и т. д. Белинский имел в виду статью «Справедливое суждение „Сына отечества“ об „Отечественных записках“» с подзаголовком «(см. „Сын отечества“ № 1 за 1839 год, стр. 45)» в *СП*, 1839, № 29.

185. Краевский пишет о статье М. Н. Каткова о «Песнях русского народа» И. П. Сахарова (*ОЗ*. 1839. №№ 6, 7).

186. Краевскому не удалось привлечь Гоголя к сотрудничеству в *ОЗ*.

187. Рецензии на «Бородинскую годовщину» В. А. Жуковского и «Собрание рецептов парижских городских больниц...» Ф. Г. Ратье помещены в № 10 *ОЗ* за 1839 г.

188. Маркиз Фитабуки. Предостерегательное известие для подписчиков на русские журналы 1840 года.— *ЛПРИ*, 1839. Т. 2. № 14. Это ответ на статью об *ОЗ*, напечатанную в связи с подпиской на новый год, в *СП* (1839, № 219).

189. Рецензия Каткова на «Стихотворения Алексея Леонова» напечатана в № 9 *ОЗ* за 1839 г.

190. Была ли напечатана статья В. П. Боткина о музыке Ф. Ф. Лангера, установить не удалось. В *ОЗ* и *ЛПРИ* она не появлялась. Впоследствии Боткин дал высокую оценку музыке Лангера в статье «Об эстетическом значении новой фортепианной школы» (*ОЗ*. 1850. № 1. С. 64—66).

191. В 1838 г. Лермонтов собирался печатать «Демона», но новая высылка на Кавказ приостановила попытки в этом направлении. Отрывки из поэмы появились в *ОЗ* уже после смерти поэта (1842, № 6), а полностью поэма была опубликована только в 1856 г.

192. Упомянутые в этой главе статьи об «Очерках Бородинского сражения» Ф. Н. Глинки и «Менцель, критик Гете» (*ОЗ*.

1839. № 12; 1840. № 1) являются наиболее крупными работами Белинского времени его «примирения с действительностью». Утверждая идею закономерности исторического процесса и отвергая воззрения на историю, согласно которым ход ее обусловливается субъективными понятиями и стремлениями людей, Белинский делал, однако, неверные выводы о «разумности» всех явлений действительности. Сам он через год писал об этом Боткину: «Конечно, идея, которую я силился развивать <...>, верна в своих основаниях, но должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого священного и без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото» (Т. 11. С. 576). Неверные выводы делал Белинский и применительно к литературе. «Дело художников,— писал он в статье «Менцель, критик Гете»,— созерцать «полное славы творение» и быть его органами, а не вмешиваться в дела политические и правительственные» (Т. 3. С. 405). Именно за это он осуждал впоследствии и статью о Менцеле. Следует отметить хронологическую ошибку Панаева: статья об «Очерках» Глинки была написана уже в Петербурге (ср. ниже), но Белинский, действительно, читал ее Панаеву в рукописи. В Москве Белинский мог читать Панаеву статью о «Бородинской годовщине» Жуковского.

193. Перефразировка известных строк из «Медного всадника» Пушкина.

194. Глава IV осталась ненаписанной.

Глава V

195. Ошибка: Грановский познакомился и подружился со Станкевичем до отъезда за границу, в начале 1836 г., в Москве. В 1836 г. Грановский познакомился также с Белинским и другими членами их кружка.

196. Грановский был профессором Московского университета с 1845 г., после защиты магистерской диссертации; до этого (в 1839—1844 гг.) он числился преподавателем всеобщей истории.

197. «Кто-то» — Герцен. Приведенные Панаевым слова взяты из «Былого и дум» (*Герцен.* Т. 9. С. 124). В ряде других мест этой главы Панаев также цитирует и пересказывает гл. 29—32 «Былого и дум». Однако при печатании воспоминаний в *С* цитировать произведение «государственного преступника» Герцена было невозможно, и потому цитаты были замаскированы, пересказаны своими словами и местами очень смягчены. В таком виде соответствующие места печатались в дореволюционных изданиях воспоминаний Панаева. Впрочем, и в рукописном тексте в некоторых цитатах имеются неточности; ниже оговорены лишь те из них, которые меняют смысл.

198. Это было в декабре 1839 г.

199. Не вполне точная цитата из «Былого и дум». В частности, у Герцена — не «проповедников времен реформации», а «проповедников — революционеров времен реформации» (Т. 9. С. 122).

200. Незадолго до отъезда Белинского из Москвы между ним и Герценом произошло резкое объяснение по поводу «примирения с действительностью», описанное Герценом в «Былом и думах»

(Т. 9. С. 22—23). Первое свидание Белинского с Герценом в Петербурге состоялось не в январе 1840 г., как пишет Панаев, а в декабре 1839 г., когда Герцен приехал из Владимира. Это свидание, состоявшееся у Панаева, у которого тогда жил Белинский, не привело и не могло еще привести к примирению: именно в это время появилась статья об «Очерках Бородинского сражения» Ф. Глинки и печаталась статья о Менцеле. В «Воспоминании о Белинском» (см. ниже, с. 331—332) Панаев рассказал о другом их свидании, которое могло иметь место не раньше мая 1840 г., когда Герцен приехал в Петербург, где прожил больше года — до июня 1841 г., когда был выслан в Новгород. В это время и произошло примирение между ним и Белинским. Тогда Белинский уже не жил у Панаева и два свидания Белинского с Герценом — одно, свидетелем которого он был, и другое, известное ему, вероятно, со слов Белинского или по рассказу Герцена в «Былом и думах» — в «Воспоминании о Белинском» слились в одно. В 1842 г., к которому Панаев относит второй приезд Герцена в Петербург, Герцен в Петербурге не был; в июле 1842 г., по освобождении из ссылки, он отправился прямо в Москву.

201. Относительно Каткова это неверно. Его отношения с Белинским и до отъезда за границу были неровными. В Германии же, где Катков пробыл больше двух лет, он стал поклонником реакционной философии откровения Шеллинга, и по возвращении в Россию (в конце 1842 — начале 1843 г.) близкие отношения с Белинским и его друзьями уже не возобновлялись.

202. Выражение Герцена.

203. Обострение борьбы Белинского, Герцена и их друзей со славянофилами и сторонниками «официальной народности» нашло свое отражение и в Московском университете, где установились враждебные отношения между Грановским, Д. Л. Крюковым и другими, с одной стороны, и Погодиным и Шевыревым — с другой. Желание публично изложить свои взгляды (насколько это было возможно в тех условиях) и в какой-то степени посчитаться со своими идейными противниками привело Грановского к мысли объявить курс публичных лекций. Лекции Грановского по истории Средних веков начались не весною, а 23 ноября 1843 г. и закончились 22 апреля 1844 г. Панаев ошибается, говоря о двух курсах: в 1844 г., после каникул, продолжался тот же курс. П. Я. Чаадаев сказал о лекциях Грановского, что они имеют «историческое значение» (*Герцен.* Т. 9. С. 126), П. В. Анненков характеризовал их как «политическое событие» (*Анненков.* С. 213). Следствием интриг в университете, ругательных статей в «Москвитянине» были «беседы» с Герценом и Грановским попечителя Московского учебного округа гр. С. Г. Строганова. Он угрожал Грановскому увольнением из университета и заключил свои назидания такими словами: «Есть блага выше науки, их надобно сберечь, даже если бы для этого нужно было закрыть университеты и все училища» (*Грановский.* Т. 2. С. 462).

204. Распорядителями на обеде в честь Грановского были Герцен, Ю. Ф. Самарин и С. Т. Аксаков. Он происходил 22 апреля 1844 г. в доме С. Т. Аксакова.

205. Строки из стихотворения К. Аксакова, включенного им впоследствии в водевиль «Почтовая карета». Водевиль был по-

ставлен на московской сцене 24 апреля 1846 г., а стихотворение впервые появилось в заметке о водевиле, автором которой является П. А. Плетнев (*С,* 1846. Т. 42. С. 346).

206. Здесь Панаеву изменила память: о перекличке стрельцов в Москве до Петра I К. Аксаков писал в статье «Семисотлетие Москвы», напечатанной через два года после обеда в честь Грановского (Московские ведомости. 1846. № 49).

207. К. Аксаков имеет в виду две направленные против него полемические статьи Белинского, появившиеся на страницах *ОЗ* в 1842 г. (№№ 8 и 11), о которых, конечно, не мог не знать Панаев: статью о его брошюре «Несколько слов о поэме Гоголя „Похождения Чичикова, или Мертвые души"» и «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя „Мертвые души"».

208. «Примирительный обед» в честь Грановского был воспринят Белинским как проявление примиренческого отношения к идейным врагам, неустойчивости и колебаний. «Грановский хочет знать,— писал он Герцену в 1844 г.,— читал ли я его статью в „Москвитянине"». Нет, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видеться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания» (*Герцен.* Т. 9. С. 164).

209. Этот абзац является пересказом «Былого и дум» Герцена (Т. 9. С. 167). Впрочем, у Герцена сказано определеннее — что Языков назвал Чаадаева «отступником от православия». И Герцен и вслед за ним Панаев говорят об одном стихотворении Языкова, между тем как таких стихотворений, направленных против передовых кругов русского общества, было им написано в 1844 г. три: «К не нашим», «К Чаадаеву» и «Константину Аксакову». Так, обвинение по адресу Чаадаева содержится главным образом в обращенном к нему стихотворении, слова о «блистательном лакее» — в послании к К. Аксакову. Герцен считал, что эти слова относятся к нему, но Языков имел в виду Грановского.

210. Панаев имеет в виду стихотворение К. Аксакова «Союзникам», которое, по словам Герцена в «Былом и думах» (*Герцен.* Т. 9. С. 167), является ответом Языкову. Эта версия стоит в связи с общей тенденцией Герцена в «Былом и думах» несколько приподнять К. Аксакова и славянофилов и представить их «врагами-друзьями». Панаев вслед за Герценом явно преувеличивает негодование К. Аксакова против Языкова.

211. Пародия Панаева (озаглавленная «Отрывок») — на стихотворение К. Павловой «Три души» (написано в 1849 г., напечатано в 1850 г. в сб. «Киевлянин», кн. 3.). В пародии высмеивается не только поэзия Павловой, но и она сама и ее салон.

212. Поэма К. Павловой «Кадриль» была полностью напечатана лишь в 1859 г., но отрывки из нее появились задолго до этого в «Москвитянине» (1844. № 2) и в сборнике «Раут», кн. 1 (М., 1851). Отрывок «Рассказ Лизы», напечатанный в «Рауте», вызвал насмешливый отзыв Панаева и пародию Некрасова «Мое разочарование» (*«Заметки Нового поэта»* (*С,* 1851. № 5. С. 3—11; см. также *«Заметки Нового поэта»* в № 7, с. 42—44); в обоих номерах процитированы строки из указанной выше пародии Панаева, благодаря чему раскрывался объект ее насмешки.

213. «Кто-то» — снова Герцен. Цитата из «Былого и дум» (*Герцен.* Т. 9. С. 152).

214 Наташа — Наталья Александровна Герцен, жена А. И. Герцена.

215. На стр. 244—245 воспоминаний Панаева использованы несколько абзацев из «Былого и дум» Герцена, посвященных пребыванию в Соколове летом 1845 г. (*Герцен.* Т. 9. С. 207—208). Красочный и весьма содержательный рассказ об этом лете находится в воспоминаниях П. В. Анненкова (*Анненков.* С. 261—270). Анненков описывает, в частности, интересный спор между Грановским, Герценом и Кетчером об отношении передовой интеллигенции к народу, свидетелем которого Панаев не был. Спор этот охарактеризован им как «первое крупное проявление мысли, давно уже таившейся в умах, о необходимости более разумных отношений к простому народу, чем те, которые существовали в литературе и в некоторых слоях мыслящего класса людей. Литература и образованные умы наши давно уже расстались с представлением народа как личности, определенной существовать без всяких гражданских прав и служить только чужим интересам, но они не расстались с представлением народа как дикой массы, не имеющей никакой идеи и никогда ничего не думавшей про себя». Этот спор, по словам Анненкова, выражал перелом в понятиях «относительно способов судить и оценять домашнюю культуру и нравственную физиономию толпы» и «протест против легкомысленного трактования вопросов народной жизни».

216. Второй (Панаев неточно называет его третьим) курс публичных лекций Грановского по средневековой истории Франции и Англии был начат им в конце 1845 г. Сам Грановский писал близким людям, что лекции его идут хорошо, «публика многочисленна и внимательна», но наряду с этим раздаются «кривые толки, сплетни, клеветы, обвинения», на которые он стремится «отвечать молчанием». «Что за люди большая часть врагов моих. Люди мелкие душою и талантом, какой-нибудь Шевырев, а он еще из лучших <...>. Можно ли спорить с ними?» Вместе с тем Грановский писал о «мрачных мыслях», осаждающих его, о том, что доносы на него могут возыметь действие и ему придется уйти из университета, о своей усталости, материальных затруднениях и о том что у него не хватает времени для осуществления задуманных трудов (*Грановский.* Т. 2 С. 422).

217. Отец Герцена И. А. Яковлев умер 6 мая 1846 г.

218. Отрывок, начиная с абзаца «На другой день, за обедом», является пересказом «Былого и дум» (гл. 32). По цензурным причинам Панаев не мог прямо указать на предмет спора Герцена и Огарева с Грановским. В «Былом и думах» читаем: «Так продолжался довольно долго разговор. Наконец я заметил, что развитие науки, что современное состояние ее обязывает нас к принятию кой-каких истин, независимо от того, хотим мы или нет; что, однажды узнанные, они перестают быть историческими загадками, а делаются просто неопровержимыми фактами сознания, как Эвклидовы теоремы, как Кеплеровы законы, как нераздельность причины и действия духа и материи...— Все это так мало обязательно,— возразил Грановский, слегка изменившись в лице,— что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа; с ней исчезает бессмертие души. Может, вам его не надобно, но я слишком много схоронил, чтоб поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо.— Славно бы-

ло бы жить на свете,— сказал я,— если бы все то, что кому-нибудь надобно, сейчас и было бы тут как тут на манер сказок.— Подумай, Грановский,— прибавил Огарев,— ведь это своего рода бегство от несчастия.— Послушайте,— возразил Грановский, бледнея и придавая себе вид постороннего,— вы меня искренние обяжете, если не будете никогда со мной говорить об этих предметах. Мало ли есть вещей занимательных и о которых толковать гораздо полезнее и приятнее.— Изволь, с величайшим удовольствием! — сказал я, чувствуя холод на лице. Огарев промолчал. Мы все взглянули друг на друга, и этого взгляда было совершенно достаточно; мы слишком любили друг друга, чтоб по выражению лица не вымерить вполне, что произошло» *(Герцен,* Т. 9. С. 209—210). Статья Герцена, по поводу которой возник этот разговор,— заключительное из «Писем об изучении природы», появившееся незадолго до этого в № 4 *ОЗ* за 1846 г. Наряду с философскими разногласиями между перешедшими на материалистические позиции Герценом и Огаревым и идеалистом Грановским, никогда не покидавшим религиозных воззрений, отчетливо оформились к этому времени и социально-политические расхождения. Герцен и Огарев пришли к социалистическим и революционным убеждениям, между тем как Грановский не выходил за пределы либерализма. Особенно резко сказалось это после отъезда Герцена за границу и революции 1848 г. В частности, Грановский отрицательно относился к беспощадной критике Герценом западноевропейской буржуазии и буржуазной цивилизации и осуждал деятельность Вольной русской типографии. Идейный разрыв тяжело переживался всеми тремя друзьями, что отразилось и в их переписке, и в «Былом и думах» Герцена, и в стихотворениях Огарева. Одно из этих стихотворений — «Искандеру» («Я ехал по полю пустому...») — является непосредственным откликом на размолвку в Соколове в 1848 г.:

...Я правды речь вел строго в дружном круге —
Ушли друзья в младенческом испуге.
И он ушел — которого, как брата
  Иль как сестру, так нежно я любил!
Мне тяжела, как смерть, его утрата;
Он духом чист и благороден был,
Имел он сердце нежное, как ласка,
И дружба с ним мне памятна, как сказка,
Ты мне один остался неизменный,
Я жду тебя. Мы в жизнь вошли вдвоем;
Такой остался наш союз надменный!
Опять одни мы в грустный путь пойдем,
Об истине глася неутомимо,
И пусть мечты и люди идут мимо.

219. О том, что полиция в течение трех месяцев дважды собирала справки о Грановском, он писал Герцену в 1849 г. Отрывок из этого письма, прекрасно характеризующего политическую атмосферу и социальное самочувствие Грановского, приведен в примеч. 233. «Если бы Вы знали, какая безысходная, бездонная хандра стала навещать меня,— писал Грановский М. Ф. Корш.— Впе-

реди все так пусто и темно; в настоящем так бесцветно. Только в прошлом есть хорошее и святое» (*Грановский.* Т. 2. С. 321).

220. Как видно из дальнейшего, Н. Г. Фролов вернулся из-за границы не «в это время», а несколько раньше, в 1847 г. Его первая жена умерла в 1840 г., т. е. за семь лет до его возвращения из-за границы.

221. В переводе Фролова вышли первые два тома «Космоса» (1848 и 1850). Обширное сочинение Фролова «Александр фон Гумбальдт и его Космос» печаталось в *С* в 1847—1849 гг. (пять статей). Первая статья Фролова, появившаяся в *С* — «Исправительные тюрьмы в Швейцарии» — напечатана в № 9 за 1847 г.

222. Грановский и Фролов жили в Архангельском не в 1850, а в 1851 г.

223. Речь идет о стихотворении Пушкина «К вельможе» (1830), обращенном к кн. Н. Б. Юсупову.

224. Театр в Архангельском был построен по рисунку Гонзаго; Гонзаго нарисовал также много декораций.

225. Этот учебник не был осуществлен. Программа учебника и объяснительная записка к ней, представленная в Министерство народного просвещения в конце 1850 г., а также введение и главы по истории Востока, написанные в 1855 г., вошли в собрание сочинений Грановского (3-е изд. 1892 г. и 4-е изд. 1900 г.).

226. В 1852—1855 гг. вышло четыре тома этого издания. Четвертый том, вышедший уже после смерти издателя, открывался некрологической статьей Грановского, из которой Панаев заимствовал ряд фактических сведений о Фролове.

227. Причиной недоброжелательного отношения Панаева к Фролову было столкновение в Архангельском, о котором рассказано на с. 257—258. Об этом столкновении писал также П. В. Анненков, который упрекал Панаева в том, что он, уступая своим светским пристрастиям, «заходил около Юсупова и стал загонять к нему Грановского» (*Анненков.* С. 546). Резкий выпад против Фролова, вызвавший возмущение Грановского, содержится в фельетоне Панаева «Канун нового, 1853 года. Кошемар, в стихах и прозе Нового поэта» (*С*, 1853, № 1. С. 99—100).

228. «Письма Иногороднего подписчика о русской журналистике» — фельетонный обзор журналистики, который вел в *С* в 1849—1854 гг. А. В. Дружинин.

229. Книги С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» и «Семейная хроника и Воспоминания» вышли уже после смерти Грановского. При его жизни были опубликованы отрывки из воспоминаний и некоторые другие сочинения Аксакова, так что только им в это время мог придавать «преувеличенное значение» Анненков. Статья Анненкова о «Семейной хронике» появилась в *С* позже (1856, № 3).

230. В этих словах — отзвук ходившего по рукам стихотворения Н. Ф. Павлова, обращенного к самодуру и деспоту, московскому генерал-губернатору А. А. Закревскому:

Ты не молод, не глуп и ты не без души,
К чему же возбуждать и толки и волненья?
Зачем же роль играть турецкого паши
И объявлять Москву в осадном положеньи?

231. Ср. письмо Грановского к Е. Ф. Коршу, в котором он пишет, что рад был бы видеть его в Москве, но что современная Москва совершенно не похожа на Москву их молодости (*Грановский.* Т. 2. С. 470). В конце 1855 г. Корш все же вернулся в Москву и принял близкое участие в только что возникшем «Русском вестнике» Каткова, с которым, однако, скоро разошелся, после чего начал издавать свой собственный журнал «Атеней» (1858—1859).

232. В последний раз Грановский был в Петербурге в конце апреля — начале мая 1855 г., когда приезжал к министру народного просвещения А. С. Норову для переговоров об учебнике всеобщей истории.

233. Приведенные Панаевым слова Грановского — из его писем к Герцену, отрывки из которых напечатаны в «Былом и думах». «Положение наше,— писал Грановский в 1849 г.,— становится нестерпимее день ото дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас новою стеснительною мерою. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом! Университеты предполагалось закрыть. Теперь ограничились пока следующими уже приведенными в исполнения мерами: возвысив плату с студентов и уменьшив их число законом, вследствие которого *ни в одном русском университете не может быть более 300 своекоштных студентов.* Прием студентов в университеты кончен года на два везде <...> Дворянский институт закрыт, многим заведениям грозит та же участь, например, лицею и Школе правоведения. Не устоят и университеты. Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением. Для кадетских корпусов составлены новые программы. Иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы. Священнику предписано внушать кадетам, что величие Христа заключается преимущественно в покорности власти. Он выставляется образцом подчинения, дисциплины. Учитель истории должен разоблачать мишурные добродетели древнего мира и показать величие *не понятой историками* империи римской, которой недоставало только одного — наследственности! <...> О литературе и говорить нечего. Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее. Когда же развалится этот мир? Я решил не идти в отставку и ждать на месте свершение судьбы. Кое-что еще можно сделать благородному человеку. Пусть выгоняют сами» (Звенья. Сб. 6. М.-Л., 1936. С. 359—360).

234. Летом 1855 г. Грановский действительно предполагал из Вологодской губернии, где он отдыхал у родственников, поехать к А. Е. Фроловой, но плохое состояние здоровья помешало ему осуществить это намерение (*Грановский.* Т. 2. С. 215).

235. Грановский предполагал издавать «Исторический сборник» вместе со своим учеником и другом П. Н. Кудрявцевым. Программа издания, составленная Кудрявцевым и одобренная Грановским, напечатана в журнале «Русская старина» (1886, № 8. С. 395—400).

236. Неточная и сокращенная цитата из заключительной части статьи Грановского «Лудовик IX» (Соч. 4-е изд. М., 1900. С. 275—276).

237. Второй статьей о Бородинской годовщине Панаев называет статью об «Очерках Бородинского сражения» Ф. Н. Глинки. Первой в его представлении была рецензия на «Бородинскую годовщину» В. А. Жуковского (*ОЗ,* 1839. № 10).

238. Строки из стихотворения Пушкина «Клеветникам России».

239. Встречи Белинского с Бакуниным относятся к концу октября — первой половине ноября 1839 г. Они после длительной размолвки встретились по-дружески и часто виделись, но скоро после отъезда Бакунина из Петербурга их отношения снова испортились.

240. Ряд отрывков из перевода Каткова был напечатан в *МН* и *СО,* а полностью он появился в № 1 «Пантеона русского и всех европейских театров». «В этом чудном, младенческом лепете любви,— писал Панаев Белинскому 11 октября 1838 г.,— Катков не утратил шекспировской грации — и умел придать языку разговорность, а это очень важно!» *(БиК.* С. 199—200).

241. Статья Каткова «Сочинения графини Сарры Толстой» была напечатана в № 10 *ОЗ* за 1840 г.

242. «Раздраженье пленных мыслей» — перефразировка строки из стихотворения Лермонтова «Не верь себе»: «Иль пленной мысли раздраженье».

243. Переводы Каткова из Фрейлиграта, по-видимому, напечатаны не были. Перевод «Гренадеров» Гейне появился в № 1 *ОЗ* за 1840 г.

244. Перевод романа Ф. Купера под заглавием «Путеводитель в пустыне, или Озеро-море» был напечатан в №№ 8—9 *ОЗ* за 1840 г. В переводе, кроме Панаева и Каткова, принимал участие М. А. Языков.

245. На основании рассказа Панаева можно заключить, что ссора Каткова с Бакуниным произошла из-за философских разногласий. Между тем ее причина была чисто личная — сплетня, которую Бакунин распустил о его отношениях с первой женой Огарева М. Л. Огаревой. Следует отметить, что Белинский, Боткин, Панаев, Языков были в этой ссоре на стороне Каткова и что дуэль была отложена до Берлина по инициативе Бакунина.

246. Это было не весной 1840 г., а в июне 1838 г.— см. примеч. 150.

247. Первые строки стихотворения Пушкина «Туча».

248. Этот эпизод из жизни «одного приятеля» рассказан Панаевым за несколько лет до воспоминаний (*«Заметки Нового поэта» — С,* 1855. № 5. С. 113—114), но окружен здесь другими фактами, не имеющими никакого отношения к К. Аксакову. Впрочем, и независимо от указанных фактов, эпизод, справедливость которого, по словам Панаева, смеясь, подтверждал сам К. Аксаков, взят под сомнение его биографом (см.: Венгеров С. А. Передовой боец славянофильства Константин Аксаков. СПб., 1912. С. 31—33). И действительно, Аксаков был в Берлине всего четыре дня, причем все время, как свидетельствуют его подробнейшие письма к родным (они напечатаны в журнале «Космополис», 1898, №№ 1—9), бегал по музеям, а вечером посещал театры; в других городах он был еще меньше. Но если этот эпизод и не имеет под

собой реального основания, то все же ярко характеризует облик К. Аксакова в восприятии его современников. В это время Аксаков увлекался Шиллером. К 1838—1839 гг. относятся несколько его переводов из Шиллера, напечатанных в *МН* и *ОЗ*.

249. Кетчер жил в Петербурге около двух лет — с осени 1843 до середины 1845 г.

Глава VII

250. Это было уже в 1842 г., а осенью 1840 г. Белинский перебрался с Петербургской стороны на Васильевский остров.

251. В 1841 г. в связи с общим пересмотром многих своих взглядов Белинский коренным образом меняет свою оценку творчества Жорж Санд, к которой он прежде относился резко отрицательно. Белинский называет ее гениальной женщиной, «первой поэтической славой современного мира» (статья о «Речи о критике» А. В. Никитенко (*ОЗ*, 1842. № 9; *Белинский*. Т. 6, С. 279). Роман «Спиридион», в котором отразилось влияние на Ж. Санд идей Пьера Леру, был напечатан в «Revue des deux mondes» в конце 1838 — начале 1839 г. и затем вышел отдельным изданием. В том же 1839 г. он был запрещен в России Комитетом иностранной цензуры.

252. Buchez P. et Roux P. Histoire parlementaire de la révolution française», 1834—1838, 40 томов. В этом многотомном издании приведено огромное число документов эпохи французской революции XVIII в.: отчеты заседаний Национального, Учредительного и Законодательного собраний, Конвента, политических обществ, революционных трибуналов и т. п.

253. Двоюродный брат И. И. Панаева В. А. Панаев, присутствовавший на чтениях, посвященных французской революции XVIII в., указывает в своих воспоминаниях еще на один источник этих чтений — газету революционных лет «Moniteur», большое количество номеров которой имелось у И. И. Панаева. «В эти нумера,— пишет В. А. Панаев,— были завернуты разные предметы, вывезенные из-за границы, и таким образом они и очутились в Петербурге» (Русская старина, 1901. № 9, С. 483—484). Свои размышления, связанные с чтениями, Белинский сообщал Боткину в огромном письме (целая тетрадь) от апреля 1842 г. Основная его часть до нас не дошла. Однако о характере симпатий и оценок Белинского можно безошибочно судить и по следующему отрывку: «Тут нечего объяснять: дело ясно, что Робеспьер был не ограниченный человек, не интриган, не злодей, не ритор и что тысячелетнее царство божие утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснодушной Жиронды, а террористами — обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьера и Сен-Жюста» (*Белинский*. Т. 12. С. 105). Боткин показал это письмо Грановскому, и Грановский ответил на него Белинскому. Он утверждал, что в письме Белинского нет «исторической истины», упрекал его за возвеличение «мелкого, дрянного человека» Робеспьера и восхвалял Жиронду. «Тебе нравится личность Робеспьера,—писал Грановский,—потому что он удовлетворяет делами своими твоей ненависти к аристократам» (*Грановский*. Т. 2. С. 439—440). В письме Грановского отчетливо сказались его по-

литические разногласия с Белинским уже в 1842 г. В дополнение к воспоминаниям И. И. Панаева следует отметить, что Белинский интересовался французской революцией XVIII в. задолго до этого. К. Д. Кавелин передает следующий рассказ об обеде у М. М. Бакунина, на котором были «разные московские сановные старички»: «Зашел разговор о французской революции, о казни Людовика XVI. Гости отзывались об этих событиях с ужасом и омерзением. Белинский, читавший в это время историю революции и приходивший в такой восторг, что катался по полу,— молчал глубоко. Хозяин, из учтивости, счел нужным втянуть в разговор Белинского и имел несчастие спросить его, как он думает об этих событиях. Тогда будто бы Белинский встал и, задыхаясь от страсти и ярости, торжественно вскричал: „Я бы на месте их (т. е. вождей революции) трижды казнил Людовика!"» (Кавелин К. Д. Собр. соч. Т. 3. СПб., 1899. С. 1096).

254. «Параша Сибирячка. Русская быль в двух действиях с эпилогом» — одна из первых пьес Полевого, поставленная на сцене Александринского театра в начале 1840 г. и тогда же напечатанная в «Репертуаре русского театра» (1840. № 2). Пьесы Полевого (он написал их свыше сорока) относятся к петербургскому периоду его литературной деятельности, когда он перешел в лагерь реакционной журналистики. Все они проникнуты монархическими и националистическими тенденциями, казенным оптимизмом и построены на внешних мелодраматических эффектах.

255. Панаев не вполне точен. Письмо Бакунина к Белинскому от 4 сентября 1840 г. в котором он, по словам Белинского, «обвиняет себя в прошедшем, говорит, что дорого дал бы, чтоб переделать его» и т. д., не изменило отношения к нему Белинского, и он не ответил на это письмо. Переписка возобновилась лишь в конце 1842 г., когда до Белинского дошли сведения, что Бакунин примкнул к «левой стороне гегельянизма», сблизился с А. Руге и особенно, по-видимому, после того, как в «Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst» появилась статья Бакунина «Реакция в Германии» (*Белинский*. Т. 12. С. 113—114).

256. Перефразировка строк из «Евгения Онегина» Пушкина:

И русский Н как N французский
Произносить умела в нос.

257. Панаев познакомился с Некрасовым у своего родственника и приятеля М. А. Гамазова, по-видимому, в 1839 г. (см. заметку Гамазова в «Историческом вестнике», 1889, № 4, с. 225). Они возобновили знакомство года через три — А. Я. Панаева относит первое посещение их дома Некрасовым к концу 1842 г. (*Панаева*. С. 100). Сборник юношеских стихотворений Некрасова «Мечты и звуки» вышел в начале 1840 г.

258. «В дороге» («Скучно, скучно!.. Ямщик удалой...»).

259. Первым из изданных Некрасовым сборников были «Статейки в стихах без картинок», два выпуска которых вышли в 1843 г.

260. Рассказ Д. В. Григоровича «Штука полотна» был напечатан без имени автора в сборнике «Первое апреля», изданном Некрасовым в 1846 г. Сам Григорович утверждает в своих воспо-

минаниях (Литературные воспоминания. <М.>, 1961. С. 82), что Панаев запамятовал: этот комический эпизод случился не с ним, а с Тургеневым, и Григорович в свое время рассказал об этом Панаеву.

261. Панаев познакомился с Тургеневым значительно раньше, в 1843 г.

262. Тургенев провел с Белинским не пять дней, а полтора месяца (с 9 мая до конца июня 1847 г.). В конце мая к ним присоединился П. В. Анненков. Уезжая из Зальцбрунна, Тургенев обещал скоро вернуться, но не вернулся. Они снова встретились в Париже.

263. В своих «Воспоминаниях о Белинском» К. Д. Кавелин рассказывает о совместной жизни с Н. Н. Тютчевым и А. Я. Кульчицким в 1842—1843 гг., о частых посещениях Белинского и «копеечной» игре в карты, за которой он отдыхал (Собр. соч. Т. 3, СПб., 1899. С. 1085—1092). О кружке ближайших в те годы петербургских знакомых и приятелях Белинского Кавелин пишет: «Он в то время состоял из следующих лиц: Панаева, женатого, у которого мы иногда собирались. Это был самый богатый и самый фешенебельный член кружка; Мих. Алек. Языков — остряк, хромой и забавный господин, смешивший нас своими шутками и комическими выходками; Ив. Ильич Маслов, прозванный Тургеневым прекрасной нумидянкой. Маслов служил секретарем коменданта Петропавловской крепости ген. Скобелева, был у него другом дома и сообщал вести и рассказы о том, что говорилось и делалось в крепости. При Николае Павловиче это было и интересно и очень небесполезно знать. И. С. Тургенев (за несколько лет до «Хоря и Калиныча»). Белинский тогда очень благоволил к Тургеневу и восхищался до небес его «Парашей». Некрасов к нам <т. е. к Кавелину, Кульчицкому и Тютчеву> не ходил тогда, а бывал у Белинского <...>. Остается еще назвать В. П. Боткина, который водился с нами во время проезда из Москвы за границу... Наконец проездом из-за границы в Москву был у меня и у Белинского Катков, но не на приятельской ноге». Шуточный трактат Кульчицкого о преферансе — «Некоторые великие и полезные истины об игре в преферанс, заимствованные у разных древних и новейших писателей и приведенные в систему кандидатом философии П. Ремизовым». СПб., 1843.

264. Белинский женился на М. В. Орловой 12 ноября 1843 г.

265. О каком именно письме идет речь — неясно. Панаев предполагал включить его в одну из следующих глав своих воспоминаний.

266. С сентября 1860 г. критик С. С. Дудышкин стал соредактором *ОЗ*.

Глава VIII

267. Одним из полемических приемов, часто употреблявшихся представителями реакционных кругов в борьбе с Белинским, были насмешки над его философской терминологией. Этим полемическим приемом пользовались Булгарин, Полевой, Воейков и др.

268. «Знаменитый военный историк» — упомянутый выше А. И. Михайловский-Данилевский.

269. Это не совсем верно. При несомненной связи А. П. Башуцкого с «литераторами старой школы» в его произведениях 1840-х годов были, однако, черты (в первую очередь известные демократические симпатии), которые могут объяснить его тяготение к кругу Белинского. Не случайно и Белинский благожелательно отзывался о ряде изданий Башуцкого, прежде всего о сборниках «Наши, списанные с натуры русскими» (1842—1843). Роман «Мещанин» вышел в начале 1840 г. Значит, его чтение происходило до этого. Двусмысленный, уклончивый отзыв о нем Белинского появился в «Литературной газете» (1840. № 33; *Белинский.* Т. 4. С. 143).

270. И. И. Лажечников познакомился с Белинским еще в 1823 г., когда в качестве директора училищ Пензенской губернии ревизовал чембарское училище, где Белинский учился. Он написал интересные воспоминания о Белинском, впервые напечатанные в журнале «Московский вестник» (1859, № 17). Выпуская свою трагедию «Опричник» отдельным изданием (М., 1867), Лажечников посвятил ее памяти Белинского; несколько теплых слов о Белинском находим и в предисловии к «Опричнику».

271. Лажечников в течение нескольких лет был тверским, а затем витебским вице-губернатором.

272. Директором канцелярии Министерства имп. двора был в эти годы В. И. Панаев.

273. Загоскин был директором московских театров не до самой своей смерти, как утверждает Панаев, а до 1842 г. Поэтому рассказанный им эпизод относится не к 1852, а к 1842 г. После этой неудачи Лажечников принужден был принять должность тверского вице-губернатора.

274. Панаев имеет в виду следующие строки из «Горя от ума» Грибоедова:

Довольно счастлив я в товарищах моих,
Вакансии как раз открыты;
То старших выключат иных,
Другие, смотришь, перебиты.

275. История «Русского вестника» 1840-х годов рассказана Панаевым неточно. Издававшийся С. Н. Глинкой в 1808—1824 гг., он был возобновлен Н. И. Гречем в 1841 г. В качестве ближайших помощников по редактированию «Русского вестника» Греч пригласил Полевого и Кукольника. Журнал не имел никакого успеха, и в конце 1841 г. Полевой взял руководство в свои руки. В 1842 г. он выпустил лишь шесть книжек, а затем «Русский вестник» около года не выходил. В конце 1843 г. П. П. Каменский, к которому перешел журнал, издал остальные шесть книжек за 1842 г. В 1844 г. вышли под его редакцией два номера (а не один, как утверждает Панаев), после чего «Русский вестник» прекратился.

276. До 1847 г. *С* продолжал выходить под редакцией П. А. Плетнева, но он утратил всякие связи с живой современностью и превратился в бледный журнал консервативного направления.

277. Речь идет о философе-идеалисте, богослове и филологе И.-А. Фесслере, значительную часть жизни прожившем в России.

278. Несколько фельетонов Э. Губера «Петербургская летопись» были напечатаны в «С.-Петерб. ведомостях» в феврале — апреле 1847 г. Тогда же Губер поместил в «С.-Петерб. ведомостях» несколько обзоров «Театральная хроника» и критических статей. Одна из этих статей «Русская литература в 1846 г.» была разобрана в «Современных заметках» Белинского (*С.* 1847. № 2; *Белинский.* Т. 10. С. 90—98). Белинский подробно остановился на критике Губером натуральной школы и показал несостоятельность этой критики. С большой похвалой отозвался Белинский в письмах к Боткину от 17 и 28 февраля 1847 г. (*Белинский,* Т. 12. С. 332 и 340) о другой статье Губера — о «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголя.

Глава IX

279. Рассказ Соллогуба «Сережа» был напечатан в *ЛПРИ* не в 1837, а в 1838 г. (№ 15). Упоминающиеся далее повести «История двух калош» и «Большой свет» появились в *ОЗ* — первая в № 1 за 1839 г., вторая в № 3 за 1840 г. Названный в содержании главы «Медведь» — повесть того же Соллогуба, написанная в 1842 г. и опубликованная в альманахе «Утренняя заря» на 1843 г.

280. На Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры похоронен не отец Огарева, а его мать. Здесь же похоронены его брат и сестра, умершие в младенческом возрасте.

281. Статуя-фонтан в Царскосельском парке, изображающая девушку с разбитым кувшином, из которого течет вода. О ней написано знаменитое четверостишие Пушкина «Царскосельская статуя».

282. На этом рукопись воспоминаний обрывается. «Закат Кукольника», который значился в содержании девятой главы, в воспоминаниях описан не был. Но еще в 1855 г. Панаев писал о нем в *«Заметках Нового поэта»* (*С,* 1855. № 12. С. 236—240; под заглавием «Литературные кумиры, дилетанты и проч.» вошли в «Очерки из петербургской жизни Нового поэта», ч. 1. СПб., 1860). В содержании предыдущей, восьмой главы в рукописи зачеркнут ряд параграфов. Одни из них перенесены в содержание девятой главы, другие должны были, по-видимому, найти себе место в дальнейших главах. К числу последних принадлежат следующие: «Брат П. В. Анненкова», «Появление Бранта», «Надеждин и кружок, около него образовавшийся». В содержании седьмой главы в рукописи зачеркнуто: «Чтение «Поджабрина» (Гончарова) у Некрасова».

ВОСПОМИНАНИЕ О БЕЛИНСКОМ

283. Впервые: *С.* 1860. № 1. С. 335—376; многие лица были обозначены, как и в «Литературных воспоминаниях», инициалами.

284. Ответ на письмо Панаева от 29 марта 1838 г. «Я обязан покойному «Телескопу» знакомством с Вами,— писал он Белинско-

му,— там в беседе с Вами я провел много приятных минут. Благодарю Вас за эти минуты. От доброго и умного А. В. Кольцова узнал я о переходе «Московского наблюдателя» в Ваши руки. Радуюсь за Москву, в которой будет журнал; еще более радуюсь, что Ваш всегда *правдивый и резкий голос,* давно замолкший, снова раздастся,— а в эту минуту русской литературе он необходимее, чем когда-либо». (*БиК.* С. 195).

285. До начала знакомства с Панаевым Белинский похвалил в печати три его произведения: повесть «Она будет счастлива», «обнаруживающую в неизвестном авторе неподдельный талант, живое чувство и уменье владеть языком» («От Белинского» /Молва. 1836. № 12; *Белинский.* Т. 2. С. 230), «очень миленькую, хотя и немного растянутую повесть „Кошелек"» (рецензия на «Альманах на 1838 год» — *МН,* 1838. Кн. 1 за март; *Белинский.* Т. 2, С. 360) и «очень живо написанный рассказ» «Сумерки у камина» (рецензии на «Сборник на 1838 год» и на перевод «Отелло»: *МН,* 1838. Кн. 1 за апрель. С. 387; *Белинский.* Т. 2. С. 340).

286. Незадолго до этого Белинский подружился с инспектором Константиновского межевого института кн. П. Д. Козловским. Он одно время жил у Козловского и преподавал в Межевом институте.

287. Ответ на письмо Панаева от 16 июля 1838 г. (*БиК.* С. 196—198).

288. Перевод статьи французского историка Ж.-Ж. Ампера. Цензурные препятствия были преодолены, и он появился в *МН* (1838. Кн. 2 за май; Кн. 2 за июнь). В заглавии статьи напечатано — не «святой» и не «св.», а «с. Паулин» в тексте — то «с», то «св.», то просто Паулин.

289. Белинскому и Степанову удалось добиться этих трех перемен, но это не повлияло на дальнейшую судьбу журнала. Упомянутый Белинским попечитель Московского учебного округа гр. С. Г. Строганов, по сравнению с другими представителями высшей бюрократии николаевского царствования, пользовался репутацией просвещенного и либерально настроенного человека. Он оказывал иногда поддержку передовой профессуре Московского университета, что вызывало ярость у Погодина и Шевырева, отстаивал некоторые цензурные облегчения и пр.

290. Высказывая желание, чтобы слово Белинского «ударило молотом по медному лбу» толпы, Панаев писал ему: «Это было бы зело полезно в такую минуту, когда наши вкусоводители, хотя и люди благонамеренные и добросовестные, смешивают Бенедиктова с Пушкиным, а Гоголя — этого гиганта текущей литературной минуты — ставят наряду с одним из Ваших московских повествователей <Н. Ф. Павловым>, который, впрочем, имеет неоспоримое дарование» (*БиК.* С. 196). Панаев имел в виду Шевырева, о котором Белинский говорит вслед за этим. Слова Панаева являются отражением статьи Белинского «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя"» (Телескоп. 1836. Т. 32. №№ 5 и 6), в которой, разбирая критическую деятельность Шевырева, Белинский подробно останавливается на его статьях о Бенедиктове, Гоголе и Павлове. «Они немножко и дерут» и т. д.— неточная цитата из басни Крылова «Музыканты»; у Крылова — «немножечко дерут».

291. Для Белинского Вагнер из «Фауста» Гете был воплощением «ограниченного чтителя мертвой буквы» (*МН*. 1838. Кн. 2 за июнь; *Белинский*. Т. 2. С. 503).

292. «Суфлер Кенига» — Н. И. Мельгунов. В 1837 г. в Германии вышла книга Г. Кенига «Litterarische Bilder aus Russland», написанная в значительной степени на основании бесед ее автора с Мельгуновым. В книге была дана резкая характеристика Булгарина, Греча и Сенковского, но вместе с тем восхвалялся приятель Мельгунова Шевырев, высоко оценивалась поэзия Бенедиктова и пр., чем и объясняется, по-видимому, недовольство Белинского.

293. Речь идет о Н. Кукольнике и его оценке в «Литературных мечтаниях» Белинского.

294. Ответ на следующие слова Панаева: «Мне кажется (Надеждин говорит то же), что Вы напрасно изъясняетесь языком не для всех понятным; Вы забываете о массе, с которой Вы должны говорить непременно. Зачем пугать ее языком кабинетным» и т. д. (*БиК*. С. 197). Интересно, что через полтора года, подводя итоги работы *МН* и характеризуя его слабые места, Белинский писал Станкевичу об «обилии философских терминов», к тому же «очень поверхностно понятых» (Т. 11. С. 384).

295. Панаев познакомился с К. Аксаковым незадолго до этого — в июне 1838 г.

296. «Музыкальные статейки» Боткина в *МН* (1838. Кн. 1 и 2 за март) — это «Концерт Леопольда фон Мейера...» и «Оле-Буль, Брейтинг. Sing — Academie». Перевод «Дон-Жуана» Гофмана и «переделанная с французского» статья «Моцарт» напечатаны во второй апрельской книжке.

297. Ответ на предположение Панаева, что Красов в стихотворении «Песня» имел в виду Пушкина: «кажется, о Пушкине» (*БиК*. С. 198). И «Песня» и «Дума» помещены в первой мартовской книжке за 1838 г.

298. Речь идет о повести П. Н. Кудрявцева «Одни сутки из жизни старого холостяка» (*МН*, 1838. Кн. 1 за март), упомянутая ниже «Флейта» напечатана в кн. 1 за 1839 г.

299. Панаев писал Белинскому: «Скоро выйдет роман Степанова. По пословице de mortuis aut bene, aut nihil [1] — не говорите об нем ничего, чтобы не сказать худого слова. Он печатается в пользу его наследников» (*БиК*. С. 198). Краткая рецензия Белинского на «Тайну» А. П. Степанова, в которой говорилось, что у Степанова «нет ни рассказа, ни слога, ни языка, а только одни скучные и вялые длинноты», была напечатана в *МН* (1838. Кн. 2 за июль; *Белинский*. Т. 2. С. 576).

300. Панаев писал Белинскому: «К осени мы шлем Вам гуртом разного товара собственного изделия (я и некоторые из юных литераторов петербургских, уважающих Вас не менее моего)». (*БиК*, С. 198).

301. «Письма» И. Я. Кронеберга — философско-лирический полурассказ, полурассуждение — появились в *МН* (1838. Кн. 2 за май; Кн. 1 за июль).

302. Речь идет о статье «Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (*МН*, 1838. Кн. 1 и 2, за март; Кн. 1 за апрель).

---

[1] О мертвых говорят либо хорошее, либо ничего.— *Ред.*

303. В рецензии на драму Полевого «Уголино» Белинский утверждал, что в ней нет «ни одного поэтического стиха, ни одного поэтического слова! Фраза на фразе» (*МН*, 1838. Кн. 1 за май; *Белинский*. Т. 2. С. 446). «Гадость», которую издает Полевой,— журнал *СО;* его официальным редактором был Греч, фактическим — Полевой.

304. Речь идет о рецензии *ЛПРИ* на сборники повестей и рассказов М. Жуковой и др. (1838. № 21). Автор этой рецензии писал между прочим, что «Гоголь схватывает только резкие черты характеров и, обрисовывая их своею волшебною кистию, сам, скрепя сердце, смеется над ними и заставляет других смеяться». Отмечая сходство этого утверждения со своим прежним пониманием Гоголя, Белинский имеет в виду статью «О русской повести и повестях г. Гоголя» (Телескоп. 1835. №№ 7 и 8). Отзвуки статьи Белинского отчетливо ощущаются и в других местах рецензии.

305. Говоря о неправильном понимании Губером Гете, Белинский имеет в виду его статью «Взгляд на нынешнюю литературу Германии» (*С*, 1838. Т. 10). Белинский высказался о ней в рецензии на этот том. Он писал: «Г. Губер в Фаусте и Вагнере видит два противоположные типа: человека, стремящегося к живому наблюдению природы, и книжного труженика, сжатого в тесных пределах древней теории. Другими словами, по мнению Г. Губера, Фауст — романтик, Вагнер — классик... Гораздо ближе будет к истине видеть в Фаусте тип человека с глубокою и могучею субстанциею и мировым созерцанием в душе, а в Вагнере конечного, ограниченного чтителя мертвой буквы. Со взглядом Г. Губера на это великое творение Гете трудно было бы передать его» (*МН*, 1838. Кн. 2 за июнь; *Белинский*. Т. 2. С. 503).

306. О каких статьях идет речь — установить не удалось.

307. Белинский не ответил на письмо Панаева от 11 октября 1838 г.; неоконченное письмо от 11 ноября не сохранилось; настоящее письмо — от 18 февраля 1839 г.— является ответом на письмо Панаева от 17 января 1839 г. (*БиК*. С. 201—203).

308. Причины неуспеха *МН* и решение Белинского отказаться от его редактирования этим не исчерпывались; см. выше, с. 217—218 и примеч. 180.

309. *ОЗ* и *ЛПРИ*.

310. Белинский изменил свое решение, так как трения с издателем *МН* Н. С. Степановым временно уладились; см. об этом в письме Белинского к Станкевичу — *Белинский*. Т. 11. С. 398—399.

311. Четыре стихотворения Гете из цикла «Римские элегии» в переводе А. Н. Струговщикова были помещены в *МН* (1838. Кн. 1 за август; 1839. Ч. 1. Кн. 1). «Прометей» Гете в его же переводе напечатан в альманахе «Утренняя заря» на 1839 г. Это и был тот самый «милый подарок», за который несколько ниже Белинский просит поблагодарить его издателя Владиславлева.

312. В декабре 1839 г. в *БдЧ* были напечатаны за подписью «Бернет» три стихотворения В. И. Красова из украденной у Белинского (воспитанником Межевого института П. Мартыновым) тетради его стихов. По этому поводу Белинский поместил в *МН* (1839. Ч. 1. Кн. 2) «Журнальную заметку», в которой доводил до сведения читающей публики о непристойной выходке Сенковско-

го. До выхода *МН*, в февральском номере *БдЧ* появились еще три стихотворения Красова — уже без всякой подписи. В *ЛПРИ* об этом ничего напечатано не было.

313. Речь идет о рецензии на альманах «Утренняя заря» на 1839 г. (*ОЗ*, 1839. Ч. 1. Кн. 2).

314. «О философии. Статья 1. Взгляд на развитие философии до схоластиков» — *ОЗ*, 1839. № 1. В № 2 была напечатана статья 2 — «Схоластики».

315. Панаев ничего не напечатал в *МН*.

316. Способ запряжки лошадей, когда одна из них или несколько припряжены сбоку или спереди.

317. «Один из тамошних журналистов» — Краевский.

318. И. И. Панаев и А. Я. Панаева, на которой он женился перед самым отъездом из Петербурга, отправились в Казанскую губернию на раздел имения брата его бабушки А. В. Страхова. Впечатления от этой поездки легли в основу рассказа И. И. Панаева «Раздел имения» (*ОЗ*, 1840. № 2). Иронически упомянутые вслед за этим в письме Белинского Менаик и другие — идиллические пастухи, герои «Буколик» Вергилия; их имена стали условными именами счастливых пейзан в консервативно-дворянской литературе начала XIX века.

319. Ответ на не дошедшее до нас письмо Панаева.

320. А. Я. Панаева.

321. Н. Ф. Павлову.

322. Белинский имеет в виду серию статей Ф. Фишера «Die Litteratur über göthes Faust», напечатанных в «Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst» в январе — марте 1839 г., в частности ту, которая появилась в № 11 от 12 января, с. 81 и сл. Статьи о Данте, о которой Белинский пишет ниже, в «Hallische Jahrbücher» за 1838—1839 гг. обнаружить не удалось.

323. Marbach G. O. Über moderne Litteratur. In Briefen an eine Dame. Лейпциг, 1836. Гете посвящены письма 9 и 10, с. 106—132. Упомянутый Белинским перевод Боткина не был напечатан.

324. Андрей Александрович — Краевский. Его письмо к Белинскому от 17 июля 1839 г. содержит многочисленные комплименты, выражение радости по поводу предстоящей совместной работы и пр. (*БиК*. С. 96—97). Письмо Панаева к К. Аксакову от 6 августа 1839 г. напечатано в «Трудах Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина» (Сб. 4. М., 1939. С. 208—210).

325. «Каменный гость» Пушкина, впервые опубликованный в 1839 г. в сборнике «Сто русских литераторов», вызвал у Белинского самую высокую оценку. В рецензии на этот сборник он выражал свой восторг перед «гигантским созданием великого мастера» (*МН*, 1839. Ч. 1, Кн. 2; *Белинский*. Т. 3 С. 100). Интересно рассказывает об этом первом впечатлении, произведенном на Белинского «Каменным гостем», П. В. Анненков (с. 148—149). Статья для альманаха «Утренняя заря» написана не была, но Белинский впоследствии не раз обращался к «Каменному гостю» и оценивал его как высочайшее достижение Пушкина. Наиболее подробно Белинский высказался о нем в последней статье о «Сочинениях Александра Пушкина» (1846). В 1839 г. Белинский собирался написать «философскую критику à la Ретшер», увлекался сочинениями не-

мецкого эстетика, но пройдет немного времени, и Белинский отзовется о нем с исключительной резкостью. «Не было человека пишущего, который бы так оскорбил меня своею пошлостью, как этот немецкий Шевырев»,— пишет Белинский Боткину 3 апреля 1843 г. и пародирует рассуждения Ретшера о столкновении разных «субстанциональных» начал и «гармонии примирения», вскрывая их реакционный политический смысл (Т. 12, С. 152).

326. См. примеч. 183.

327. Первое время (до начала января 1840 г.) Белинский жил в одной комнате с двоюродным братом И. И. Панаева — В. А. Панаевым, который рассказывает об их совместной жизни в своих воспоминаниях (Русская старина. 1893. № 8. С. 477—482).

328. См. примеч 199. Эпизод, упомянутый Панаевым в последнем абзаце, подробно рассказан Герценом в «Былом и думах»: «Наша встреча сначала была холодна, неприятна, натянута, но ни Белинский, ни я — мы не были большие дипломаты, в продолжение ничтожного разговора я помянул статью о «бородинской годовщине». Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, пренаивно сказал мне: «Ну, слава Богу, договорились же, а то я с моим глупым нравом не знал, как начать... Ваша взяла; три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор. Довольно вам сказать, что на днях я обедал у одного знакомого, там был инженерный офицер; хозяин спросил его, хочет ли он со мной познакомиться? «Это автор статьи о бородинской годовщине?» — спросил его на ухо офицер.— «Да».— «Нет, покорно благодарю»,— сухо ответил он. Я слышал все и не мог вытерпеть,— я горячо пожал руку офицеру и сказал ему: «Вы благородный человек, я вас уважаю...» Чего же вам больше?» (*Герцен*. Т. 9. С. 27—28).

329. Это противоречит другим известным нам фактам, свидетельствующим о том, что в первое время Петербург произвел на Белинского тягостное впечатление. Он писал об этом почти в каждом письме,— см., например, письмо к Д. П. Иванову от 21 февраля 1840 г. (Т. 11. С. 461). Лишь впоследствии Белинский несколько обжился в Петербурге.

330. Пушкин внимательно следил за статьями молодого Белинского, обнаружив у него во многом близкие себе литературные мнения. В мае 1836 г., приехав по делам *С* в Москву, Пушкин хотел познакомиться с ним. С этой целью он несколько раз заходил к М. С. Щепкину, у которого Белинский часто бывал. Но Пушкину не удалось встретиться с ним. 27 мая 1836 г., уже по возвращении в Петербург, он писал П. В. Нащокину: «Я оставил у тебя два порожних экземпляра «Современника». Один отдай князю Гагарину, а другой пошли от меня Белинскому <...> и вели сказать ему, что очень жалею, что с ним не успел увидеться» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 10. М.-Л., 1949. С. 583). Судя по письму Нащокина к Пушкину от конца октября — начала ноября 1836 г., Пушкин, несмотря на холодные отзывы Белинского об его последних произведениях и о *С*, имел твердое намерение привлечь его к работе в своем журнале (Переписка А. С. Пушкина. Т. 2. М., 1982. С. 462—463). Подробности заочных отношений Пушкина с Белинским нам неизвестны, но Белинский навсегда сохранил о них добрые воспоминания. 20 апреля 1842 г. он писал Гоголю:

«...меня радуют доселе и всегда будут радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным и, к счастью, дошедших до меня из верных источников» (Т. 12. С. 109). По свидетельству самого Белинского, сохраненному П. В. Анненковым (с. 139), Пушкин сказал, что «у Белинского есть чему поучиться и тем, кто его ругает». Белинский не знал, что похвала его «подающему большие надежды» таланту, независимости мнений и остроумию, появившаяся на страницах *С* (А. Б. Письмо к издателю — *С*, 1836. Т. 3. С. 327—328), также принадлежит Пушкину.

331. Повесть Ж. Санд «Мельхиор» была напечатана в № 12 *ОЗ* за 1842 г.

332. «Хозяин дома» — В. Ф. Одоевский.

333. Панаев и Белинский встречали у В. Ф. Одоевского 1841 год. Панаев по ошибке называет в числе гостей Одоевского Лермонтова: Лермонтов в это время был на Кавказе.

334. Имеются в виду статьи Белинского, в которых нашли отражение идеи «примирения с действительностью»: об «Очерках Бородинского сражения» Ф. Глинки, «Менцель, критик Гете» и др.

335. Характеристика Белинского, данная Панаевым в этом абзаце, является пересказом соответствующего места из «Былого и дум» Герцена: «Но в этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура» и т. д. (*Герцен.* Т. 9. С. 31).

336. Речь идет о В. А. Соллогубе и статье Белинского о его «Тарантасе» (*ОЗ*, 1845. № 6), статья была напечатана без подписи — этим объясняется вопрос Соллогуба.

337. См. примеч. 120.

338. «Выбранные места из переписки с друзьями».

339. Этот эпизод относится к сентябрю — октябрю 1848 г. Без упоминания имен, но с некоторыми деталями, не включенными в воспоминания, он рассказан в *«Заметках Нового поэта»* (*С*, 1855. № 6. С. 255—256). См. также воспоминания П. В. Анненкова (П. В. Анненков и его друзья. СПб., 1892. С. 515), А. Я. Панаевой и Некрасова (в передаче А. С. Суворина — Новое время, 1878, № 662). Панаева ошибочно датирует свидание Гоголя с молодыми писателями 1847 г. и, подобно Некрасову, называет в числе его участников Белинского. Анненков, как и Панаев в «Заметках», относит его к 1849 г. Между тем ни в 1847, ни в 1849 г. Гоголь в Петербурге не был.

340. Белинский жил в этой квартире с 1842 до апреля 1846 г. В начале 1846 г. происходило описанное ниже чтение «Обыкновенной истории» Гончарова.

341. Все это относится к маю — июню 1845 г. и подробно рассказано самим Ф. М. Достоевским в «Дневнике писателя» (1877 г., январь; Полн. собр. соч. Т. 25. Л., 1983. С. 28—31) и Д. В. Григоровичем в «Литературных воспоминаниях» (<М.>, 1961. С. 89—92).

342. См. примеч. 199.

343. Белинский заявил Краевскому о своем уходе из *ОЗ* в феврале 1846 г.; 26 апреля он выехал в Москву, а 16 мая, вместе с Щепкиным, на юг. Молодой человек, провожавший Щепкина,— К. П. Барсов.

344. Об этой полемике см. Евгеньев-Максимов В. Е. Современник в 40—50-е гг. Л., 1934. С. 63—75.

345. Первая из названных Панаевым статей Белинского — «Взгляд на русскую литературу 1846 года». Во второй — о «Выбранных местах из переписки с друзьями» — Белинский не мог по цензурным причинам высказать в полной мере свое мнение о книге Гоголя. Оно выражено им в известном письме к Гоголю, написанном в Зальцбрунне летом 1847 г.

346. Впоследствии — уже после смерти Панаева — П. В. Анненков довольно подробно описал пребывание Белинского за границей (*Анненков.* С. 332—374). Посвященная ему страница есть и в «Воспоминаниях о Белинском» Тургенева (Полн. собр. соч. и писем. Соч. Т. 14. М.-Л., 1967. С. 54—55).

347. Белинский вернулся из-за границы в конце сентября 1847 г.

348. Это были письма (от 20 февраля и 28 марта 1848 г.) от бывшего гимназического учителя Белинского М. М. Попова, служившего в III отделении. Попов вызывал Белинского к управляющему III отделением Л. В. Дубельту, который якобы хотел с ним познакомиться; Белинский ответил, что он болен и не выходит из дому, но, естественно, был взволнован этим приглашением. III отделению только и нужен был ответ Белинского, чтобы судить — не ему ли принадлежит присланное незадолго до этого на имя главного начальника III отделения кн. А. Ф. Орлова письмо «с возмутительными предсказаниями насчет будущего в России». См. об этом в статье П. Е. Щеголева «Эпизод из жизни В. Г. Белинского» (Былое, 1906. № 10. С. 280—281), а также воспоминания Н. Н. Тютчева (В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977. С. 475—476). Впоследствии Дубельт сожалел, что смерть вырвала Белинского из рук жандармов — «мы бы его сгноили в крепости» (Кавелин К. Д. Собр. соч. Т. 3. СПб., 1899. С. 1094).

349. Панаев имеет в виду прежде всего некоторых друзей и знакомых Белинского, примыкавших к либеральному лагерю. «Скажу вам по секрету,— писал, например, Боткин Краевскому 30 апреля 1847 г.,— я считаю литературное поприще Белинского поконченным» (Бычков И. А. Бумаги А. А. Краевского. СПб., 1897. С. 139).

350. История этого портрета рассказана в письме М. А. Языкова; см. анонимную статью о Белинском в журнале «Живописное обозрение» (1880. № 44. С. 350).

351. Дополнением к этим словам может служить описание последних часов Белинского в письме А. П. Тютчевой (жены приятеля Белинского Н. Н. Тютчева) к Тургеневу: «Перед самой смертью он говорил два часа не переставая, как будто к русскому народу, и часто обращался к жене, просил ее все хорошенько запомнить и верно передать эти слова кому следует». То же в воспоминаниях свояченицы Белинского А. В. Орловой: «Необыкновенно громко, но отрывисто начал он произносить как будто речь к народу. Он говорил о гении, о честности, спешил, задыхался». Наконец, со слов жены Белинского, об этом пишет в своих воспоминаниях А. М. Берх (В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1971. С. 514, 562—563, 576). Аналогичное свидетельство — И. Н. Захарьина (со слов Д. П. Иванова) в *ЛН* (Т. 57.

М., 1961. С. 309). Еще в 1856 г. предсмертные слова Белинского отразились в поэме Некрасова «Несчастные», в описании смерти каторжанина Крота:

В день смерти с ложа он воспрянул.
И снова силу обрела
Немая грудь — и голос грянул!
<...>
Кричал он радостно: «Вперед!»
И горд, и ясен, и доволен:
Ему мерещился народ
И звон московских колоколен;
Восторгом взор его сиял,
На площади среди народа,
Ему казалось, он стоял
И говорил...

ПО ПОВОДУ ПОХОРОН Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

352. Впервые напечатано в *С,* 1861. № 11. С. 69—78.

353. За несколько лет до этого о затерянной могиле Белинского с горечью писал Некрасов в стихотворении «Памяти приятеля» (1853):

И, с каждым днем окружена тесней,
Затеряна давно твоя могила,
И память благодарная друзей
Дороги к ней не проторила...

а затем в стихотворении «О погоде» (1859):

Я ушел по кладбищу гулять;
Там одной незаметной могилы,
Где уснули великие силы,
Мне хотелось давно поискать... и т. д.

Писал об этом и Н. Г. Чернышевский в «Заметках о журналах» (*С,* 1856. № 8; Полн. собр. соч. Т. 3. М., 1947. С. 676—678).

354. После смерти Белинского по цензурным причинам его имя не упоминалось в печати, хотя цитаты из его статей и ссылки на его мнения, как сочувственные, так и неприязненные, появлялись очень часто. Впервые после этого запрета его имя было названо в 1856 г. В частности, Чернышевский, печатая в *С* в 1855—1856 гг. свои «Очерки гоголевского периода русской литературы», получил возможность назвать имя Белинского лишь начиная с пятой статьи (1856, № 7).

355. Из напечатанных к тому времени воспоминаний о Белинском Панаев мог иметь в виду лишь «Встречу мою с Белинским» Тургенева (Московский вестник. 1860. № 3). Но он мог, конечно, опираться и на свои непосредственные впечатления от оживленных разговоров и споров о Белинском как в кругу *С,* так и за его пределами во второй половине 1850-х годов.

356. Панаев в первую очередь имеет в виду статью Я. К. Грота «Белинский и его мнимые последователи» (С.-Петерб. ведомости, 1861. № 109). Основная мысль статьи выражена в ее заглавии. Прямо не отвергая Белинского, подобно многим другим представителям консервативного лагеря (М. П. Погодин, П. А. Вяземский и др.), Грот попытался «обезвредить» его своим истолкованием и противопоставить ему революционную мысль и литературу 1860-х годов, утверждая, что она якобы не имеет с Белинским ничего общего.

357. С 1860 г. «Северная пчела» перешла от Н. И. Греча к П. С. Усову. В какой статье новая редакция заявила, что не разделяет взглядов прежней редакции на Белинского (в 1859 г. появилась проникнутая ненавистью к нему статья К. Полевого), установить не удалось. Однако во многих статьях 1860—1861 гг. газета с уважением, не свидетельствующим, впрочем, о согласии с его политическими и литературными воззрениями, отзывалась о Белинском — см., например: NN. Письма о русской журналистике (1860. № 59), где цитируется стихотворение Некрасова «Памяти приятеля»;— цкий. Из Москвы (1860. № 84), где упоминаются «темные личности», бросающие камни в Белинского.

358. Панаев говорит о двух лекциях Тургенева, прочитанных им, по его собственным словам, «перед немногочисленным обществом». «Стараясь изобразить характер эпохи тридцатых, сороковых годов,— рассказывает Тургенев в своих воспоминаниях,— я должен был упомянуть о гоголевской сатире, о лермонтовском протесте, а потом и о значении критики Белинского. Одно упоминание этого имени возбудило негодование большей части моих слушателей» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч. Т. 14. М.-Л., 1967. С. 37). О лекциях Тургенева, прочитанных в апреле 1860 г., Панаев писал также в фельетоне «Петербургская жизнь», (*С*, 1860, № 5. С. 113).

359. За два года до этого Панаев писал в своих «Заметках»: «После возвращения с похорон Белинского все мы, друзья его, единодушно решили непременно поставить памятник на его могилу, но решение это так и осталось. Мы и след потеряли к этой дорогой для нас могиле, и какие-то совсем посторонние люди, никогда не видавшие в глаза покойного, отыскали ее недавно» (*С*, 1860. № 2. С. 375). Могила Белинского была разыскана П. А. Ефремовым, впоследствии известным библиографом — см.: Русское библиологическое общество. Доклады и отчеты. СПб., 1908. Вып. 1. С. 1—2; и некролог Ефремова, написанный Д. П. Сильчевским,— Минувшие годы, 1908. № 1. С. 293.

360. Добролюбов начал сотрудничать в *С* в августе 1856 г. Упомянутая Панаевым библиографическая статья — это напечатанная в № 8 рецензия на две брошюры о Главном педагогическом институте, в которых ярко демонстрировались «достижения» института, установленный в нем полицейский режим и пр. Рецензия действительно обратила на себя внимание. «Статья (в библиографии) о Педагогическом институте произвела прелестнейший эффект,— писал Чернышевский Некрасову 24 сентября 1856 г.,— так что я решительно конфужусь от похвал, которыми осыпают меня за нее (она приписывается мне)» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 14. М., 1949. С. 313).

361. Русское слово, 1861. № 11. С. 16. Эти слова приведены

в изложении речи у гроба Добролюбова, произнесенной Некрасовым.

362. Когда Добролюбов начал сотрудничать в *С*, ему шел двадцать первый год.

363. Строка из стихотворения Пушкина «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»).

364. «Бедная Лиза» — повесть Н. М. Карамзина.

365. Ср. строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «А. О. Смирновой»:

Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

366. По всей вероятности, эти слова — намек на Тургенева и связаны со слухами, согласно которым скоро после этого напечатанные «Отцы и дети» направлены против Добролюбова. См. комментарии А. Батюто к «Отцам и детям» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч. Т. 8. М.-Л., 1964. С. 590).

367. Как указано выше, начало работы Добролюбова в *С* относится не к 1857, а к августу 1856 г. Тогда была напечатана не только рецензия на брошюры о Педагогическом институте, но и начало большой статьи о журнале Екатерины II «Собеседник любителей российского слова» (1856. №№ 8—9). В 1857 г., после окончания Педагогического института, Добролюбов стал постоянным и ближайшим сотрудником *С*.

368. В. 1855 г. Добролюбов прислал в редакцию *С* на имя И. И. Панаева свой рассказ — по-видимому, «Провинциальную холеру» (впервые опубликован лишь в 1933 г. в *ЛН*. Т. 3.). Панаев отверг его и, когда Добролюбов пришел за ответом, довольно сурово обошелся с ним, посоветовав не тратить времени «на сочинение негодных повестей». Об этом первом посещении Добролюбовым редакции рассказывает в своих воспоминаниях А. Я. Панаева (с. 266). В следующем 1856 г. началось его сотрудничество в *С*, но членом редакции он стал позже — с конца 1857 г., когда Чернышевский передал ему руководство критическим отделом.

369. Описка: Белинский умер 37 лет.

370. О похоронах Добролюбова см.: Русское слово, 1861. № 11. С. 15—16; Рейсер С. А. Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. М., 1953. С. 314—315. Над гробом Добролюбова говорили Некрасов, Чернышевский, М. А. Антонович, Н. Л. Тиблен, Н. А. Серно-Соловьевич и еще какой-то студент. Агент III отделения так передает речь Чернышевского: «Начав с того, что необходимо объявить собравшейся публике о причине смерти Добролюбова, Чернышевский вынул из кармана тетрадку и сказал: «Вот, господа, дневник покойного, найденный мною в числе его бумаг <...> Из этого дневника я прочту вам некоторые заметки, из которых вы ясно увидите причину его смерти» <...> Тут Чернышевский начал читать статей восемь, приблизительно следующего содержания: «Такого-то числа пришел ко мне (Добролюбову) NN и объявил мне, что в моей статье сделано много помарок.— Такого-то числа явился ко мне NN и передал, что за мою статью, которая была напечатана там-то, он получил выговор. (Подобного содержания было несколько параграфов.) — Такого-то числа получено известие, что в Харьковском университете были

беспорядки.— Получено уведомление, что беспорядки были в Киеве.— Дошли сведения, что некоторые не из «наших» сосланы в Вятку; другие же — бог знает, что с ними стало.— Получено сведение из Москвы, что в одной из тамошних гимназий удавился воспитанник за то, что его хотели заставить подчиниться начальству... И дальше: «Вообще вся речь Чернышевского, а также и Некрасова, клонилась, видимо, к тому, чтобы все считали Добролюбова жертвой правительственных распоряжений и чтобы его выставляли как мученика, убитого нравственно, одним словом, что правительство уморило его» (Красный архив, 1926. № 1(14). С. 91—92). Некрасов в своей речи отметил: «В Добролюбове во многом повторился Белинский».

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ *

Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) — поэт, критик, публицист, филолог. В 1830-е годы — член кружка Н. В. Станкевича, затем один из вождей и теоретиков славянофильства; сын С. Т. Аксакова — 175, 180—186, 192, 193, 196, 197, 204—206, 208—210, 212, 218, 225, 227, 236—241, 274—276, 316, 327—330; *89, 150, 151, 152, 166, 169, 205—210, 248, 295, 324.*

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859) — 175, 180, 181, 183, 184, 187, 189—192, 204—206, 208, 209, 261, 345; *120, 148, 151, 167—169, 204, 229.*

Аксакова Ольга Семеновна (1793—1878) — жена С. Т. Аксакова — 181, 212.

Аксаковы — 174, 181, 183—185, 192, 196, 198, 211; *120, 168, 169.*

Алябьев Александр Александрович (1787—1851) — композитор-дилетант, автор широко известных в свое время романсов — 88; *58.*

Ампер Жан-Жак (1800—1864) — французский историк — 315; *288.*

Андросов Василий Петрович (1803—1841) — литератор, статистик, экономист и критик; в 1835—1837 гг.— редактор журнала «Московский наблюдатель» — 217, 316.

* Прямым шрифтом напечатаны страницы текста воспоминаний И. И. Панаева, курсивом — номера примечаний.

В указателе приведены не только те страницы, на которых названы соответствующие лица, но и те, где содержится намек на них, цитируются или упоминаются их произведения и т. д.

Имена, встречающиеся только в примечаниях, в указатель не включены.

Анненков Павел Васильевич (1812—1887) — в 1840-е годы член кружка Белинского, сотрудник «Отечественных записок», а затем «Современника»; критик и историк литературы, биограф Пушкина и редактор первого научного издания его сочинений; по своим политическим взглядам — либерал — 128, 135, 179, 250, 261, 265, 277, 288, 289, 352; *147, 170, 203, 215, 227, 229, 262, 325, 330, 339, 341.*

Анненский — преподаватель юридических наук Благородного пансиона при Петербургском университете — 31.

Арапетов Иван Павлович (1811—1887) — товарищ Герцена по Московскому университету, вращавшийся в литературных кругах 1840—1850-х годов; видный либеральный бюрократ — 261.

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — 131; *38, 99.*

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — в 1830-е годы член кружка Н. В. Станкевича, приятель Белинского, впоследствии анархист — 174, 178—180, 219, 220, 226, 229, 231, 233, 267—269, 271, 272, 277, 282, 317, 329; *116, 239, 245, 255.*

Бакунины — 198.

Бальзак Оноре де (1799—1850) — 57; *26.*

Барант Эрнест (1818—1859) — сын французского посланника в России — 158, 166.

Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844) — 32, 33; *130.*

Барбье Анри Огюст (1805—1882) — 57.

Барсовы Константин Петрович (1821—1888) и Павел Петрович (1819—1881) — воспитанники М. С. Щепкина, сыновья его приятеля, артиста П. Е. Барсова — 201, 327, 352; *343.*

Батюшков Константин Николаевич (1787—1855) — 33, 36, 38.

Башуцкий Александр Павлович (1801—1876) — писатель, издатель и журналист 1830—1840-х годов, впоследствии мракобес, сотрудник «Домашней беседы» Аскоченского — 75, 143, 153, 154, 293, 296, 297, 307; *121, 122, 269.*

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 64, 95, 100, 102, 111, 116, 123, 128, 133, 137—144, 150, 154, 156, 158, 160, 161, 166, 167, 170, 171, 173—187, 191, 195, 198—204, 208—210, 215, 217—234, 239—241, 245, 265, 267—272, 277—299, 303—309, 313—355, 357—360, 362—364, 366, 367; *13, 32, 48, 66, 69, 74, 86, 91, 104, 105, 110, 120, 125, 138, 139, 143, 145, 152, 154, 155, 163, 166, 169, 170, 182—184, 192, 200, 201, 203, 207, 208, 239, 240, 245, 250,* [illegible]

253, 255, 262—264, 267, 269, 270, 278, 284—286, 289, 290, 292—294, 299, 300, 303—306, 307, 308, 310—312, 315, 322—325, 327—330, 333—336, 339, 340, 343, 345—351, 353—359, 370.

Бенард Петр Иванович — директор Благородного пансиона при Петербургском университете — 48, 49; *21.*

Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873) — поэт, один из главных представителей вульгарного романтизма 1830—1840-х годов — 91, 100, 101, 140; *39, 74, 102, 159, 290, 292.*

Бернет — псевдоним поэта 1830-х годов Александра Кирилловича Жуковского (1810—1864) — 91, 95, 96, 318; *69.*

Бестужев Александр Александрович (1797—1837) — декабрист, литературный критик, беллетрист и поэт, один из виднейших представителей русского романтизма; печатал свои повести под псевдонимом А. Марлинский — 63, 78, 139; *30, 105.*

Бетховен Людвиг (1770—1827) — 119.

«Библиотека для чтения» — журнал, основанный О. И. Сенковским в 1834 г.; в 1830-е годы был самым распространенным журналом, успех которого объясняется стремлением его редактора угодить обывательским вкусам; вел борьбу с передовыми течениями русской литературы и общественной мысли — 66, 133, 134, 143, 144, 150, 155, 157, 158, 159, 234, 300, 315—317; *33, 34, 38, 39, 102, 103, 112, 113, 142, 312.*

Бичурин Никита Яковлевич, в монашестве Иакинф (1777—1853) — в 1807—1832 гг. начальник русской духовной миссии в Китае; автор ряда работ по китайскому языку и истории Китая — 110, 119.

Богданович Ипполит Федорович (1743—1802) — поэт, автор поэмы «Душенька» — 130; *98.*

Бороздин Константин Матвеевич (1781—1848) — попечитель Петербургского учебного округа в 1826—1833 гг.— 39.

Ботен Луи Эжен Мари (1796—1867) — французский философ и богослов — 83; *52.*

Боткин Василий Петрович (1811—1869) — литератор, сотрудник «Отечественных записок», а затем «Современника», близкий друг Белинского и Герцена, не разделявший, однако, их революционных и социалистических идей — 174, 177, 209, 217, 218, 220, 224, 225, 228, 229, 231, 234, 235, 242, 243, 253, 255—258, 278, 290, 310, 317, 324, 327—329; *139, 169, 190, 192, 245, 253, 263, 296, 323, 326, 349.*

Брамбеус, Барон Брамбеус — псевдоним О. И. Сенковского *(см.).*

Брюллов Карл Павлович (1799—1852) — художник — 68, 70—72, 78, 79, 94, 95, 111, 128—132, 307; *100.*

Брянская Анна Матвеевна (1798—1878) — жена Я. Г. Брянского — 85, 86.

Брянская Анна Яковлевна — *см.* Краевская.

Брянский Яков Григорьевич — (1791—1853) — артист Александринского театра, отец А. Я. Панаевой и А. Я. Краевской—70, 83—87, 89, 92, 156; *51, 54, 55, 64.*

Буало-Депрео Николай (1636—1711) — французский поэт и теоретик классицизма — 40; *14.*

Булгаков Константин Александрович (1812—1862) — сын московского почт-директора, гвардейский офицер, славившийся своим остроумием — 307, 310.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — беллетрист, продажный журналист, редактор газеты «Северная пчела», агент III отделения — 66, 70, 73—77, 99, 101, 105, 107, 108, 114, 136, 151, 154, 158—160, 170, 172, 225, 281, 291, 296, 305, 306, 319, 332; *42, 46, 48, 78, 80, 85, 88, 156, 267, 292.*

Булыгин Василий Иванович (1808—1871) — цензор — 317.

Бюше Филипп Жозеф Бенжамен (1796—1865) — французский историк и политический деятель — 278; *252.*

«Ведомости С.-Петербургской городской полиции» — газета, выходившая под редакцией В. С. Межевича в 1839—1848 гг.— 76, 170; *140.*

Великопольский Иван Ермолаевич (1797—1868) — автор ряда пьес и стихотворений — 175, 181, 184, 185, 327; *153.*

Верньо Пьер Виктюрньен (1753—1793) — французский политический деятель, жирондист — 279.

«Весельчак» — юмористический журнал, выходивший в Петербурге в 1858—1859 гг.; основан при участии О. И. Сенковского — 144; *113.*

Виардо Луи (1800—1883) — французский критик и историк искусства, переводчик русских писателей на французский язык, один из редакторов журнала «Revue indépendante» — 278.

Виельгорский Михаил Юрьевич (1788—1856) — видный сановник, меценат и композитор-дилетант; музыкальный салон Виельгорского был в 1830—1840-е годы одним из петербургских культурных центров — 117, 307.

Виньи Альфред Виктор (1797—1863) — французский поэт, романист и драматург романтической школы — 57; *26.*

Владиславлев Владимир Андреевич (1807—1856) — беллетрист, издатель альманаха «Утренняя заря» (1839—1843) — 91, 94, 107, 110, 112, 130, 149, 156, 320; *67, 117, 311.*

Воейков Александр Федорович (1778—1839) — поэт, переводчик, критик и журналист, автор сатиры «Дом сумасшедших», редактор газеты «Русский инвалид» (1822—1839) и «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду» (1831—1837) — 64, 83, 91, 100, 101, 104—108, 110—112, 114, 115, 139, 147, 154, 293, 304, 305; *32, 63, 77, 81, 106, 267.*

Волконская Софья Григорьевна (1786—1869) — сестра декабриста С. Г. Волконского, жена министра двора П. М. Волконского — 125.

Вронченко Михаил Павлович (1801—1855) — переводчик — 84, 90; *62.*

Всеволжский Александр Всеволодович (1793—1864) — богатый помещик и заводчик; был близок к литературным кругам — 155.

Вульф — владелец кондитерской в Петербурге — 137.

Вяземский Петр Андреевич (1792—1878) — поэт и критик, друг Пушкина; до 1825 года находился в сфере политических и литературных идей декабристов; к 1840-м годам резко поправел и стал врагом передового общественного движения и реалистической литературы середины XIX в. — 75, 107—110, 112—117, 127, 128, 159, 338; *45, 80, 81, 130, 356.*

Гаде Маргарита (1758—1794) — французская политическая деятельница, жирондистка — 279.

Галахов Александр Павлович (1802—1863) — брат И. П. Галахова (см.), офицер; в 1847—1856 гг. петербургский обер-полицмейстер — 145.

Галахов Алексей Дмитриевич (1807—1892) — беллетрист и историк русской литературы, сотрудник «Отечественных записок» и «Современника» — 224, 291.

Галахов Иван Павлович (1809—1849) — член кружка Герцена и Огарева — 234.

Галахова Е. П.— *см.* Фролова Е. П.

Галль Франц-Иосиф (1758—1828) — немецкий врач, основатель так называемой френологии (учения о распознавании психических свойств человека по форме его черепа) — 122.

Галченков — петербургский домовладелец — 353.

Гамазов Матвей Авелевич (1812—1893) — родственник и приятель И. И. Панаева, востоковед — 84, 90; *54, 257.*

Гебгардт Иван Карлович (ум. 1881) — педагог; был связан с литературными кругами — 158.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — 178, 179, 182, 199, 225, 267, 278, 329.

Гейне Генрих (1797—1856) — 225, 269; *243.*

Геннади Григорий Николаевич (1826—1880) — библиограф, редактор собрания сочинений Пушкина — 134.

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — 199, 200, 202, 212, 231—235, 240, 242—249, 278, 280, 288, 310, 331, 332, 350, 351; *68, 70, 161, 164, 170, 175, 183, 197, 199, 200, 202—204, 208—210, 213, 215, 218, 219, 233, 328, 335.*

Герцен Наталия Александровна (1817—1852) — жена А. И. Герцена — 244, 246, 248; *214.*

Геснер Соломон (1730—1788) — швейцарский писатель, автор прозаических идиллий — 87.

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 71, 78, 92, 109, 111, 129, 144, 158, 164, 195, 211, 219, 278, 316, 318, 320, 328, 329, 330; *38, 83, 112, 173, 192, 291, 305, 311, 323, 334.*

Гижилинский — знакомый Панаева — 67, 68.

Глазенап Богдан Александрович (1811—1892) — морской офицер, с 1838 г.— флигель-адъютант — 267.

Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — 27, 40, 42—44, 70—72, 78—80, 95, 111; *17, 19, 40, 48.*

Глинка Сергей Николаевич (1775 или 1776—1847) — писатель и публицист реакционно-националистического направления — 110, 115, 305; *85, 275.*

Глинка Федор Николаевич (1786—1880) — поэт и публицист, в молодости — декабрист, один из вождей Союза благоденствия; впоследствии мистик и реакционер — 226; *143, 192, 200, 237, 334.*

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 92, 133, 137, 139, 140, 143, 151—153, 158, 171, 172—174, 192, 198, 203—210, 223,

317—318, 342, 344—346, 349, 352; *13, 106, 119, 120, 142, 165, 166, 168—170, 186, 207, 278, 290, 304, 338, 339, 345, 358.*

Годунов Борис Федорович (ок. 1552—1605) — 83; *53.*

Голицын Александр Николаевич (1773—1844) — обер-прокурор Синода, а затем министр народного просвещения при Александре I — 290.

Голохвастов Дмитрий Павлович (1796—1849) — помощник попечителя, а с 1847 г. попечитель Московского учебного округа, председатель Московского цензурного комитета — 315.

Гомер — 204, 208, 219.

Гонзаго Пьетро-Готтардо (1751—1831) — итальянский художник; в 1792 г. переехал в Петербург и заведовал живописной мастерской императорских театров — 256; *224.*

Гончаров Иван Александрович (1812—1891) — 128, 135, 278, 345, 348; *102, 282, 340.*

Гораций — полное имя Квинт Гораций Флакк (65—8 гг. до н. э.) — римский поэт — 32, 44, 283.

Горохова — жена В. И. Кречетова *(см.)* — 88.

Гофман Эрнст-Теодор-Амадей (1776—1822) — немецкий писатель-романтик; автор «Серапионовых братьев» — 135, 269, 278, 317; *101, 296.*

Грановская Елизавета Богдановна (1824—1857) — с 1841 г. жена Т. Н. Грановского — 242—244, 246, 255, 264.

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — историк, профессор Московского университета, друг Герцена и Огарева — 144, 145, 174, 229—237, 239—250, 252—266, 287, 288, 310, 350; *183, 195, 196, 203, 204, 208, 215, 216, 218, 219, 222, 225—227, 229, 231—236, 253.*

Гребенка Евгений Павлович (1812—1848) — украинский и русский писатель; в 1840-х годах примыкал к натуральной школе — 91, 95, 102, 112, 113, 128, 132—134, 142, 293, 320.

Греч Николай Иванович (1787—1867) — журналист, беллетрист и филолог; соратник Ф. В. Булгарина, редактировал вместе с ним газету «Северная пчела» — 73, 83, 99, 105, 108, 112, 114, 136, 143, 150, 151, 154; *78, 80, 85, 156, 275, 292, 303, 357.*

Грибоедов Александр Сергеевич (1794 или 1795—1829) — 88, 196, 304; *57, 154, 160.*

Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899) — писатель — 277, 286, 345, 348; *260, 341, 349.*

Григорьев Петр Григорьевич (1807—1854) — артист Александринского театра и водевилист — 90.

Грильпарцер Франц (1791—1872) — австрийский драматург — 84.

Губер Эдуард Иванович (1814—1847) — поэт, переводчик — 110, 111, 158, 293, 306, 318, 320; *83, 278, 305.*

Гумбольдт Александр-Фридрих-Вильгельм (1769—1859) — немецкий ученый-натуралист и путешественник — 211, 251—253; *173, 221, 274.*

Гюго Виктор (1802—1885) — 57, 58, 66, 84, 212; *25—27, 33, 34, 127, 174.*

Данте Алигьери (1265—1321) — 130, 330; *322.*

Дантес Жорж Шарль (1812—1895) — убийца Пушкина — 134.

Делавинь Казимир Жан Франсуа (1793—1843) — французский поэт и драматург — 99.

Дельвиг Антон Антонович (1798—1831) — поэт и журналист, друг Пушкина — 27, 32, 33, 42—45, 88, 104; *19, 58.*

Демут — владелец гостиницы в Петербурге — 347.

Депре — владелец винного погреба в Москве — 186, 243, 244.

Державин Гаврила Романович (1743—1816) — 33, 36, 38.

Дивов — помещик, владелец подмосковного села Соколово — 243.

Дидло Шарль Луи (1767—1837) — балетмейстер петербургского балета — 84; *55.*

Диммерт Егор Иванович — архитектор, в доме которого жил И. И. Панаев — 100, 331.

Дирин Сергей Николаевич (1814—1839) — переводчик, родственник В. К. Кюхельбекера — 66, 67, 120, 124—126.

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837) — поэт — 196; *160.*

Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — 356—367; *360—362, 366—368, 370.*

Добролюбовы — 365.

Доминик — Доминик Риз-а-Порта, владелец ресторана и кондитерской в Петербурге — 135.

Дондуков-Корсаков Михаил Александрович (1794—1869) — в 1833—1842-е годы попечитель Петербургского учебного округа

и председатель Петербургского цензурного комитета; с 1835 г.— вице-президент Академии наук («князь Дундук» пушкинской эпиграммы) — 75, 76, 194; *46*.

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — 162, 278, 307, 348, 349, 366; *341*.

Дружинин Александр Васильевич (1824—1864) — беллетрист и литературный критик, сотрудник «Современника», впоследствии пропагандист и теоретик «искусства для искусства» — 177, 261, 345; *144, 228*.

Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862) — управляющий III отделением — 156; *348*.

Дудышкин Степан Семенович (1820—1866) — литературный критик; с 1847 г. заведовал отделом критики и библиографии «Отечественных записок» — 128, 135, 158, 167, 292; *266*.

Дюма Александр (отец) (1802—1870) — 57.

Дюр Николай Осипович (1807—1839) — артист Александринского театра, комик — 103.

Дюсис Жан Франсуа (1733—1816) — французский драматург и поэт, автор широко распространенных в свое время переработок драм Шекспира в духе классицизма — 84, 87.

Ежова Екатерина Ивановна (1788—1836) — петербургская комическая артистка, гражданская жена А. А. Шаховского (*см.*) — 86.

Жихарев Степан Петрович (1788—1860) — автор «Записок»; был близок ко многим литературным и театральным деятелям первой четверти XIX в.—261.

Жуков Василий Григорьевич (1796—1882) — петербургский купец и табачный фабрикант — 106, 107.

Жуковский А. К.— *см.* Бернет.

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) —33, 36, 38, 92, 100, 107, 110, 112, 113, 115, 117, 126, 127, 159, 207, 223, 224, 317, 338; *80, 85, 130, 159, 168, 187, 192, 237*.

«Журнал министерства внутренних дел» — выходил в 1829 — 1861 годы; в 1843—1855 годы под редакцией Н. И. Надеждина (*см.*) — 262; *118*.

«Журнал министерства народного просвещения» — выходил в 1834—1917-е годы — 70, 82, 83; *51, 52*.

«Журнал общеполезных сведений, изд. под покровительством имп. экономического общества» — выходил в 1833—1839 гг. — 153; *121.*

Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) — исторический романист — 174, 175, 184—192, 195, 209, 300, 301; *154, 273.*

Закревский Арсений Андреевич (1783—1865) — московский военный генерал-губернатор в 1848—1859 гг.— 263; *177, 230.*

Занд — см. Санд.

Зябловский Евдоким Филиппович (1763—1846) — географ и статистик, автор распространенных в свое время учебников по географии, профессор Петербургского университета и Благородного пансиона —58; *10.*

Иакинф — см. Бичурин Н. Я.

Иванчин-Писарев Николай Дмитриевич (ок. 1795—1849) — поэт, прозаик и историк, поклонник Н. М. Карамзина — 139.

Излер Иван Иванович (1811—1877) — владелец кондитерской, а затем кафешантана «Минеральные воды» в Петербурге — 170.

«Инвалид» — см. «Русский инвалид».

Искандер — псевдоним А. И. Герцена *(см.).*

«Искра» — сатирический журнал, выходивший в Петербурге сначала под редакцией В. С. Курочкина и Н. А. Степанова (1859—1864), а затем (1865—1873) одного Курочкина — 79.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) — историк, юрист и публицист, в 1844—1848 годы — профессор Московского университета, видный представитель либерального западничества. В 1840-е годы был близок к кругу Белинского, сотрудник «Отечественных записок» и «Современника» —217, 220, 221, 277, 289; *253, 263, 348.*

Кайданов Иван Кузьмич (1780—1843) — автор учебников по истории, написанных в монархическом духе и принятых в учебных заведениях первой половины XIX в.—30, 58.

Калам — гувернантка С. Ф. Татищева — 51.

Каменская Мария Федоровна (1817—1898) — жена писателя П. П. Каменского — 131.

Каменский Павел Павлович (1810—1875) — писатель — 78, 95, 128—130, 158, 305, 320; *275*.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — 36, 117, 139, 363; *4, 45, 53, 364*.

Карамзина Екатерина Андреевна (1780—1851) — жена Н. М. Карамзина, сестра П. А. Вяземского — 117.

Карамзина Софья Николаевна (1802—1856) — дочь Н. М. Карамзина — 117, 118.

Каратыгин Василий Андреевич (1802—1853) — артист Александринского театра, трагик — 70, 83—87, 89, 92, 154; *54, 61, 64*.

Карл X (1757—1836) — французский король, низложенный революцией 1830 г.— 58.

Карлгоф Вильгельм Иванович (1796—1841) — писатель и переводчик — 91, 93, 113, 147.

Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — в молодости член кружка Н. В. Станкевича, сотрудник «Московского наблюдателя» и «Отечественных записок». Впоследствии — редактор журнала «Русский вестник» (с 1856 г.) и газеты «Московские ведомости» (с 1863 г.), виднейший публицист дворянской реакции 1860—1880 гг.— 174, 178, 198, 201, 202, 204, 222—225, 228, 229, 234, 267—273, 277, 324, 327, 328; *163, 185, 189, 201, 231, 240—242, 245, 263*.

Кениг Генрих (1790—1869) — автор книги о русской литературе «Litterarische Bilder aus Russland». 316; *292*.

Кетчер Николай Христофорович (1809—1886) — врач, переводчик Шекспира, друг Белинского, Герцена, Огарева, Грановского — 198—200, 202—204, 216, 227—229, 235, 237, 239, 242—248, 257, 267, 276, 277, 350—352; *215, 249*.

Кипренский Орест Адамович (1782—1836) — 65.

Киреевские Иван Васильевич (1806—1856) — критик и публицист и Петр Васильевич (1808—1856) — собиратель русских народных песен, славянофилы — 236, 241.

Кисловский Алексей Ефремович — чиновник Министерства народного просвещения — 81.

Клыков Александр Иванович — знакомый Белинского, Боткина и др.— 243.

Клюге фон Клугенау — 128, 135.

Клюшников Иван Петрович (1811—1895) — поэт 1830—1840-х годов, член кружка Н. В. Станкевича —174, 178, 219, 220, 224, 225, 229, 317; *182*.

Княжевич Александр Максимович (1792—1872) — переводчик, впоследствии министр финансов — 148.

Княжевич Владислав Максимович (1798—1873) — начальник И. И. Панаева по Департаменту государственного казначейства, литератор — 61, 62.

Княжевич Дмитрий Максимович (1788—1844) — этнограф и археолог; директор Департамента государственного казначейства, а затем начальник Одесского учебного округа, литератор —61—63, 106; *118*.

Княжевичи — 145.

Козлов Иван Иванович (1779—1840) — поэт — 33; *81*.

Козлов Никита Тимофеевич (1778— после 1850) — слуга Пушкина — 126, 127; *96*.

Козловский Павел Дмитриевич (1802—?) — инспектор Межевого института в Москве — 290; *286*.

Кок Поль де (1793—1871) — французский писатель, автор романов из жизни гризеток, мещанского общества и пр., проникнутых буржуазной моралью — 117.

Кокошкин Федор Федорович (1773—1838) — драматург, управляющий московскими театрами в 1823—1831 гг.— 213.

Колиньи Гаспар (1519—1572) — французский адмирал и дипломат, вождь гугенотов, погиб в Варфоломеевскую ночь — 232.

Колмаков Иван Акимович — преподаватель логики Благородного пансиона при Петербургском университете — 42—45; *18*.

Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842) — 128, 140—142, 158, 174, 176, 313, 314, 317, 322; *109, 110, 284*.

Комаров Александр Александрович (ум. 1874) — преподаватель словесности петербургских военно-учебных заведений; приятель И. И. Панаева и Белинского; поэт — 128, 133, 135, 151, 152, 278, 297, 343—346.

Комаров Александр Сергеевич (1814—1862) — двоюродный брат А. А. Комарова, школьный товарищ И. И. Панаева; инженер — 293, 297—299, 344.

Кони Федор Алексеевич (1809—1879) — водевилист и журналист, редактор «Литературной газеты» в 1841—1843 гг., «Пантеона», «Репертуара и пантеона» — 318.

Коп — владелец гостиницы и ресторана в Москве — 230.

Корсаков Петр Александрович (1790—1844) — цензор, писатель, редактор крайне реакционного журнала «Маяк» — 75, 318.

Корш Евгений Федорович (1810—1897) — журналист и переводчик, в 1843—1848 гг. редактор газеты «Московские ведомости»; по своим политическим взглядам — либерал; в 1840-е годы — друг Белинского, Герцена, Грановского; впоследствии осуждал деятельность Герцена и порвал с ним личные отношения — 144, 174, 234, 243, 245, 246, 248, 249, 259, 262—264, 276, 350, 351; *231.*

Корш Мария Федоровна (1809—1883) — сестра Е. Ф. Корша, друг Герцена и его жены — 243, 262, 264; *219.*

Краевская Анна Яковлевна (1817—1842) — жена А. А. Краевского, сестра А. Я. Панаевой — 86, 277, 309; *51, 64.*

Краевский Андрей Александрович (1810—1889) — журналист — предприниматель капиталистического типа, умеренный либерал, в 1839—1867 гг. — редактор-издатель журнала «Отечественные записки» — 70, 75, 76, 78, 80, 83, 90, 91, 94, 95, 97—101, 104, 105, 108, 110—112, 115, 118, 125—128, 132, 135—137, 143, 149, 150, 154—161, 163—167, 169, 170, 193, 194, 196, 217, 221—223, 225, 228, 229, 259, 260, 267, 270, 271, 273, 277, 280, 281, 285, 290—293, 304—307, 309, 319, 326, 330, 332; *46, 51, 53, 63, 72, 92, 96, 125, 126, 135, 138, 156, 185, 186, 317, 324, 343, 349.*

Красов Василий Иванович (1810—1854) — поэт; член кружка Н. В. Станкевича, приятель Белинского — 317, 320; *297, 312.*

Кречетов Василий Иванович — преподаватель словесности Благородного пансиона при Петербургском университете — 31—35, 38, 40—42, 50, 56, 57, 59, 63, 64, 87—90, 103, 104, 151, 154, 277, 282—284; *6, 59.*

Кромида Анна Евгеньевна — *см.* Фролова А. Е.

Кронеберг Иван Яковлевич (1786—1838) — филолог-классик, профессор и ректор Харьковского университета — 317; *301.*

Крылов Иван Андреевич (1768 или 1769—1844) —107—110, 114—117, 316, 338; *85, 290.*

Кудрявцев Петр Николаевич (1816—1858) — историк и писатель, сотрудник «Отечественных записок» и «Современника», преподаватель, а затем профессор Московского университета — 174, 220, 317, 324; *183, 235, 298.*

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — драматург, беллетрист и поэт, один из главных представителей вульгарного романтизма 1830—1840-х годов — 54, 67—74, 77—80, 91—93, 95, 102, 103, 105, 108—111, 128—131, 135—137, 139, 144, 154, 158, 160, 171—173, 293, 306, 307, 316; *35—39, 48, 85, 103, 105, 112, 141, 275, 282, 293.*

Кукольник Платон Васильевич (ум. 1849) — брат Н. В. Кукольника, беллетрист — 73, 78.

Кульчицкий Александр Яковлевич (1815—1845) — автор юмористических рассказов и очерков; приятель Белинского — 289; *263.*

Купер Фенимор (1789—1851) — 167, 267, 271; *139, 244.*

Кушелев-Безбородко Григорий Александрович (1832—1870) — издатель журнала «Русское слово» (1859—1862), меценат, беллетрист — 79.

Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797—1846) — поэт и драматург; декабрист — 66, 67, 122.

Лажечников Иван Иванович (1792—1869) — исторический романист — 293, 299—302; *270, 271, 273.*

Лангер Валериан Платонович (1802—1870-е годы) — художник, цензор — 224; *19.*

Лангер Фердинанд Федорович — пианист и композитор — 44, 224; *190.*

Лафатер Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский богослов и писатель, основатель учения о «физиономике» — 122.

Леонов Алексей Алексеевич (ум. 1882) — поэт — 224; *189.*

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 125, 158, 162—169, 171, 173, 224, 225, 268, 338, 342, 363; *93, 133—136, 138, 139, 191, 242, 333, 358, 365.*

Леру Пьер (1797—1871) — французский социалист-утопист — 277, 278, 359; *251.*

Лжедмитрий — 30.

Ливен Карл Андреевич (1767—1844) — в 1828—1833 гг. министр народного просвещения — 39.

«Литературная газета» — в 1830—1831 гг. орган Пушкина и его друзей; выходила под редакцией А. А. Дельвига, а после его смерти О. М. Сомова — 57; *23, 78, 269.*

«Литературные прибавления к Русскому инвалиду» — газета, выходившая в Петербурге в 1831—1836 гг. под редакцией А. Ф. Воейкова, а в 1837—1839 гг. под редакцией А. А. Краевского — 64, 78, 80, 83, 90, 95, 98—100, 111, 136, 137, 139, 155, 161, 175, 196, 222—224, 304, 307, 318, 320; *32, 33, 63, 64, 69, 71, 72, 74, 83, 85, 87, 90, 106, 125, 130, 134, 160, 182, 184, 188, 279, 304, 309, 312.*

Локлевен (Лохлевен) — владелица замка, в котором была заключена Мария Стюарт — 211; *172*.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — 38.

Лопатин — петербургский домовладелец — 277, 347.

Любич-Романович Василий Игнатьевич (1805—1888) — поэт и переводчик — 131; *99*.

Людовик-Филипп (1773—1850) — французский король с 1830 до 1848 г.— 31, 58.

Лютер Мартин (1483—1546) — 232.

«Магазин землеведения и путешествий» — географические сборники, издававшиеся Н. Г. Фроловым в 1850-х годах — 259.

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — 128, 135; *102*.

Майков Валериан Николаевич (1823—1847) — литературный критик и социолог — 135; *102*.

Майков Николай Аполлонович (1796—1873) — художник — 128, 135; *102*.

Марбах Освальд-Готгард (1810—1890) — немецкий критик, философ и поэт, последователь Гегеля — 329; *323*.

Мария Стюарт (1542—1587) — шотландская королева — 136; *103*.

Мария Федоровна (1759—1828) — императрица, жена Павла I — 116.

Марлинский А.— *см.* Бестужев А. А.

Мартынов Николай Соломонович (1815—1875) — офицер, убил на дуэли Лермонтова — 163.

Маслов Иван Ильич (1817—1891) — член петербургского кружка Белинского — 278—280; *263*.

Меджнис Артур (1801—1867) — служащий английского посольства — 126; *95*.

Межевич Василий Степанович (1814—1849) — литератор; в 1830-е годы сотрудничал в «Молве» и «Телескопе», затем в «Телескопе», затем в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» и «Отечественных записках», в 1840 г. переметнулся в лагерь Булгарина и печатал свои статьи и фельетоны в «Северной пчеле» — 76, 77, 158, 169, 170, 221, 222, 224, 291, 326; *43, 75, 140*.

Мейербер Джакомо (1791—1864) — композитор — 200; *162*.

Мельгунов Николай Александрович (1804—1867) — беллетрист и публицист; был лично связан как с кругом Белинского и Герцена, так и с славянофилами — 175, 193, 230, 291, 316; *292.*

Менцель Вольфганг (1798—1873) — немецкий публицист и историк — 217, 221, 222, 227, 278; *192, 200, 334.*

Милорадович Михаил Андреевич (1771—1825) — генерал, петербургский военный генерал-губернатор —153.

Милькеев Евгений Лукич (1815—1846 или 1847) — сибирский поэт-самоучка — 175, 194, 195; *159.*

Минье Франсуа Огюст (1796—1884) — французский историк — 278.

Михаил Павлович (1798—1848) — великий князь, брат Николая 1 — 310.

Михайлов Григорий Карпович (1814—1867) — художник, ученик А. Г. Венецианова и К. П. Брюллова — 72; *41.*

Михайловская-Данилевская Надежда Александровна — дочь А. И. Михайловского-Данилевского — 294—296.

Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790—1848) — военный историк — 293, 294; *268.*

«Мнемозина» — альманах, издававшийся В. К. Кюхельбекером и В. Ф. Одоевским в 1824—1825 гг.— 122.

«Молва» — газета, издававшаяся при журнале «Телескоп» в 1831—1836-е годы. В 1834 и 1836 гг. выходили объединенными, причем «Молва» представляла собой критико-библиографический отдел журнала — 95, 137, 138, 150, 160, 170, 359; *32, 62, 105, 285.*

«Москвитянин» — журнал, выходивший в 1841—1856 гг. под редакцией М. П. Погодина и при ближайшем участии С. П. Шевырева, орган так называемой «официальной народности» — 182, 193, 236, 239, 241; *156, 208, 212.*

«Московские ведомости» — московская газета — 238; *206.*

«Московский наблюдатель» — журнал, выходивший в 1835—1837 гг. под редакцией В. П. Андреева при ближайшем участии С. П. Шевырева, а в 1838—1839 гг.— под редакцией Белинского — 150, 160, 174, 182, 217, 218, 220—222, 313, 315, 317, 318, 324, 359; *33, 69, 74, 110, 155, 181, 182, 184, 240, 248, 284, 285, 288, 290, 291, 294, 296, 298, 299, 301—303, 305, 308, 310—312, 315.*

«Московский телеграф» — журнал, выходивший в 1825—1834 гг. под редакцией Н. А. Полевого — 32, 34, 35, 38, 57—59, 71, 105, 106, 143, 150, 281, 304, 315, 333; *4, 8, 26, 27, 37, 45, 78.*

Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791) — 317; *296.*

Мочалов Павел Степанович (1800—1848) — московский драматический артист, трагик — 141, 175, 189—191; *155, 302.*

Мундт Николай Петрович (1803—1872) — беллетрист, драматург, переводчик, театральный деятель — 156.

Мюльгаузен Богдан Карлович (1782—1854) — тесть Т. Н. Грановского, профессор Московской Медико-хирургической академии — 242.

Мюнстер Александр Эрнестович (1824—1908) — издатель «Портретной галереи русских писателей» — 183.

«Наблюдатель» — *см.* «Московский наблюдатель».

Надеждин Николай Иванович (1804—1856) — критик, профессор Московского университета, редактор журнала «Телескоп» и газеты «Молва» — 93, 111, 143, 145—150, 262, 293, 316, 347; *26, 111, 115, 117, 118, 292.*

Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — 212, 269.

Неверов Януарий Михайлович (1810—1893) — друг Станкевича и Грановского, автор ряда историко-литературных и педагогических статей — 231.

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — 277, 278, 284—286, 345, 348, 349, 366; *257, 258, 263, 282, 339, 351, 353, 357, 360, 361, 370.*

Никитенко Александр Васильевич (1805—1877) — профессор русской словесности Петербургского университета, литературный критик, цензор — 224, 251; *251.*

Николай I (1796—1855) — 267; *37, 70, 85, 100, 263.*

Новосильцов Николай Николаевич (1761—1836) — с 1832 г. председатель Государственного совета и Комитета министров — 73.

«Общеполезные сведения» — *см.* «Журнал общеполезных сведений».

Огарев Николай Платонович (1813—1877) — 199, 232, 234, 246—249, 278, 307, 310—312; *70, 161, 183, 218.*

Огарев Платон Богданович (ум. 1838) — отец Н. П. Огарева — 311; *280.*

Огинский Алексей Григорьевич (1770—1848) — филолог-классик, переводчик, преподаватель Благородного пансиона при Петербургском университете — 43—45; *18.*

«Одесский альманах» — выходил в 1839 и 1840 гг. под редакцией Н. И. Надеждина — 147; *114.*

Одоевская Ольга Степановна (1797—1872) — жена В. Ф. Одоевского — 118, 119, 123.

Одоевский Владимир Федорович (1803—1869) — писатель, литературный и музыкальный критик, сотрудник «Современника», «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду», «Отечественных записок» — 74, 75, 83, 88, 91, 105, 108—110, 114—128, 142, 155, 158, 159, 161, 163, 164, 167, 293, 299, 307, 336—340; *81, 85, 89—92, 97, 130, 169, 332, 333.*

Ольдекоп Евстафий Иванович (1787—1845) — переводчик, составитель русско-французского и французско-русского словарей; цензор — 184, 187.

Ордынский Борис Иванович (1823—1861) — историк античной литературы и переводчик — 249.

Островский Александр Николаевич (1823—1886) — 162, 208, 307.

«Отечественные записки» — журнал, издававшийся под редакцией А. А. Краевского в 1839—1867 гг.; до 1846 г. руководящую роль в журнале играл Белинский; в 1847—1867 гг.— либеральный орган; в 1868 г. перешел в руки Некрасова и Салтыкова-Щедрина — 76, 94, 95, 143, 154, 156—161, 164, 169, 170, 174, 193, 216, 221—223, 225, 226, 240, 241, 248, 259, 260, 267, 268, 270, 271, 284, 287, 291—293, 304—306, 309, 319, 340, 343, 350, 356, 359; *18, 29, 43, 48, 66, 68, 72, 90, 91, 103, 124, 127, 129—131, 143, 156, 157, 159, 180, 185—192, 207, 237, 241, 243, 244, 248, 251, 266, 279, 309, 313, 314, 318, 331, 336, 343.*

Очкин Амплий Николаевич (1791—1865) — журналист, переводчик, цензор, в 1836—1862 гг. редактор газеты «С.-Петербургские ведомости» — 306.

Павлов Александр Иванович — товарищ И. И. Панаева по Благородному пансиону — 49, 50; *22.*

Павлов Ипполит Николаевич (ум. 1882) — журналист, переводчик, педагог, сын Н. Ф. и К. К. Павловых — 215.

Павлов Николай Филиппович (1805—1864) — беллетрист, поэт, литературный критик и публицист; в 1830-х годах прославился

антикрепостническими повестями, вызвавшими негодование Николая I — 175, 181, 184, 193—195, 198, 209—216, 223, 230, 327; *176—179, 290, 321.*

Павлова Каролина Карловна (1807—1893) — поэтесса и переводчица. 184, 195, 198, 211—216, 224, 237, 241, 242; *159, 175—177, 180, 211, 212.*

Павловы — 215, 216; *173.*

Панаев Александр Иванович — дядя И. И. Панаева — 180.

Панаев Владимир Иванович (1792—1859) — поэт, крупный чиновник, дядя И. И. Панаева — 37, 38, 40, 74—76, 87, 148, 149, 156, 300—302; *13, 44, 46, 115, 272.*

Панаев Иван Иванович — отец И. И. Панаева — 61, 62.

Панаева Авдотья Яковлевна (1819—1893) — писательница, жена И. И. Панаева, а затем Н. А. Некрасова — 242, 326, 329, 343; *13, 51, 257, 318, 320, 339, 368.*

«Пантеон русского и всех европейских театров» — журнал, издававшийся в Петербурге в 1840—1841 гг. под редакцией Ф. А. Кони (*см.* также «Репертуар русского театра») — 268; *55, 240.*

Пеллико Сильвио (1789—1854) — итальянский поэт и публицист; автор книг «Мои темницы» и «Об обязанностях человека» — 66, 67.

Петр I (1672—1725) — 79, 196, 227, 228, 280; *206.*

Писемский Алексей Феофилактович (1820—1881) — 208.

Плетнев Петр Александрович (1792—1865) — поэт, критик и историк литературы, профессор и ректор Петербургского университета, друг Пушкина, Жуковского и Гоголя; редактор «Современника» до 1847 г., когда журнал перешел в руки Некрасова — 67, 83, 91, 99, 103—105, 108, 110, 115, 127, 128, 156, 158, 159, 165, 223; *159, 205, 276.*

Плюшар Адольф Александрович (1806—1865) — издатель и книгопродавец, в 1834 г. предпринял издание «Энциклопедического лексикона» — 73, 77; *53.*

Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — историк, беллетрист, реакционный публицист; редактор-издатель журнала «Москвитянин», профессор Московского университета — 175, 182, 192, 193, 223, 236; *156, 203, 285, 356.*

Подолинский Андрей Иванович (1806—1886) — поэт 1820—1830-х годов — 31, 104; *6.*

«Подснежник» — альманах, издававшийся А. А. Дельвигом в 1829—1830 гг.— 44; *19.*

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846) — журналист, литературный критик, беллетрист, историк и переводчик, редактор-издатель передового журнала «Московский телеграф» (1825—1834); после запрещения журнала резко изменил направление своей литературной деятельности—32, 34, 36, 37, 57, 71, 75, 100, 101, 104, 105, 108—110, 137, 138, 159, 172, 222, 281, 293, 303—305, 314, 317, 333; *4, 11, 12, 26, 37, 45, 74, 77, 78, 81, 85, 88, 184, 254, 267, 275, 303.*

«Полицейские ведомости» — см. «Ведомости с.-петербургской городской полиции».

Поляков Василий Петрович (ум. 1875) — издатель и книгопродавец — 267, 268, 272, 273.

Попов Михаил Максимович (ум. 1872) — чиновник III отделения — 320, 353; *348.*

Прокопович Николай Яковлевич (1810 — 1857) — поэт и педагог—133, 143, 151, 152, 208, 344; *120, 169.*

Прутков Кузьма — коллективный псевдоним А. К. Толстого и А. М. и В. М. Жемчужниковых — 261.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 32—34, 36, 38, 41—43, 54, 57, 65—67, 71, 73, 82, 88, 92, 100, 102, 105, 110, 111, 115—117, 121, 125—129, 134, 135, 139, 152, 157, 159, 162, 165, 168, 171—173, 184, 196, 209, 219, 220, 225, 255, 268, 274, 281, 283, 314, 317, 334, 342, 362; *7, 13, 26, 34, 39, 45, 50, 56, 76, 83, 88, 91, 92, 94—96, 106, 112, 128, 135, 160, 182, 193, 223, 238, 256, 281, 290, 297, 325, 330, 363.*

«Пчела» — см. «Северная пчела».

Пшеницына — петербургская домовладелица — 268, 271.

Рамазанов Николай Александрович (1817 — 1867) — скульптор — 130.

Ратье Феликс-Северин (1797—1866) — французский медик — 224; 187.

Рауль — петербургский виноторговец — 298.

Рафаель Санти (1483—1520) — 149.

Редкин Петр Григорьевич (1808—1891) — юрист, профессор Московского университета — 234.

Рейхель Мария Каспаровна (1823—1916) — друг Герцена и его семьи — 244.

Рекамье Юлия Аделаида (1777—1849) — жена французского банкира, хозяйка известного салона в Париже — 117.

«Репертуар русского театра» — журнал, выходивший в Петербурге в 1839—1841 гг. под редакцией В. С. Межевича; в 1842 г. слился с «Пантеоном русского и всех европейских театров» *(см.)*, получив название «Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров». В дальнейшем название журнала менялось; выходил до 1856 г.— 170; *140, 254.*

Ретцш Фридрих-Август-Мориц (1779—1857) — немецкий художник — 130.

Ретшер Генрих-Теодор (1803—1871) — немецкий эстетик и теоретик драматического искусства, гегельянец — 330; *325.*

Римский-Корсаков Александр Яковлевич (1806 — не ранее 1856) — поэт—27, 40—45; *15, 17.*

Риттер Карл (1779—1859) — немецкий географ — 251.

Риццио Давид (1533—1566) — музыкант, секретарь Марии Стюарт — *136.*

Рогов Трофим Осипович (1789—1831) — историк, профессор Петербургского университета и Благородного пансиона — 30, 58; *4, 10.*

Розен Егор Федорович (1800—1860) — поэт, драматург и критик — 91, 92, 100, 109, 110; *64, 65.*

Ру-Лавернь Пьер Селестин (1802—1874) — французский историк — 278; *252.*

Румянцовы — 243.

«Русский вестник» — журнал, издававшийся С. Н. Глинкой в 1808—1824 гг.; возобновлен Н. И. Гречем в 1841 г.; прекратился в 1844 г.— 305; *103, 231, 275.*

«Русский инвалид» — петербургская газета, выходившая с 1813 до 1917 г.; в 1822—1839 гг. под редакцией А. Ф. Воейкова — 106, 110, 114, 115, 163, 194; *85.*

«Русское слово» — журнал, выходивший в Петербурге в 1859—1866 гг.—361; *361, 370.*

Савельев-Ростиславич Николай Васильевич (ум. 1851) — историк и этнограф славянофильского лагеря — 99, 321.

Саллюстий Гай Крисп (86—35 до и. э.) — римский историк — 30.

Санд Жорж — псевдоним Авроры Дюдеван (1804—1876) — 219, 277, 278, 285, 334, 335, 359; *251, 331.*

«Санкт-Петербургские ведомости» — старейшая русская газета; в 1840-х годах выходила под редакцией А. Н. Очкина — 194, 306; *278, 356.*

«Санкт-Петербургские губернские ведомости» — газета, выходившая с 1838 г.— 194.

Сатин Николай Михайлович (1814—1873) — поэт и переводчик, член кружка Герцена и Огарева; через Герцена сблизился с Белинским, И. И. Панаевым и др.— 199, 212, 214, 247, 257; *70, 138.*

Сахаров Иван Петрович (1807—1863) — этнограф и археолог, собиратель и издатель произведений русского народного творчества — 110, 118, 119, 126; *185.*

Сваррик-Сваррацкий (ум. 1837) — 70, 81, 82.

Свиньин Павел Петрович (1788—1839) — издатель «Отечественных записок» в 1818—1830 гг.— 154—156, 304; *124.*

Свиньина Надежда Аполлоновна — жена П. П. Свиньина — 156, 157; *126.*

Свистунов Петр Семенович (1732—1808) — сенатор; писатель и переводчик — 75.

«Северная пчела» — реакционная газета, выходившая в Петербурге с 1825 г. под редакцией Ф. В. Булгарина (с 1831 по 1859 г. соредактор — Н. И. Греч) — 73—77, 101, 150, 170, 207, 222, 358; *42, 43, 62, 85, 140, 184, 188, 357.*

«Северные цветы» — альманах, издававшийся А. Дельвигом в 1825—1831 гг. После смерти Дельвига «Северные цветы» на 1832 г. издал Пушкин — 34, 57, 103.

Семенова Екатерина Семеновна (1786—1849) — трагическая актриса первой четверти XIX в.— 87.

Сенковский Осип Иванович (1800—1858) — журналист, критик, беллетрист, востоковед; с 1834 г. издавал журнал «Библиотека для чтения»; образованный и остроумный, но беспринципный человек, боровшийся с передовыми течениями русской литературы 1830—1840-х годов; псевдоним Барон Брамбеус — 66, 71, 73, 108, 114, 128, 134, 136, 143—145, 154, 155, 159, 160, 172, 234, 260, 305, 306, 314, 319, 320; *26, 38, 78, 80, 102, 112, 113, 123, 142, 156, 292, 312.*

Серебрянский Андрей Порфирьевич (1800—1838) — поэт, друг А. В. Кольцова — 317.

Скотт Вальтер (1771—1832) — 34, 57, 59, 151, 167, 211, 278; *139, 172.*

Смирдин Александр Филиппович (1795—1857) — книгопродавец и издатель — 54, 65, 66, 121, 316.

Смирновский Платон — мелкий беллетрист и журналист 1830—1850-х гг.— 170.

Снегирев Иван Михайлович (1793—1868) — этнограф и археолог, профессор Московского университета; цензор — 315.

Соболевский Сергей Александрович (1803—1870) — библиофил и библиограф, друг Пушкина, автор остроумных эпиграмм — 42, 65, 66, 99, 110, 121, 122, 128, 134, 214.

«Современник» — журнал, основанный А. С. Пушкиным в 1836 г.; после смерти Пушкина сначала выходил под коллективной редакцией его друзей, а с 1838 г.— одного П. А. Плетнева. В 1847 г. перешел в руки Н. А. Некрасова и И. И. Панаева — 66, 110, 127, 158, 159, 165, 166, 172, 252, 259, 260, 305, 352, 356, 359, 360, 364, 365; *3, 6, 18, 33, 39, 48, 61, 76, 92, 103, 122, 136, 159, 180. 205, 212, 221, 227—229, 248, 276, 278, 282, 283, 305, 330, 339, 352—355, 358—360, 362, 367, 368.*

Соколовский Владимир Игнатьевич (1808—1839) — поэт, член кружка Герцена и Огарева — 91, 95, 96, 98; *70.*

Соллогуб Владимир Александрович (1813—1882) — писатель 1830—1840-х годов; в 1840-е годы примыкал к натуральной школе, сотрудник «Отечественных записок» — 75, 117, 158, 161, 162, 306—309, 311, 312, 320, 343; *46, 87, 129, 132, 279, 336.*

Спасский Иван Тимофеевич (1795—1861) — петербургский врач, профессор Медико-хирургической академии — 82; *50.*

Станкевич М. В.— см. Фролова М. В.

Станкевич Николай Владимирович (1813—1840) — глава философско-литературного кружка московской университетской молодежи 1830-х годов (Белинский, Бакунин, Боткин, К. Аксаков и др.) — 179, 229—231, 250, 265; *146, 161, 182, 195, 294, 310.*

Старчевский Альберт Викентьевич (1818—1901) — журналист, с конца 1840-х годов помощник О. И. Сенковского по «Библиотеке для чтения», а затем фактический редактор журнала; редактор журнала (с 1856 г.), а затем газеты (с 1862 г.) «Сын отечества» — 144; *113.*

Степанов Александр Петрович (1781—1837) — беллетрист 1820—1830-х годов — 317; *299.*

Степанов Николай Александрович (1807—1877) — художник-карикатурист — 70, 79, 91, 95, 110; *47.*

Степанов Николай Степанович — владелец типографии в Москве, издатель — 217, 315, 324; *289, 310.*

Строганов Сергей Григорьевич (1794—1882) — в 1835—1847 гг. попечитель Московского учебного округа — 316; *203, 289.*

Строев Владимир Михайлович (1812—1862) — переводчик, беллетрист и журналист, сотрудник «Сына отечества» и «Северной пчелы» Булгарина — 154.

Струговщиков Александр Николаевич (1808—1878) — поэт и переводчик — 78, 95, 293, 307, 318, 320; *311.*

Струйский Дмитрий Юрьевич (1806—1856) — поэт 1830—1840-х годов, печатавшийся под псевдонимом: Трилунный — 91, 95.

Сулье Фредерик (1800—1847) — французский романист и драматург — 57.

«Сын отечества» — журнал, выходивший в Петербурге (1812 — 1852); основан Н. И. Гречем и издавался им до 1840 г., с 1825 г.— совместно с Ф. В. Булгариным; во второй половине 1830-х годов фактическим редактором «Сына отечества» был Н. А. Полевой; в 1840-е годы журнал редактировал О. И. Сенковский (1841), а затем К. П. Масальский; возобновлен А. В. Старчевским в 1856 г.— 63, 64, 83, 100, 144, 172, 222, 305, 316; *30, 31, 53, 59, 65, 74, 113, 184, 240, 303.*

Сю Эжен (1804—1857) — французский беллетрист — 57; 26.

Татищев Спиридон Федорович (1812—1860) — товарищ Панаева по Благородному пансиону — 50—52; *23.*

«Телеграф» — *см.* «Московский телеграф».

«Телескоп» — журнал, выходивший в Москве в 1831—1836 гг. под редакцией Н. И. Надеждина; с 1833 г. в нем, как и в издававшейся при нем газете «Молва», активное участие принимал Белинский — 64, 93, 95, 100, 111, 140, 143, 145, 147, 148, 150, 160, 169, 170, 347, 359; *69, 74, 107, 111, 284, 290, 304.*

Тимофеев Алексей Васильевич (1812—1883) — поэт, драматург, беллетрист 1830-х годов — 144. 158; *112.*

Толмачев Яков Васильевич (1779—1873) — автор книг по риторике и теории литературы, переводчик, профессор Петербургско-

го университета и Благородного пансиона, где преподавал словесность и логику — 36—38, 58; *4, 10*.

Толстая Сарра Федоровна (1821—1838) — поэтесса — 268; *32, 241*.

Толстой Константин Петрович (1780—1870) — брат Ф. П. Толстого *(см.)*, отец поэта А. К. Толстого — 131.

Толстой Федор Петрович (1783—1873) — живописец, медальер, гравер, скульптор, вице-президент Академии художеств—78, 80, 128—131, 158; *98*.

Тон — московский домовладелец — 323, 325.

Трилунный — см. Струйский Д. Ю.

Тургенев Александр Иванович (1784—1845) — брат декабриста Н. И. Тургенева, друг Карамзина, Жуковского, Вяземского, Пушкина — 126, 127.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 277, 278, 286—288, 307, 341, 352, 358; *170, 260—263, 346, 351, 355, 358, 366*.

Тютчев Николай Николаевич (1815—1878) — переводчик, сотрудник «Отечественных записок» 1840-х годов, приятель Белинского и Панаева — 278, 289; *263, 348, 351*.

Уваров Сергей Семенович (1786—1855) — министр народного просвещения в 1833—1849 гг.; с 1834 г.— президент Академии наук — 83, 114, 125; *26, 37, 63, 85*.

«Утренняя заря» — альманах, издававшийся беллетристом В. А. Владиславлевым в 1839—1843 гг.— 91, 94, 131; *67, 89, 103, 117*.

Ушаков Василий Аполлонович (1789—1838) — беллетрист и журналист — 34; *8*.

Фан-дер-Флит Федор Тимофеевич (1810—1873) — приятель И. И. Панаева; впоследствии — директор канцелярии Министерства финансов — 67.

Фесслер Игнац Аврелий (1756—1839)—306; *277*.

Фикельмонт Дарья Федоровна (1804—1863) — жена австрийского посланника в России, приятельница Пушкина, дочь Е. М. Хитрово *(см.)* — 89.

Фишер Фридрих Теодор (1807—1888) — немецкий эстетик, последователь Гегеля — 329; *322*.

Фонвизин Денис Иванович (1744 или 1745—1792) — 46.

Фрейлиграт Фердинанд (1810—1876) — 225, 269; *242.*

Фридрихс — петербургский домовладелец — 96.

Фролов Николай Григорьевич (1812—1855) — географ, издатель сборников «Магазин землеведения и путешествий», приятель Т. Н. Грановского — 250—253, 255—259, 287; *220—222, 226, 227.*

Фролова Анна Евгеньевна (урожд. Кромида)—третья жена Н. Г. Фролова, двоюродная сестра и друг Т. Н. Грановского — 258, 265; *234.*

Фролова Елизавета Павловна (ум. 1840) — жена Н. Г. Фролова, сестра И. П. Галахова—250, 251.

Фролова Мария Владимировна (ум. 1850) — вторая жена Н. Г. Фролова, сестра Н. В. Станкевича — 253.

Хвостов Дмитрий Иванович (1756—1835) — поэт и переводчик, сенатор, объект многочисленных эпиграмм и пародий — 27, 39, 40, 43; *14, 18.*

Хитрово Елизавета Михайловна (1783—1839) — дочь М. И. Кутузова, приятельница Пушкина и других писателей; у нее и у ее дочери Д. Ф. Фикельмонт был литературный и политический салон в Петербурге — 88.

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — поэт, драматург, публицист, философ, один из вождей и теоретиков славянофильства — 174, 175, 193—195, 214, 215, 230, 236, 237, 240, 241,

«Художественная газета» выходила в Петербурге в 1836—1841 гг. под редакцией сначала Н. В. Кукольника, а затем А. Н. Струговщикова — 78.

Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — римский государственный деятель, писатель и философ, выдающийся оратор — 44.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — философ-публицист, автор «Философических писем» — 143, 197, 240, 241; *111, 203, 209.*

Черткова Елизавета Григорьевна (1805—1858) — жена археолога и историка А. Д. Черткова, сестра декабриста В. Г. Чернышева — 209.

Чижов Дмитрий Семенович (1785—1853) — математик, профессор Петербургского университета — 29, 47—52; *2*.

Шаликов Петр Иванович (1768—1852) — поэт, переводчик и журналист, эпигон Н. М. Карамзина — 139.

Шаховской Александр Александрович (1777—1846) — драматург, театральный деятель первой четверти XIX в.— 70, 85, 86.

Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) — 128, 133, 134.

Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — литературный критик и теоретик литературы, поэт и журналист, профессор Московского университета; один из руководителей журнала «Московский наблюдатель» в 1835—1837 гг.; с 1841 г. принимал ближайшее участие в «Москвитянине» М. П. Погодина, ведя борьбу с передовой литературой и общественной мыслью — 47, 100, 182, 188, 193, 203, 214, 230, 236—240, 316; *20, 74, 156, 203, 216, 289, 290, 292, 325.*

Шекспир Уильям (1564—1616) — 70, 83, 84, 87, 89, 90, 92, 106, 137, 141, 175, 177, 189—191, 198, 213, 219, 268, 272, 276, 314, 328; *55, 61, 62, 155, 240, 285, 302.*

Шелейховский Кондратий Антонович — преподаватель математики Петербургского университета и Благородного пансиона — 30, 47, 48, 50, 52.

Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759—1805) — 84, 219, 275, 278, 330, 362; *248.*

Ширинский-Шихматов Платон Александрович (1790—1853) — поэт и переводчик, директор департамента народного просвещения, а с 1849 г.— министр — 70, 80—82.

Штевен И.— беллетрист 1830—1840-х гг.— 304, 333.

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — 198, 200, 201, 203, 205—207, 209, 327, 334, 350—352; *164, 170, 330, 343.*

Щепкин Николай Михайлович (1820—1886) — сын М. С. Щепкина, впоследствии издатель — 201, 204, 255, 258.

Щепкины — 201, 202.

Щербатов Алексей Григорьевич (1819—1881) — попечитель Петербургского учебного округа и председатель Петербургского цензурного комитета в 1856—1858 гг.— 197, 360.

Энгельгардт Василий Васильевич (1785—1837)—владелец дома с концертным залом в Петербурге (ныне — Невский просп., 30) — 115.

Юнгмейстер Ю. А.— петербургский книгопродавец и издатель — 271.

Юсупов Борис Николаевич (1794—1859) — сын Н. Б. Юсупова, владелец подмосковной усадьбы «Архангельское» — 253, 257, 258; *227.*

Юсупов Николай Борисович (1750—1831) — дипломат, сенатор; коллекционер и меценат; к нему обращено стихотворение Пушкина «К вельможе»—255, 256; *223.*

Языков Михаил Александрович (1811—1885) — друг И. И. Панаева, приятель Белинского; был близок к кругу «Отечественных записок», а затем «Современника» — 54—56, 103, 128, 132—134, 138, 163, 269, 270, 278, 288, 296—298, 310—311, 344, 346, 348, 354; *9, 24, 245, 263, 350.*

Языков Николай Михайлович (1803—1845) — поэт — 33, 38, 56, 133, 152, 240; *24, 119, 159, 209, 218.*

Языкова Екатерина Александровна — жена М. А. Языкова — 354.

Яковлев Иван Алексеевич (1767—1846) — отец Герцена — 247; *217.*

Якубович Лукьян Андреевич (1808—1839)—поэт—66, 91—94, 98, 102, 103, 147, 148; *66, 76.*

Яненко Яков Федосеевич (1800—1852) — художник — 72, 77, 78, 110.

Яниш Карл Иванович (ум. 1854) — отец поэтессы К. К. Павловой, профессор Московской медико-хирургической академии — 215, 216.

Яниш К. К. — *см.* Павлова К. К.

Яновский Степан Дмитриевич (1815—1897) — врач — 103, 104.

Яр — владелец ресторана в Москве — 247.

«Allgemeine Zeitung» — немецкая газета — 257.

«Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst» — издание, выходившее под редакцией А. Руге в 1838—1841 гг. (позже — под другим названием), орган левого гегельянства — 329, 330; *322.*

Journal des débats — французская газета — 256.

«Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik» — журнал, основанный Гегелем,— 329.

«Indépendance belge» — газета, выходившая в Брюсселе на французском языке — 256.

«Revue indépendante» — французский журнал, орган утопического социализма, выходивший в 1841—1848 гг.— 277, 278, 282, 298, 299.

СОДЕРЖАНИЕ

И. Г. Ямпольский. Литературная деятельность И. И. Панаева 5

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Часть первая (1830—1839) 27
Часть вторая (1839—1847) 175
Воспоминание о Белинском 313
По поводу похорон Н. А. Добролюбова 356

Примечания 368
Указатель 415

Панаев И. И.

П 16 Литературные воспоминания / Вступ. ст. и ком. И. Г. Ямпольского.— М.: Правда, 1988.— 448 с., 8 л. ил.

«Литературные воспоминания» И. И. Панаева (1812—1862) знакомят читателя со многими фактами русского литературно-общественного движения 1830—1850-х годов. Панаев, издававший совместно с Н. А. Некрасовым журнал «Современник», рассказывает многочисленные эпизоды, характеризующие литературную жизнь того времени. Перед читателем проходит галерея писателей, журналистов, критиков, ученых. Воспоминания написаны живо, интересно и увлекательно.

П $\frac{4702010100—1644}{080(02)—88}$ 1644—88 84 Р 1

Иван Иванович ПАНАЕВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Редактор
И. А. Бахметьева

Оформление художника
С. Н. Оксмана

Художественный редактор
В В. Масленников

Технический редактор
Е. Н. Щукина

ИБ 1644

Сдано в набор 29.10.87. Подписано к печати 09.03.88.
Формат 84×108 1/32. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 25,62. Уч.-изд. л. 25,49.
Тираж 200 000 экз. (2-й завод: 100 001—200 000 экз.).
Заказ. № 66. Цена 1 р. 90 к

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865. ГСП. А-137, Москва, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Таврида».
Крымская область. 333700, г. Симферополь,
ул. Генерала Васильева, 44.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В издательстве «Правда» в 1988 г. в серии «Литературные воспоминания» выйдут следующие книги:

Бекетова А. Александр Блок.

Жизнь Есенина.

Мемуары декабристов.

Русские мемуары. Избранные страницы. XVIII век.